

Книжный дом

МЫСЛИТЕЛИ XX СТОЛЕТИЯ

В. И. Язневич

Л Станислав
Лем

МЫСЛИТЕЛИ
XX
СТОЛЕТИЯ

В. И. Язневич

Станислав Лем

Минск
КНИЖНЫЙ  ОМ
2014

УДК 1.14
ББК 87.3
Я40

*Серия «Мыслители XX столетия»
основана в 2007 г.*

Правообладателем книги является издательство «Книжный Дом». Выпуск произведения, а также использование его отдельных частей без разрешения правообладателя является противоправным и преследуется по закону.

Язневич, В.И.

Я40 **Станислав Лем / В.И. Язневич. — Мн.: Книжный Дом, 2014. — 448 с. — (Мыслители XX столетия).**

ISBN 978-985-17-0830-3.

В книге излагаются вехи творчества выдающегося польского философа и писателя второй половины XX столетия Станислава Лема. Это первая биографическая книга о Станиславе Леме и его философском наследии на русском языке. Содержит большое количество цитат Станислава Лема, из которых более половины на русском языке публикуются впервые.

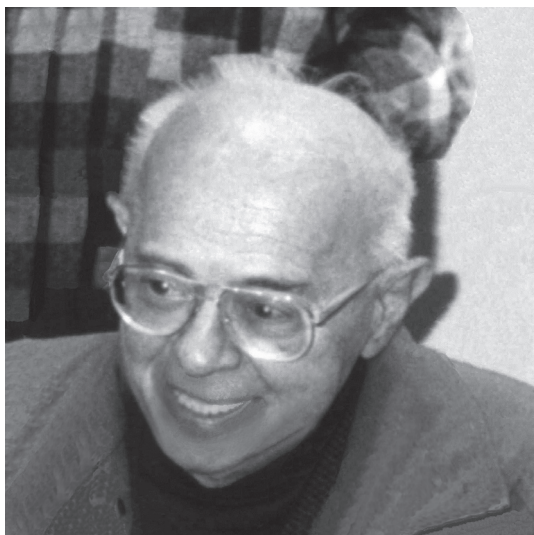
Для широкого круга читателей.

УДК 1.14
ББК 87.3

ISBN 978-985-17-0830-3

© Язневич В.И., 2014

© Оформление. «Книжный Дом»,
2014



Green
2001

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

Так случилось, что эта книга является фактическим завершением всей серии «Мыслители XX столетия». Еще в 2007 г., когда по инициативе А.А. Грицанова разрабатывали серию, мы планировали все 50 книг выпустить за четыре года. Однако даже такому мастеру работы с авторами, как Александр Алексеевич, не удалось вдохновить всех привлеченных к работе специалистов на своевременную подготовку их рукописей. Ритм выхода книг был нарушен и не поддерживался выпуском новых. И хотя серия до сих пор высоко ценится среди читателей, — стремительное развитие электронных средств информации способствовало резкому снижению спроса на традиционные издания.

Безвременная кончина в 2011 г. Александра Алексеевича Грицанова стала для всех нас невосполнимой утратой. Было очевидно, что без его подвижнической деятельности серию закончить уже не удастся. При нем напечатано двенадцать книг и было подготовлено еще шесть, но вышла в 2012 г. только одна — «Вальтер Беньямин».

Книга В.И. Язневича «Станислав Лем» завершает издание всей серии вовсе не потому, что она последняя. Дело в том, что автор виртуозно через высказывания великого фантаста и неординарного философа Станислава Лема о плеяде мыслителей 20 столетия смог донести до читателя интеллектуальную сущность целой эпохи.

Мир не стоит на месте, и в недалеком будущем, возможно, мы еще вернемся к подобному проекту. Но уверен, что это будет не долгосрочная серия, а достаточно объемное однотомное издание.

С. В. Кузьмин,
кандидат философских наук,
директор издательства «Книжный Дом»

Памяти белорусского философа
(социолога, историка, религиоведа,
энциклопедиста, преподавателя, публициста...)
Грицанова Александра Алексеевича (1958-2011)
ПОСВЯЩАЕТСЯ

ОТ АВТОРА

Станислав Лем и Александр Грицанов

В сентябре 2001 г. на мероприятии, посвященном 80-летию Станислава Лема, автор подарил юбиляру изданный в 1999 г. в Минске «Новейший философский словарь», содержащий статью «ЛЕМ» авторства Александра Грицанова [272.1]. Подарок Станиславу Лему понравился, о нем он упоминал в своих интервью (гордясь, что его имя появилось в философских энциклопедиях), а в начале 2004 г. написал в статье: «Я хорошо знаю, что в нашей стране считаюсь автором нескольких книг из области научной фантастики. Но как-то странно получилось, что за границами Польши я выступаю не как литератор, а как философ. Например, как аналитический философ я фигурирую на странице 362 в “Новейшем философском словаре”, изданном по-русски, и единственное неудобство мне там доставляет сосед, потому что затем в словаре рассматриваются философские труды хорошо известной личности, каковой был Ленин» [17, с. 750]. Обо всем этом автор сообщил Александру Грицанову, что, естественно, доставило ему удовлетворение. О самом словаре Александр писал автору, что когда его делали как «стартовую вещь», отнюдь не были уверены в том, что это получит хоть какое-то продолжение (Минск никогда не делал философских словарей). Но: Москва и Питер за полгода скушали 8000 тиража». Поэтому появились все остальные энциклопедии, «а “НФС” стал чисто философским, а не междисциплинарным пижонским “культур-провокационным” про-

ектом энциклопедического формата». Причем эти философские энциклопедии были замечены и за границей (встречал на них ссылки), а статьи из них авторства Александра Грицанова «ЛЕМ» и «СОЛЯРИС» были переведены на польский язык и опубликованы в посвященном Станиславу Лему номере философско-литературного журнала [411].

Когда в январе 2006 г. Интернет-портал ИноСМИ (InoSmi.ru) организовал заочное интервью со Станиславом Лемом, ему поступил и такой вопрос: «Уважаемый Философ Ст. Лем! Я — главный редактор тех 9 энциклопедий, изданных в Белоруссии, которые рассматривают Вас в статусе оригинального философа второй половины XX века. Насколько я знаю, первый экземпляр словаря из этой серии Вам дарили в 2001 году — В. Язневич из Минска. Вопрос: **как Вы оцениваете современные изыски философов Польши и Европы?** Я буду писать о Вас и дальше — Вы в этом не нуждаетесь, так что можете не отвечать. Но все равно интересно. С уважением — А. Грицанов». Судя по дате вопроса (18.01.2006), Станислав Лем, скорее всего, с ним ознакомился, но ответа не последовало, ибо 9 февраля он был доставлен в кардиологическую клинику, в которой уже ничего не писал и не отвечал на вопросы интервью, а 27 марта его не стало. На уход Станислава Лема сразу же отреагировал Александр, написав автору: «Огромная утрата, выражаю скорбь и надежду на то, что нам — и не только — удастся написать об этом Человеке хороший Текст. А.Г.», а также опубликовав статью-некролог «Фантаст, пророк и “неудобный сосед” для Ленина», в которой утверждал, что Станислав Лем «всегда будет на интеллектуальном “гребне волны”» [274].

В это же время, в конце января 2006 г., еще при жизни Станислава Лема, Александр Грицанов предложил автору «создать книгу “Лем”» для затеянного им издания серии «Мыслители XX столетия». И вот эта книга «создана». И в ней, надеюсь, главным образом в «культур-провокационной» главе «С. Лем о мыслителях XX столетия», содержится подробный **ответ на вопрос**, заданный философом Александром Грицановым философу Станиславу Лему.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Тот, кто заявляет, что человек является царем всякого создания и что выше сегодняшнего философа ничего быть не может, тот не только не возносит человека, но очень сильно его ограничивает, запирая его — как в тюрьму — в данный исторический момент. В то же время тот, кто критически оценит человека и скажет: «действительно, множество нас вымерло, мы сильно ограничены нашими чувствами и животным происхождением», тот парадоксально откроет огромные врата для новых шансов и возможностей. Это в каком-то смысле мое кредо [16, с. 420].

Станислав Лем

Мнения специалистов расходятся в вопросе, кем же является Станислав Лем: писателем, проповедующим некую собственную философию (философствующим писателем), или философом, пишущим великолепную беллетристику (писательствующим философом)? Еще в 1968 г., в самом расцвете своего творчества, Лем писал: «Я начал с современного романа (“Неутраченное время”) и фантастических произведений,

в которых зачастую пытался показать земные проблемы в инопланетном одеянии (“Астронавты”, “Эдем”); я пробовал также зашифровать эти проблемы в форме игровой (“Звездные дневники”) или сказочной (“Кибериада”); или, наконец, исследовать в микроэксперименте, какие сказки могли бы сочинять роботы для роботов (“Сказки роботов”). Написал я еще книгу, которую ценю, хотя сам не вполне ее понимаю (“Солярис”), и еще другую, в жанре романа-“предостережения” (“Возвращение со звезд”), которая получилась не во всем такой, какой мне хотелось бы ее видеть. Вплетал я также в свои рассказы различные идеи и мотивы, относящиеся не столько к проблемам культуры или социологии, сколько к философии; и этот философский бес искушал меня с каждым годом все сильнее, так что в конце концов я откупился от него четырьмя небеллетристическими книгами (“Диалоги”, “Сумма технологии”, “Философия случая” и “Фантастика и футурология”). Поскольку каждый человек из духа противоречия больше всего интересуется тем, что ему труднее всего удастся, я не раз сожалел, что вслед за моей беллетристикой, которая вышла уже за границы Польши, не пошли и эти книги, предназначенные для более узкого круга, но, возможно, положение улучшится, ибо вот уже “Сумма технологии” появилась в русском переводе. Беспокоило меня слегка и то, что можно назвать “раздвоением” моей писательской личности между художественной литературой и произведениями, посвященными философским раздумьям о путях развития цивилизации (сейчас это называют футурологией, но в 1955 году, когда я писал “Диалоги”, ее еще не существовало)» [73]. И поэтому Лем отмечал: «Я всегда писал то, что меня интересовало, не задумываясь, к какой сфере это можно отнести. Проблема классификации вообще для меня не существует. Большинство из того, что я написал, включает познавательное содержание, но это не было преднамеренным с

моей стороны. Я никогда не сажусь к столу с мыслью о том, что вот сейчас открою для человечества те или иные истины с онтологической точки зрения. Я писал, например, о Шопенгауэре, моем любимом философе, не задумываясь при этом, являются ли эти размышления философскими или нет. Это также относится ко всему иному, так как принадлежу к писателям, у которых нельзя что-нибудь заказать, как заказывают обувь у сапожника» [139].

Лем отмечал также: «Проводя “двойную жизнь” как писатель и как философ-дилетант, я строго придерживаюсь критериев корректности, присущих тому виду деятельности, которым занимаюсь в текущий момент. Я вынужден разрываться между свободами, присущими беллетристу, и дисциплиной, обязывающей философа. Как беллетрист могу быть более авантюрным, чем как теоретик познания. Впрочем, дало это неожиданные последствия. Гипотезы, представленные в текстах “позволительной выдумки”, подтверждались реальными мировыми событиями чаще, чем дискурсивные суждения, сформулированные с осторожной рассудительностью. Похоже на то, что развитие нашего мира точнее предсказывают “выходки безответственного воображения”, чем логически безупречные аргументации на основе известного» [97].

И получилось так, что достигший литературного успеха и ставший всемирно известным (благодаря миллионным тиражам своих беллетристических произведений, переведенных более чем на сорок языков мира, что позволило ему с 1950-х гг. жить исключительно за счет получаемых гонораров и тем самым обеспечило полную свободу в творчестве — насколько можно было быть свободным в условиях того государственно-го строя в Польше 1950-1970-х гг.) Лем-писатель перешел дорогу Лему-философу: издатели ожидали от него исключительно беллетристических произведений, которые можно было бы в книжном магазине поместить на полку «Фантастика», но никак

не произведения для полки «Философия», хотя таких книг Лем издал достаточное количество. Как результат всемирного признания заслуг в области литературы его имя встречается в различных энциклопедиях, но почти во всех исключительно как автора научной фантастики, который иногда в фантастические, шуточные, гротескные формы облакал философские вопросы. Но при этом и как следствие этого ни одна из его философских монографий в XX веке не была издана на английском языке (а наш мир, к сожалению, во многом таков, что если что-то не издано по-английски, то его будто бы и не существует), а только на немецком, да и на русском все они (кроме «Суммы технологии») были изданы уже только в XXI столетии.

Таким образом, став по сути крупным философом-мыслителем XX столетия, Лем почти не был известен мировому философскому сообществу. И даже в самой Польше у него как-то не сложились отношения с официальными философскими кругами. В конце 1960-х гг. в Варшаве он участвовал в организованном Польской академией наук философском семинаре, в котором обсуждались и философские монографии Лема, но семинар вскоре прекратил свое существование, а руководитель был вынужден эмигрировать. Или, например, когда в 1976 г. руководитель Гегелевского общества со штаб-квартирой в австрийском Зальцбурге хотел пригласить Лема на съезд общества в португальский Лиссабон, то он не смог получить адрес писателя от коллег-философов в Польской академии наук. Не сложились у Лема отношения и с самым известным в последние десятилетия польским философом академиком Лешек Колаковским, раскритиковавшим наиболее известную философскую книгу Лема «Сумма технологии» сразу же после ее выхода [337]. В частном письме Лему Колаковский писал, что он видит «блеск первоклассного интеллекта», но это нечто очень чуж-

дое его ментальности, у него нет для Лема критериев. Потом еще неоднократно в немецких и польских изданиях Лем полемизировал с Колаковским на темы этой книги, но каждый остался при своем мнении, ибо их «умственные галактики отдалены и не соприкасаются» [16, с. 270].

И только в самом конце XX столетия наметился поворот к признанию Лема философом. Его имя в качестве титула статьи появилось в философских энциклопедиях, изданных в Германии (в 1999 г. в «Большой философской энциклопедии» [318] — благодарность Бернду Грегфрату, определившему философию Лема как «философию будущего», против чего Лем не возражал («Ее сущность можно выразить в качестве аналитической попытки исследовать, каким образом должна измениться философия (онтология, эпистемология, эстетика, этика) под влиянием будущего эмпирического знания» [374, р. 101]) и Беларуси (в 1999 г. в «Новейшем философском словаре» [272.1] — благодарность Александру Грицанову, Лем согласился с его оценкой). Затем в России в 2001 г. во «Всемирной энциклопедии: Философия» [272.2] и в 2002 г. во «Всемирной энциклопедии: Философия. XX век» [272.3] — благодарность опять же Грицанову, который к тому же ввел в философский оборот термин «Солярис» [273]. Также и в Польше: в 2005 г. в трехтомной «Польской послевоенной философии» [354] — благодарность Павлу Околовскому, Лем им назван «рационалистическим натуралистом с метафизическими продолжениями» — это определение Лему понравилось; в 2011 г. в «Энциклопедии польской философии» [315]). Появился ряд научных монографий и диссертаций (в Беларуси, Польше, Германии, Австрии), исследующих в том числе и эту сторону — важнейшую по мнению самого Станислава Лема — в его творчестве. Особо отметим, что первая диссертация о философских аспектах научной фантастики Лема (правда, по филологической специальности) была написана в Беларуси и защи-

щена в Москве еще в 1993 г. [281]. В университетах Германии (Дуйсбург-Эссен, д-р Бернд Грефрат, с 1996 г.) и Польши (Варшава, д-р Павел Околовский, с 2005 г.) для студентов читали курс лекций по философии Лема.

Настоящая книга, основываясь на приведенной в главе «Библиография» литературе (и не только на ней), включающей сотни статей, интервью и писем самого Лема, а также на работах о нем (в первую очередь на трудах Павла Околовского [353-358]), представляет собой краткий обзор философского наследия Лема. Но зачем пересказывать то, что можно представить словами самого писателя-философа и с чем автор этой книги абсолютно согласен? Поэтому приблизительно половину текста книги составляют цитаты мыслителя о своем и иных творчестве, причем более половины из них на русском языке публикуются впервые. Все цитаты Лема и о нем из иностранных источников перевел автор книги.

Автор готов ответить на все вопросы о жизни и творчестве Станислава Лема в своем «Живом журнале» <http://lemolog.livejournal.com> .

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ. ЭТАПЫ ТВОРЧЕСТВА

Случаю — то есть особому расположению генов — было угодно одарить меня способностями, которые в XX столетии соответствовали писательскому призванию. И призвание это было где-то на пограничье между искусством и наукой. Вот почему я обратился к научной фантастике, принимаемой, однако, смертельно серьезно, даже если это была фантастика на юмористический лад. Устройство моего духа мне было дано от рождения; на устройство мира я никакого влияния не имел. Таковы две *random variables*, исходно независимые переменные; у меня была возможность в известной степени коррелировать их [140, с. 316].

Станислав Лем

I. ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ

Станислав Лем родился 12 сентября 1921 г. во Львове — в то время на территории Польши — в семье Самуэля (1879-1954) и Сабины (1892-1979) Лем. Его предками были ассимилировавшиеся евреи. Отец (Samuel Lem или Lehm — такой была фамилия во времена, когда Львов входил в состав Австро-Венгерской империи) был уважаемым в городе и весь-

ма зажиточным врачом-ларингологом, в 30 лет ставшим доктором медицинских наук, публиковавшим научные статьи в специализированных медицинских газетах и журналах, не лишенным и литературного таланта — в молодости в львовской прессе печатал стихи и рассказы, а «в довоенные годы медицина исполняла функции посредника между наукой и искусством» [213]. Довелось ему поучаствовать и в Первой мировой войне — в офицерском звании в качестве врача в австро-венгерской армии. В 1915 г. после падения крепости Перемышль он попал в плен к русским, которые «за богатырскую выправку разрешили его подразделению идти в плен с саблями, но сразу же после того, на первой станции за Перемышлем, все сабли у них отобрали» [16, с. 19]. В плену он был «в Туркестане, очень хорошо знал русский язык, даже был посредником между группой немецкоязычных офицеров и начальником лагеря пленных на реке Сырдарье. Это были очень либеральные времена» [16, с. 18], Самуэль Лем там даже лечил больных. А в это время будущая мать писателя, «тогда еще невеста, поехала в Вену и обратилась с просьбой о помощи к Катарине Шратт, близкой подруге императора. Она представляла, что император Австрии через фронт обратится к царю России с просьбой освободить доктора Лема... Молодая, влюбленная девушка способна на великую самоотверженность» [187]. В плену Самуэль Лем пробыл до самой революции в России. Во время хаоса русской революции произошел и такой эпизод в жизни еще не состоявшегося отца писателя: «однажды его как офицера, а значит, классового врага должны были поставить к стенке. Спасся он по чистой случайности: когда его уже вели на расстрел по улице какого-то украинского местечка, его заметил и узнал еврейский парикмахер из Львова; тот брил самого коменданта города и имел свободный доступ к нему» [140, с. 5; 3, с. 7], благодаря этому Самуэля Лема освободили. В конце концов Самуэль вернулся из плена во Львов и женился на Сабине (в девичестве Sabina Wollner). Впоследствии за участие в войне Самуэль Лем был награжден

австро-венгерским «Золотым Крестом Заслуги» на ленте «Медали за Отвагу». После замужества мать Лема была домохозяйкой.

Станислав Лем родился в доме, принадлежавшем раньше родителям отца. В нем же Станислав (или, как его называли близкие, Сташек) — единственный ребенок в семье — провел все детство и юность. Лем вспоминал: «В довольно-таки бедной стране, какой была довоенная Польша, я ни в чем не испытывал недостатка. У меня была французская гувернантка, множество игрушек, и я считал мир, в котором рос, чем-то абсолютно устойчивым» [140, с. 6; 3, с. 8]. Уже в четыре года Сташек научился читать и писать, а к десяти годам стал настоящим «пожирателем всяких книг, даже словаря Брокгауза за 1890 год» [17, с. 644]. Имея свободный доступ к обширной домашней библиотеке, он читал все, что попадало в руки: начинал, конечно, с детских книг, а потом, взрослея, принялся за шедевры национальной поэзии, романы, научно-популярные книги (к которым имел явную склонность), включая работы из области астрофизики, изучал многочисленные анатомические атласы, обладал настоящим «сокровищем» — энциклопедией «Чудеса природы», которую ему подарил отец (за стоимость которой в то время можно было купить хороший костюм, см. «Книги детства» [17, с. 765-775]). Наибольшее влияние на сына имел отец — «умеренный пилсудчик» [213]. Кстати, уже с высоты прожитых лет Станислав Лем очень высоко ценил первого главу возрожденного польского государства, маршала Польши: «Величайшим поляком XX века для меня является Юзеф Пилсудский. С перспективы 1920-х годов он единственный по-настоящему видел угрозы нашей стране и он единственный, пусть и безуспешно, пытался найти способы, которые обеспечили бы эффективное противодействие этим угрозам» [195].

Впоследствии в 1966 г. свои детские годы Лем описал в автобиографическом романе «Высокий Замок» [11] («Норберт Винер начал свою биографию словами: “I was a child prodigy” —

“Я был чудесным ребенком”; я мог бы сказать только: “I was a monster” — “Я был чудовищем”. Итак, чудовищем, быть может, лишь с небольшим преувеличением; но то, что я терроризировал окружающих, особенно будучи еще совсем маленьким, — истина. Есть я соглашался только в том случае, если отец, взгромоздившись на стол, попеременно открывал и закрывал зонтик, или же меня можно было кормить только под столом; я этого, разумеется, не помню, это было начало, спящее где-то за пределами воспоминаний. Если я и был чудесным ребенком, то исключительно лишь в глазах любвеобильных тетюшек. Зато чувствительным я был наверняка. Отсюда мое первое очень раннее сближение с поэзией. Еще не умея читать, я декламировал единственное в моем репертуаре и пользующееся неизменным успехом у гостей стихотворение о комаре, что с дуба упал. Не помню, чтобы я хоть раз довел декламацию до конца, поскольку, дойдя до того места, в котором выяснялось, что это падение имело совершенно роковые последствия (комар сломал себе кость в крестце), я начинал реветь, и совершенно заревавшего меня выводили из комнаты. В то время было мало существ, которым бы я сочувствовал столь горячо и одновременно так безнадежно, как этому комару; *in hoc signo* [таким образом (лат.)] проявилась надо мной власть литературы»).

Лем учился в начальной школе им. С. Жулкевского, а затем в гимназии им. К. Шайнохи во Львове. Был хорошим учеником, а уровень его интеллекта во время тестирования воспитанников гимназий в 1936/37 г. оценили в 180 пунктов, что явилось лучшим результатом во всей Южной Польше. Вспоминая свои детские годы, Лем отмечал: «По настоящему сложные времена наступили для меня только в школьные годы. Методы воспитания тогда были значительно более строгими, в то время воспитанием в определенной степени занималось все общество, а не только семья: например, в гимназии существенно более значительным, чем сейчас, был авторитет учителя. Много элементов общественного устройства предво-

енной Польши непосредственным образом реально воздействовало на стиль и смысл воспитания — результатом был даже и патриотизм. Я представлял собой типичный пример “буржуазного ребенка” и дома контролировался двусторонне: француженкой, совершенно не знающей польского языка, которая погружала меня в язык парижан, и репетитором, студентом-юристом, следящим, чтобы я выполнял все, что было задано. Как мне, однако, в то время удавалось выполнять химические, электрические и авиационные эксперименты (летал не я сам, а мои самолетики) и к тому же еще конструировать много удивительных механизмов — не знаю» [207]. На гимназические годы приходится и первый литературный опыт будущего писателя, о котором он так вспоминал: «Когда мне было 12 лет и я учился в первом классе гимназии, в подарок от отца получил первую пишущую машинку марки “Underwood” и на ней напечатал первые литературные произведения. На каникулах я с матерью был в Чарнохоже — в наиболее вытянувшейся на юг части Карпат. Там спиливали деревья, которые спускали в долину по узкоколейке без локомотива, для чего усаживались на штабель бревен, был там тормозящий, ездили по очень крутым дорогам — все это произвело на меня огромное впечатление. И я решил тогда все это описать на моей машинке и в какой-то момент открыл для себя, что, описывая, вовсе не обязан полностью придерживаться того, что было в действительности, а могу выдумывать события, которые не происходили: что вагон бежал совсем в другую сторону и вообще, что это был не вагон. Я почувствовал себя окрыленным и восхищенным тем, что этими словами, выстукиваемыми на машинке, я могу создавать несуществующую, выдуманную мной самим, действительность. Начал писать, причем не знаю почему, но мне это показалось необычайно увлекательным, и когда отец зашел в комнату, он застал меня смеющимся над машинкой. Я был восхищен не столько собой, сколько этим моим произведением» [146]. В 1939 г. Лем закончил гимназию и получил аттестат зрелости. Имея склонность к науке

и технике (а также получив удостоверение на право вождения автомобилем, что в то время было редкостью), он успешно сдал вступительные экзамены в Львовский политехнический институт и готов был приступить к учебе.

Но 1 сентября 1939 г. началась Вторая мировая война, и в соответствии с Пактом Молотова — Риббентропа Львов оказался на территории СССР. Лем вспоминал: «Где-то около 20 сентября, находясь на улице Сикстуской во Львове, я видел падение Польши. Артиллерийский полк, который располагался в Цитадели, венчающей Сикстускую улицу, двигался вниз и занимал всю длину этой огромной артерии. Это наблюдало множество людей; уже, наверное, было известно, что Советы вошли в город... В какой-то момент я увидел, как из боковых улиц на лошадях выехали советские солдаты, у всех были монгольские лица и раскосые глаза, каждый из них держал в правой руке наган, а в левой — гранату. Они приказали нашим солдатам спуститься с лошадей и артиллерийских повозок, снять портупечи, бросить оружие и просто разойтись. Эта огромная цепь орудий, повозок, лошадей, которая была брошена, произвела на нас такое невообразимое впечатление, что все стояли и плакали. Слезы у нас текли по лицам, это было очень ужасно. Тогда я не думал, что все это очень символично, вообще ничего не думал, только стоял и плакал...» [146].

Началась «новая» жизнь. Из-за буржуазного происхождения Лему было отказано в праве обучаться в политехническом институте. Но благодаря связям отца он начал (правда, без энтузиазма) учиться на медицинском факультете Львовского университета («Не стань я студентом, пошел бы в армию. Мог оказаться в Сибири или еще черт знает где...» [182]). Будучи студентом, Лем отказался от вступления в комсомол, когда ему как «отличнику» это предложили, прибегнув к уловке: уверяя комиссию, что вступление в комсомол является его давнишней мечтой, он утверждал, что к вступлению еще не готов духовно и ему нужно еще подучиться, прочитать труды классиков марксизма-ленинизма. Об этом Лем вспоминал

неоднократно, например так: «Я был тогда восемнадцатилетним щенком и меня как “отличника” вербовали в комсомол на так называемом Медфаке, а я выкрутился обманом, за который держался, как пьяный за забор: *pop sum dignus* [я недостойн (лат.)], ибо я сначала домарксистничиться должен соответствующим знанием, и повторял это, пока из прекрасного зала на аллее Мицкевича (где белое барокко) меня не выгнали» [159]. В это же время Лем начал писать стихи, увлекался моделированием, с чем связано небольшое приключение, о котором Лем вспоминал так: «Построил когда-то маленькие пушки и танки, после чего их сфотографировал. Отец предупреждал меня: не сдавай это в фотоателье. Я, однако, сдал, а когда пришел за фотографиями, хозяин ателье говорит: кто-то ждет вас в кабинете. Я поднялся по ступенькам вверх, а там уже ждал энкавэдист. “А это что такое?” Закончилось это ничем, только погрозил мне пальцем...” [204, s. 39].

22 июня 1941 г. началась новая война. После захвата Львова фашистской Германией Лему пришлось под командованием немцев выносить из подвалов тюрьмы разлагающиеся трупы заключенных, расстрелянных советскими военными при отступлении. Чтобы иметь средства для выживания, Лем устроился на работу в качестве автомеханика и сварщика в гаражах немецкой фирмы, занимающейся сбором сырья для военной промышленности (путем разбора поврежденной в боях немецкой и советской военной техники). Лем вспоминал: «Зеленое водительское удостоверение для непрофессионалов, которое я получил вследствие своего усердия и большого количества работы, очень мне пригодилось во время немецкой оккупации, благодаря ему я мог работать автомехаником в одной фирме, которая находилась на службе “Четырехлетнего плана” Германа Геринга. Вскоре в мастерских этой фирмы меня посвятили в тайну, как в рамках так называемого “небольшого саботажа” можно было заниматься патриотической деятельностью, то есть так готовить машины, чтобы авария случилась не сразу. Это объясняет и определенную одно-

сторонность моего автомобильного обучения: ломать автомобили я могу намного лучше, чем ремонтировать» [122]; «В гараже было на редкость удобно заниматься саботажем. Засыпать в бак немного песочка, надрезать тормозные шланги» [203]. Там же Лем «сделал одно приспособление, чтобы машины почаще ломались» [79]. Тем самым во время работы Лем столкнулся с польской подпольной организацией Армии Крайовой, для которой доставал — без непосредственного вступления в нее — взрывчатые вещества для борьбы с немцами («когда во время немецкой оккупации с территории бывшей Восточной ярмарки во Львове я выносил под комбинезоном мешочки со взрывчаткой и полные патронов плоские магазины для ручных автоматов Дегтярева, мысль о том, что вынесенное мной, возможно, уколошит кого-нибудь из немцев, приятно меня удовлетворяла» [178, s. 205]). Лему «было приятно чувствовать, что (...) причастен к какому-то патриотическому делу» [203]. Хорошо зная немецкий язык, «хотел принять участие в пропагандистской акции “N”, направленной на немецких солдат: получил в качестве образца “Reich” со статьями Геббельса, чтобы дать ему контрответ, но оказалось, что знание немецкого языка является недостаточным, сделал ошибки, скорее всего грамматические, а такие листовки должны быть написаны на хорошем немецком языке» [204, s. 44].

В один из моментов Лем фактически спас жизнь своим родителям, организовав их побег со сборного пункта, где собирали евреев для дальнейшего решения их судьбы. Благодаря фальшивым документам семье Лема удалось избежать заключения в еврейское гетто и пережить немецкую оккупацию. Летом 1942 г. Лему приходилось часто бывать в львовском гетто и непосредственно наблюдать поведение людей, которые уже знали о своей участи [123]. Какое-то время Лем укрывал своего товарища-еврея и поэтому в декабре 1942 г. из-за угрозы разоблачения был вынужден бросить работу, срочно поменять место жительства и документы — под именем Ян Донабидович стал жить в здании Львовского

ботанического сада рядом с городским кладбищем. Тогда же на старой квартире он оставил все свои ранее написанные стихи, которые, как он позднее говорил, «были очень плохие, но мне очень нравились, и когда во время оккупации я оставил их в “спаленной” квартире, был глубоко уверен, что национальная культура понесла великую утрату. Если бы гестаповцы знали польский язык и прочитали эти черновики с патриотическими опусами, они были бы поражены!» [16, с. 14-15]. К этому времени львовское гетто в основном было ликвидировано; неоднократно Лем слышал разрывы гранат на кладбище — это гитлеровцы уничтожали в кладбищенских склепах сбежавших из гетто и прятавшихся там евреев. За время немецкой оккупации, как позднее писал Лем, «мало кто уцелел из моей семьи, кроме отца и матери только два кузена со стороны отца и матери и одна более дальняя кровная родственница» [103]. Лем был вынужден жить уже на иждивении отца, занимавшегося лечебной практикой. При этом у будущего писателя появилось много свободного времени, и под впечатлением от книг Герберта Уэллса он написал свой первый роман — «Человек с Марса», который «в семье читали по вечерам, но к которому никто (...) не относился всерьез» [76].

27 июля 1944 г. в рамках Львовско-Сандомирской операции Львов был освобожден от немцев. Выжившим местным жителям перед специальными органами предстояло доказывать свою поддержку советской власти, доказывать отсутствие своего сотрудничества с немцами. Предстояло это и Станиславу Лему, при этом его работа на немецкую фирму могла расцениваться двояко: как просто работа, чтобы выжить, так и как сотрудничество. И вот здесь Лему пригодилось его детское увлечение моделями техники и конструированием. 17 октября 1944 г. от имени Станислава Лема в адрес Народного комиссариата оборонной промышленности СССР (правда, в то время этот наркомат назывался уже иначе) поступил “Реферат по вопросу технических усовершенствований и новых конструкций для военной промышленности” (хранится в Центральном

архиве Министерства обороны РФ). В реферате в начале Лем написал, что по независящим от него причинам в 1941 г. он не мог покинуть Львов вместе с Красной Армией и вынужден был остаться на оккупированной территории и скрываться, а в последние месяцы в ожидании освобождения Львова Красной Армией он все свои знания и усилия направил на усовершенствование военной техники, чтобы тем самым, если это будет возможно, внести свой вклад в скорейшую ликвидацию самого страшного в истории террора. В реферате Лем представил описание конструкций предлагаемых им тактических вооружений: тяжелого танка большого размера, колесных танков, реактивного снаряда... Лем выдержал проверку спецслужб и смог приступить к новой жизни. (Кстати, отцу автора этих строк, который в Западной Беларуси, бывшей как и Львов до 1939 г. Польшей, тоже, как и Лем в 1941 г., «по независящим от него причинам» избежал призыва в Красную Армию, а во время немецкой оккупации работал мельником и в собственном крестьянском хозяйстве, лояльность доказать не удалось, и как результат: получил минимальный срок за измену Родине (за «дизертирство» в 1941 г.) — десять лет лагерей, который отбыл на золотых приисках в Якутии в районе Оймякона.)

Лем продолжил обучение на втором курсе в Медицинском институте (организованном из медицинского факультета университета), тогда же попытался заняться наукой — стал работать над трудом «Теория функции мозга», начинал писать рассказы. В конце лета 1945 г. семья Лема, не желая принимать гражданство СССР, вынуждена была уехать в Польшу, оставив во Львове два дома и почти все имущество, на приобретение которых отец Лема работал всю жизнь («Мои родители, а особенно отец, так сильно верили в союзников, что те отстоят Львов для Польши, что ожидали этого мы слишком долго. Выехали только тогда, когда нам сказали: или уезжайте, или получайте советские паспорта» [204, s. 52]). Семья переехала в Краков, поселилась в отдельной комнате в двухкомнатной

квартире вместе с коллегой отца. Для них наступили годы борьбы с бедностью. По просьбе отца Лем возобновил учебу — на этот раз на третьем курсе медицинского факультета Ягеллонского университета. Несмотря на пенсионный возраст и болезнь сердца, отец Лема вынужден был устроиться на работу в больницу, чтобы хоть как-то содержать семью.

II. УТОПИЧЕСКИЙ ПЕРИОД

Поиском средств к существованию в Кракове активно занялся и студент-медик Станислав Лем, в том числе обивая пороги различных редакций со своими первыми литературными произведениями. Для начала ему удалось в 1946 г. опубликовать в еженедельнике «Nowy Świat Przygód» («Новый мир приключений», Катовице) привезенный из Львова роман «Человек с Марса» (тридцатью одной частью), что явилось его литературным дебютом, в котором автор демонстрировал невозможность установить контакт-взаимопонимание с инопланетянами; в дальнейшем это явится лейтмотивом всей его научно-фантастической прозы.

В 1946-1948 гг. в первую очередь с целью заработка он опубликовал стихи в юмористической газете «Kosynkr» и католическом еженедельнике «Tygodnik powszechny» («Всеобщий еженедельник», Краков, стихи в тринадцати номерах), а в различных периодических изданиях рассказы на военную тему, в том числе на основе и своего личного опыта: «Аванпост» (о ликвидации еврейского гетто), «Гауптштурмфюрер Кёстниц» (о поведении людей в концлагере), «"Фау" над Лондоном» (о немецкой бомбардировке Британии), «День "Д"» (об открытии второго фронта в Нормандии), «Новый» (о боевых столкновениях польских соединений с немецкими), «КВ-1» (о наступательной операции с участием советского танка), «Встреча в Колобжеге» (об освобождении польских приморских земель), военно-шпионские рассказы с элементами фантастики «План

«Анти-Фау»» (деятельность британских шпионов в Германии при испытании гитлеровцами фантастического оружия массового уничтожения), «Атомный город» (разоблачение немецкого шпиона в США на одном из секретных заводов по производству атомного оружия) и «Человек из Хиросимы» (о британском шпионе в Японии), сатирические рассказы об американской действительности с элементами фантастики «Конец света в восемь часов» (не совсем нормальный ученый-изобретатель получает субстанцию, уничтожающую материю, и грозит уничтожить мир) и «Трест твоих грез» (о фирме, исполняющей желания), фантастический рассказ «Чужой» (о вечном двигателе на фоне немецкой бомбардировки Британии), рассказ поэтической прозой «Седьмой день» (он же философское эссе о создании Вселенной и человеке), «производственный» рассказ «История о высоком напряжении» (о восстановлении электростанции на бывших немецких землях, после войны отошедших Польше), рассказ «История одного открытия» (о молодом исследователе, испытывающем на себе лекарство против рака), романтический рассказ «Сад тьмы», в котором в качестве героя вставной новеллы появляется Астронавт — звездный путешественник. Все перечисленное выше в этом абзаце на русском языке недавно издано в сборнике «Хрустальный шар» [19]. Был написан еще один рассказ — «Смерть Подбиенты» (о Варшавском восстании и гибели одного из участников на сохранившейся стене разрушенного здания от пуль немецких снайперов), но он потерялся в редакторских кабинетах [382]. В газете «Tygodnik powszechny» Лем опубликовал еще две рецензии на книги стихов польских поэтов и две рецензии на польские фильмы. А также еще подрабатывал корректором, переводил с русского языка книги об откорме домашнего скота, ремонтировал автомобили.

Сыграл свою положительную роль и научный труд «Теория функции мозга», который был переработан и дописан уже в Кракове (всего получилось более двухсот машинописных стра-

ниц). Его Лем показал доктору философии Мечиславу Хойновскому. Тот работу раскритиковал, сказал, что она не имеет никакой ценности и все написанное в ней — полный вздор. Но при этом распознал у Лема задатки настоящего ученого и поэтому стал его научным наставником, начал давать читать книги из своей библиотеки, настоятельно рекомендуя изучить английский язык, ибо считал, что знания немецкого, французского и русского языков явно недостаточно. В это же время как весьма активный организатор Хойновский основал Научно-исследовательский лекторий ассистентов Ягеллонского университета и от его имени обращался к многочисленным научным организациям, главным образом в Северной Америке, с просьбой присылать книги для совершенно запущенной польской науки. И вскоре книги начали поступать целыми пачками. Видя такие сокровища, недоступные в языковом отношении, Лем изо всех сил занялся английским. И началось изучение английского с «Кибернетики» Норберта Винера, которую он читал медленно, страница за страницей, со словарем в руках. Лем поглощал одну за другой книги, которые приходили для лектория (потом они передавались в университеты), при этом преимущественно он «изучал астрономию, кибернетику, а прежде всего — историю науки, методологию, поэтому чаще историю физики чем саму физику. Это обеспечивало возможность обозрения “с высоты птичьего полета”, формировало ощущение относительности всех знаний. (...) Изучал также биографии людей, которые совершили перевороты в науке, например Эйнштейна, к которому испытывал особое расположение. (...) От этого сохранилось уважение к научному творчеству, выходящему за границы эрудиции...» [57].

Вместе с этим Хойновский организовал издание ежемесячника «Życie Nauki» («Жизнь науки»), и Лем начал писать для него преимущественно аннотации и рецензии на самые разнообразные книги, как, например, на сборник выступлений и статей М.И. Калинина «О коммунистическом воспитании»

[26] или на книгу Т.А. Эдисона «Дневник и различные наблюдения» [28]. При этом Лем — тогда еще студент-медик — часто не считался с авторитетами, мог себе позволить выражения типа: «статья профессора (...) содержит ряд методологических неточностей» [24], или «книжечка доктора медицины (...) — это сильно концентрированный экстракт чепухи, оформленный в как бы выполненный от руки рисунок Вселенной» [21], или «хотя Эдисон многократно повторяет, что люди “слишком редко пользуются серой субстанцией своего мозга”, сам часто своим клеткам мозга находит не лучшее применение; в пророчествах, должных представить будущие судьбы мира, допускает многочисленные ошибки социологической и психологической природы, часто также демонстрирует незнание элементарных вещей» [28]. С 1947 г. Лем вел в журнале постоянный обзор польской и зарубежной науковедческой прессы и книг. Особо интересовала Лема «наука о науке», что нашло свое воплощение в таких статьях, как «Из исследований психологии ученых» [22], «Зачем занимаются наукой?» [25], «Задачи и методы популяризации науки за рубежом» [29], «Будущее исследований в медицинских науках» [30], «Популяризация науки в Советском Союзе» [33].

Кроме этого Хойновский при самом непосредственном участии Лема занялся психологическими (психометрическими) исследованиями при помощи тестирования, в первую очередь так называемых «тестов Роршаха», и анкетирования. Они несколько лет оценивали уровень абитуриентов и студентов, чтобы отбирать способных к учебе, сравнивали действительные достижения студентов медицинского факультета с успехами, предсказываемыми тестами, анализировали качество тестов, занимались разработкой анкет. Лем вспоминал: «Оказывается, результаты исследований следует рассматривать под знаком вопроса, потому что в большой степени они зависят от личности того, кто осуществляет такие исследования. Я пытался тогда автоматизировать обработку протоколов, но это оказалось невозможно» [253].

В 1948 г. в одном из номеров журнала Лем опубликовал информацию о сессии «Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук, на которой ее президент академик Т.Д. Лысенко говорил о ситуации в биологических науках в СССР» [27]. Лем писал, что «в своей речи академик Лысенко выступил против общепризнанной во всем мире генетики, названной им вейсманизмом-менделизмом-морганизмом, обвиняя ее в расхождении с фактами, политической реакционности, идеалистических тенденциях, а также в антинаучном представлении проблемы наследственности. Он утверждал, что история биологии — это история борьбы: материализма с идеализмом на этом поле, при этом признал идеалистические теории и тенденции тождественными реакционно-капиталистическим, материалистические же — прогрессивными и научными». Далее в этой статье (основанной на опубликованных в газете «Правда» материалах сессии и последовавшей дискуссии) Лем представил основные тезисы из выступления Лысенко и основные положения дискутирующих, при этом непропорционально много места уделил представлению мнения критиков теории Мичурина — Лысенко. В одном из последующих номеров журнала в «Науковедческом обзоре иностранных изданий» также были представлены как работы сторонников Лысенко, так и такие, которые содержат «обстоятельное обсуждение современных теорий наследственности, связанных с генами (в библиографии 65 названий)» [31, s. 562]. Партийными органами все это было воспринято как поддержка противников «единственно верной материалистической теории наследственности» и в то время не могло пройти без последствий (первая статья не была подписана, а Хойновский автор — Лема — не выдал, приняв весь удар на себя; под второй статьей стояли подписи и Хойновского, и Лема). Были в журнале и другие «неправильные» с точки зрения руководства публикации. Не помогло даже опубликование «Плана мероприятий по популяризации науки» [32], в соответствии с которым лекторий брал на себя функцию координации деятельности различных науч-

ных клубов по интересам. В качестве одной из тем для подробного исследования в таких клубах предлагалось «Получение вегетативных гибридов методом Мичурина», что предусматривало «А) Ознакомление с теоретическими работами Мичурина и Лысенко (чтение избранных разделов “Агробиологии” Мичурина, протоколов ВАСХНИЛ от августа 1948 г., а также соответствующих статей и переводов в польских научных изданиях). В) Проведение исследований на объекте (школьный сад, огород, исследовательская станция). Получение вегетативных гибридов методом вегетативного сближения посредством прививки. Подбор соответствующих пар для скрещивания. Скрещивание дальше (межвидовое). Технология гибридизации: кастрация цветов, изоляция, сбор и подготовка пыльцы, опыление. С) Составление таблиц, иллюстрирующих ход исследований, как научных пособий для школ». В качестве воспитательного и образовательного значения этой работы признавалось, что «а) члены клуба познакомятся с новейшими прогрессивными биологическими теориями, б) благодаря проведенным исследованиям непосредственно сами убедятся в справедливости теоретических тезисов, с) в дальнейшем результаты их исследований могут явиться стимулом для распространения растений, применимых в нашем садоводстве и огородничестве».

Но все равно в конце 1949 г. Хойновского уволили с должности главного редактора, сам журнал перевели в Варшаву, а лекторий прекратил свое существование, прекратились и работы по тестированию абитуриентов и студентов, ибо они стали восприниматься как «выдумки буржуазной науки». Последней статьей Лема в этом журнале — подготовленной еще до организационных изменений, но опубликованной уже в первом варшавском номере — была рецензия на изданную в СССР книгу о М.В. Ломоносове, в которой Лем о российском ученом написал: «Михаил Ломоносов всесторонностью своих научных интересов, технической изобретательностью и талантом в области искусства напоминает великих мыслителей и творцов

эпохи Возрождения, а среди них более всего, возможно, Леонардо да Винчи» [34].

Встреча с Хойновским стала переломным моментом в интеллектуальном развитии Лема, который вспоминал: «Хойновский воспитал меня, то есть так установил стрелки направления моего умственного развития, что я не поддался красной паранойе» [258, Т. 31, s. 340], «совершенно точно вывел меня на путь настоящей науки и настоящего видения мира, за что я благодарен ему на всю жизнь» [16, с. 54]. При этом Мечислав Хойновский приобщил Лема к философии неопозитивизма, сторонником которой сам являлся. Это более всего соответствовало образованию и взглядам самого Лема, и он оставался приверженцем этой теории (неопозитивизма, аналитической философии) всю жизнь.

Все это происходило параллельно занятиям медициной; еще будучи студентом, Лем в 1947 г. опубликовал научную статью о злокачественных опухолях в медицинском еженедельнике [23]. Учеба проходила не без приключений. Однажды студент Лем, во время подготовки к экзамену по акушерству и гинекологии, был задержан Управлением безопасности, когда решил на короткое время заглянуть к своему другу Ромеку Хусарскому: «Попросил мать, чтобы разогрела мне кофе, потому что скоро вернусь. Вернулся же через три с половиной недели, потому что (...) попал в облаву. Проблема была не в Ромеке, а в его субквартиранте, который, впрочем, ночью сбегал через окно по связанным простыням; очень уж на нас кричали за это» [204, s. 61-62]. Поэтому и держали столь длительное время в здании Управления безопасности. При этом Лем отмечал, что «однако солидарность людей в то время была очень большой, ибо когда я выбросил через окно записку, адресованную моему отцу, через полчаса он ее уже получил» [204, s. 62].

В 1948 г. Лем завершил учебу в университете, но не стал сдавать последние экзамены, решив избежать работы военным врачом. Не видел Лем свою жизнь в каком-нибудь удаленном

от крупных городов гарнизоне без библиотек и книжных магазинов! Диплома врача он так и не получил, но по специальности все-таки поработал — акушером в роддоме. Лем вспоминал: «В течение месяца я работал в родильном отделении, принял двадцать шесть или двадцать семь родов в качестве уже, собственно говоря, врача. Тогда я убедился, что все это ужасно кроваво. Я также ассистировал при кесаревом сечении — когда перерезается оболочка матки, то извергаются околоплодные воды, окрашенные кровью. Это столько крови, что работают в белых резиновых калошах. Действительно, зрелище не самое приятное. Это была одна из причин, из-за чего я бросил медицину, которую не любил, а занялся ею, потому что этого хотел отец» [359, s. 42]; и об этом же: «В 1948 г. как выпускник медицинского факультета я месяц проработал в акушерской клинике в Кракове и ассистировал при появлении на свет — не мешал, немного помогал — двадцати шести детей. С трудом пережил эту практику, особенно в связи с одной историей. Одна женщина, очень желающая иметь ребенка, родила его мертвым. (...) Провели короткое совещание, кто должен этой бедной роженице сообщить, что ее ребенок умер, — и, естественно, это поручили мне как самому молодому в коллективе, и тогда я подумал, что обязательно должен удрать из медицины» [186]. Тогда еще Лем не исключал, что мог бы заниматься биологической наукой. Даже опубликовал еще две научные статьи в научно-популярном журнале: об исследованиях мозга при помощи электроэнцефалографии [35] и о состоянии дел в лечении онкологических заболеваний [38], причем в первом случае в журнале Лем был представлен как биолог, а во втором — как врач. Но после последовавших успехов на литературном поприще от мысли о карьере биолога Лем отказался. И поэтому уже при третьей публикации в этом же журнале он был представлен как писатель [43].

В 1948 г. Лем закончил реалистический роман «Больница Преображения» о немецкой оккупации Польши и ликвидации больницы для лиц с психическими отклонениями. Но если

раньше начинающему писателю для публикации произведений нужно было в первую очередь обращать внимание на их художественные достоинства, то к 1949 г. ситуация в Польше изменилась, и в литературе уже следовало строго придерживаться метода социалистического реализма, то есть выдавать произведения реалистические по форме и социалистические по содержанию в соответствии с идеалами марксизма-ленинизма, за чем следила набравшая силу цензура (и, скорее всего, такой рассказ, как «КВ-1» [19, с. 174-189], цензура уже бы не пропустила). Поэтому, несмотря на все усилия, роман не удалось издать до 1955 г. Признанный чиновниками от литературы идеологически ошибочным, по их настоянию роман был доработан и дополнен автором еще двумя частями: «Среди мертвых» (события периода войны, в том числе ликвидация еврейского гетто, и хотя город не называется, но по многим признакам можно узнать родной город писателя — Львов) и «Возвращение» (события послевоенного времени), появился там, например, такой персонаж, как коммунист, гениальный математик Вильк Карл Владимир, встречается и такой тост: «Дорогие товарищи! Давайте выпьем за исполнение наиболее частных, наиболее личных желаний всех коммунистов мира, ибо если они исполнятся, то не будет уже никаких других людей — будут только счастливые...», все вместе это составило трилогию «Неутраченное время» [50] (первоначальное название — «Огненная река»).

В это время Лем оказался в неопределенном положении — ни студент (ибо закончил обучение в университете), ни врач (не сдал выпускные экзамены и поэтому не получил диплом), ни писатель (не член Союза польских писателей, ибо не было изданной книги, хотя и была написана), но все-таки решил стать писателем, поэтому выполнял рекомендации по доработке трилогии «Неутраченное время» (для чего неоднократно выезжал в издательство в Варшаву, но доработки касались только второго и третьего томов, а первый том — «Больница Преображения» — фактически не был подвергнут изменени-

ям). Также был вынужден — «по совету» — прекратить сотрудничество с католическим еженедельником «Tygodnik powszechny», а иначе были бы большие проблемы с публикацией статей и рассказов и изданием книг.

А в 1951 г. у Лема наконец-то появилось первое книжное издание: научно-фантастический роман «Астронавты» о космической экспедиции на Венеру. Роман был написан в течение нескольких месяцев по неожиданному для самого автора заказу от варшавского издательства, который последовал после знакомства на отдыхе с главным редактором издательства и бесед с ним на литературные темы, в том числе о польской фантастике и ее отсутствии в то время; в одной из бесед с издателем Лем сказал, что смог бы написать фантастический роман. В романе автор описывал прекрасное коммунистическое будущее, развитие техники для блага человека и саму экспедицию на Венеру (ибо после исследования остатков тунгусского метеорита стало известно, что это был космический корабль, прибывший с Венеры с враждебными намерениями). В польской прессе появилось несколько критических статей об этом романе: как положительных, так и крайне отрицательных. В полемику с критиками вступил и Лем, отмечая, что один критик «ругает роман за то, чего в нем нет, но что по мнению критика присутствует (метафизическая этика, образ нашей эпохи как времени “беспорядка”)», другой «ругает за то, чего в романе нет принципиально (не показал жителей Венеры)», хотя «в романе наверняка есть немало ошибок — во всяком случае достаточно для критики, так что для этой цели нет необходимости выходить за рамки текста» [39]. После выхода этой книги Лем был принят в Союз польских писателей и у него уже не было необходимости где-либо работать — он стал профессиональным писателем, живущим исключительно за счет гонораров. В 1972 г. при переиздании романа автор написал: «Признаю, что удивился бы, если б “Астронавты” оставались постоянным источником моих заработков. Считаю, что если кто-нибудь вообще обратится к

этому тому через очередные двадцать лет, то уже не затем, чтобы погрузиться в смелое фантазирование, а скорее, чтобы улыбнуться над его страницами, как мы иногда улыбаемся над страницами Жюль Верна. Потому что к тому времени “Космократор” и “Маракс” покроются налетом старины. Но дождутся ли они такого почетного положения — это вопрос» [78, s. 7].

Для одного из театральных конкурсов Лем вместе со своим другом Ромеком Хусарским написали пьесу «Яхта “Парадиз”», премьера которой состоялась в Ополе в апреле 1951 г. и которая была еще поставлена в Лодзи и Щецине, в последнем городе состоялось более шестидесяти спектаклей. Как автору Лему пришлось присутствовать на многих из них. Для программы спектакля в Щецине авторы написали сопроводительный текст, в котором говорилось, что американское правительство «последовательно осуществляет фашизацию жизни во всех ее направлениях. Методы фашизма применяются также в мире науки. В нашей пьесе мы хотели показать судьбу одного из выдающихся ученых, которого военно-правительственные круги пытаются заставить работать над атомным оружием. Перед таким человеком стоит альтернатива: или — если у него недостаточно порядочности и мужества — идти на службу вашингтонским хозяевам, или — если он не хочет свои знания обратить на погибель человечества — ему остается только побег или самоубийство» [37]. Рецензии в прессе были восторженные, хотя сам Лем впоследствии говорил, что «с творческой точки зрения эта вещь в любом отношении была страшной, хотя (...) на фоне полного энтузиазма пения радостных трактористов, раздающегося из глоток актеров под управлением иных драматургов, это выглядит не так чудовищно» [16, с. 70]. В это же время Лем опять же с другом Ромеком с большим трудом получили специальное разрешение Военного округа, которое позволяло им ездить по окрестностям и собирать лом (запчасти) военной техники — они мечтали постро-

ить настоящий электромобиль, взяв за основу полустогоревший «мессершмитт». Но до конца эту работу не довели.

В 1955 г. также в виде книги вышли упомянутая выше трилогия (философско-моральный трактат) «Неутраченное время», которую писатель посвятил отцу, к сожалению, немного не дожившему до издания книги, и научно-фантастический роман о первой межзвездной экспедиции человечества в XXXII веке «Магелланово облако», в котором автор оптимистически представляет будущее, но при этом попытка контакта с жителями иных миров также заканчивается неудачей. Писатель посвятил роман жене Басе — Барбаре Лесьняк в девичестве, на которой он женился в 1953 г. после нескольких лет знакомства («Моя будущая жена указала мне от ворот поворот; попытки, возобновленные через полтора года, дали лучший результат» [131, s. 311]) и которая на девять лет младше писателя и тогда была студенткой-медиком. Написание романа было закончено в том же 1953 г., но публикация была более чем на год задержана цензурой главным образом из-за того, что рецензенты распознали, что в романе под названием «механоэвристика» (mechaneurystyka) скрывается «кибернетика», в то время признаваемая как «реакционная лженаука, возникшая в США» и считавшаяся «не только идеологическим оружием империалистической реакции, но и средством осуществления ее агрессивных военных планов» (цитата из «Краткого философского словаря» 1954 г.). Но к моменту первого издания «Магелланова облака» на русском языке «кибернетика» в СССР уже была «реабилитирована», в 1958 г. была опубликована книга Норберта Винера «Кибернетика», поэтому с самого первого издания книги на русском языке «mechaneurystyka» уже переводилась просто как «кибернетика». В романе автор описал и некоторые технические решения, которые в большей или меньшей степени воплощены к настоящему времени, что отмечал сам писатель: «В “красной утопии” (...) можно найти по крайней мере два вида прогнозов, реализованных в последующие сорок лет. То, что сейчас называется

data base и является основным информационным ресурсом, предназначенным для различных экспертов или “сетевиков” (я имею в виду Интернет), в “Магеллановом облаке” я назвал трионами... А так называемая видеопластика — это предвосхищение виртуальной реальности: мои астронавты, хоть и живут в замкнутом космическом корабле, могут испытывать ощущения, будто находятся в джунглях, на море и т.д.» [15, с. 373]. Здесь же Альберт Эйнштейн был использован автором как прототип ученого Гообара. В 1953-1954 гг. в сокращенном почти наполовину варианте роман «Магелланово облако» предварительно публиковался в еженедельнике «Przekrój», при этом журнальная версия во многом отличалась от последующей книги — хотя бы тем, что для публикации в журнале автор специально так формировал небольшие фрагменты романа, чтобы они заканчивались на самом интересном месте. Публикация романа в журнале завершилась обращением к читателям, в котором Лем ответил на наиболее типичные письма, пришедшие в редакцию, и объяснил, почему не стал описывать жителей далекой планеты и, более того, не собирается делать такие описания в будущем: «Не хотел! (...) Не хотел потому, что считаю, что тогда попал бы в так называемую “blague pure”, то есть чистую выдумку и вранья. (...) Если задуматься над тем, откуда можно почерпнуть знания (хотя бы даже самые начальные) о внешнем виде таких существ, то окажется, что их почерпнуть неоткуда. (...) О существах с другой планеты я не пытался что-либо говорить кроме того, что они существуют — потому, что о них ни наука о развитии общества, ни какая-либо иная область знания ничего сегодня нам сообщить не может. Если бы захотел эти существа описывать, то пришлось бы полностью положиться на воображение, причем не на 80 или даже не на 90, а на все 100 процентов — а делать это (по крайней мере, всерьез) я не люблю» [45].

В начале 1950-х гг. кроме фрагментов романов в периодических изданиях публиковались и отдельные рассказы Лема,

которые впоследствии были включены в сборники научно-фантастических рассказов «Сезам» (подготовлен к печати в марте 1954 г.) и «Звездные дневники» (подготовлен к печати в сентябре 1956 г.). В сборник «Сезам» были включены рассказы «Топольный и Чвартек» (о методах научных исследований), «Хрустальный шар» (о разработке биологического оружия), «Сезам» (о суперкомпьютере, наделенном искусственным интеллектом, — в последующем одна из основных тем в беллетристическом и научном творчестве Лема), «Electric Subversive Ideas Detector» (о детекторе лжи — машине для исследования лояльности, жертвой которой становится и сам ее создатель), «Клиент ПАНАБОГА» (о религиозных сектах, ПАНАБОГА — это Панамериканское Бюро Обслуживания Грешников-Атеистов), «Агатотропный гормон» (о субстанции для принуждения к деланию добра, этот гормон под таким же названием упоминался еще в пьесе «Яхта “Парадиз”», а развитие тема получила в некоторых более поздних произведениях писателя). По прошествии времени о рассказе «Топольный и Чвартек» автор говорил, что «это самая соцреалистическая мерзость, которую я когда-либо написал» [16, с. 76]. Но при этом в августе 1999 г., выступая с докладом «О будущем науки» на проходившем в Кракове XI Международном конгрессе логики, методологии и философии науки, Лем отметил, что «в рассказе “Топольный и Чвартек” содержалось, среди прочего, предположение о возможности существования отсутствующих в природе стабильных сверхтяжелых элементов и даже предложил методы (неверные) их синтеза. Среди прочего (...) высказывалось предположение о возможности существования “островов стабильности” элементов с атомной массой большей, чем у урана. Сегодня о таких “островах” уже говорят физики, а в СССР сумели получить сверхтяжелые элементы с периодом распада, исчисляемым микросекундами» [202]. То есть, опять-таки имея в виду в том числе и этот рассказ, «удачные предсказания могут прятаться в неудачных с литературной точки зрения произведениях (et vice versa)» [15, 373-

374]. В предисловии к первой публикации рассказа «Клиент ПАНАБОГА» автор написал: «События этого рассказа происходят в Соединенных Штатах, и потому читателю, как думаю, сложно сориентироваться, что в нем взято из действительности, а что происходит из фантазии автора, тем более, что во многие представленные в нем факты невозможно поверить человеку, не знакомому со своеобразными условиями, в которых в Америке действуют многочисленные религиозные секты. Поэтому, чтобы не стирать границу между реальностью и фантазией, хочу подчеркнуть, что все детали, описывающие особенности религиозности американцев, являются полностью подлинными. Я их почерпнул исключительно из американских источников, главным образом из прессы, моей задачей было только представление их и объединение в единое целое в соответствии с первоначальным замыслом» [44].

Кроме этого в сборнике «Сезам» впервые появился цикл «Звездные дневники Ийона Тихого» (продолжавший весь творческий путь писателя цикл сатирических и гротескных рассказов, повестей и романов о жизни, деятельности, путешествиях Ийона Тихого) в следующем составе: «Предисловие» (в котором Ийон Тихий представлен как «знаменитый звездопроходец, капитан дальнего галактического плавания, охотник за метеорами и кометами, неутомимый исследователь, открывший восемьдесят тысяч и три мира, почетный доктор университетов Общих Медведиц, член Общества по опеке над малыми планетами и многих других обществ...» [5, с. 7], а также достойный последователь барона Мюнхгаузена и Гулливера), «Путешествие двадцать второе» (о невозможности жизни на Земле, а также о религиозном миссионерстве), «Путешествие двадцать третье» (о расщеплении организма на атомы и восстановлении по «атомной персонограмме»), «Путешествие двадцать четвертое» (о цивилизации Индиотов, решающей проблему перепроизводства), «Путешествие двадцать пятое» (об эволюции случайно занесенного на иную планету картофе-

ля), «Путешествие двадцать шестое и последнее» (об охваченной маккартизмом Америке, где герой оказывается в тюрьме).

В сборник «Звездные дневники» были включены рассказы «Существуете ли вы, мистер Джонс?» (о протезировании человека), «Крыса в лабиринте» (о пришельцах из космоса), «Конец света в восемь часов» (упоминался выше, для сборника был фактически переписан заново), а также в полном составе рассказы цикла «Звездные дневники Ийона Тихого» из сборника «Сезам», дополненные рассказами «Путешествие двенадцатое» (испытание замедлителя, а также ускорителя времени), «Путешествие тринадцатое» (посещение планеты, жители которой готовятся к будущему подводному существованию (аллегория тоталитаризма), а также планеты, на которой все жители занимают различные должности по лотерее на один день), «Путешествие четырнадцатое» (восстановление погибшего организма по заранее сохраненной информации о нем, а также «охота на курдлей»). При описании путешествий Ийона Тихого автор стал очень широко использовать неологизмы — а как же иначе можно было описать явления, существа, предметы, отсутствующие на Земле. Тем самым писатель поставил сложные задачи своим будущим переводчикам, особенно переводчикам на не славянские языки.

К середине 1950-х гг. у Лема появились первые переводы на иностранных языках: книга «Астронавты» на венгерском (в 1954 г.) и немецком (в ГДР в 1954 и 1955 гг.), отдельные рассказы в различных иноязычных периодических изданиях, в том числе и на русском языке. Появилось первое опубликованное интервью с писателем (точнее, запись вопросов и ответов на встрече писателя с читателями) — под достаточно символическим названием «“Сказкописатель” для взрослых» [52], появились и статьи о его произведениях, в том числе и на русском языке [298; 284].

Определенное влияние на творчество Лема оказал его «заклятый друг» инженер Евстахий Бялоторский — автор нескольких научно-популярных книг, который в своих пись-

мах в редакции газет и журналов обвинял писателя в том, что тот вводит читателей в заблуждение своими псевдонаучными рассказами, в которых представляет научные и технические достижения, которые в действительности в принципе не могут быть созданы, ибо противоречат, например, законам Ньютона и работам Циолковского. Вначале на критику своих явных ошибок, «что такая ракета, как “Космократор”, не могла бы долететь до Венеры», Лем ответил в юмористическом стиле, что, безусловно, «до сих пор большинство читателей “Астронавтов” считало, что автор этой книги разрешил все трудности, стоящие на пути осуществления космических полетов при помощи атомной энергии и тем самым стал в ряд самых выдающихся изобретателей мира», а теперь же, после критической статьи, «никто не будет пытаться конструировать ракету, основываясь на информации, содержащейся в “Астронавтах”, и тем самым не обречет себя на неприятное разочарование» [43]. Но затем в качестве ответа на подобную критику (в частности, на письмо Бялоборского под красноречивым названием «Сезам Абсурдов») Лем опубликовал фактически свой «творческий манифест»: «От каждого литературного произведения, а значит и от научно-фантастического, следует требовать обобщенной правды, представления типичных явлений, а не натуралистической копии жизни, использующей адресную книгу, персональную анкету и таблицу логарифмов» [46]. И уже в дальнейшем в своих произведениях не углублялся в научно-технические подробности используемых героями космических кораблей, различных устройств и механизмов.

Одновременно с этим, в первую очередь «ради денег», Лем публиковал статьи преимущественно на научно-технические и литературные темы в еженедельниках «Nowa Kultura» («Новая культура», Варшава, 18 публикаций в 1951-1956 гг.: о научно-техническом прогрессе, развитии атомной энергетики, капитализме и политике США, гонке вооружений, развитии цивилизации, поэзии Гарсиа Лорки, научной фантастике, польской литературе), «Życie Literackie» («Литературная жизнь», Краков,

10 публикаций в 1953-1956 гг.: о писательском творчестве, польской и русской литературе, специально о Ф. Достоевском, атомной энергетике, астронавтике) и других; неоднократно писал об угрозе третьей мировой — уже атомной — войны; семь из этих статей впоследствии были включены в сборник «Выход на орбиту» [58], а две даже переведены на русский язык: 1) Лем С., Небольшая импровизация. — Вопросы литературы, 1964, № 8, с. 66-69; 2) Лем С., Предисловие. — В кн.: Жулавский Е., На серебряной планете: Рукопись с Луны. — М.: Мир, 1969, с. 5-11.

Лем достаточно подробно изучал вопросы, связанные с ядерными исследованиями, что нашло свое отражение как в некоторых его фантастических рассказах, так и в научно-популярных статьях, наибольшая из которых — это обзор «Десять лет атомной энергии» [58, s. 133-150], завершающийся словами об «атомистике»: «Это, безусловно, выросшее на почве науки огромное, великолепное дерево. Пусть, однако, нам это дерево не заслоняет лес проблем, которые мы с приложением всех сил должны разрешить, чтобы его плоды принесли человечеству не смерть, а жизнь».

Лем начал заниматься и футурологией, правда, в то время он еще не знал этого термина, который в широкий научный обиход вошел только в середине 1960-х гг. Лем вспоминал: «Когда я начал заниматься тем, “что еще возможно”, ни о какой “футурологии” я ничего не знал. Не знал этого термина, и таким образом мне не было известно, что именно такое название придумал в 1943 году О. Флехтхайм. (...) Флехтхайм делил свою “футурологию” на три части: прогностику, теорию планирования и философию будущего. Мне кажется, что я понемногу пробовал силы во всех этих разновидностях одновременно. Признаюсь, удивительно заниматься довольно долго, довольно детально и довольно невежественно чем-то, о чем вообще неизвестно, что это такое» [17, с. 643]. Кроме своих научно-фантастических романов и рассказов, о возможном будущем Лем писал в таких статьях (с достаточно красноречивыми

названиями), как «На пути будущего», «Перспективы будущего», «Перемены науки», «Об астронавтике — по существу», «Человек и техника» (другое название при публикации в сборнике «Выход на орбиту» — «О границах технического прогресса»), «Каким будет мир в 2000 году?». В этой последней статье [49] автор проводит краткую дневную и ночную экскурсию на самолете с прозрачным корпусом над польской равниной. Полет проходит над пересекаемыми автострадами бескрайними обработанными полями, «по которым как гусеницы ползают электрические сельскохозяйственные машины», постоянно появляются поселения, «ничем не напоминающие деревни с взлохмаченными крышами, а это скорее маленькие городки с домами-виллами, утопающими в цветах, с асфальтированными улицами, по которым как жуки передвигаются небольшие автомобили». По пути попадаются башни с установками для регулирования климата, не загрязняющие окружающую среду автоматизированные производства. Ночью самолет пролетает над большим сияющим городом, а вдали в черное небо поднимаются четыре параллельные столба огня. «Что это было? Да ничего особенного, это с аэродрома стартовали, как обычно в это время, ракеты, доставляющие расходные материалы и машины для одной из экспедиций, исследующих поверхность Луны...». А статью «Об астронавтике — по существу» [58, s. 151-157] Лем посвятил вопросу, «что может дать человечеству освоение космоса и познание иных планет». Рассматривая предстоящие этапы освоения космического пространства: искусственные спутники Земли, достижение и изучение Луны, достижение и изучение планет нашей Солнечной системы, достижение планет других звездных систем, — Лем подчеркивает, что «астронавтика поставит перед людьми новые грандиозные задачи; в зависимости от потребностей, которые сейчас невозможно предвидеть, необходимо будет создавать большое количество новых материалов, средств, устройств для исследования; флот космических кораблей будет требовать соответствующих кораблестроительных производств, ангаров, старто-

вых площадок; все это вместе создаст новые специальности инженеров, технологов, химиков, экономистов, врачей и десятки других специалистов, а также положит начало профессиям, которые сегодня мы не можем даже вообразить. Для каждого работающего на другой планете человека должны будут трудиться десятки людей на Земле, которая станет тылом нового фронта исследований. Из сказанного ясно следует, что покорение космоса и освоение планет представляет собой проект, выполнить который сможет только все человечество; главным условием этого является его объединение. При этом наиболее просто оно может наступить в процессе расширяющихся работ, требующих все большей концентрации умов и ресурсов. Таким образом эпоха действительного развития астронавтики будет способствовать исчезновению земного сепаратизма и национализма; можно предположить, что ее влияние на международную жизнь будет больше влияния какого-либо иного известного нам средства коммуникации...».

Лем в своих статьях представлял развитие не только уже зарождавшихся технологий (атомная энергетика, автоматизация производства, астронавтика, электрификация сельского хозяйства, орошение пустынь), но также и предлагал темы для исследований, которыми, по его мнению, непосредственно будут заниматься ученые в ближайшие десятилетия, в частности: «это 1) непосредственное преобразование одного вида энергии в другой без посредничества тепла; 2) осуществление нерастительного фотосинтеза таких пищевых субстанций, как углеводороды, жиры и белки; 3) борьба за продление человеческой жизни путем устранения заразных заболеваний и злокачественных опухолей (рака), борьба с преждевременной старостью и смертью» [47]. Писал также и о коммунизме, при этом основную проблему видел в самом человеке с его различными способностями и потребностями: «Коммунизм не может быть технологией удовлетворения желаний или суперкомфортным механизмом общественного, вечного, бесплатного потребления. Он должен создать новую общественную кон-

цепцию человека, независимую от заложенных в нем способностей, в границах, в которых это будет возможно. Он должен создать межчеловеческие нематериальные связи, то есть независимые от сферы удовлетворения жизненных потребностей, связи одновременно рациональной и эмоциональной природы, признавая приоритетным развитие индивидуальности, ее неповторимость и незаменимость в отношении к другим людям, и опять: в границах, в которых это будет возможно. Это последнее — незаменимость — мне представляется наиболее существенным, так как в обществе, воспринимаемом как машина для производства добра для удовлетворения личных потребностей, человек — в отношении к другим людям вне круга близких, семьи, друзей — является по сути только функцией, колесиком, одним из множества звеньев, частицей большего, согласованно функционирующего целого, которую без труда можно заменить, ибо его исключительность, его индивидуальность не проявляется в общественной практике вообще или проявляется лишь в единичных случаях и в ничтожной степени. В этой сфере, скорее всего, должны произойти наибольшие изменения» [58, s. 202].

В это же время Лем опубликовал несколько «идеологически правильных» пропагандистских работ (с цитированием работ Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина) и о достижениях Советского Союза в деле построения социализма. При этом можно сказать, что в некоторой мере Лем был искренен в своих словах, о чем свидетельствует его самый близкий друг, писатель Ян Юзеф Щепаньский, который 04.09.1952 г. в своем дневнике записал: «После возвращения из отпуска Лем нашел меня и начал агитировать. Может не столько в сам марксизм, сколько за его одобрение. Говорит очень блистательно, имеет сформировавшуюся концепцию будущего и необходимых преобразований культуры. Во многом он прав. Одно беспокоит: никакой из реальных минусов действительности не представляет для него аргумент против теоретической основы» [379, T. I, s. 323]. В духе марксизма-ленинизма Лем опубликовал,

например, такие объемные статьи (в скобках приведены их заключительные предложения): «О современных задачах и методе научной фантастики» [40] («Писатель (...) показывает не миражи, не фиктивные утопии, не возможные и нереальные миры для построения на Земле, а, следуя мыслям великих людей, наполняя их точные теоретические формулы воображением, интуицией, кровью — в конечном итоге своим трудом, подтверждает то же самое, что и миллионы его современников: веру в правильность нашего дела, в необратимость исторических процессов, в окончательную победу коммунизма») и «Техника и освобождение человека. В свете Большого Плана» [41] («Свобода и счастье народов рождается в борьбе с той цивилизацией, которая, хотя и находится у своего конца, хотя и приговорена историей на гибель, еще сильна и опасна. Великое, прекрасное, счастливое общество коммунизма рождается именно сейчас. Нельзя забывать, с кем мы должны за него сражаться. Дорога трудна, но дойдем наверняка. Направление указывает новый пятилетний план Советского Союза»). Последовала и первая государственная награда — «Золотой Крест Заслуги». Но тогда же Лем не поддался на уговоры руководителя Союза польских писателей Ежи Путрамента вступить в образовавшуюся в 1948 г. коммунистическую Польскую объединенную рабочую партию.

И в противовес этому — «для души» — в 1951 г. (этот год по памяти однажды указал сам автор, но могло это быть и раньше) Лем написал сатирическую драму «Низкопоклонство», причем из-за неоднозначности польского названия этой работы («Korzenie») автор так объяснил его суть, в том числе и по-русски: «как поклонение или „niskopoklonstwo piered Zapadom“, была тогда такая кампания» [157] (именно так у Лема — по-русски польскими буквами). Антисоветское «Низкопоклонство» было написано в жанре, как определил сам автор, «политпорно» [157]. Причем это был период самого апогея сталинизма и наибольшей жестокости цензуры, поэтому о публикации этой «драмы» не могло быть и речи; более

того, за такой текст можно было «загреть на нары» («Если бы эту драму у меня нашли сотрудники Управления безопасности, было бы невесело, но я тогда этим специально не хвальнолся (только ближайшим родственникам)» [16, с. 73]). Лем говорил, что он «читал это произведение знакомым и друзьям, и даже не под одеялом. Играл всех персонажей, в том числе и Авдотью Недоногину, говоря тонким голосом» [204, s. 70]. Автоисполнение этой драмы Лем даже записал на магнитофон. Его жена Барбара вспоминала: «Впервые я услышала это произведение еще в холостяцкие времена Сташека, где-то около 1949 года. Сташек сам воплощался во всех персонажей, а лучшим был в женской роли. Исполнял это так долго, как долго жил Сталин, — он явно нуждался в таком выражении своего отношения к происходящему» [352]. Учитывая год, указанный автором, с временем появления этого произведения пани Барбара могла и ошибиться. «Низкопоклонство» было опубликовано только в 2008 г. (драма была найдена в бумагах писателя уже после его смерти, но сам автор неоднократно о ней говорил и очень хотел ее найти).

Смерть Сталина в 1953 г. и последовавшие за этим изменения в Советском Союзе вызвали изменения и в лагере социалистических стран, и в первую очередь в Польше. Наступил 1956 г., а с ним и рост недовольства польского общества и требование перемен. А вместе с этим — и перелом в сознании самого Лема, критический анализ идеологии и всей политической системы. В результате — опять-таки «для души» — была закончена первая серьезная философская книга — «Диалоги».

«Диалоги» зародились еще во время работы в Научно-ведческом лектории. Совместно с философом Стефаном Осьвецимским была организована интеллектуальная игра: Лем придумывал контуры проблемы, затем Осьвецимский предлагал контраргументы, которые Лем должен был опровергать, и в результате получался диалог. «Впрочем, — говорил Лем, — тогда я понятия не имел, что из этого возникнет книга. Даже

сама мысль, что тогда можно будет опубликовать что-нибудь подобное, казалась безумной» [16, с. 55]. Для оформления диалогов Лем позаимствовал героев у английского философа Джорджа Беркли из его трактата «Три диалога между Гиласом и Филонусом», увидевшего свет в 1713 г. Лема привлекли имена героев, ибо Гилас происходит от латинского *hyle* (материя; телесный, материальный, конкретный), а Филонус — от *phyllos* (любящий мысль; духовный, интеллектуальный), именно в споре этих двух ипостасей Лем пытался найти истину. «Диалоги» были дописаны автором в 1954-1956 гг. и в своем первоначальном виде состояли из восьми диалогов, которые сам Лем разбивал на три части: «Первая говорит о парадоксе воскрешения (...). Во второй части мы находим универсальное лекарство ко всем болезням философии, прописанное доктором Филонусом в виде кибернетики (...). Третья часть — это мое частное дополнение, которое использует понятийный аппарат для расправы с различными видами системного зла» [16, с. 100].

В Диалоге I обсуждаются парадоксы, связанные с возможностью достижения физического бессмертия посредством копирования атомной структуры живого организма. Филонус доказывает Гиласу, что такое копирование живого организма предполагает отказ от классического понятия тождественности личности, так как скопированный является таким же, как оригинал, но не тем же самым, причем даже в том случае, если оригинал прекращает свое существование в момент появления копии. В Диалоге II продолжается обсуждение темы Диалога I, но уже возникающие вопросы исследуются с точки зрения решения вековой философской проблемы — проблемы сознания и его воплощения в материи. В Диалоге III представляется подход к понятию информации как противоположности энтропии, рассматривается процесс развития плода человека и в целом эволюции в категориях именно таким образом определенной информации. В Диалоге IV затрагиваются определенные проблемы, связанные с невозможностью локализации

сознания. И как следствие — обсуждаются огромные трудности, связанные с воспроизведением человеческого мозга и тела в механических системах. В Диалоге V продолжается размышление о сути сознания. В качестве физиологической корреляции сознания рассматривается нейронная сеть с ее входами, выходами, системой управления и обратными связями — а ведь именно такую сеть представляет собой и кибернетическая система. Здесь же Лем в категориях кибернетики пытается дать определение «вольной воле». В Диалоге VI рассматривается возможность конструирования такой сети, которая была бы точным эквивалентом человеческого мозга, а также технические подробности проекта «пересадки» живого сознания мозга в такую сеть (протез мозга). В Диалоге VII с точки зрения предлагаемой Лемом кибернетической социологии достаточно подробно анализируются капитализм и социализм, демократия и тоталитаризм (Лемом используются термины «тирания» и «автократия»), при этом в диалоге оригинальным образом критикуется существовавший в то время в Польше и СССР социалистический строй и система централизованного планирования и управления экономикой: «Централизация из-за чрезмерной концентрации обратных связей не только блокирует (то есть затрудняет прохождение) информацию, но и удлиняет ее путь. Вместо коротких обращений спроса и предложения в этой системе наблюдаются иерархически нагроможденные “пункты переключения”. В результате удлинения пути информации возникает запаздывание от импульса к реакции. (...) В социалистической модели наиболее существенным является запаздывание, вызванное увеличением периода обратных связей (периферия — центр — периферия). Если запаздывание реакции в ответ на импульс — того же порядка, что и промежуток времени, в которые этот импульс действует, тогда само это запаздывание становится существенным параметром системы, то есть начинает активно влиять на происходящие в системе процессы» [14, с. 219] (впервые на русском языке в сокращенном и специально переработанном виде Диалог VII был

опубликован в Мюнхене в диссидентском журнале «Страна и мир» в 1987 г. [121]). В Диалоге VIII делается попытка при помощи кибернетики проанализировать общественную психологию, то есть выявить влияние личных особенностей индивидуумов, составляющих общество, на деятельность этого общества — и наоборот. В завершении Лем подчеркивает свою убежденность в возможности создания оптимальной общественной системы научными (кибернетическими) методами. «Если, осозная роль науки во всех областях, мы не будем учитывать ее разработок, понятных всем людям, в области общественных отношений, то окажемся в эпохе, предшествующей рождению Маркса» [14, с. 288]. Филонус (Лем) выражает уверенность, что «люди построят, несмотря на все промахи, катастрофы и трагические ошибки, лучший мир. Если мы не будем действовать с этой мыслью, то утратим веру в человека и его возможности, а тогда и жить не стоило бы» [14, с. 300]. Тем самым «Диалоги» представляют собой изложение взглядов Лема в области антропологии и социологии при помощи новой методологии — кибернетики, что, кстати, в то время было очень новым («Когда я писал “Диалоги” (которыми горжусь хотя бы потому, что их цитируют в иностранных кибернетических библиографиях), кибернетика представляла собой порядка шестидесяти книг, из которых половину, не хвалюсь, я знал; сегодня их уже целые библиотеки» [57]) и смелым.

Самый близкий друг Лема писатель Я.Ю. Щепаньский 13.04.1956 г. записал в своем дневнике: «Был у Лема. Он сказал: “Год назад ты придерживался тех же позиций, что и сейчас, а я был слишком красным. Сегодня мы на одинаковых позициях”» [379, Т. I, с. 611]. Тем самым завершился и первый период творческой деятельности Лема, который по некоторым романам, рассказам и статьям можно назвать (и называется отдельными исследователями) **соцреалистическим**, но такое название очень не понравилось самому писателю, ибо все соцреалистическое — это только часть творчества, которым он вынужден был заниматься «ради хлеба» (ибо таковы были

условия жизни в то время), а были ведь еще и другие, далекие от соцреализма произведения, в том числе и с критикой этого самого социализма. Впоследствии Лем очень критично относился к своему творчеству этого периода, категорически запрещающая или с трудом разрешая переиздавать и переводить свои ранние романы, рассказы и статьи («Япония не знала коммунистического режима, и если мой роман [«Магелланово облако»] обратит в коммунизм хотя бы одного-единственного японца, мне суждено гореть в аду» [203]), хотя в своих соцреалистических работах он не столько строил светлое коммунистическое будущее, сколько критиковал капитализм преимущественно американского образца, правда, иногда доходя до крайностей («У империализма, существующего в стадии агонии, абсолютно нет путей развития, и перенос в будущее его общественных отношений ведет в никуда. (...) Совершенно иначе дело обстоит в обществе, строящем социализм. Из него все дороги ведут в будущее, и поэтому перед писателем — творцом научной фантастики — открываются потрясающие своим богатством горизонты» [42]).

Следует также отметить, что иногда в своих рассказах этого периода Лем, описывая и критикуя США, имел в виду страны социалистического лагеря — это особенно отчетливо видно в «Путешествии двадцать четвертом» и «Путешествии двадцать шестом» Ийона Тихого. Поэтому более правильно назвать этот **период** (он же этап) творчества Лема **утопическим**, в произведениях которого писатель представлял мир утопии — мир доброжелательно пристрастный по отношению ко всем своим жителям, «экстремум повсеместной доброты». Ранние романы писателя хорошо соответствовали своему времени и поэтому не случайно они вскоре были экранизированы: «Астронавты» — как «Безмолвная звезда» (1960 г., ГДР-Польша, «Der schweigende Stern» — «Milcząca gwiazda», в англоязычном прокате как «The First Spaceship on Venus» — «Первый полет на Венеру»), «Магелланово облако» — как «Икар-1» (1963 г., Чехословакия, «Ikarie XB-1», в англоязычном прокате

как «Voyage to the End of the Universe» — «Путешествие к краю Вселенной»), «Больница Преображения» (1978 г., Польша, «Szpital Przemienienia»).

Крупным было выступление трудящихся в Познани в июне 1956 г., жестоко подавленное (с человеческими жертвами), приведшее в результате к Польскому Октябрю 1956 г. — смене партийного руководства страны и десталинизации и либерализации политической системы. Продолжением польских событий явилось октябрьское восстание в Венгрии, жестоко подавленное Советской Армией в ноябре. В Польше же наступила так называемая «гомюлковская оттепель», а с ней и послабление цензуры, возможность более открыто высказывать свои взгляды, впрочем, временно. Таким образом, с 1956 г. и с публикации написанных ранее «Диалогов» начался новый **период** творчества писателя — **антиутопический**, в котором преимущественно представлялся мир, недоброжелательно пристрастный (зловещий) относительно жителей. (Кстати, Лем в 1979 г. очень подробно изложил теорию утопии и антиутопии, а также сказки и мифа в большой статье «Маркиз в графе» [17, с. 113-146], известной также под названием «Этика зла».) При этом говоря о своих планах, Лем не оставлял мысли заняться современным романом: «Хотя бы потому, что фантастическую литературу считаю литературой второго сорта. Фантастика является очень острой приправой. Однако известно, что самую острую приправу без хлеба есть невозможно. Именно таким хлебом является современность» [52], «как и каждого, наверное, писателя в Польше, меня мучает, мне снится и не дает мне покоя идея, к сожалению, слишком туманная — современного романа. Удастся ли мне реализовать эти планы, покажет будущее» [51]. Таким будущим для писателя явился антиутопический период его творчества, который можно разбить на три этапа: **литературно-философский** (1957-1970 гг., еще его называют «золотым» в творчестве писателя), **литературно-экспериментаторский** (1971-1988 гг.) и **философско-публицистический** (1989-2006 гг., RIP).

III. АНТИУТОПИЧЕСКИЙ ПЕРИОД

1. Литературно-философский этап

С издания в 1957 г. ранее написанной философской монографии «Диалоги» для Станислава Лема начался наиболее плодотворный и разнообразный **этап** творчества: **литературно-философский**. О своем духовном состоянии в начале этого этапа Лем вспоминал: «Если было что-то, что не в самой малой степени влияло на мои писательские решения, так это прежде всего реакция публики и критики. Я писал о том, что меня воодушевляло, и пал под тяжестью проблем, как умирают от болезней. Вследствие этого мне стало постепенно понятно, что я не такой, как другие люди, возможно, даже с нечеловеческими чертами, потому что меня не интересуют вещи, какими заняты другие. Зато совсем особенным способом ход моей личной жизни определило то, что в математической форме взрывает звезды и о чем спорили Эйнштейн и Бор. Моей страстью были не видения других миров, не возможный будущий образ брэнного мира, а в высшей степени абстрактные теории, такие как теории Дарвина и Эйнштейна. Не различные фантастические книги составляли содержание моей духовной жизни, а вопросы, которые я высказал в «Диалогах», — вопросы о причинных основаниях жизни, сознания и смерти, о способности интеллекта принимать ту или иную форму, о границах того, что мы можем сделать, о том, преодолимы ли общественные недостатки или в различных общественных образованиях можно только обменять одно несчастье на другое. Я пытался сделать ключ к этим замкам из кибернетики» [101].

В части художественных произведений Лем публикует работы преимущественно из области строгой научной фантастики (*hard science fiction*), часто с элементами гротеска. За этот этап Лем опубликовал сборники рассказов «Звездные дневники» (1957), «Вторжение с Альдебарана» (1959), «Книга

роботов» (1961), «Сказки роботов» (1964), «Кибериада» (1965), «Охота» (1965), ««Спасем космос!» и другие рассказы» (1966), «Рассказы о пилоте Пирксе» (1968), «Бессонница» (1971), романы «Эдем» (1959), «Рукопись, найденная в ванне» (1961), «Возвращение со звезд» (1961), «Солярис» (1961), «Непобедимый» (1964), «Глас Господа» (1968), автобиографическую повесть «Высокий Замок» (1966), роман «Футурологический конгресс» (1971). Из-за эзоповского языка цензура не замечала содержащейся во многих произведениях критики современности, при этом популярность произведений писателя постоянно росла, главным образом благодаря покровам научной фантастики.

В это же время Лем досконально изучал теорию и практику детективного (криминального) произведения, что нашло свое отражение в большом эссе «О детективном романе» [58, s. 51-74]. Изучал, возможно, для того, чтобы попытаться написать что-то свое, не выходящее за рамки и законы жанра, но при этом отличающееся от всего написанного другими. В результате получился роман «Расследование» (1959), который, впрочем, не в полной мере удовлетворил писателя, поэтому впоследствии появился роман «Насморк» (1976) [6], имеющий много общего со своим предшественником. Параллельно с «Расследованием» Лем работал и над другим детективным романом, который, к сожалению, остался незаконченным, но сохранился в архиве писателя в папке с надписью «Очень неудачный детектив», при этом в отличие от остальных неудавшихся произведений его рукопись, к счастью, не была уничтожена писателем. Этот незаконченный «неудавшийся детектив» был опубликован в Польше в первом посмертном собрании Сочинений Станислава Лема [260, Т. 16, s. 4-127].

В 1960 г. наступил небольшой перерыв в творчестве Лема, связанный с серьезной ишемической болезнью сердца (*angina pectoris*), которая вызывала сильные и продолжительные боли, другие последствия. Наблюдался у лучших кардиологов, «съел тогда целую аптеку, перепробовал все, что прописывали врачи,

и все, что они не советовали, например алкоголь, прочитал все, что можно было на эту тему прочитать» [131, s. 184]. Обстоятельства вынудили серьезно задумываться о смерти, причем, «интересное дело, были такие периоды, в которые рассматривал смерть с полным безразличием, и такие, в которые это положение вещей вызывало панику (или панику плюс ярость, прежде всего это было препятствием к использованию остающегося времени)» [131, s. 185]. Психологически его спасала работа. Лем об этом: «Написал тогда, среди прочего, “Солярис”, и было ощущение, что писал распятым на кресте, но этого как-то в тексте не заметно. В этом контексте очень прочувствовал слова Эйнштейна, который сказал, что узнав о том, что должен умереть, старался бы завершить важнейшую работу, а если бы осталось еще немного времени и не нужно было больше ничего делать, то просто лег бы и ждал. Такое решение внешне кажется прекрасным, но осуществить его можно, как я думаю, если только то, что делаешь, действительно является важным. Внушить себе эту важность представляется невозможным, как невозможно внушить себе, например, любовь и веру. Миссия! Только так. Безусловно, в таких переживаниях остается, однако, много, что невозможно выразить. Но отвлечение от состояния ожидания, выискивания признаков, самонаблюдения, “пробного умирания” стоит приложенных сил — но так как это напрямую не подвластно актам воли, занятие работой может быть спасением» [131, s. 186]. Через два с половиной года болезнь отступила.

Кроме «Диалогов» [53] (а в 1972 г. вышло дополненное двумя большими частями новое издание монографии) Лем опубликовал ряд фундаментальных философских монографий: «Сумму технологии» [61] (журнальный вариант в 1962-1963 гг., книжное издание в 1964 г., второе доработанное издание в 1967 г., третье с новым 26-страничным предисловием с изложением основ теории футурологии в 1974 г., четвертое с приложением «Двадцать лет спустя» в 1984 г.), «Философию случая» [67] (1968, с изменениями и дополнениями в 1975 и

1988 гг.), двухтомную «Фантастику и футурологию» [74] (1970, с изменениями и дополнениями в 1973 г.). Об этих монографиях Лем писал: «Первое название — это в известной степени философствование о кибернетике, второе — футурология времени, когда еще не было футурологии, третье — набросок эмпирической теории литературы, четвертое — постулативная критика научной фантастики и футурологии. В реальности ни “Диалоги” все же не являются стандартным изображением кибернетики, ни “Сумма” не содержит какие-либо прогнозы, которые соответствуют “нормальным” прогнозам футурологов. В “Философии случая” исследуются языковые тексты как эмбриогенетические процессы, как стохастические системы, как игры в смысле теории игр, а в “Фантастике и футурологии” по большей части идет речь о научной фантастике и футурологии, которых совсем не существует» [101].

В это же время Лем сотрудничал с литературными, философскими и общественно-политическими изданиями, опубликовав порядка 150 статей: в 29 польских периодических изданиях (больше всего в еженедельнике «Zdarzenia» («События», 83 статьи-фельетона в 1957-1960 гг.), по несколько статей в еженедельниках «Życie Literackie» и «Polityka», в журналах «Argumenty» («Аргументы»), «Twórczość» («Творчество»), «Nurt» («Течение»), «Studia Filozoficzne» («Философские лекции»), «Miesięcznik Literacki» («Литературный ежемесячник»)), а также в некоторых немецких и советских. При этом Лем планировал серьезно сотрудничать с философским ежемесячником, о чем писал своему другу Славомиру Мрожеку: «В этом году каждый номер “Философских лекций” будет содержать какой-нибудь мой грохот на разные темы» [130, s. 607]. Но это, к сожалению, не осуществилось в связи со сменой руководства журнала и изменением его редакционной политики.

Наиболее интересные статьи впоследствии были опубликованы в сборниках статей «Выход на орбиту» [58] (1962, 30 статей, скомпонованных в 3 раздела: «Путеводные звезды»

(о литературе); «Цепные реакции» (о науке и технике, прогнозирование их развития); «Эфемериды» (сатира)) и «Размышления и очерки» [84] (1975, 20 статей, скомпонованных в 3 раздела: Часть 1 (теория литературы); Часть 2 (литературная критика, в том числе произведений Ф. Достоевского и В. Набокова); Часть 3 (литература и наука)). Впоследствии большая часть из этих статей была переиздана в сборнике «Мой взгляд на литературу» [258, Т. 24] (2003).

Первые переводы рассказов Лема на русском языке были опубликованы в СССР в 1955 г.: 1) Лем С., Эсид — машина по проверке лояльности. — Смена, 1955, № 10, с. 18-20; 2) Лем С., Звездные дневники Ийона Тихого. — Юность, 1955, № 2, с. 48-53 (Содержание: Предисловие; Путешествие двадцать второе); 3) Лем С., Звезда Земли. — Польша (Варшава), 1955, № 12, с. 16 (Глава из «Астронавтов»). Первая книга на русском языке — «Астронавты» — была издана в 1957 г., а в 1960 г. со сборника «Вторжение с Альдебарана» и романа «Магелланово облако» началось триумфальное вторжение Лема в умы советских читателей. Очень быстро в 1960-е гг. были изданы «Звездные дневники», «Рассказы о пилоте Пирксе», «Возвращение со звезд», «Эдем», «Солярис», «Непобедимый», «Сказки роботов», «Кибериада», «Сумма технологии», «Высокий Замок».

Произведения Лема в СССР попали на благодатную почву, пришлось к месту и ко времени. Тогда в Советском Союзе, в условиях жесткой социалистическо-коммунистической пропаганды, были ограничения во многом, в том числе и в области современной западной литературы, но произведения писателей из социалистических тогда стран переводились на русский язык и издавались большими тиражами. Первые научно-фантастические романы и рассказы Лема как нельзя лучше подошли для тех времен, а само творчество писателя представлялось как «впитывание тем, приемов и стиля американской научной фантастики, преодоление ее влияния и потом воинствующая борьба с нею за победу в литературе о будущем

великой социальной Мечты» [276]. Не случайно ведь в предисловии к «Магелланову облаку» подчеркивалось, что «в главе “Коммунисты” — может быть, лучшей главе романа Лема и, во всяком случае, наиболее волнующей нас, (...) Лем утверждает мысль, что и через тысячи лет не только будет существовать коммунизм, но останутся и коммунисты — передовой отряд человечества» [263], при этом и сам Лем в рецензии был назван «писателем-коммунистом», что, как известно, абсолютно не соответствовало действительности. А то, что после 1956 г. писатель во многом изменил свое мнение о будущем развитии человечества и уже больше не писал утопические романы и соцреалистические рассказы и статьи, — не было большой проблемой: об изменении взглядов можно было не упоминать, не обязательно нужно было переводить все им написанное, да и цензура свое дело знала хорошо.

Высококласная литература, выходившая из-под пишущей машинки Лема, разнообразие стилей, которые он демонстрировал, привели к тому, что для очень большой группы советских читателей он стал любимым писателем, в том числе и потому, что был «лучом света в темном царстве» — в какой-то мере своим многогранным творчеством компенсировал недостающее в доступной литературе. В начале 1967 г. Клуб любителей фантастики Московского государственного университета провел анкетный опрос о современной фантастической литературе среди читателей (научной интеллигенции, студентов, школьников), а также писателей-фантастов и журналистов [277]. На вопрос «Кто Ваши любимые писатели-фантасты?» научная интеллигенция, студенты и школьники поставили Лема на первое место, а писатели и журналисты — на третье (после Брэдли и братьев Стругацких).

Советские литературные критики оперативно отслеживали издание книг Лема в Польше и свои рецензии на произведения писателя часто публиковали еще до издания их на русском языке — главным образом в специализированном информационном сборнике «Современная художественная литерату-

ра за рубежом» и в очень популярном в то время ежемесячном журнале «Иностранная литература» (тираж был более 500 тыс. экз.), а также в других периодических изданиях. Например, рецензия на «Диалоги» была опубликована в 1958 г. («Книга С. Лема, безусловно, заслуживает внимания социологов-марксистов как одна из попыток приблизиться к рассмотрению закономерностей социальной жизни и интерпретировать их в понятиях кибернетики» [285]), на «Фантастику и футурологию» — в 1971 г. («Книга С. Лема посвящена анализу важнейших актуальных философско-социологических проблем (...). Идеал гуманистической и одновременно научной фантастической литературы, идеал гуманистической и одновременно научной социально-философской теории будущего — это, несомненно, благородные и точные ориентиры для социально-активной практики художника и социального ученого в наше время» [286]), хотя сами эти книги на русском языке были изданы уже только в XXI веке. Ну и конечно же на каждую изданныю в СССР книгу публиковалось по несколько рецензий.

В шестидесятые годы Лем несколько раз посещал Советский Союз, о чем у него остались самые теплые воспоминания, ибо его больше нигде так сердечно не принимали — что называется «носили на руках». Например, Борис Стругацкий, сопровождавший Лема в Ленинграде в октябре 1965 г., в письме своему брату Аркадию писал: «Триумф Лема не поддается никакому описанию — его встречали в СССР как космонавта, высадившегося на Луне, — только что на улицах народ не ревел» [283, кн. 2, с. 395]. Посещал Лем Москву и для работы вместе с режиссером Андреем Тарковским над сценарием фильма «Солярис», но в этой работе два великих мастера разошлись во мнениях, и поэтому писатель со скандалом от этой работы отстранился. Обо всем этом он сам достаточно подробно рассказал в нескольких статьях (например, в статье «Так было» [178, с. 223-231; 20]: «Сильно меня чествовали русские в той Москве; Высоцкий (...) пел мне “Ничейную

Землю” и другие свои песни (...). Пел мне также Галич») и многочисленных интервью: «Когда на польском и русском языках вышла «Книга друзей», то многие писатели состряпали неправдивые тексты о том, как они любят Советский Союз, или о том, как их любят в этой стране. Но там есть как минимум один подлинный текст — мой [83]. Подлинный потому, что приключение, которое я пережил в СССР, неправдоподобно» [16, с. 297]. При этом следует отметить, что Лем очень хорошо знал русский язык, что еще больше сближало его со своими русскоязычными читателями во время встреч с ними. Да и до последних дней жизни с русскоязычными интервьюерами он беседовал на русском языке, а таких интервью опубликовано около семидесяти [16, с. 752-762]. Писатель активно сотрудничал с советскими периодическими изданиями, публикуя специально написанные для них статьи, участвуя в развернутой на страницах изданий полемике на литературные и научные темы, специально писал предисловия к своим произведениям для советских читателей [411, с. 213-234].

Но не все было так прекрасно в отношении к Лему в СССР. 5 марта 1966 г. появилась Записка Отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС «О недостатках в издании научно-фантастической литературы», в которой говорилось и о творчестве Лема, а именно: «По мнению литераторов А. Громовой, Р. Нудельмана, З. Файнбурга основоположником “философской” фантастики является современный польский писатель Станислав Лем. В его многочисленных романах и повестях (...) будущее коммунистическое общество представляется абсолютно бесперспективным и вырождающимся. Каково главное кредо С. Лема в изображении будущего человечества? Человек, по мнению писателя, в конце концов создаст такую совершенную технику, которая будет делать за него все. От человека, чтобы жить, не потребуется никаких усилий, никакого напряжения, никакого героизма. В результате полностью механизированного комфорта человек превратится “в существо разленившееся, изнеженное, несамостоятельное”. Перед

человечеством стоит дилемма: либо человек создаст условия абсолютного комфорта и абсолютной безопасности, и тогда он выродится, либо он сможет создать идеально обслуживающий его кибернетический мир, и тогда он слаб и ничтожен, хотя и останется человеком. И вот, усвоив эту “философию”, полную пессимизма и неверия в силу разума, представители отечественной “философской” фантастики вступили в противоборство с идеями материалистической философии, с идеями научного коммунизма». Этот более чем десятистраничный текст, в котором далее главным образом критиковались произведения братьев А. и Б. Стругацких, заканчивался рекомендуемыми к исполнению мероприятиями, на что была получена резолюция «Согласиться» ответственных секретарей ЦК КПСС. Среди мероприятий было и предложение Комитету по печати при Совете Министров СССР «навести надлежащий порядок в издании литературы по научной фантастике как в центре, так и на местах». В приведенном выше фрагменте Записки речь главным образом идет о романе «Возвращение со звезд», книжное издание которого на русском языке вышло в конце 1965 г. При издании книги возникли сложности, появились препятствия, но переводчики пошли на хитрость: вместо предисловия Лема предложили свое предисловие [296], которое удалось подписать у космонавта № 2 Германа Титова, — и книга была издана [278].

Но Записка все-таки действовала, редакции учитывали ее при издании книг, и как следствие — «Эдем» был слегка сокращен (как, впрочем, еще и до Записки были сокращены романы «Солярис» и даже «Магелланово облако»), из «Суммы технологии» был изъят текст о трансцендентности, а «Глас Господа» вообще был сокращен на треть и опубликован под названием «Голос Неба», но при этом опубликованная в «толстом» литературном журнале рецензия касалась всего романа, в связи с чем Лем написал своему американскому переводчику Майклу Канделю: «Кто-то прислал мне “Новый мир” от февраля, в котором какая-то удивительно УМНАЯ баба написала

очень интересную рецензию на “Глас Господа”, то есть такую, которая меня удивила. К тому же очень УДАЧНО написала, то есть написала и то, что могла, и то, чего не могла. Какая-то очень хитрая баба. (...) Хитрая баба написала обо мне в журнале “Новый мир” в № 2 за этот год (запала мне в душу)» [131, s. 157]. «Хитрая баба» Ирина Роднянская сделала вывод, что в романе «над философией случайности поневоле произведен “острый опыт”: выясняется ее ценность уже не в качестве философии науки, а в качестве “философии жизни”. И тут-то, лишаясь научного, кибернетического, вероятностно-статистического и пр. и пр. ореола, она становится тем самым (уже отлично знакомым читателю современной литературы) “абсурдом”, который своим взглядом Медузы наводит столбняк на всякое нравственно-личное и социально-объединенное усилие (...). В лирическом целом романа реакция героя на абсурд случайности — это трагическая реакция несогласия и смутного упования, стихающая, однако, в заключительной скептической ноте» [291]. Из многочисленных рецензий, а также предисловий и послесловий к своим книгам Лем еще выделил рецензию на «Высокий Замок», в которой были рассмотрены философские проблемы повести: «Острый и мучительный самоанализ, выявляющий суть этого, не способного ни во что поверить умозрительного сознания, и составляет смысл философской автобиографии Станислава Лема. (...) Но когда скептик приходит в ужас оттого, что он не может ни во что поверить, то это уже преодоление скепсиса. И здесь уже можно строить Высокий Замок подлинной человеческой духовности» [265].

Но не только приятные впечатления Лем привозил из СССР — еще и впечатления об СССР в целом, о чем делился с друзьями; например, Щепаньский 27.10.1969 г. записал в своем дневнике: «Лем вернулся из Советского Союза. Потрясен экономическим упадком, уродством и безнадежностью тамошней жизни» [379, Т. III, s. 541].

В конце 1960-х гг. в Польше на государственном уровне в рамках поиска врагов во все ухудшающемся положении граждан (а фактически в рамках борьбы за власть) развернулась антисемитская кампания, в результате которой большое количество граждан еврейского происхождения вынуждено было покинуть страну. О выезде из Польши задумывался и Лем («Об эмиграции из страны навсегда дома мы беседовали многократно!» [130, s. 681]), провел даже некоторую подготовительную работу в части мест возможного проживания. Но с рождением в марте 1968 г. сына Томаша от этой мысли он отказался — не решил начать жизнь на новом месте с младенцем на руках («Наш малый ребенок заstopорил план выезда» [130, s. 670]). При этом Лем не оставался в стороне, пытаясь противодействовать этой кампании. 18 марта 1968 г. на заседании руководства краковского отделения Союза польских писателей 26 участников — в том числе Лем и его друзья Ян Юзеф Щепаньский, Ян Блоньский, Вислава Шимборская (будущая лауреатка Нобелевской премии в области литературы) — приняли резолюцию, выражая озабоченность ростом антисемитизма в стране и политикой властей: усилением цензуры, отсутствием информации, ошибками пропаганды, при этом Лем принимал активное участие в дискуссии. А в апреле 1968 г. Щепаньский собрал подписи у тридцати беспартийных писателей (в том числе и Лема), протестующих против исключения из Союза некоторых писателей («не согласных с генеральной линией партии»). Лемовская оценка тех времен в Польше (и не только): «Ситуация у нас ужасная! И так сгнила, хуже чем в 50-е годы — когда господствовал тот Святой Порядок, хотя и Чудовищный. Сейчас чудовищное Разложение, Зловоние, Явное Лицемерие и Балаган, плюс такая проституцизация среды, что то, за что раньше Берут давал золотые часы, ордена и посольские назначения, сегодня делается за пару грошей. И литература уже играет роль не придворной дамы, а самой дешевой шлюхи на панели. Я только что провел три недели в Москве — почти то же самое — и такая вот ори-

ентация: сталинисты, ревизионизм, неосталинизм, черносотенный национализм (почти монархисты!)» [130, s. 669]; «Упал на дно и услышал стук снизу» С.Е. Леца — это диагноз нашего положения. Наука, ученые, студенты, их многочисленные труды, периодические издания — все фальшивое, лживое, искусственное, а 95% деятелей делают вид, что настоящее» [130, s. 670].

2. Литературно-экспериментаторский этап

Проведя колоссальную работу по изучению теории литературы в целом (что нашло свое отражение в монографии «Философия случая») и жанра научной фантастики в частности (была «прозондирована так называемая научно-фантастическая художественная литература в поисках предсказания того, что когда-нибудь должно произойти» [12, кн. 1, с. 5] (прочитано порядка 80 000 страниц текста), в результате чего была написана двухтомная монография «Фантастика и футурология», в которой упоминаются более шестисот произведений четырехсот авторов, в основном англоязычных), Станислав Лем в жанре разочаровался и с начала 1970-х гг. занимался преимущественно литературными экспериментами и вопросами на границе литературы, философии и футурологии. Тем самым наступил новый **этап** его творчества, который можно назвать **литературно-экспериментаторским**. Об этом объявил сам Лем в открытом письме «Моим читателям», опубликованном в 1973 г. в издаваемом на разных языках журнале «Польша», приведя ряд причин, почему его каждая следующая книга все менее похожа на предыдущие: он не хочет и не может писать продолжения ранее написанных книг, где разгадывались бы их загадки, ибо «это противоречило бы основному принципу: будучи мерилom земных вещей, человек не является мерилom всего космоса»; не хочет повторяться, то есть «повествовать о приключениях ради самого процесса пове-

ствования», ибо им управляет процесс перемен, «а не усилие любой ценой “быть модным” или “постоянно нравиться”»; его перестала интересовать научная фантастика, ибо «научная фантастика превращается в псевдонаучную сказочку или пугает нас упрощенными картинками будущих кошмаров цивилизации», в то время как «нет ничего более важного, чем попытки понять, куда наш мир движется, и должны ли мы этому сопротивляться или, принимая это движение, активно в нем участвовать» [17, с. 12-15].

В 1970-е гг. Лем опубликовал «экспериментаторские» произведения: сборник рецензий на несуществующие книги «Абсолютная пустота» (1971), сборник предисловий к несуществующим произведениям «Мнимая величина» (1973, название может быть переведено и как «Воображаемое величие»). А затем выпустил сборники рассказов, в том числе дополняющих ранее изданные циклы: «Маска» (1976), «Suplement» («Дополнение» (англ.), 1976), «Повторение» (1979), а также роман «Насморк» (1976), расширенный вариант повести «Голем XIV» (1981), начальная часть которой была опубликована в составе «Мнимой величины», роман «Осмотр на месте» (1982), который писал с перерывами фактически все предшествующее десятилетие.

Литературное и литературоведческое творчество Лема получило мировое признание. В 1971 г. он стал членом Ассоциации исследований в области научной фантастики (SFRA — Science Fiction Research Association), а в 1973 г. был избран почетным членом Американской ассоциации писателей-фантастов (SFWA — Science Fiction Writers of America), откуда в 1976 г. его исключили по причине критики научно-фантастической литературы в целом и американской в особенности. Самая известная на эту тему большая статья «Science fiction: безнадежный случай — с исключениями» [17, с. 147-192], опубликованная в 1972 г. на немецком, а в 1973 г. на английском языках (на польском только в 2003 г.), представляющая собой существенно переработанный, обостренный

полемикой вариант главы «Социология научной фантастики» из монографии «Фантастика и футурология». В этой статье автор десятков научно-фантастических произведений писал, что Science Fiction является особым явлением («Родилась в борделе, а хотела бы проникнуть в салоны»), что «она действительно девка, но очень застенчивая, даже больше: она девка с почти ангельскими чертами. Она протитутует, но (...) с чувством отвращения, с омерзением, вопреки ее собственным мечтам и чаяниям. По этой причине она очень лжива... Она хочет, чтобы ее принимали за кого-то иного, чем она есть на самом деле. Постоянно сама себя обманывает. Все время пробует переодеваться в новые одежды». В это же время особо активную деятельность против Лема осуществлял американский писатель-фантаст Филип К. Дик, который подозревал, что Лем является шпионом КГБ и что вместе со своим литературным агентом на Западе Францем Роттенштайнером и американским профессором Дарко Сувиным они «составляют тройку, которая стремится поставить Соединенные Штаты на колени. Филип был этим так обеспокоен, что писал письма в ФБР» [16, с. 555]. Все началось потому, что Дик сделал вывод, что Лем не может быть одним человеком, так как пишет несколькими разными стилями (жаль, что Дик не догадался, что «St.LEM» может быть псевдонимом — аббревиатурой от Stalin, Lenin, Engels, Marx. Что бы он тогда сказал-написал?). Да и еще один известнейший американский писатель-фантаст и популяризатор науки Айзек Азимов «писал, что свою деятельность по критике американской фантастики Лем выполнял по поручению своего коммунистического правительства» [141]. Последней каплей, приведшей к исключению Лема из SFWA, явилась статья «Научная фантастика — фантазия, потерпевшая неудачу» [85], опубликованная на немецком языке, а затем переведенная на английский (при этом недоброжелательно переименована) и под названием «Взгляд свысока на научную фантастику: писатель выбирает худшее из мировой литературы» [88] (название придумано

анонимным переводчиком) была опубликована в США, а затем там же в октябре 1975 г. перепечатана в бюллетене «SFWA Forum». При этом по объему перевод был на четверть меньше оригинала и представлял собой «адаптацию» (так указала редакция во вступительной статье) первоначального текста, местами тенденциозно искажавшую высказанное писателем. Об этом Лем говорил следующее: «Я, конечно, иногда высказывал весьма острую критику, но никогда не занимался критикой *ad personam* [персонально (лат.)], а в эту статью кто-то добавил какие-то личностные колкости. Это был целый скандал, в результате которого я удостоился прозвища “польский Солженицын”. Это событие стало последним явлением моей апостольской деятельности *in partibus infidelium* [в странах неверных: в значении — в чужой среде (лат.)] в научной фантастике. Я слишком много энергии потратил зря на многочисленные статьи, а кроме того осознал бессмысленную бесполезность этого предприятия» (имеется в виду «апостольская деятельность в просветлении американских умов», выступления «против всех проявлений дешевки и убожества в научной фантастике») [16, с. 293]. И писал: «Я довел до бешенства этих деятелей, публикуя тут и там свое мнение об их творчестве, но напрямую меня выгнать они не осмеливались. Было всего 2 почетных члена SFWA — Толкин и я, а так как Толкин умер, то для SFWA наступило подходящее время сослаться на то, что в их уставе почетное членство не предусмотрено, признали мое “ошибкой” и аннулировали его (...). В связи с этим фактом от нескольких американцев я получил письма с выражением сожаления и стыда» [134, 20.11.1976]. Пришло такое письмо и от американской писательницы Урсулы Ле Гуин, которая, протестуя против исключения Лема из SFWA, из моральных соображений отказалась от премии «Nebula Award» за один из своих рассказов, по иронии судьбы вместо нее эта премия тогда досталась Айзеку Азимову [342].

С 1971 по 1981 г. писатель опубликовал более шести десятков статей в более чем двух десятках польских периодических

изданиях. Больше всего в журнале «Literatura» («Литература», в 1972 г. 11 статей, впоследствии включенных во второе расширенное издание «Фантастики и футурологии» (1973)), «Kurier Lubelski» («Люблинский курьер», 6 статей о литературе и футурологии), «Przegląd Techniczny» («Техническое обозрение», в 1975 г. цикл из 6 лекций [87] о проблемах освоения космоса и проекте поиска внеземных цивилизаций СЕТИ), «Teksty» («Тексты», 6 статей по теории литературы, часть из которых впоследствии вошла в сборники «Размышления и очерки» (1975) и «Мой взгляд на литературу» (2003)), «Pismo» («Журнал», 6 статей о литературе и футурологии), «Itd» («И т.д.», 4 статьи о научно-фантастической литературе, НЛО и космических цивилизациях). Но в этот же период Лем еще более активно сотрудничал со специализирующимися в области научной фантастики иностранными периодическими изданиями — фэнзинами: австрийским немецкоязычным «Quarber Merkur» (с 1968 г. опубликовано около 40 статей, рецензий, интервью и писем, многие из которых написаны специально для этого издания), австралийским «SF Commentary» (с 1969 г. опубликовано порядка 25 статей и писем), американским «Science Fiction Studies» (с 1973 г. опубликовано более 20 статей). Кроме этого были публикации и в других немецкоязычных периодических изданиях («Regensburger Universitäts-Zeitung», «Playboy» (немецкая редакция), «Die Welt», «Frankfurter Allgemeine Zeitung», «Lektüre», «Welt am Sonntag», «Akzente»), а также опубликовал впервые или только на русском языке 8 статей: в изданиях «Техника — молодёжи», «Литературная газета», «Химия и жизнь», «Вопросы литературы», «Знание — сила».

С 1972 г. — с момента образования — Лем являлся членом Комитета «Польша 2000» Президиума Польской академии наук. В задачи Комитета входило планирование развития собственной страны, предсказание будущего для принятия соответствующих упредительных мер. Лем вспоминал: «Когда меня назначили членом Комитета “Польша 2000”, я объяснил на

первом заседании, что все, что можно будет сделать, останется неинтересным для политиков, а то, к чему они испытывают жгучий интерес, предсказать нельзя. Меня восприняли как адвоката дьявола, никто не пришел от моих слов в восторг» [148.2]; «Как член Комиссии при Президиуме ПАН “Польша 2000” я отвечал на анкеты, писал прогнозы развития польской культуры до 1990 года, (...) о человеке будущего и о том, как его воспитывать в Польше» [16, с. 141]; «Я писал докладные записки как член Комитета “Польша 2000”, требуя, чтобы Комитет получил доступ к материалам, конфискованным цензурой, ибо мы увидим в них ответы на социально острые вопросы. Если нельзя свести на нет вредное действие цензуры, пусть же хотя бы останутся изученными те материалы, которые не переданы обществу. Потом я убедился в правильности моего требования: сама система конфискации материалов показывала возрастающую опасность, причем столь явно, что лишь слепой мог этого не заметить. Я писал и в Комитет, и председателю Польской академии наук, уверенный, что в худшем случае нас ждет отказ в доступе, ведь от такого выступления никто академию не разгонит на все четыре стороны. Я писал также по вопросу добычи нефти (в 1973 году) и угля, пока не узнал, что правительство вообще материалами Комитета не интересуется. Вся эта работа была напрасной, как напрасным оказался прогноз развития культуры. Я или не получал ответа, (...) или это были ничего не значащие любезности, ни единым словом не касающиеся того, что я требовал. Итак, я понял, что это абсолютно безрезультатно, а я хотел добиться результата» [17, с. 198]. По просьбе Комитета в 1981 г. Лем написал доклад «Прогноз развития биологии до 2040 года» [15, с. 683-698].

В это же время Лем занимался и преподавательской деятельностью — читал курсы лекций в Ягеллонском университете в Кракове: в 1973 г. — по теории литературы на факультете польской филологии (полонистике), в 1974-1979 гг. — по истории философии, философии и теории

познания как основы футурологии на факультете философии (основные положения лекций по основам футурологии были опубликованы в качестве предисловия к третьему изданию «Суммы технологии»), при этом лекции пользовались большим успехом у слушателей («Думаю, что мои лекции (прогнозы) нравятся студентам, потому что меня уже перевели в самый большой зал факультета философии, но все равно сегодня несколько человек стояло из-за недостатка места» [131, s. 323]), а сам писатель во время этих лекций в большинстве своем импровизировал. Об этих лекциях Лем говорил: «На них приходят не только молодые полонисты, но и астрономы, физики и другие. Я называю эти лекции “общей теорией всего”, ибо затрагиваю в них и проблемы современной жизни, и предсказание будущего, и литературу — чего же больше» [81]. На лекциях Лем говорил и о космических цивилизациях: «Мне кажется, это очень интересная философская проблема. Я начинаю лекцию с рассказа о том, что думают о проблеме те или иные ученые. А потом делаю небольшой шаг вперед — на самый передний край научных взглядов, где возникают так называемые научные экстраполяции. Ну а в заключение рассказываю о своих раздумьях на эту тему» [93].

Лем неоднократно приглашался на встречи со священнослужителями, о чем он так писал в письмах: «Вчера я участвовал в дискуссии на тему “Вера и наука” (...) в костеле, было это очень интересным переживанием, хотя, понятное дело, я из штанов не выпрыгивал, чтобы доказать собравшимся, а было там в нефе костельном около 1000 человек, что Господа Бога нет ни капельки, а только умеренно философствовал. Как-то в последнее время я заметил, что моей страшной фантастическо-теологической ересью заинтересовались духовные лица, опять меня пригласили, чтобы я соблазнял с истинной дороги к спасению братьев, клириков доминиканских... и поместил уже в их ежемесячнике прекрасную статью о достоинстве человека [90], ибо сейчас, в рамках экуменистического процесса, вместо того, чтобы как раньше за-

ливать в горло атеистам расплавленный свинец и поджаривать их на малом огне, приглашают таких сыновей на чай с пирожными и культурные беседы. *Tempora mutantur!* [времена меняются! (лат.)]; «Удивительно, что такое притягивающее воздействие оказывает моя фантастическо-теологическая ересь на умы многих духовных лиц! Костел был набит до отказа людьми, дискуссия шла без перерыва от 8 до 11 часов вечера» [131, s. 525]. Для священнослужителей Лем также читал лекции о развитии цивилизации, в том числе и по просьбе в то время краковского епископа кардинала Кароля Войтылы, будущего Папы Римского Иоанна Павла II.

Рассказы Лема были включены в обязательную программу для изучения в средней школе в Польше, что неудивительно, и в Германии, что очень удивило писателя, о чем он писал в одном из писем: «Недавно я получил в качестве авторских экземпляров два школьных учебника — хрестоматии для 6-го и 10-го класса немецких школ (в ФРГ). Уверяю Вас, что если бы в сороковые годы кто-нибудь мне сказал, что после войны я стану писателем, — я бы поверил; если бы он мне напропорочил Нобелевскую премию — возможно, тоже поверил бы, ведь человеческое тщеславие, как говорят, границ не знает. Но если бы этот пророк заявил мне, что эти самые немцы, которые пытаются меня раздавить как таракана, будут на моих рассказах учить своих детей немецкому языку, — нет, в это, клянусь, я бы не поверил» [131, s. 509].

К этому времени (после 1956 г.) за свою литературную деятельность Лем получил много наград: Офицерский крест Ордена Возрождения Польши (1959), Командорский крест (1970), Премию министра иностранных дел за популяризацию польской культуры за границей (1970), Премию министра культуры и искусства II (1965) и I (1973) степени, Государственную премию I степени (1976), Орден «Знамя Труда» II класса (1979), Премию Европейского конгресса Science Fiction EUROCON (1976 и 1980).

В феврале 1976 г. Сейм Польши (не без участия «старшего брата» — СССР — и по его примеру) внес изменения в конституцию, закрепив положения, что Польша является социалистическим государством, что руководящей политической и общественной силой в построении социализма и коммунизма является коммунистическая партия (Польская объединенная рабочая партия), что Польша в своей политике укрепляет дружбу и сотрудничество с СССР и другими социалистическими странами. Еще до принятия этих поправок против них активно выступали деятели науки, культуры, литературы («Письмо 59-ти» в декабре 1975 г. и дополнительно «Письмо 101-го» в январе 1976 г., подписанное и Лемом). А после принятия поправок за пределами Польши была создана общественная организация «Соглашение о независимости Польши» (PPN, Polskie Porozumienie Niepodległościowe), опубликовавшая в середине 1976 г. в польскоязычных изданиях в Лондоне и Париже и специальными отдельными брошюрами для распространения в стране свою программу из 26 пунктов. Организация своей целью поставила восстановление реальной независимости Польши (от СССР), установление истинного народовластия, внедрение в жизнь общественных свобод в соответствии с польскими традициями и развитием свободных стран Европы, создание правовых и организационных институтов для развития многопартийной демократии, обеспечение свободы слова и организаций, запрет цензуры, обеспечение частному сектору свободной хозяйственной деятельности, а также выход из военного Варшавского Договора, поддержка стремлений к независимости ближайших соседей: Украины, Беларуси и Литвы. Программа подчеркивала свой эволюционный характер. Деятельность «Соглашения...» была направлена в первую очередь на информирование граждан Польши, их образование и объединение для выполнения поставленных задач. За период 1976-1981 гг. в рамках «Соглашения...» было издано 49 документов аналитического характера, нелегально распространявшихся в Польше. Само

«Соглашение...» сыграло большую роль в формировании общественного мнения и в объединении граждан Польши, что привело к реализации большинства поставленных целей к концу 1980-х гг.

Лем принял непосредственное участие в деятельности «Соглашения о независимости Польши» в части подготовки аналитических документов. В частности, под псевдонимом Chochół (Хохол, не без намека на то, в какой стране оказался сейчас город его детства) он опубликовал два больших документа: «Прогнозы Хохла» и «Парадоксы советизации». «Прогнозы Хохла» [95] «посвящены будущему Польши, измеряемому годами, т.е. близкому будущему. При этом речь идет о будущем наиболее правдоподобном, а не о будущем наиболее желательном». В работе Лем утверждает, что «политическая игра по-прежнему будет вестись с противником принципиально нечестным, скорым до лжи и к обещаниям, фальшивым в своем зародыше, в жестокости своих поступков ограниченным исключительно актуальной политической конъюнктурой», утверждает, что «живем и будем жить в системе, которая по своей природе НЕ ПОДДАЕТСЯ ИСПРАВЛЕНИЮ, которая ни политических, ни экономических желаний народа не исполнит». В статье Лем рассуждает (прогнозирует) об экономике и культуре, о внешней и внутренней политике. Все-таки больше места уделяя внутренней политике властей, Лем отмечает, что «в некотором смысле следует ожидать такого “симбиоза” аппарата полицейских репрессий с аппаратом партийного руководства в ПНР, соответствием которого в СССР является “симбиоз” военного командования с коммунистической партией. Различие в партнере (там армия, здесь полиция) потому, что СССР имеет в виду имперские цели, которых очевидным образом ПНР как государство-сателлит иметь не может, и если главной задачей властей СССР является стремление к военному превосходству над антагонистами из капиталистического мира, то главной задачей властей ПНР будет просто уверенно удерживать за морду собственное общество. (...) Все

сказанное убеждает, что Польша внутренне будет уподобляться СССР». Анализу того, насколько далеко и глубоко Советский Союз уже «проник» в Польшу и какие в связи с этим дальнейшие перспективы, и посвящена статья «Парадоксы советизации» [96]. В статье Лем рассматривает историю советизации польского общества, характеризуя граждан такого общества: «Жизнь в системе советского типа оказывает на его граждан очень специфическое воздействие, отдельные последствия которого уже можно, к сожалению, наблюдать в ПНР. Средний гражданин становится пассивным, кротким, терпеливым, а вместе с тем ожесточенным, лицемерным, циничным, у которого абсолютно уничтожены всяческие проявления мышления в политических категориях. Пассивным, кротким и терпеливым он становится осознанно из опыта, что противодействие злу, гласная критика, подвержение сомнению распоряжений власти или хотя бы только требование того, что ему номинально положено (например, качественное обслуживание в ресторане, в магазинах, в учреждениях), в лучшем случае ничего не даст, а в худшем повлечет за собой неприятности, сложно представить какие». Лем отмечает факторы, препятствующие быстрой полной советизации польского общества, а именно: «1) Костел, 2) неколлективизированное крестьянство, 3) тяжелое экономическое положение государства, 4) непропорциональность между коррумпированностью власти и ее оперативностью, 5) определенные формы диссидентского движения». И в заключении утверждает, что «своеобразная неравномерность советизации Польши создает определенный шанс противодействия ее собственному прогрессу, который был бы мил Кремлю. Проявления коррупции, деморализации, неверных решений, безыдейности, экономической беспомощности, замена способных людей на по сути цинических злодеев, — это ПНР переняла у большого московского опекуна как бы с готовностью как более правильное и выгодное с точки зрения тамошнего Политбюро. Немного в этом выводе утешения для граждан, утопающих в несчастной отечественной грязи сокру-

шенных надежд, но в нашем положении мы должны быть удовлетворены малым. Мы могли ведь опуститься на то дно, на котором находится Чехословакия, пользующаяся сегодня большим доверием Кремля, потому что ему очень удалось оглуляющее усмирение. Неспособность наших властей дает нам сегодня шанс на далекое будущее. Такие иногда случаются каверзные парадоксы истории». В то время в Польше значительно усилились антисоветские настроения, и даже Лем писал: «Мне представляется, что советский лифт везет нас на дно в ударном темпе. Не то чтобы довоенной, но уже и той Польши 1957-59 гг. уже нет. Каша, мамалыга, бла-бла, густой рис, а сверху плавают отборные фекалии» [130, s. 700] и «Мое отношение к СССР сейчас таково, что я удивляюсь, как вообще мог когда-то ездить туда и позволять, чтобы меня чествовали» [131, s. 680].

В сентябре 1981 г. в Западном Берлине с участием Лема состоялся трехдневный симпозиум «Информационные и коммуникативные структуры будущего» (INSTRAT), посвященный его творчеству. При чем симпозиум был посвящен не столько литературной стороне творчества писателя, сколько прогностической. Об этом симпозиуме Лем говорил, что «немцы были чрезвычайно основательны, поэтому методично взялись за работу и все доступные на немецком языке сочинения (девяносто процентов того, что я написал) подвергли компьютерному анализу и выбрали колоссальное количество идей. Дискуссия показала (...), что значительное большинство моих концепций могут найти подтверждение в дальнейшем развитии тех ветвей науки, распространение которых в середине шестидесятих годов еще казалось фантастическим видением. Часть их уже осуществилась, часть оказалась очень близка к этому, а еще часть перешла из сферы фантазий в сферу гипотез. То есть в познавательных категориях направление главного удара было выбрано правильно» [16, с. 414]. На симпозиуме Лем ответил на вопросы участников, причем в основном спрашивали, каким образом ему удалось спрогнозировать столько

много вещей, которые не могли предсказать специалисты в своих областях. Вспоминая об этом симпозиуме, Лем писал: «Я не знаю, откуда знаю то, что знаю, так как ничего о будущем не знал и далее не знаю наверняка. (...) Я не формировал какие-либо календари будущих открытий или изобретений, а из ужасно хаотической массы постоянно изменяющихся фактов и событий пытался выделить далеко идущие тенденции развития различных областей науки, трансформацию жизненных устоев и возможные последствия обоих, понимаемые как влияние инструментализмов на обычаи и нравы и наоборот, и это в свою очередь означало, что не считаю человека и технику оппозиционными сторонами и осуществляемые выборы альтернативными, а, скорее, видел будущее как процесс размывания классических категорий (“здесь техника — там человек”), приводящий к такому перемешиванию этих категорий, что с какого-то момента “искусственное” становится неотличимо от “естественного”» [106].

К 1980 г. кризис в польской экономике и в обществе в целом усилился, и стала очевидной неспособность правящей в Польше партии спасти ситуацию. Нарастали выступления трудящихся, все более популярным становился независимый профсоюз «Солидарность», который стал инициатором и лидером принципиальных перемен в стране, а как результат — в Польше 13 декабря 1981 г. правящим режимом было введено военное положение, продлившееся до июля 1983 г. Как раз в это время — с ноября 1981 г. по август 1982 г. — свои беседы с Лемом записал филолог Станислав Бересь. Фрагменты бесед публиковались во вроцлавском литературном ежемесячнике «Odra» (1984, №№ 4-12; 1985, №№ 1-10), а книга, порезанная польской цензурой, вышла в 1987 г. [118], но полный ее вариант был издан ранее в 1986 г. в ФРГ под названием «Лем о Леме».

В 1982 г. Лем покинул Польшу, ему удалось получить годовую стипендию в исследовательском институте (Wissenschaftskolleg) в Западном Берлине [114]. О пребывании там у

Лема остались приятные воспоминания: «Жизнь была фантастической, единственной моей обязанностью было прочтение одного доклада — я выбрал из “Философии случая” тему о том, как рождаются литературные шедевры. При этом не только деньги поступали на счет, но я прежде всего радовался библиотечному обслуживанию, такому, которого никогда до этого не имел и иметь не буду. Я только записывал заявку и клал ее на стол перед дверями номера. То, что можно было найти в Берлине, получал сразу же; то, что имелось в какой-нибудь немецкой библиотеке, — на второй день; а если книгу нужно было доставить из Лондона или Америки — продолжалось это аж три дня... Выписывал целые стопки книг» [204, s. 82]. Через полгода, с разрешения польских властей, к Станиславу Лему присоединились жена и сын. Семье предлагали навсегда остаться на Западе. Лем вспоминал: «Однако мы не радовались такой перспективе и решили (...) оставаться с польскими паспортами так долго, как получится. И это удалось. В какой-то момент в “Die Welt” написали, что Лем выбрал свободу; я ответил письмом в редакцию, что по-прежнему остаюсь польским гражданином» [204, s. 83]. Затем по приглашению Австрийского литературного института (Österreichisches Institut für Literatur) Лем с семьей переехал в Вену, где они проживали в 1983-1988 гг. Как эмигрант он чувствовал себя не лучшим образом, кроме этого были проблемы со здоровьем — он перенес нескольких операций («слазил с одного операционного стола, немного пописывал и залазил на очередной» [204, s. 89]), правда, нет худа без добра — после удаления трети толстой кишки у него пропал сенный насморк, да и курить (по пачке «Salem» ежедневно) бросил.

В 1983 г. на немецком языке была опубликована большая автобиографическая статья «Моя жизнь» [140, с. 5-27; 3, с. 5-29], в которой Лем достаточно подробно и критически рассмотрел свое литературное творчество и его истоки, рассказал о своем писательском методе («главным в своей биографии я считаю нелегкий духовный труд»). За время эмигра-

ции Лем опубликовал сборники рецензий на несуществующие произведения «Провокация» (1984) и «Библиотека XXI века» (1986), рассказ «Черное и белое» (1983), романы «Мир на Земле» (1985, впервые издан на шведском языке) и «Фиаско» (1986, впервые издан на немецком языке, написан по заказу немецких издателей и был одним из условий финансирования пребывания Лема с семьей на Западе).

В это же время Лем публиковал в основном на литературные темы статьи в англо- и немецкоязычных журналах. Кроме литературного творчества, в рамках междисциплинарного симпозиума «Теория систем и знание о литературе» в Венском университете Лем читал лекции об «эмпирической теории литературного произведения» [128, s. 282] на материале и в развитие своей монографии «Философия случая». На основе этих лекций в 1988 г. вышло существенно доработанное издание этой монографии.

Очень важные статьи на общественно-политические темы Лем опубликовал в упоминавшемся ежемесячном польско-язычном оппозиционно-диссидентском парижском журнале «Культура» под редакцией Ежи Гедройца — теперь уже под псевдонимом P. Zławca (Пан Знатор). Лем вспоминал, что «важно было, чтобы польские власти не расшифровали, кем на самом деле является Знатор. Поэтому действовать надо было в соответствии со всеми законами конспирации. И Гедройц звонил мне и говорил, что, мол, Вы, наверное, знаете пана Знатора, поэтому прошу ему передать... Такая вот детская игра в конспирацию» [187]. (Кстати, Ежи Гедройц родился в Минске, здесь же есть улица его имени.) Иногда тексты для «Культуры» Лем давал своим родственникам для «редактирования» — изъятия из текста выражений, позволяющих по стилю однозначно определить автора. За период 1983-1988 гг. там было опубликовано 10 объемных статей с критикой марксизма-ленинизма, которые можно рассматривать и как статьи антисоветской направленности. Например, в статье «В глазах Советов» Лем (Знатор) критикует выступления обще-

ственности в Германии за выход этой страны из НАТО, утверждая, что для Европы от СССР исходит гораздо большая угроза, чем от США и НАТО. По словам Лема, «черный юмор положения заключается в том, что сорок лет назад немцы пытались уничтожить других, а сейчас пытаются затянуть на дно всех вместе с собой» [109]. Не случайно в 1980-е гг. в СССР существовал негласный запрет на публикацию произведений Лема, хотя причиной этого явился сам факт эмиграции Лема из социалистической Польши.

Из статей того времени особо следует выделить две. В мае 1986 г., сразу же после аварии на Чернобыльской АЭС, Лем написал статью «Урок катастрофы» [115], в которой особо обратил внимание на то, что «стечение обстоятельств позволило нам присмотреться к Советскому Союзу во время многогранной атомной катастрофы, которая явилась как бы упрощенной версией падения атомной бомбы». При этом «о существовании военных подразделений, специализирующихся в области атомной защиты, советская пропаганда вспомнила только на пятый или шестой день после катастрофы. То, что ни гражданские власти, ни военные не были подготовлены к смертельно опасному поражению значительной части собственной территории собственными атомами, не подлежит сомнению». Такая ситуация возможна, если «военная атомная мощь Советов создана прежде всего как чисто наступательное вооружение и не столько служит применению в войне, сколько составляет инструмент политики устрашения, шантажа, “финляндизации”, представляет массу, приспособленную для различных давлений, торгов, для психологического воздействия на общественное мнение Запада, одним словом — для блефа, который ослабляет Атлантический альянс, вбивает клин между Западной Европой и Америкой и в результате принесет Советам плоды победы без войны. В этом случае недостаток средств обороны, качеством и количеством пропорциональных средствам атаки, хорошо понятен». Кроме этого такая ситуация возможна по чисто структурным факторам, заклю-

чающимся в том, что из-за строго централизованного управления армией от «ее территориальных представителей пораженное население не может ожидать помощи». И в конце статьи, в разделе «Похоронный звон», Лем делает вывод, что «между наступательным и оборонительным атомным потенциалом Советов господствует гигантская диспропорция. Тем самым можно утверждать, что СССР может быть очень легко побежден в атомной войне, начатой в соответствии со стратегией первого удара». Правда, Лем успокаивает, что «эти ужасные слова можно говорить спокойно, так как если вообще существует что-то абсолютно невозможное, то этим как раз и является атомная атака США на СССР».

Другая статья — под красноречивым названием «Должны ли мы желать успеха Горбачёву?» [120] — написана в феврале 1987 г. в стиле «Диалогов». В данном случае диалог ведется между Оптимистом и Пессимистом. В статье довольно подробно анализируются первые годы руководства СССР Горбачёвым М.С., выделяются положительные и отрицательные с точки зрения Лема элементы его внешней и внутренней политики, при этом преимущественно Оптимист задает вопросы, а Пессимист отвечает на них. Например, на вопрос «Желаешь ли ты, чтобы Горбачёв закончил так же, как Хрущёв?» Пессимист отвечает: «Не исключено, что он проиграет, как Хрущёв, хотя наверняка не точно так же. Однако о том, чтобы я желал ему такого поражения, не может даже быть и речи. Альтернатива, перед которой стоят Советы, представляется угрожающей для их существования как империи. Если Горбачёв разделит судьбу Хрущёва и почти ничего не останется от его реформистского запала, будет плохо. Если же ему повезет, будет нехорошо». А в конце на заглавный вопрос статьи Лем устами Пессимиста отвечает: «Если мы себе желаем гибели империи вместе с остальным миром — нет. Если же само дальнейшее существование человечества может наполнить нас надеждой на лучшее завтра — ответу: да». Там же в дальнейшем были опубликованы статьи под названиями

«Вопросы, проблемы, угрозы» [124], «Диагноз и прогнозы» [126], «Факты, домыслы, ожидания» [127], в которых в большей или меньшей степени затрагивалась деятельность Горбачёва М.С., которая в общем-то обнадежила Лема.

Особо следует сказать также о статье, опубликованной в научном журнале Академии наук СССР. Дело в том, что в 1986 г. в Вене Лем познакомился с группой специалистов, занимавшихся изучением вируса СПИД, и «получал от них непрерывный поток поразительной информации» [128, s. 279]. Лем даже планировал написать научную книгу под названием «Жизнь в эпоху СПИДа». Книгу не написал, но большое эссе под таким же названием опубликовал [148.3], а предварительно, как результат осмысления полученной информации, и появилась большая статья «Стратегии паразитов, вирус СПИДа и одна эволюционная гипотеза» для журнала «Природа» Академии наук СССР, в которой Лем анализирует возможные причины появления пандемии ВИЧ/СПИД и предполагает возможные ее последствия с точки зрения стратегии паразитизма, присущей именно ВИЧ, а также высказывает оригинальную эволюционную гипотезу, которая вызвала к себе неоднозначное отношение биологов уже при подготовке перевода к печати и которая по просьбе редакции была прокомментирована известным советским вирусологом, который отметил, что «хочется поблагодарить С. Лема за то новое направление мысли, которое он щедро подарил вирусологам и эволюционистам». Статья спустя 17 лет была повторно напечатана на русском языке, но уже в Киеве в специализированном журнале с новыми комментариями, в которых отмечается, что, по словам Лема, «с того момента, когда геном вируса проникает в геном человека, он уже не распознаваем и не может быть уничтожен какими-либо медицинскими средствами», и мы видим, что к настоящему времени, вопреки многократным заверениям научного сообщества о скором создании ВИЧ-вакцин и спасительных таблеток, они все еще не созданы. Неужели Лем был прав и все эти попытки оказались лишней

тратой времени и средств? Что нужно заниматься предотвращением распространения ВИЧ, искать принципиально новые способы борьбы с ним? Ибо Лем писал, что ВИЧ «необычайно заразен; размножается на первых порах медленно; благодаря антигенному дрейфу “ускользает” от антител; внедряется в геном хозяина, делая здоровый с виду организм разносчиком болезни», то есть не исключается, что ВИЧ может (сможет) передаваться и в быту («если он научится летать, нам всем крышка») [136]. Неужели Лем может оказаться прав?

Как бы хорошо (или не очень хорошо) ни было в Австрии, но семью Лема, безусловно, тянуло в Польшу. И как говорил Лем: «На горизонте появился Горбачёв, и жена мне сразу сказала: “Вновь провидение заботится о тебе, как-нибудь из этого выберемся”» [16, с. 500]. И в самом конце 1988 г. вместе с женой Лем вернулся в Польшу. К тому времени на окраине Кракова они построили новый дом (строительство которого было начато еще в конце 1970-х гг.), а сын изучал теоретическую физику в Принстонском университете в США (после учебы он вернулся в Польшу). Впоследствии Лем неоднократно подчеркивал, что вернулся благодаря Михаилу Горбачёву. То есть все получилось так, как писал Лем: «От своего отца я когда-то перенял максиму, что в нашей семье все в целом заканчивается хорошо, но после периода сложностей. В случае моей карьеры, моей женитьбы, моих болезней это было похоже на правду» [131, с. 311].

Показательной в отношении происходящих тогда в СССР событий является статья «Не может быть рая на Земле», опубликованная Лемом в очень популярном в то время «перестроечном» московском журнале «Огонёк». Редакция журнала еще в Вену отправила писателю вопросы по самому широкому спектру проблем, а отвечал Лем уже в Кракове, датируя свой текст 20 декабря 1988 г. Во вступительном слове редакция отметила, что это «публицистические заметки гуманиста об окружающем нас мире и месте Человека в нем». В статье Лем пишет о своем творчестве, о развитии науки и техники, об

автоэволюции человека, о демократии и тоталитаризме, о перестройке в СССР. «Рая на Земле никогда не будет, если в нем должны жить люди свободные и разумные. Свобода достигается в устремлениях, а не в таком их осуществлении, после которого оставалось бы только почивать на лаврах победы. (...) Конечно, одним лишь писанием мир не изменить. Но то, что у вас уже произошло, и то, как развиваются события, свидетельствует о том, что правда — стократно погребенная, похороненная, затоптанная — берет реванш за свои поражения годы спустя. Народы имеют ПРАВО знать правду о собственной истории, ибо только глупцам замалчивание собственных поражений, «внутренних» преступлений и бед кажется самым простым и самым лучшим способом разделаться с прошлым». В статье, говоря о демократии, Лем отмечает, что является сторонником «цивилизации как правления экспертов», а не как «правления всех», «поскольку большая (и притом всевозрастающая) часть решений, которые приходится принимать, оказывается выше уровня компетентности дилетантов» [135].

После того, как в конце 1985 г. в СССР был взят курс на «перестройку» и «гласность», как следствие стало издаваться много хорошей зарубежной литературы, при этом не был забыт и Лем. И хотя он уже выступал на равных условиях со всеми остальными переводимыми писателями, но не потерял высокого положения среди читателей. За небольшой промежуток времени — с 1987 по 1991 г. — были переведены и опубликованы «Футурологический конгресс», «Мир на Земле», «Библиотека XXI века», «Расследование», «Осмотр на месте», «Фиаско».

3. Философско-публицистический этап

Вернувшись в конце 1988 г. в Польшу, Станислав Лем принципиально перестал писать художественные фантастические произведения, причину чего он объяснял неоднократно.

Например, в одном из интервью: «У меня были еще наброски замыслов для реализации, но я решил, что эксплуатировать их в новой ситуации не стоит. Именно осуществление или переход из страны фантазмагии в реальность многих разнообразных моих идей парадоксально явились препятствием для дальнейшего занятия Science Fiction. Хочу пояснить это на образном примере. Высаживая в саду саженец, можно себе представлять, как в результате многолетнего развития преобразуется он в дерево с развесистой кроной, как зацветет и со временем станет плодоносить. Однако случилось так, что дерево выросло, действительно разрослось мощными ветвями, но подозрительными мне кажутся его соцветия, и яд сочится из его плодов. Или иначе: я писал в невесомости, свободно маневрируя сюжетами, делая их безопасными или подслащая юмором, или осознанно обходя ужасные подтверждения своих прогнозов, и тем самым не чувствовал себя ответственным за какие-либо будущие людские сумасшествия, которые отпочкуются от моих домислов. По сути было в этом что-то от классической ситуации, называемой вызовом темных сил учеником чернокнижника» [205]. Или еще иначе: «Перестал писать, когда заметил, что то, к чему я с легкостью относился как к фантазии, проявилось в реальности, конечно, не в идентичном плодам моего воображения виде, но в подобном им. Я решил, что нужно сдержаться, ибо еще додумаюсь до чего-нибудь такого, что мне уже совершенно не будет нравиться» [215].

Перестав писать беллетристику, автор романа «Солярис» плодотворно занялся философией и публицистикой, заслужив звание «краковского оракула», знающего все и имеющего обо всем собственное мнение. Тем самым начался очередной **этап** творческой жизни Станислава Лема — **философско-публицистический**. В различных периодических изданиях он регулярно публикует статьи на научно-технические, философские, литературные, политические темы, часто дает интервью.

Знание языков, постоянное чтение научных и научно-популярных журналов и книг (на английском, немецком, французском и русском языках), незаурядный ум позволяют ему быть в курсе всех достижений науки и техники и в определенной мере предсказывать-предполагать направления их развития. Своим посетителям он говорил: «Сегодня я больше думаю о физике и философии. Иногда это все соединяю с моим собственным огородом — биологией» [164]. А вообще о своей компетенции Лем отзывался так: «Я неплохо информирован в области биологии, включая медицину, но это довольно общие знания. (...) Довольно хорошо ориентируюсь в естественной эволюции, много знаю о генетическом коде, органической и неорганической химии, а также о биохимии. Я много знаю о физике, хотя должен подчеркнуть, что перестал в ней разбираться с тех пор, как ее концепции стали герметизироваться и множиться. (...) Также и математика, о которой я имею некоторое понятие, со временем стала для меня недоступной, поскольку рост теорий и детализация стали так велики, что если бы я хотел за ними угнаться, то должен был бы себя “уничтожить”. Тем не менее я еще постоянно стараюсь “цепляться” и знать, что происходит в физике и математике, чтобы не утратить контакта с новейшими достижениями и не быть сбитым с панталыку каким-нибудь внезапным и неожиданным оборотом дела. Я довольно много читал в области космологии, астрофизики, астрономии и планетологии. Если говорить о других дисциплинах, то я немного ориентируюсь в кибернетике, теории информации, логике, теории принятия решений и среди различных научных “детей” кибернетики. (...) Я очень интересуюсь философией, (...) прилично ориентируюсь в теории литературы» [16, с. 90-91].

В 1989 г. в Польше начинают ускоряться политические события. В феврале происходит заседание «Круглого стола» — первые официальные переговоры правительства с оппозицией,

которые заканчиваются подписанием лидером «Солидарности» Лехом Валенсой и правительством Соглашения о политических и экономических реформах. Как результат — впервые в Восточной Европе проходят свободные (или почти свободные) парламентские выборы. Лем с воодушевлением воспринял все эти перемены. Его сын вспоминал, что когда наступил день выборов, 4 июня 1989 г., Лем был первым голосующим в округе; он появился задолго до шести часов утра и ждал открытия избирательного участка — может потому, что хотел собственными глазами увидеть, состоится ли вообще эти выборы, или хотел успеть проголосовать до их отмены [343, s. 247]. В результате выборов полную победу одержала «Солидарность» (ее кандидаты заняли в Сейме 160 мест из 161), произошло, как говорят в Польше, «падение коммуны» — с 31 декабря страна изменила свое название, стала называться Rzeczpospolita Polska — Республика Польша. Тем самым в истории Польши начался новый — демократический — период. Лем вспоминал: «Я был, возможно, самым интеллектуально развитым ребенком в южной Польше. (...) Свой интеллект я применил для того, чтобы пережить сначала советскую, потом немецкую оккупации Львова, затем ПНР и доехать до свободной Польши. Для этого необходимо было, безусловно, много интеллекта» [218].

В 1995 г. на вопрос, каковы наибольшие достижение и поражение Польши в последние годы, Лем ответил: «Говоря наиболее обще и кратко, ответ на вопрос можно свести к двум наиболее важным делам, из которых следуют многие другие. Польским триумфом я, без сомнения, признаю получение Польшей независимости в 1989 г. и тем самым открытие для нее пути к экономическому взлету. За несомненное польское поражение я признаю всю теперешнюю политическую ситуацию, отсутствие ответственных политиков и последовательных действий их, при этом деятельность политиков

продолжается в непрестанном празднике под флагами и знаменами» [176]. Что касается политиков, то Лем отмечал (в 2001 г.), что «единственным выдающимся польским политиком был Юзеф Пилсудский. Нового по-прежнему нет, возможно, он еще не родился» [16, с. 514]. «Пилсудский был одним из очень немногочисленных государственных деятелей, (...) который смотрел дальше других, который видел и чувствовал, (...) какие наступают опасности, и целью жизни которого (...) было исключительно укрепление Польши и укрепление ее суверенности, чтобы она могла пережить исторические бури» [177, s. 119-120].

В 1989-1992 гг. в польских журналах Лем публикует эссе на литературные и философские темы. В Кракове читает лекции для студентов различных вузов, в том числе в Ягеллонском университете для студентов-филологов по теории литературы, а для студентов-философов — по теории познания. Он восстановил связи с католическим еженедельником «Tygodnik Powszechny», в котором под рубрикой «Мир по Лему» публикует размышления о событиях в политической и культурной жизни, об общечеловеческих проблемах (по договоренности с редакцией он не затрагивает религиозные темы); за 1992-2006 гг. там было опубликовано порядка 300 статей и интервью. В частности, о распаде СССР в статье «Смерть Советов» он написал: «На вопрос “Кто добил СССР?” отвечаю: по моему мнению, Рональд Рейган своими “Звездными войнами”. (...) Фактически все эксперты признавали этот проект нереализуемым. В журналах типа “Scientific American” я читал очень солидные и профессиональные статьи, доказывающие фантастичность этого намерения. Удивляло меня тогда (а жил я в то время в Вене), что единственными, кто этот проект не высмеял, а изо всех сил наступали на Америку, чтобы та отказалась от работ над “SDI” — “Стратегической Оборонной Инициативой”, — были советские политики, а ведь за ними

должна была стоять армия специалистов. Рейган оказался упертым, работа началась, и хотя все более явно была видна невозможность ее реализации — из бюджета США в уже начавшийся проект поступали очередные миллиарды. Я думаю, что Политбюро решило не рисковать: а ВДРУГ у американцев получится? Поэтому приказали своим специалистам догонять людей Рейгана, и уже доведенный до границы возможного советский бюджет, обремененный военными расходами, этого дополнительного груза не выдержал. Была это, как себе представляю, капля, переполнившая чашу. (...) Тогда мне впервые пришла в голову мысль до тех пор невероятная, что Советы могут погибнуть от экономической перегрузки, от “звездно-веной грыжи” [153].

На основе публикаций в еженедельнике «Tygodnik Powszechny» были изданы сборники статей «Милые времена» (1995, 51 статья 1994-1995 гг., скомпонованные в 6 разделов: На переломе века; Информационный душ; Цена свободы; Кошмары футуролога; Возврат к прошлому; Нежеланное чудо?) [177], «Придирки по мелочам» (1997, 57 статей, скомпонованных в 8 разделов: Новости из лаборатории; Опасаться Интернета!; Исчезновение детства; Зло, добродетель и принуждение; Повторение истории; Штормовая погода; Стихия слова; Авантюры) [189], «Короткие замыкания» (2004, 101 статья, скомпонованные в 9 разделов: За порогом века; Перспективы; Новости из лаборатории; Штормовая погода; Милые времена; Повторение истории; Вспоминая; Стихия слова; Авантюры) [258, Т. 31] и «Раса хищников» (2006, посмертное издание, 44 хронологически последние опубликованные в «Tygodnik Powszechny» статьи) [259].

В литературном ежемесячнике «Odra» с 1992 г. публикуется цикл статей преимущественно на литературные темы и воспоминания. С 1992 по 2006 г. там было опубликовано порядка 150 статей под общим названием «Сильвические размышле-

ния» (от латинского слова «*silva*», которое обозначает и лес, и плантацию, и множество, и материю, и изобилие, или, по Лему, — «лес разных вещей»). На основе этих публикаций были изданы два сборника «*Sex Wars*» (1996, 32 статьи [178]; 2004, 88 статей [258, Т. 29]). Несколько статей было опубликовано также в парижском журнале «Культура», но теперь уже под собственным именем. Одна из таких статей — «Сайентология» [188] — о возникновении различных религиозных сект и главным образом об этой новой религиозной вере: «Метафорично можно сказать, что с сайентологией дело обстоит так же, как с психоанализом в его язвительном определении, что это болезнь, выдающая себя за терапию. Если говорить менее метафорично, то суть в том, что содержание такого рода доктрины для обычного рационального человека наивно и глупо, составлено из клочков различных суеверий, в которые и сегодня (а может, и особенно сегодня) так многие верят, из “конфессиональных отходов”, при этом представляет собой бриколаж [создание вещей из любых подвернувшихся под руку материалов. — В.Я.], склеенный и разукрашенный должным вызывать доверие лозунгом “НАУКА”, хотя “подобно многим другим американским сектам обнаруживает свое псевдонаучное происхождение».

В 1993 г. главный редактор польской редакции журнала «*PC Magazine*» обратился в Лему с просьбой вести колонку в этом специализированном компьютерном издании. С тех пор Лем публиковал в нем эссе ежемесячно, вплоть до неожиданного закрытия этого журнала в январе 1999 г. Всего было опубликовано 63 эссе, в которых писатель рассматривает проблемы кибернетики и информационных технологий, при этом часто обращается к своим рассуждениям тридцати-тридцатипятилетней давности, изложенным в книге «Сумма технологии» в главах «Интеллектроника», «Прологомены к всемогуществу», «Фантомология» и «Сотворение миров».

Тридцать два начальных эссе было издано в сборнике «Тайна китайской комнаты» (1996) [184], а тридцать одно завершающее эссе — в сборнике «Мегабитовая бомба» (1999) [196], при этом специально для книги «Мегабитовая бомба» в 1999 г. были написаны «Вступление» и заключительное эссе, одноименное названию сборника. Оба этих сборника позднее были изданы под одной обложкой — «Молох» (2003) [258, Т. 26]. На компьютерную же тематику — по настойчивой просьбе издательств и/или за достаточно большой гонорар — Лем написал четыре рассказа: «Питавали XXI века» (1995-1996, хроника преступлений из 2044-2068 гг.), «Матрас» (1996, для немецкой антологии), «Последнее путешествие Ийона Тихого» (1996, для немецкой редакции журнала «Playboy») (эти три рассказа на русском языке опубликованы в сборнике «Молох» [15, с. 727-758]), «Клиники!» (2000, для немецкого журнала «Der Spiegel», рассказ был уже переведен на немецкий язык, но в последний момент Лем запретил его публиковать).

В еженедельнике «Przekrój» в 2000-2002 гг. под рубрикой «Ваше мнение, пан Лем?» было опубликовано порядка 100 статей на научно-популярные темы, из которых 21 статья впоследствии была включена в сборник «ДиЛЕМмы» [234] (2003, всего 59 статей, скомпонованных в 5 разделов: Политические рокировки; В потоке слов; Такие времена; Пальцем в небо; Новые фронты), в который также вошли статьи из «Tygodnik Powszechny» (25 статей) и «Odra» (13 статей).

В ежедневной газете «Gazeta Wyborcza» под рубрикой «Лем для Газеты» с октября 2001 г. по декабрь 2003 г. по воскресеньям одним или несколькими предложениями Лем излагал свое мнение о важнейшем с его точки зрения событии прошедшей недели. Таких было 121 публикация. Например, 25.08.2002 г. под заголовком «Шизофрения политики» был опубликован следующий текст: «Век XXI обещает быть эрой перегруппировки больших союзов и вместе с тем расторжения

существующих, поскольку политики больше заинтересованы в удержании при власти, чем в верности заключенным договорам и обязательствам. Таким образом, могут расходиться интересы правителей с интересами подвластных им обществ» [228]. Или еще такой пример — о встрече лидеров России, Франции и Германии: 14.04.2003 г., «Неодолимая ассоциация»: «После посещения льва остаются беспорядочно разбросанные, потрепанные останки и фрагменты разломанного скелета. Сопоставление этой картины со встречах трех джентльменов в Петербурге, приравнивающее их дебаты над разгромленным Ираком к прибытию шакалов и гиен туда, где лежит падаль, кажется мне бесспорным» [233].

В еженедельнике «Przegląd» с 2002 г. Лем публикует свои размышления на текущие события преимущественно политической жизни. До 2006 г. было опубликовано 124 такие статьи. Были публикации и в других периодических изданиях, в том числе и российских.

После распада СССР издательством «Текст» были приобретены авторские права на издание произведений Лема, и для реализации этих прав было принято решение издать десяти-томное собрание художественных произведений Лема. Для этого Собрания сочинений специально были переведены романы «Больница Преображения», «Рукопись, найденная в ванне», а кроме того переводчик К. Душенко выверил все тексты, перевел фрагменты произведений, сокращенные при переводе или вырезанные цензурой, сделал заново переводы некоторых рассказов. В результате за 1992-1996 гг. вместо десяти вышло тринадцать томов: 12 — с художественными произведениями (в каждом томе по два-четыре романа) и 13-й — «Сумма технологии». Дополнительно в серии «Классика приключений и научной фантастики» в 1997-1998 гг. вышло еще десять томов с художественными произведениями Лема, при этом впервые был опубликован роман «Человек с Марса». В

это же время был опубликован также ряд научно-публицистических статей писателя.

К концу XX века завершился перевод и издание на русском языке всех художественных произведений Лема (которые автор разрешил переводить). Но оставались еще непереуведенными научно-философские монографии и статьи Лема. При этом научный мир и читатели были хорошо осведомлены об этих работах: был опубликован ряд фрагментов, во многих научных работах на них уже давно ссылались — все-таки книги были доступны на польском языке в библиотеках и в книжных магазинах «Дружба». За перевод взялось крупнейшее (в то время «каждая пятая книга России!») в России московское книжное издательство «АСТ» (благодаря главному редактору Николаю Науменко, давнишнему поклоннику творчества Лема). С 2002 г. в «АСТ» начало издаваться новое, самое полное Собрание сочинений Лема, включающее все художественные произведения, «Сумму технологии» (которая сейчас издается с большим количеством примечаний, специальными предисловием и послесловием, которые призваны «оттранслировать ее смыслы на язык начала XXI столетия»), а также — впервые на русском языке — монографии «Фантастика и футурология», «Диалоги», «Философия случая», сборники «Молох», «Мгновение», «Так говорил... Лем», «Мой взгляд на литературу» (с дополнениями из «Письма, или Сопротивление материи» и «Sex Wars»), сборник ранних рассказов и юношеских стихов «Хрустальный шар». При этом кроме собственно Собрания сочинений в

издательстве «АСТ» книги Лема издаются в сериях «Philosophy» (Лем застал несколько таких книг и был очень удовлетворен, что его книги выходят под обложкой с такой надписью), «Золотой фонд мировой классики», «Золотая библиотека», «Золотая библиотека фантастики», «Библиотека мировой фантастики», «Мастера», «Внеклассное чтение», «Подарочная», «Книга на все времена» и др. К настоящему времени (июнь 2014 г.) на русском языке издано 297 книг с произведениями Лема общим тиражом 13,5 млн. экз., из них 218 — авторские книги общим тиражом 6,8 млн. экз., остальное — сборники вместе с произведениями других авторов. Больше всего издавался роман «Солярис» — 53 раза общим тиражом 2,5 млн. экз.

Из изданных на русском языке обзорных работ о творчестве Лема следует отметить объемную статью в «Энциклопедии фантастики» [271] и в «толстом» журнале «Новый мир» («Биография культуры рубежа столетий и поныне во многом создается усилиями мудреца из Кракова. Да иначе и быть не может — ведь на дворе по-прежнему эпоха Лема, непотерянное время жестоких чудес» [269]). Лему были посвящены две научные диссертации, причем обе были написаны в Беларуси, а защищены в Москве. В первой [291], рассматривая романы писателя как романы-предостережения различной направленности, автор делает вывод, что «источником фантастического в романе-предостережении С. Лема является стремление поставить определенный мысленный опыт, сконструировать некое идейное построение для того, чтобы наблюдать поведение и чувства человека под новым углом зрения. Источник реалистичности — в строгом соответствии принципу “вероятности”, в тщательности “стыковки” заданных условий с действительностью, верности объективным критериям и логике действительности. (...) Научно-фантастический роман-предостережение как жанр литературы берет на себя прогно-

стические функции, не свойственные до сих пор литературе, пытается предвидеть возможные изменения в мире; С. Лем с особой внимательностью относится к возможности отрицательных изменений для человечества. В реальной жизни все может, разумеется, пойти своим путем, более безопасным и положительным для людей, но весьма возможно, что мир выберет положительный путь именно благодаря «отрицательно-критической» модели писателя-фантаста». Во второй диссертации [281] автор на основе наблюдений над проблемно-тематической и идейной стороной научно-фантастических произведений писателя и изучения их художественных особенностей делает выводы, что «научная фантастика С. Лема — это особая разновидность этой литературы, характеризующаяся прежде всего значительными отступлениями от традиционных черт и характерных элементов», что «С. Лем всегда был заинтересован феноменом Общего в человеческой экзистенции, заинтригован поиском универсальной правды, созданием собственной философии жизни и человека. Философские элементы содержали все произведения писателя. В движении С. Лема от образа утопической действительности будущего через этическую программу к использованию философских категорий непосредственно в художественном произведении иллюстрируется неустанное желание писателя сказать свое веское слово об этом сложном и постоянно меняющемся мире». Автор подчеркивает, что С. Лем «строго ограничил философскую тематику своих научно-фантастических произведений практически до одной проблемы — проблемы познания, которая в каждом отдельно взятом случае облачена в довольно оригинальную художественную форму, дающую возможность неординарного ее разрешения», при этом «научно-фантастическое творчество С. Лема развивается по принципу круга, т. е. каждое новое произведение является своего рода повторением и дополнением предыдущего», а «наиболее важ-

ная сторона этой фантастики (...) — это ее философский подтекст, присутствующий почти во всех произведениях писателя, в разной форме, но всегда значительный и существенный».

Вступление Польши в 1999 г. в НАТО и в 2004 г. в Европейский союз было воспринято Лемом в целом с одобрением, хотя и без особого воодушевления. Ведь учитывая многолетнюю и даже многовековую историю взаимоотношений Польши с Россией, это все-таки было неизбежным. Незадолго до этого, характеризуя положение Польши на перепутье между Германией (Западной Европой) и Россией (Востоком), Лем писал: «Если бы мне нужно было его как-то назвать, то следовало бы применить не очень благозвучное название “междужолие”. Дело в том, что пытающиеся уберечь нас от фатальных последствий открытости в отношении Западной Европы, или вступления в Европейский союз, необыкновенно скромные и заботящиеся об антисексуальном состоянии правые политические силы пытаются искусить нас концепцией, которая при первом чтении показалась мне в наивысшей степени безумной. Чтобы избежать наплыва порно-коммерческого Запада, мы, в соответствии с этой концепцией, должны отдать в опеку Востоку (...), даже если это будет стоить нам независимости, но не более чем на пятьдесят лет. (...) То, что Польша практически повернулась к России спиной, считаю это одним из типичных наших кренинизмов. (...) Понятие “междужолие” обозначает, что либо зальет нас западная порнография, либо так называемая восточная российская порнуха. Так как эти раздражающие очень верующих людей прелести девичьих тел невозможно отличить, какого они воспитания, восточного или западного, то похоже на то, что попадаем либо в западноевропейский вседозволенный кипятилок, либо под страшное господство женско-российской голизны. Мысль побега от жопы к жопе, взятая географически и политически, оказывается тем самым переходом с дождя под водосточный

желоб. В головах, в которых господствует такая мысль (о направленном на Восток побеге), находится, видимо, идеальная информационная пустота, разыскивающая настоящие добродетели там, где они, может быть, существовали сто лет назад. Кроме этого, (...) попадем в наводнение коррупции, мафии, анархии, довольно четко дополняющееся бандитизмом, который развился на руинах советизма. Признаюсь, что не являюсь влюбленным во вседозволенную декаденцию Запада, но уж если обязательно идет к тому, что нужно выбирать, то предпочитаю западное болото» [192]. При этом Лем обращал внимание, что «Россия не собирается вновь поработать нас с помощью армии, но достаточно того, что она постепенно начинает перекрывать нефтяные и газовые краны. Я не стал бы уповать на то, что нас спасет НАТО или Европейский союз; если мы сами себя не спасем, никто нам не поможет» [18, с. 85], а «гарантии безопасности, которые мы якобы получили благодаря вступлению в НАТО и Европейский союз, имеются пока что только на бумаге, так как склонность государств в случае острой необходимости прийти к нам на помощь невооруженным глазом не заметна» [250]. Лем подчеркивал: «Перед нами открыли врата в Европейский союз. Но это только вход, за которым распростирается огромное пространство, которое и мы обязаны обустроить, принимая во внимание требования Брюсселя. Поэтому радость, которая охватила в большой степени польское общество, несколько преждевременна, ибо наше вхождение в Европу дает нам только шанс, но не гарантию. Следует об этом помнить» [240].

В Польше было издано также две книги бесед со Станиславом Лемом: «Мир на грани» (2000, беседы Томаша Фиалковского) [204] и «Так говорит... Лем» (2002, беседы Станислава Береса) [229]. Книга-интервью 1998-2000 гг. «Мир на грани» состоит из шестнадцати бесед: О трудовом детстве, львовской Аркадии и жизни вне времени; О двух оккупациях,

военной памяти и распадающейся реальности; О начале краковских времен, извилистой дороге к литературе и приключениях с цензурой; О заграничных путешествиях, российских приключениях и громадной куропатке; О причинах распада Империи, встрече с космонавтами и российских мыслях; О зле в истории, глупости и приватизации преступлений; О религии, вере, знании и упоминании имени Бога все; Об упадке изобразительного искусства, ошибочных дорогах культуры и триумфе меркантилизма; О порнографии, притворстве и опасностях детабуизации; О минусах Интернета, тайнах человеческого мозга и скрещивании технологии и биологии; Об исправлении человека и протезировании органов; О прогнозировании, пророчествах, перспективах биотехнологии и патентовании эмбрионов; О преимуществах атомной энергетики; О нас, наших недостатках и наших соседях; О близких и далеких перспективах; О радостных глупостях и мнимом конце науки. Книга-интервью «Так говорит... Лем» включает беседы, записанные в 1981-1982 гг. и изданные в 1987 г. под названием «Беседы со Станиславом Лемом», но уже с восстановленными текстами после «ножниц цензуры», а также беседы, записанные в 2001-2002 гг. Книга состоит из следующих разделов: Неутраченное время; В паутине; Голем; Кинематографические разочарования; Вкус и безвкусица; Книга жалоб и предложений; В цивилизационной яме; Черная безвыходность ситуации; Изучать мир; Страсть философствования; Милые времена; Осмотр на месте; Summa, или *panta rhei* [все течет (лат.)].

В августе 1999 г. Лем выступил с докладом «О будущем науки» [202] на проходившем в Кракове XI Международном конгрессе логики, методологии и философии науки. В своем выступлении писатель затронул много научных проблем, а о науке в целом сказал, что «состояние науки в любой год, месяц, день можно уподобить кадру фильма, последовательно прокручиваемого из прошлого в будущее, где предыдущие

кадры не предопределяют последующих», тем самым подчеркивая определяющую роль случайности «как все более фундаментальной и важной нормы вселенской теории вероятности», и выразил убежденность, что роль случайности все в большей степени будет учитываться и в точных науках. В ноябре 1999 г. Лем принял активное участие в состоявшемся также в Кракове трехдневной международной конференции, посвященной его творчеству, комментировал выступления докладчиков. Правда, его хватило только на один день: «Яжембский говорил разумно, несколько человек также выступали толково, но потом вышла какая-то дама и начала болтать вздор, будто одна из планет в моем романе является женщиной. Это было так ужасно, что я больше не пошел» [16, с. 653]. Через полгода вторая часть конференции прошла в польском Щецине (2 дня) и немецком Грейфсвальде (2 дня). По материалам конференции в 2003 г. было издано два сборника статей: на польском [330] и немецком [312] языках (сборники отличаются составом статей). Вызвавшее негодование Лема выступление «о женщинах» было также опубликовано в сборнике и было замечено писателем: «Согласно неписаному правилу, автор не должен высказываться против своих критиков. Однако есть такие удивительные ситуации, которые просто вынуждают взять слово. Недавно вышел толстый том различных рефератов, прочитанных на “лемологических сессиях” в Польше и Германии. Я вовсе не намерен гнуть спину под натиском научных толкований того, что написал, и только очень кратко отмечу, что тексты Пшемислава Чаплинского и Ежи Яжембского меня порадовали, поскольку из них я узнал кое-что разумное о моем творчестве. Однако в этом толстом томе, названном “Станислав Лем — писатель, мыслитель, человек”, присутствует одна работа, которая своей странностью вступает в область ненамеренной юмористики. Дама по имени Малгожата написала статью под названием “Femina astralis” [звезд-

ная женщина (лат.)) [330, s. 256-275], в которой мой роман “Непобедимый”, населенный исключительно мужскими персонажами, рассматривается как одна большая аллегория женского пола. (...) Эта дама приняла как планету Регис, так и все формы ее поверхностного рельефа за маски гениталий, то есть изображение поверхности планеты наполнила выдумками, концентрирующимися вокруг половых органов женщины. Однако удивительная вещь произошла с этой дамой: она не заметила, что ракета, название которой носит роман, имеет — как типичный баллистический снаряд — форму, по необходимости представляющую копию фаллоса. Впрочем, я считаю, что критика не была бы столь неудачна, если бы обратила свое острие на абсолютно другой мой роман, а именно — “Эдем”. Странные жители названной планеты, с двойными туловищами, названные земными астронавтами «двутелами», на самом деле напоминают наружные женские половые органы, ибо состоят из большого, будто бы двугубого туловища и спрятанной в нем между выпуклыми губами малой фигурки размером с ребенка. (...) Действительно жаль, что автор, с нетерпеливым рвением ищущая в моих произведениях генитальные образы, не обратилась непосредственно ко мне с просьбой о подсказках, поскольку я смог бы несравненно легче дать ей более подходящие цели» [17, с. 746-748].

Международные конференции, посвященные творчеству Лема, состоялись также в Чехии (2001, Прага), Канаде (2003, Калгари, также был издан сборник статей [378]). А позднее — в России (2007, Самара), Польше (2007, Краков, сборник статей [410]; 2009, Лодзь, сборник статей [316]), Австрии (2011, Вена), Испании (2011, Барселона, Мадрид [344]), Беларуси (2011, Минск)...

Лем делился своим опытом с молодыми писателями: «Из чувства долга я принимаю девушек и юношей из литературной студии. В Советском Союзе тоже были такие школы

для писателей. (...) Я просто рассказываю им, как это происходило у меня, и объясняю, что жизненная дорога писателя довольно извилиста, ибо ведь я сам никогда не отдавал себе отчет в том, что когда-то стану для кого-то важным, а мое писание со временем будет приобретать все больший вес. Поскольку вначале мне писалось чрезвычайно легко, поэтому я предостерегаю от подобного и не поощряю на писание стихов (в особенности без рифмы и ритма), заверяя, что сумма жизненного опыта очень важна для писателя — нужно есть хлеб не из одной печи. Не надо быть обязательно “зеркалом, гуляющим по дороге”, но прикосновение жизни обогащает, насыщает человеческим многообразием и, кроме того, открывает хрупкость мировоззрения и его зависимость от исторических случаев и государственного устройства. Однако больше всего я стал отговаривать от писательства, когда началась коммерциализация. С тех пор всегда объясняю, что чтобы остаться писателем, надо в жизни сильно намучиться, а лучше всего иметь богатую тетку» [16, с. 663-664]. (На выпуске такой студии начинающих писателей в мае 2005 г. как переводчик Лема с напутственным словом выступил и автор настоящей книги.)

Событием стал выход в 2000 г. книги «Мгновение» — сборника статей, специально написанных для книги, в которых Лем сопоставляет «обе свои эссеистические работы, а именно “Сумму технологии” и “Диалоги”, с реальной ситуацией начала XXI века и вырисовывающимися новыми сферами человеческой деятельности и познания» [15, с. 577].

После 1980 г. Лем получил ряд наград: Австрийскую Государственную премию в области европейской культуры (1986), Австрийскую Государственную премию им. Франца Кафки (1991), Премию Фонда А. Южиковского в Нью-Йорке (1986), Медаль международного Общества участников космических полетов (1995), Премию Польского ПЕН-клуба (1995), высшую награду Польши — Орден Белого орла (1996),

Большую премию Фонда культуры (1996), высшую Государственную премию Польши в области культуры — «Золотой Скипетр» (2001). В 1992 г. Международным астрономическим союзом астероиду 1979 SR9 (3836) было присвоено наименование «Lem». В 1997 г. писатель был признан почетным гражданином г. Краков. В 2000 г. в Польше были выпущены в обращение две почтовые марки и блок, посвященные Кракову как европейскому городу культуры 2000 г., а на них групповой портрет людей, прославивших этот город. На марках нашлось место и герою этой книги Станиславу Лему, а также некоторым знаменитостям, с которыми он был знаком лично: Папе Римскому Иоанну Павлу II, драматургу Славомиру Мрожеку, поэтессе Виславе Шимборской, композитору Кшиштофу Пендерецкому, главному редактору еженедельника «Tygodnik Powszechny» Ежи Туровичу. 21 ноября 2013 г. российской ракетой-носителем был доставлен в околоземное пространство первый польский искусственный спутник, который предварительно по результатам всепольского голосования получил название «LEM».

Писательские союзы Австрии и Польши неоднократно выдвигали Лема в качестве кандидата на получение Нобелевской премии по литературе, в 1970-1980-х гг. в течение многих лет он находился в «Списке восьмидесяти» писателей, «ожидающих своей очереди», — в то время такой список из кандидатов формировала Шведская Королевская академия наук. Но шанс получить эту премию у Лема был небольшим («Шанс есть, но, как думаю, в пропорции 1:70 - 1:100» [134, 22.10.1976]) — писателям таких жанров, как фантастика и литература для детей, премии не присуждались, а Лем по имеющимся в то время переводам на иные языки ассоциировался, в первую очередь, именно с этими жанрами.

Многие его художественные произведения были экранизированы, на их основе были созданы мультипликационные

фильмы, осуществлены телевизионные и радиопостановки, написаны музыкальные произведения — в Польше, СССР, ГДР, ФРГ, Чехословакии, Венгрии, Великобритании, Франции, Нидерландах, США. Наиболее известные экранизации: «Безмолвная звезда» (по роману «Астронавты», 1960, ГДР-Польша, режиссер Курт Метциг), «Слоеный пирог» (1969, Польша, режиссер Анджей Вайда — единственная экранизация, о которой Лем отзывался одобрительно, но здесь он являлся автором сценария), «Дознание пилота Пиркса» (1978, Польша-СССР, режиссер Марек Пестрак), «Больница Преображения» (1979, Польша, режиссер Эдвард Жебровский). Ну а наиболее известный роман «Солярис» был экранизирован трижды: 1) 1968 (телевизионный фильм), СССР, режиссер Борис Ниренбург, 2) 1972, СССР, режиссер Андрей Тарковский, 3) 2002, США, режиссер Стивен Содерберг. По этому же роману были поставлены театральные спектакли (1987, Великобритания; 1987, СССР, Ленинград; 2005, ФРГ, Дюссельдорф; 2009, Польша, Варшава; 2013, Польша, Белосток), театрализованное световое шоу (2011, Македония, Скопле), опера (1996, ФРГ, Мюнхен), балет (1990, СССР, Днепропетровск). В 2011 г. театр из Познани «Бюро путешествий» проехал по многим городам мира (Лондон, Брюссель, Париж, Мадрид, Берлин, Киев, Москва, Пекин, Минск) с уличным театрализованным представлением «Планета Лем» по мотивам произведений С. Лема.

Лема удостоили звания почетного доктора (*doctor honoris causa*) Вроцлавский политехнический институт (1982), Опольский университет (1997), Львовский государственный медицинский университет (1998, здесь же его отец в 1910 г. стал «доктором всех медицинских наук» [332]), Ягеллонский университет в Кракове (1998), Университет в Билефельде (2003, Германия). Обосновывая свое решение, руководство немецкого университета отметило, что тем самым они хотят отдать

должное литературному труду, проницательность и сила воздействия которого на развитие информатики не имеют прецедента, что научно-фантастическое творчество писателя является ярким примером того, как плодотворно можно соединять науку и литературу. В ответном слове Лем сказал, что вопрос «Что такое информация?» не перестает занимать его до сих пор, а что касается современных технологий, то они, безусловно, угрожают человечеству, но проклинать их не следует, ибо без них будет еще хуже.

Лем оказался одним из немногих писателей, кто еще при жизни дождался издания Собрания сочинений. Издание именно такого 33-томного собрания было осуществлено в 1998-2005 гг. краковским издательством «Wydawnictwo literackie», с которым Лем сотрудничал всю свою творческую жизнь. Этому же событию — выходу в свет последнего, 33-го тома с ранними рассказами и юношескими стихами и с приложением «Вселенная Лема» на CD — был приурочен ЛЕМологический конгресс, в котором принял участие и сам Станислав Лем с женой и сыном. Всего к настоящему моменту книги Лема были изданы общим тиражом более 30 млн. экземпляров, переводились более чем на 40 языков мира, издавались более чем в 50 странах.

В начале XXI века библиограф фантастики Владимир Борисов на своем сайте провел опрос об итогах XX века в области научной фантастики. Был предложен список фантастических произведений «всех времен и народов» (вся классика жанра) по годам их первого издания, а читателям и специалистам (критикам, писателям) было предложено выбрать лучшее произведение за каждый год XX века. По итогам голосования (см.: <http://bvi.rusf.ru/fanta/khit00.htm>) в пятерку лучших вошли и произведения Лема: «Магелланово облако» (1954 г., 5 место), «Звездные дневники» (1957, 2), «Эдем» (1958, 1), «Солярис» (1961, 1), «Возвращение со звезд» (1961, 3),

«Непобедимый» (1963, 1), «Сказки роботов» (1964, 2), «Рассказы о пилоте Пирксе» (1968, 3), «Футурологический конгресс» (1971, 1), «Абсолютная пустота» (1971, 3), «Маска» (1974, 1), «Насморк» (1976, 4), «Голем XIV» (1981, 2), «Осмотр на месте» (1982, 1), «Мир на Земле» (1986, 4).

Особое отношение к Лему в русскоязычном мире очень хорошо подтверждает заочное интернет-интервью, организованное в начале 2006 г. российским порталом InoSMI.ru, в котором «интернавтам» было предложено задавать вопросы самому Лему. И с 17 января по 20 февраля 2006 г. со всего мира было получено почти 300 писем с вопросами. Много писем было просто с благодарностью. Лейтмотив всех писем: большое спасибо за творчество, за великолепную литературу, за произведения, которые заставляют думать, на Ваших книгах выросли мы и наши дети и будут расти наши внуки... К сожалению, Лем ознакомился только с частью этих писем. Но можно также сказать, что, к счастью, он успел ознакомиться с ними. В своей последней статье «Голоса из Сети» [18, с. 222-226] (датированной 9 февраля 2006 г.) писатель с удовлетворением рассказал польским читателям об отношении русских читателей к нему и его творчеству. Остается надеяться, что Станислав Лем покинул нас удовлетворенным своей работой и тем, как она оценена в мире.

ЛИЧНОСТЬ

Я из тех сумасшедших, которые смотрят за границы личной жизни [234, s. 160].

Станислав Лем

Характеризуя личность Станислава Лема, следует отметить, что центр его мира очевидным образом находился вне его, его воля была направлена в окружающий мир. В качестве анекдота Лем рассказывал, что в одном из писем из Америки его сын жаловался матери, «что отец, вместо того, чтобы писать о своей личной жизни или расспрашивать о сыне, пишет о галактиках, о черных дырах, об искривлении пространства» [204, s. 70]. На что жена Лема ответила, что личной жизнью его отца и являются именно черные дыры и галактики. Лем также говорил: «Пользуясь классификацией с советских времен, могу о себе сказать, что являюсь космополитом; меня интересует судьба человечества» [193], или иначе: «Перипетии отдельных людей меня мало интересуют, всем для меня являются проблемы мира, конечно же, человеческого, хотя и не только» [157]. Таким образом, в своей жизни Лем ставил перед собой и отвечал на вопрос «Что можно сделать?», а не на вопрос «Что я должен делать?». Автоцентристов Лем недолюбливал, тем более писателей: «Большинство писателей занимаются тем, что ходят по дороге с зеркалом. Меня это не интересует. Мои личные пережи-

вания и жизненные переплеты — это глупость» [16, с. 548], «писатель — не тот, кто носит по дорогам зеркало, чтобы в нем отражались люди, а тот, кто говорит своему обществу и своему времени вещи, до которых никто раньше не додумался» [16, с. 287].

Подтверждают вышесказанное и три «сокровенных» желания, которые по просьбе одного немецкого издателя Лем представил на суд читателя [102] («следовало описать три наиболее личных желания, игнорируя реальность их исполнения, словно ты ребенок перед волшебником из сказки»). По степени их неосуществимости (от менее неосуществимого до более) эти желания следующие. Первое — «о постепенной ликвидации лжи в общественной и политической жизни. Ложь процветает и в демократическом, и в тоталитарном государстве, ибо в первом она равноправна с правдой, а во втором ее распространяет правительство и поддерживает цензура». Второе — «земную среду необходимо изменить таким образом, чтобы никто не мог причинить какой-нибудь вред своему ближнему». При этом достаточно подробно и с присущим ему юмором Лем представил оригинальные и неожиданные «технологии» осуществления этих двух желаний. О третьем желании Лем написал следующее: «Третье мое желание своей неисполнимостью превышает оба предыдущих. Они просто детский лепет по сравнению с ним. Я желаю себе однажды утром открыть глаза и с удовлетворением убедиться, что все, что случилось со мной и миром со времени окончания гимназии, было просто ночным кошмаром. Приснилась мне Вторая мировая война, концлагеря, оккупация Польши и других стран, “окончательное решение еврейского вопроса”, конференции по разоружению, Римский клуб, дебаты по ядерным вопросам, кризисы и т.п. НИЧЕГО из этого не произошло, это был всего лишь кошмарный сон. После пробуждения кроме облегчения я почувствую стыд за

то, что приписывал человечеству столько убийственной ярости и свинства. Как же мне станет стыдно, что были правы те, кто издавна отмечал во мне мизантропию и садистские черты характера, проявившиеся в моем сне. Вместе с этим с радостным воодушевлением смогу утверждать, что все, что говорили гимназистские учителя о благородной природе человека, было чистейшей правдой».

Относительно темперамента Лема можно определить как склонного к размышлениям сангвиника. В полном соответствии с определением этого типа людей Лема можно охарактеризовать как обладающего высокой психической активностью, энергичностью и уравновешенностью одновременно, работоспособностью, быстро отзывающегося на окружающие события, сравнительно легко переживающего неудачи и неприятности. Мог быстро дойти до состояния гнева («Я действительно бываю суров и поэтому время от времени спускаю кого-нибудь с лестницы. Разумеется, не в прямом, а в переносном смысле» [16, с. 661]. «Размышляя о разных неприятных вещах, могу в середине ночи прийти в состояние такой злобы, что не засну до утра» [131, s. 312]). Под его «горячую руку» попадали многие ведущие литературные критики и целые редакции периодических изданий и издательств, с которыми он разрывал отношения. Однако обиды долго не держал, и к обоюдному удовольствию отношения в большинстве случаев восстанавливались.

С середины 1950-х гг. Лем начал путешествовать по близлежащим странам Европы благодаря и на радость жене, которая путешествовать любила и даже вела дневники в таких поездках, а также многое снимала на кинокамеру. О некоторых таких поездках, главным образом в конце 1950-х гг., имеются опубликованные статьи — дорожные фельетоны. Тогда же он мечтал о кругосветном путешествии. В новогоднем пожелании он написал: «Чтобы исполнились

мои мечты о путешествии вокруг света. Нет, не на спутнике, а на обычном наземном транспортном средстве» [56] (это написано еще до полета Ю. Гагарина, но уже после запусков искусственных спутников Земли). Через несколько лет статью «О себе» Лем закончил словами: «Что касается моих мечтаний, то они не выходят за пределы Земли: я охотно обогнул бы нашу планету, но в настоящее время я не могу себе позволить такое путешествие — только в воображении» [62].

Впоследствии Лем потерял интерес к путешествиям, но на разных личных автомобилях, как сказал в одном из интервью, проехал полтора миллиона километров, то есть «сорок раз вокруг Земли» [214], в Европе побывал во многих странах, но так и не побывал в Америке, хотя приглашался туда неоднократно на различные мероприятия и для чтения лекций. Например, еще в конце 1950-х гг. он мог стать участником-стипендиатом Международного семинара Летней школы Гарвардского университета (руководителем семинара был Генри Киссинджер), в котором в разные годы участвовали его друзья Я.Ю. Щепаньский и С. Мрожек [130, s. 24-29]. От участия в семинаре Лем отказывался из-за неотложных дел в Польше и плохого, как он считал, знания английского языка («по-английски я только читаю (...), однако я нем на этом языке» [130, s. 27]). В конце 1975 г. Лем получил приглашение выступить с лекцией на семинаре от основателя и руководителя Лаборатории искусственного интеллекта Стэнфордского университета профессора Джона Маккарти (это именно он в 1955 г. ввел в научный оборот термин «искусственный интеллект»), но от поездки тоже отказался.

Лем был счастлив в семье, был в большой мере домашним человеком, в его обязанности входили покупка (а во времена ПНР «добывание») и доставка продуктов питания (особенно когда с этим были проблемы в 1960-1970-х гг.). Но

при этом глава семьи упорно не хотел иметь детей, об этом он писал: «Я очень долго не решался завести ребенка, и мы вместе с женой воздерживались от этого, как люди, способные к мышлению, да еще и пережившие немецкую оккупацию, поскольку этот мир вообще-то представляется местом, очень плохо устроенным для принятия людей, особенно если учесть именно тот опыт, который стал нашим уделом» [131, s. 76-77]. Но жена все-таки была иного мнения. Единственный сын родился, когда писателю было уже 47 лет, причем — удивительное совпадение — в самый разгул антисемитской кампании в Польше. Относительно семейной жизни Лем поучал: «Жена права принципиально именно потому, что является женой, а не в зависимости от сути дела. Однако ни за какие блага ей нельзя дать понять, что придерживаетесь именно этой максимы — это сразу же сыграет против вас. Следует всячески убеждать ее, что она права на 99,999%, но никогда — на 100%. Это выстраданная мною на практике и никогда не подводившая оптимальная позиция. Издержки этого разные — это зависит от возраста, характера и интеллектуального состояния» [131, s. 439]. В 2003 г. Станислав и Барбара Лем отпраздновали «золотую свадьбу».

В обычном понимании Лем был неверующим (агностиком), хотя духовно был связан с католицизмом, соблюдал польские и католические традиции. Например, отмечал Рождество Христово (в том числе однажды в 1957 г. вместе с будущим Папой Римским Иоанном Павлом II, тогда еще просто ксендзом Каролем Войтылой) и Пасху, венчался с женой в костеле, в кругу семьи и друзей отмечал годовщину свадьбы (в конце августа) и именины: свои — в день почитания святого Станислава (1030-1079) — 8 мая, и жены — в день почитания святой Барбары (III век, она же у православных великомученица Варвара) — 4 декабря. Кстати, покровитель Лема святой Станислав считается одним из главных покров-

вителей Польши и покровителем Кракова. На известной картине Яна Матейко «Грюнвальдская битва» святой Станислав изображен среди облаков — по легенде там над польскими войсками видели его во время битвы. (Польская поговорка о сельскохозяйственных работах: «На святого Станислава в доме пусто, в поле слава».)

Лем считал не все религии равнозначными, нравился ему буддизм за «почитание всего живого, независимо от того, кем оно является» (здесь же Лем добавил: «очень не люблю время, когда приближается Рождество и нужно покупать карпа. А потом дать его кому-нибудь, чтобы убил, потому что я сам никогда б на него не поднял руку. Использование кого-то другого, его руки — это ужасно. А что поделаешь — мы ж являемся ужасными хищниками!») [199]. «И в последнее время, — говорил Лем, — я пришел к выводу, что христианство лучше, чем ислам, хотя доказать это очень трудно, ибо в исламском рае есть гурии и другие удовольствия подобного рода. Зато в христианском раю довольно строго, поэтому я предполагал массовые побеги. Но сегодня дела сильно обострились и надо благодарить Бога, что мы живем в католической стране, что женщины не должны ходить в черных простынях или саванах, как в Иране, а мы не должны по два раза в день падать на колени носом по направлению к Мекке, что, возможно, является признаком покорности, но если бы — живя там — я заявил, что являюсь агностиком, то тем самым подписал бы себе смертный приговор через забивание камнями или отсекали бы руку. Жаловаться не на что, с этой точки зрения мы родились еще не в самом худшем месте мира» [16, с. 516].

Лем по вопросам контрацепции и аборт не соглашался с позицией католических священников, которые не допускают ни первого, ни второго. Лем говорил: «Лично я считаю, что если у плода имеются зачатки нервной системы и появи-

лась эта маленькая, ритмически вздрагивающая клеточка, которая станет сердцем, это уже жизнь. В этот момент вероятность того, что ребенок родится здоровым, составляет 45-50 процентов. Если беременность продолжается дольше, шансы, разумеется, возрастают. Поэтому это исключительно проблема договоренности между людьми, которая согласовывается на законодательном уровне: до какого момента прерывание беременности допустимо, а с какого нет. (...) Однако лучше применять противозачаточные средства, которые не допускают оплодотворения. Тогда проблемы не существует» [16, с. 634]. Появление «ритмически вздрагивающей клеточки» — это ориентировочно 18-й день беременности. После законодательно устанавливаемого срока Лем допускал аборты по медицинским показаниям (например, если исследования показывают, что ребенок родится с синдромом Дауна или Вильсона), а также в некоторых исключительных случаях: например, если женщина категорически не хочет иметь ребенка в случае изнасилования («в таких случаях врач должен подчиниться воле женщины» [16, с. 638]), если беременность реально угрожает жизни самой женщины [186].

Лем был сторонником ограничения рождаемости, особенно в бедных странах третьего мира, для предотвращения перенаселенности Земли и был уверен, что человечество обязательно будет этим заниматься (а скорее всего, негласно наиболее развитые страны) в условиях разрастающегося «демографического взрыва». Этой теме в 1992 г. Лем посвятил большую статью, повторно в сборнике изданную под названием «Sex Wars, или Мир и Польша» [178, s. 7-26], в которой отмечал: «Невоенная операция, которую я назвал SEX WAR [сексуальная война (англ.)], неизбежно будет обязательной, если вид homo хочет существовать, хотя неизвестно ни КАК, ни КОГДА, ни КАКИМ СПОСОБОМ она будет вестись (или только инициирована). Такая операция явно не

может быть проводима сегодня, так как резко противоречит морально-политическому канону современного мира. (...) Это вопрос дальнейшего “прогресса”, ускоряющегося в настоящее время. Средства найдутся наверняка. Очевидным образом “моральная болезненность” их применения будет зависеть от характеристик воздействия, от изменений, постепенно происходящих в общественном мнении. На прогулочном корабле обнаруженных пассажиров-безбилетников не выбрасывают в море. Корабль, который физически может взять на борт каких-нибудь беженцев (дрейфующих на лодках), не оставляет их на произвол судьбы (=смерть). На тонущем корабле может дойти до ожесточенной борьбы за спасательные средства. На спасательной шлюпке уже дело может дойти до отрубания рук тонущим, уцепившимся за борт. Такая градация является типичной в человеческом мире. (...) Человечество не будет хотеть SEX WAR. Никто ее не захочет, но окажется необходимой, если только какой-нибудь другой человекоубийственный геноцид или катастрофа, вероятности которых я здесь не обсуждаю, вопрос SEX WAR снимет с повестки дня еще до начала ее реализации. (...) Наиболее гуманный (и довольно циничный) способ — это криптобиологическая SEX WAR например осуществляемая добавлением в пищу веществ, препятствующих размножению. Проще всего — гормональных, чтобы женщина (...) за счет воздействия комплекса химических соединений была доведена до состояния стойкого бесплодия (как будто применяла противозачаточные таблетки) или до коротких периодов возможности забеременеть, разделенных периодами бесплодности. Это возможно, и это будет реализовано в биологической сфере. (...) Оптимальным было бы биологическое сокращение периода детородности женщин — например десятилетие между двадцатым и тридцатым годами жизни (...). С другой стороны, можно уменьшить темп прироста населения, воз-

действуя на мужчин, чтобы спермообразование уменьшилось или прекратилось, но это реализовать сложнее и более опасно, так как грозит превращению таким образом покалеченных самцов человеческого рода в родителей каких-нибудь, например, монстров или чудовищ — ибо проще сперму повредить в чужом организме, чем противодействовать ее производству...».

Еще немного об общечеловеческих проблемах, широко обсуждаемых в последнее время. Об эвтаназии Лем писал: «В принципе я — за эвтаназию, но в условиях строгого медицинского и юридического контроля. Лицо в предагональном состоянии должно принимать решение, будучи полностью во власти рассудка, чтобы не бредило или не шутило. Лучше всего, если о неизлечимости данного случая, вредных изменений в организме и т.п. решение будет принимать консилиум. Применение эвтаназии должно быть допустимо только в странах с определенным уровнем развития цивилизации, чтобы под этим предлогом не допускались злоупотребления, например не убивали политических противников или неудобных людей. Я также за отключение подсоединенных к аппаратуре людей в состоянии растений, но на это должно быть согласие семьи. Что же касается терпения, понимаемого по-христиански, то кто-то верующий действительно может свое терпение адресовать выше и черпать из этого трансцендентальное утешение. Однако я считаю, что человек ломается подобно автомобилю, и не вижу большого смысла в продлении мук» [212].

Относительно применения смертной казни за совершенные преступления Лем писал: «Я сторонник смертной казни в случае тяжелейших преступлений, если нет при этом ни малейшего сомнения в вине преступников. Нельзя, однако, применять ее в процессах на основании косвенных улик, поскольку предположения не дают стопроцентной уверенно-

сти. Зато насильники по отношению к несовершеннолетним, а также убийцы, действующие с исключительной жестокостью, не предвещают в моих глазах никакой надежды на социальную реабилитацию» [230]. И в более глобальных масштабах: «Я не скрываю, что за массовое человекоубийство не вижу иного наказания, кроме как смертной казни. Если терроризм не является способом — плохим! — например, получения независимости какой-нибудь страной или уравнивания в правах какой-нибудь общественной группы, а только конечной целью является убийство, то в этом случае, по моему мнению, к сожалению, следует обратиться к кодексу Хаммурапи — око за око, зуб за зуб, жизнь за жизнь. А кроме того для исламских террористов, с точки зрения их веры, смерть была бы высшей наградой. Так они через врата мучений, обычно называемые электрическим стулом, сразу же попадут в рай!» [258, Т. 31, с. 199]. А одно из интервью 2004 г. на литературные темы Лем завершил следующими словами: «И еще Вы допишите, что Лем является очень явно выраженным сторонником смертной казни. Не мучений, а смертной казни!» [246].

Относительно собственного поведения в обществе Лем говорил: «Я принял для себя такой минималистический кодекс поступков, который стараюсь соблюдать — даже когда не чувствую симпатии к кому-либо. (...) Стараюсь не быть свиньей ни для кого. Ну да! Почему я должен быть свиньей? Даже если бы я от этого что-то имел, предпочитаю удержаться от таких поступков, хотя знаю, что меня не ждет ни небесная награда, ни адское наказание. (...) Если бы даже Господь Бог дал мне специальную лицензию на право бить людей в морду, то скажу вам, что чрезмерно бы ею не пользовался» [16, с. 483-484].

Лема отличало исключительное чувство юмора. Станислав Бересь, соавтор книги «Так говорил... Лем», отмечал, что ни

с кем из писателей он так много не смеялся, хотя беседовал почти со всеми современными польскими писателями. Также Лем отличался образностью речи. Например, его друг писатель Я.Ю. Щепаньский в своем дневнике еще в далеком 1953 г. записал: «Сегодня у меня был Лем. Каждую тему он может сразу же проиллюстрировать примером, который сам по себе является парадоксальным, живым анекдотом. Такое шифрование понятий позволяет избежать нудных и плоских выводов. Это какая-то *par excellence* [исключительно (лат.)] литературная способность, которой мне не хватает» [379, Т. I, s. 376]. Лем имел исключительную память, он говорил: «Я знаю довольно много стихов... я не учу их наизусть, просто когда я читаю и мне нравится, я это запоминаю» [16, с. 685].

Накопленные знания и аналитический склад ума привели к тому, что в последние годы жизни он иногда во сне проводил беседы с сильными мира сего, историческими личностями или величайшими представителями мира науки (об этом Лем, по словам его сына, рассказывал своим домочадцам по утрам за завтраком [343, s. 248]). Его собеседниками были Владимир Путин, Джордж Буш, Ангела Меркель, он разговаривал с Иосифом Сталиным, спорил с Уинстоном Черчиллем, рассуждал с Максом Планком. Фактически это было почти так же, как в романе «Осмотр на месте» (опубликованном в 1981 г.), в котором главный герой Ийон Тихий в долгом космическом полете коротает время в беседах с виртуальными моделями великих мыслителей: его собеседниками были Бертран Рассел, Карл Поппер, Пауль Фейерабенд, Уильям Шекспир.

Поражает трудоспособность, которую проявил Лем в последний период своего творчества. Он максимально пытался использовать оставшееся ему время («У меня нет более ценной субстанции, чем время» [16, с. 257]). И уже только в

XXI веке — то есть на девятом десятке лет жизни — он опубликовал более 500 статей (2-3 статьи еженедельно), а ведь в это же время было еще написано (точнее, надиктовано секретарю) и множество писем, дано много интервью. Действительно, права была жена Станислава Лема пани Барбара, которая еще в конце уже далеких семидесятых годов прошлого века проникательно выдвинула предположение, что со временем у ее мужа появилось ощущение миссии. «Миссии в том смысле, — повторял вслед за женой Станислав Лем, — что я пришел, чтобы сказать некоторые вещи, люди должны это выслушать, а затем мир должен быть... может быть, не спасен и исправлен, но все-таки мне удастся поспособствовать общему исправлению мира» [16, с. 288]. Но слушал ли мир Станислава Лема?..

* * *

Умер Станислав Лем на 85-м году жизни 27 марта 2006 г. в кардиологической клинике в Кракове. Там же (после кремации — таковой была его воля) захоронен его прах на Сальваторском кладбище; на надгробии — в соответствии с его пожеланием — выгравирована надпись на латинском языке: **FECI QUOD POTUI, FACIANT MELIORA POTENTES** — я сделал все, что смог, кто сможет, пусть сделает лучше.

ОСНОВЫ ТВОРЧЕСТВА. ЛИТЕРАТУРА И/ИЛИ ФИЛОСОФИЯ?

Научную фантастику я начал писать потому, что она имеет или должна иметь дело с человеческим родом как таковым (и даже с возможными видами разумных существ, одним из которых является человек), а не с какими-то отдельными индивидами, все равно — святыми или чудовищами [140, с. 13; 3, с. 15]. Героем моих книг является познание [99].

Станислав Лем

Характеризуя творчество Станислава Лема в целом, следует отметить, что он занимался и современным романом, и научной фантастикой, в том числе в реалистическом стиле, и фантастическим гротеском (и в стиле рассказов эпохи Просвещения, и в стиле сказки), и окололитературными фантастическими очерками-апокрифами (в стиле рецензий и вступлений к «ненаписанным книгам»), и научными литературными и философскими монографиями, в том числе в виде «платоново-берклиевых» диалогов, и так называемой «сильвической» прозой (скомпанованной из разнообразных фрагментов: заметок, комментариев, воспоминаний, анекдотов), и разнообразными эссе преимущественно на литературные, научные и научно-популярные темы, а также фельетонами преимущественно на литературные и политические темы. Большое место в его творчестве занимают «живые беседы» — три книги-интервью-беседы и многочисленные интервью преиму-

шественно для прессы, но иногда и для ученых-филологов и философов, а также эпистолярный жанр (к сожалению, пока что доступный исследователям только фрагментарно). И можно утверждать, что во всех видах своих произведений он создал настоящие шедевры. Его литературную деятельность характеризуют творческий размах, эрудиция, развлекательность (несравненные фантазия и чувство юмора), глубина мысли, а также безусловно присутствующий во всем этом дидактизм («Можно сказать, что среди написанных мною книг мало таких, которые были бы лишены дидактического намерения. (...) Глядя на мои книги, действительно можно найти — не знаю, чего он стоит — дидактический замысел. Однако должен обратить ваше внимание на то, что было вовсе не так, будто я садился за машинку, вставлял лист бумаги и думал: а чему еще я должен поучить сегодня несчастное и глупое человечество, чтобы оно наконец вышло на путь добродетели и благонравия? Такого, конечно, не было, но эта дидактическая жилка действительно сидит во мне глубоко» [16, с. 290]; «это, наверное, забавно, что дидактический замысел направлен не только в читателя, но и в меня самого» [141]). При этом Лем подчеркивал, что «дидактичность не должна быть следствием установок на дидактизм», что «дидактизм может присутствовать непроизвольно», что это даже «вопрос порядочности» [223].

Говоря об истоках своего творчества, Лем отмечал, что писатель не может работать «без веры в положительный результат своего писательства, веры, которую ничто извне не может заменить (жажда успеха идет, скорее, снаружи, так же как и реальный успех). При этом тот, кто эту веру имеет и пишет, может вообще о ней не знать. Это есть *libido sui generis* [своего рода влечение (лат.)], необходимость, которую по сути не анализируют, над ней не размышляют, подобно как не размышляют над собственным инстинктом самосохранения. В моем случае это было, а точнее, постепенно становилось своеобразным кредо, основой которого было Призвание

[по-польски “Posłannictwo” еще можно перевести как “Миссия”. — В.Я.]. Оять-таки не знаю, но мне кажется, что то обстоятельство, что как пророк в *belles lettres* я не буду выслушан, не лишит меня этой вышеназванной удивительной “Веры”. Пожалуй, нет» [131, s. 611].

Как автор художественной прозы Станислав Лем является продолжателем лучших традиций польской литературы: Яна Хрызостома Пасека (1636-1701), Болеслава Пруса (1847-1912), но главным образом Генрика Сенкевича (1847-1916). («Отдельный вопрос — это наша классика, узнавать ее я начал рано. Сначала был Прус — “Кукла” и “Фараон”, а также Сенкевич, прежде всего “Трилогия”, которую я прочитал в одиннадцать лет» [17, 772].) Причем «Трилогия» Сенкевича — это непревзойденный образец прозы для Лема. К «Трилогии» он неоднократно обращался, постоянно перечитывал, посвятил ей несколько статей [17, с. 629-635, 656-660, 741-745], даже взял с собой в эмиграцию в Австрию, а также планировал написать книгу о Сенкевиче под названием «Фокусник и обольститель». «Языковой план, который господствует в большинстве рассказов “Кибериады”, это Пасек, пропущенный через Сенкевича и высмеянный Гомбровичем. Это определенный период истории языка, который нашел потрясающе великолепную эпохальную репетицию в произведениях Сенкевича — в “Трилогии”; при этом Сенкевичу удалось сделать воистину неслыханную вещь, а именно: его язык (“Трилогии”) все образованные поляки (за исключением несущественной горстки языковедов) невольно принимают за “более аутентично” соответствующий второй половине XVII века, нежели язык тогдашних источников» [17, 531]. Причем в статистических показателях результатов литературной деятельности, как писал Лем в далеком уже 1972 г., «относительно изданий, тиражей, переводов, обсуждений, предложений, приглашений, писем и т.д. я уже второй после Сенкевича, который на свое устойчивое реноме работает своими книгами уже

несколько десятков лет после смерти, а я вышел на это второе место в течение каких-то 10-12 лет» [131, s. 611-612].

К явным «предкам» писателя относятся также Вольтер (1694-1778) («Посмотрите философские сказочки Вольтера. Я считаю, что некоторые фрагменты моей “Кибериады” или “Сказок роботов” более близки к Вольтеру, чем к чему-либо другому, это как бы следующая инкарнация эпохи Просвещения» [16, с. 247]), Джонатан Свифт (1667-1745) («Я написал много книг, например «Кибериаду», «Сказки роботов» или «Звездные дневники». Их место на карте литературных жанров — в провинциях гротеска, сатиры, иронии, юмористики свифтовского и вольтеровского образца — сухой, язвительной и мизантропической; как известно, знаменитые юмористы были людьми, чье поведение человечества приводило в отчаяние и бешенство. Меня тоже» [140, 25-26; 3, с. 27]), Льюис Кэрролл (1832-1898) («Я, несомненно, могу отыскать некоторое подобие между моими и кэрролловскими витками воображения, но это не широкомасштабное сходство, поскольку касается лишь того, что можно назвать математической разновидностью воображения» [16, с. 136]) и Ежи Жулавский (1874-1915) («“На серебряной планете” Жулавского — книга, которую я люблю и которой многим обязан» [16, с. 130]). Кроме этого некоторые специалисты в качестве «предков» Лема считают также Яна Потоцкого (1761-1815) («Для всех ищут предшественников, поэтому зарубежные критики запихнули меня под Потоцкого. Он писал эти свои запутанные истории по-французски, но разве для них это имеет какое-то значение?.. Уж лучше был бы Свифт, пожалуй» [16, с. 228]).

В литературе XX века проза Лема проявляет некую формальную связь с творчеством Хорхе Луиса Борхеса (1899-1986) и Владимира Набокова (1899-1977). Сравнивая себя с Борхесом и при этом не соглашаясь с мнением, что «Лем — это Борхес научной культуры», писатель говорил: «Тут немного другое. Во-первых, у меня, пожалуй, фабульной изобретательности

побольше, чем у Борхеса, ведь он никогда не писал романов. Во-вторых, я не являюсь, как он, архивистом. Я никогда не творил, будучи одурманен чадом библиотек, я только отбрасывал эти огромные завалы, чтобы взгромоздить над ними какую-нибудь странность. А в-третьих, прошу заметить, Борхеса не волнуют специально ценности когнитивной, чисто познавательной, гностической натуры» [16, с. 226-227]. И далее: «Я неохотно вижу себя с ним в одной паре. Я, конечно, наблюдаю схожесть в общем плане, но в то же время вижу и огромные различия, если принять во внимание наши истоки. Борхес весь из прошлого, из Библиотеки, а у меня доминирующей является — это прозвучит патетически — борьба за человека и его космическую позицию. Это уже весьма принципиальное отличие, прошу также заметить, что я вообще не затрагиваю такие дела, как эстетический калибр или вопрос артикуляционной мощи, так как считаю, что это не так существенно» [16, с. 227-228]. О творчестве Набокова Станислав Лем говорил: «Нравятся мне также немногочисленные книги Набокова, а особенно “Лолита”, которая очень старательно сбалансирована, в противоположность, к примеру, “Бледному огню”, где уже дает о себе знать некоторое нарушение пропорций. Набоков смог сделать это так замечательно, с такой холодной точностью, что это меня даже отталкивает. Это вещи, которые часто невозможно объяснить» [16, с. 222].

Из классиков мировой литературы и искусства Лем наиболее высоко ценил: писателей Ф.М. Достоевского, Г. Сенкевича, Дж. Конрада, В. Гомбровича, Т. Манна, писателей-фантастов Дж.Г. Уэллса, О. Стэплдона, Ф.К. Дика, Х.Л. Борхеса, братьев А.Н. и Б.Н. Стругацких, поэтов У. Шекспира, Р.М. Рильке, А.С. Пушкина, А. Мицкевича, Ц. Норвида, Б. Лесьмяна, Ч. Милоша, философов А. Шопенгауэра, Б. Рассела, К. Поппера, художников П. Брейгеля, Х. Босха («Брейгель — это Луна, а Босх — Солнце» [16, с. 265]), С. Дали, композиторов Л. ван Бетховена («Пятой симфонии» даже посвятил стихотворение [19, с. 621]), Ф. Шопена. Правда, к музыке был равнодушен в

первую очередь из-за проблем со слухом — с конца 1970-х гг. Лем пользовался слуховым аппаратом. Нравилась ему «Ночь на Лысой горе» М. Мусоргского — «Это такая музыка, которая собственно музыкой и не является, ибо она представляет Лысую гору с колдуньями» [237], нравился ему классический джаз в исполнении Эллы Фицджеральд и Луи Армстронга (именно исполнения дуэтом).

Относительно литературных произведений Станислав Лем отмечал, что «существуют, как известно, книги, которые мы любим и уважаем, такие, которые любим, но не уважаем, такие, которые уважаем, но не любим, и наконец те, которые мы не любим и не уважаем. (Для меня к первой категории принадлежат книги, НЕ ВСЕ, Бертрана Рассела; ко второй — Сименона, к третьей — Кафки, к четвертой, например, — книги типичной *science fiction*.) То же касается нашего отношения и к другим людям. Например, к женщинам!» [17, 606]. В 1999 г. для издания в Польше в серии выдающихся книг XX века Станислав Лем предложил следующие (в том числе написанные задолго до XX века) произведения [198]: 1. Соул Беллоу, «Планета мистера Саммлера»; 2. Бертран Рассел, «История западной философии»; 3. «Энциклопедия невежества» («*The Encyclopedia of Ignorance*» — N.Y.: Pergamon Press Inc., 1977); 4. Самуэль Пепис, «Дневники»; 5. Франсуа Вийон, «Большое завещание» (Лем рекомендовал эту книгу двадцатилетним); 6. Тадеуш Боровский, «Пожалуйте в газовую камеру» (сборник рассказов); 7. Витольд Гомбрович, «Бакакай»; 8. Тадеуш Бой-Желеньский, «Словечки»; 9. Ян Юзеф Щепаньский, партизанские рассказы — избранное из ряда книг. В разные годы Станислав Лем в качестве выдающихся литературных произведений отмечал «Дон Кихота» С. М. де Сервантеса, трилогию («Огнем и мечом», «Потоп», «Пан Володыёвский») Г. Сенкевича, «Маленького принца» А. де Сент-Экзюпери, «Лолиту» В. Набокова.

Несмотря на разнообразие стилей и жанров, в трудах Лема господствует своеобразная мыслительная однородность:

дискурсивная проза представляет собой автокомментарий для беллетристики, а беллетристика, в свою очередь, является иллюстрацией теоретических размышлений. Все это отражало один и тот же реальный мир из разных непротиворечивых точек зрения. В своих художественных произведениях и научных эссе Станислав Лем рассматривал законы природы и общества, вопросы религии, законы эволюции в целом и эволюцию человека в частности, кибернетику и информатику, искусственный интеллект и виртуальную реальность, космологию и космогонию. Тем самым, проза Лема вырастает прямо из достижений естественных наук XX века, из «духа эпохи» («Корова дает молоко, но оно не возникает из ничего; чтобы ее доить, нужно снабжать ее кормом; так и я должен проглатывать груды «настоящей», то есть не выдуманной мною специальной литературы, хотя конечный продукт столь же мало похож на переваренную духовную пищу, как молоко — на траву» [140, с. 23; 3, с. 24]).

Лем говорил, что, по его мнению, дискурсивную и художественную литературу разделить в ста процентах случаев невозможно, приводя в пример хотя бы свою «Сумму технологий». Но для разделения можно пользоваться следующим: «в дискурсивной литературе важнейшим является МЕСТО НАЗНАЧЕНИЯ, а в художественной — ПРОХОДИМЫЙ ПУТЬ. (...) Или иначе: основной чертой дискурсивности является ИНВАРИАНТНОСТЬ объекта дискурса, а чертой художественности является ИЗМЕНЯЕМОСТЬ объекта: различные модальности дискурса не изменяют суть дела, в то время как изменение восприятия изменяет сам объект в искусстве. (...) Объектом дискурса является проблематика, и дискурс, который новой проблемы не вводит или известной новым способом не разрешает, не многого стоит, зато в художественной литературе роится от новостей, которые с точки зрения дискурса являются никчемными» [131, s. 289].

И в соответствии с этим в своем творчестве Лем придерживался следующего: «Для меня всегда было важно писать в

обоих ключах ИНАЧЕ, т.е. не повторять никого и ничто. Поэтому в произведения я помещал, причем в начале неосознанно, скелеты парадигматики, перенимаемой от науки (эмпирии). Небольшой пример, но характерный — хотя бы история о “Вероятностных драконах”, прелесть которой совершенно не ощутит тот, кто никогда в жизни не слышал что-нибудь о квантовой физике. И ужасно долго продолжалось, пока я с остолением не убедился (такова была человеческая, т.е. моя, наивность), что этот трюк (принятие парадигм науки в качестве элементов сюжета) никто вообще не в состоянии заметить! Относительно указанной выше дихотомии могу сказать, что то, что дискурсивно, я держу зажатым в кулаке, т.е. осознаю при работе, но то, что композиционно, — точно так же уже не охватываю: над дискурсивным главенствую, над художественным, одним словом, НЕТ. Там уже располагается моя неосознанность, одержимость, отвращение, неприязнь, необходимость и другие принуждения. Не знаю, почему так» [131, s. 290].

Лем соглашался с мнением, что по сравнению с его дискурсивными книгами в его же беллетристике «открываются бездонные философские горизонты, и это, скорее всего, происходит потому, что когда пишешь что-нибудь дискурсивное, инстинктивно сдерживаешься, стараешься быть более дисциплинированным» [131, s. 548]. И в этом писатель-философ видел преимущество литературы, которое заключается в том, «что в отличие от науки, от философии в беллетристической поэтике можно самому себе противоречить, можно самого себя подвергать сомнению, можно с этим собой развлекаться так же, как с целым миром. И миры, для развлечения созданные, обладают привлекательностью, которой ни в каком важном или философском дискурсе не найти. А если там найдется, то *eo ipso* это уже будет Литература, замаскированная, закамуфлированная, представляющаяся философией, не будучи ею “в действительности”» [131, s. 596].

Поэтому сочинения Лема зачастую достаточно сложны для восприятия из-за отражения большого количества важных и сложных (и интересных, но не для всех) проблем. «Суть в том, — писал Лем, — что моя литература, несмотря на то, какова ее художественная ценность, обычно в себе содержит некую старательно упакованную Мысль, которой у других не наблюдается, то есть является оригинальной интеллектуально, и поэтому также *notabene* обычно наталкивается на сильное сопротивление именно интеллектуалов, которые, стыдно сказать, обычно ужасно не суверенны в своем интеллектуализме и не знают, бедняжки, что Мысль — это не то же самое, что Мода (в данном случае Мода на определенный Фасон Мысли)» [131, s. 440]. И поэтому произведения Лема должны еще найти своего читателя. Об этом Лем писал, что «есть еще одно обстоятельство, которое со временем должно сыграть решающую роль в привлечении на мою сторону. Именно то, что мои книги воздействуют своей суммой, целостностью сильнее, чем отдельными произведениями. Именно так я вижу. Горячим ядром моих книг просто не является традиционный рационализм Вольтера, ни родственность Свифту, ни подобие Кафке (и Гомбровичу), что критикам легче всего заметить. Их центр составляет парадигматика, до сих пор искусству чуждая: во всех книгах мыслительные эталоны одни и те же — свойственные естествоведению, и только хватка их, этих эталонов, иная в группе гротеска, иная в группе произведений типично фантастических, иная в произведениях таких, как “Рукопись, найденная в ванне” или как “Мнимая величина”. Это, без сомнения, очень отличающиеся друг от друга пути, ведущие всегда к очень подобной сути. Природа ее онтологическая, а не политическая или социально-критическая; и именно там разыгрывается все мое искусство, где научные истоки начинают проявлять свою бесполезность, там, где возможность науки оказывается западней или лабиринтом человеческого духа, там, где Дарвин действительно одерживает победу над Гегелем, но это является пирровой победой. Это множество путей являет-

ся (или, скромнее, может быть) гарантией постижения меня очень разными своим расположением и ментальностью людьми» [131, s. 363-364].

При этом в своей научно-фантастической прозе Лем строго придерживался самым им установленного принципа-требования: «Фантастичность произведения не может быть целью, а является всего лишь средством ее достижения, а сама цель — стремление детальнее познать человека: “степень фантастичности” — ничто, если этой цели не служит. Даже если какое-нибудь произведение в самом деле предскажет состояние физики в 3000 году, оно явится гениальным прогнозом физики, но наверняка не окажется гениальным романом. Итак, идеалом фантаста должен быть не “максимум фантастичности”, а ее “оптимум” — в мере, которой требует цель его работы» [63].

Фантастические миры Лема в отношении к действительности «почти всегда характеризовались реализмом и рационализмом» («Реализм заключается в том, что пишу о проблемах, которые либо уже являются частью жизни и нас беспокоят, либо о проблемах, появление которых в будущем казалось мне вероятным и даже достоверным. А рационализм означает, что я не ввожу в сюжет ни толики сверхъестественного или, яснее и проще, — ничего такого, во что я сам не мог бы поверить» [135]). И научная фантастика оказалась неплохим материалом для моделирования таких миров. С ее помощью Лем показывал, «что происходит, когда “индивидов приспособливают к обществу” и, наоборот, когда “общество приспособливают к индивидам”. Как можно устранить полицейский контроль и любые уголовные санкции, в то же время не ввергая общество в состояние анархии?» [135]. Своими произведениями Лем спрашивал, «в самом ли деле человек — творческое существо, способное постоянно совершенствоваться под влиянием культуры? Куда ведет непрерывное возрастание благ, их доступность, вплоть до бесплатной раздачи, — не приведут ли эти “утопии пресыщения” к причудливым разновидностям ада, к

“электронной пещерной эпохе”? Ибо автоматизированное окружение, исполняя любые капризы людей, делает их ленивыми, оглушает либо разжигает в них пламя агрессии. Бессильной, поскольку ничто, кроме уничтожения накопленного всебогатства, не способно стать объектом желаний и снов» [135]. Тем самым, в большей своей части научная фантастика Станислава Лема является социологически ориентированной.

Лем интенсивно работал на многих фронтах одновременно — в естествоведении, биологии, философии, кибернетике, художественной литературе — так, что все эти направления в некоторой степени объединились в единое целое, неразрывное от восприятия личности писателя. Литературой же занимался экстенсивно — методом проб и ошибок, о чем свидетельствуют хотя бы следующие слова Лема о своем писательском методе: «Как правило, я писал так, как видит во сне каждый человек: то, что происходит во сне, то есть в сновидении, не следует из предварительного планирования и никоим образом не предвидится. Это не случайное сравнение, потому что бывает так, что сновидение заходит в тупик некоей безысходности и тогда спасением оказывается просто пробуждение. Достаточно большое количество сюжетов моего писательства также приводило меня в тупики, но концом этого ошибочного пути просто становилась мусорная корзина» [17, 721]. О «технологии» своего писательского труда Лем говорил: «Моим недостатком является то, что у меня отсутствует визуальное воображение. Когда я пишу, я ничего не вижу, не представляю пространственно различные вещи или явления, у меня просто сильно развита моторика, моя мышечная система каким-то образом связана с той областью мозга, которая командует средствами артикуляции. Элементами, из которых я строю свои фиктивные ситуации и миры, являются слова, понятия, выражения, предложения — то есть язык. Воображение мое *par excellence* языковое, мне достаточно просто придумывать неологизмы» [146]. И как следствие этого исследователи отме-

чают, что словарь Станислава Лема — самый большой во всей польской литературе. И поэтому не случайно учебники польского языка и польские фразеологические словари иллюстрируются фразами и из его произведений. Например, в одном таком польско-русском «Большом фразеологическом словаре» (Wielki słownik frazeologiczny (Polsko-Rosyjski. Rosyjsko-Polski). — Warszawa: Przedsiębiorstwo Wydawnicze «Harald G Dictionaries», 1998, 1102 s.) — 64 цитаты, а в другом (Польско-русский фразеологический словарь. В 2 т. / Составитель Юлумынц К.М. — Минск: Экономпресс, 2004, 688 с. и 718 с.) — 172 цитаты из работ писателя.

Также Лем выделялся лексикографической изобретательностью. Только в фантастических рассказах циклов «Сказки роботов», «Кибериада», «Звездные дневники» и романе «Футурологический конгресс» насчитывается более полутора тысяч неологизмов [339] — сложнейшая и вместе с тем увлекательнейшая проблема для переводчиков, особенно на неславянские языки. «Неологизмы должны вступать в резонанс — с существующей синтагматикой и парадигматикой языка — множеством различных способов. На многих, можно сказать, уровнях можно получить резонанс, создающий впечатление, что данное новое слово имеет право гражданства в языке. И тут можно грубо, топорно произвести дихотомию всего набора неологизмов, так что в одной подгруппе соберутся выражения, относящиеся скорее к сфере ДЕНОТАЦИИ, а в другой — скорее к КОННОТАЦИИ. (В первом случае решающим оказывается существование реальных явлений, объектов или понятий, что-либо выразительно обозначающих внеязыково, в другом же случае главной является внутриязыковая, интраартикуляционная, «имманентно высказанная» роль неологизма.) Однако тем, что составляет наибольшее сопротивление при переводе, является, как я думаю, что-то, что я назвал бы “лингвистической тональностью” всего конкретного произведения, *per analogiam* с тональностью в музыкальных произведениях» [17, 603]. В качестве примера приведем некоторые

названия (из нескольких десятков) инопланетных животных из рассказа «Спасем космос! Из воспоминаний Ийона Тихого». Выбор ограничим животными, которых Станислав Лем не только описал, но и нарисовал для одного из польских изданий 1991 г. А так как на русском языке этот рассказ публиковали в трех разных переводах, после оригинала в скобках приведем три варианта перевода, а так как сколько переводчиков, столько и мнений, то добавим еще и свой — четвертый вариант: *czajak połkliwy* (ждимородок-поглот, тайняк глотливый, чайак-проглотник, подкарауливатель-заглотник), *krzesławka dręczyruipa* (муравей-кресловик задоед, муравей-креслявка пупогрызый, муравей стульник мучипула, муравей-креслолавка попомучительник), *brutalik woczykij* (глазопыр-изуверчик, глазотык грубиянистый, мокрец грубный, грубияка-кием-в-глаз), *pismaczek-przedrzężniak* (щелкопер-пересмешник заборный, писачек пересмешник, писачек передразник, писака-передразниватель), *zmylek oszajduszny* (охмурянец бродяжный, обманек шельмоватый, путальник прохвостный, обманник-завораживательник), *fetorówka obrzydlnica* (смаднуючка поганочная, вонючка мерзостная, зловонка гнусница, вонючка-осквернительница), *drwacz wyprzasek brzeszczozgrzębny* (порубай ножевато-хребристый, насмешник-пошлик бритвоскребый, пытонь клянчевик ножескребный, издевшик-пошлящик самобичевательный), *przebizad upiorek* (сверлизад упырчатый, сидень упорный, задолом упрямчик, пробейзад-кошмарик). Повторим, что имеются рисунки Лема всех этих перечисленных выше инопланетных животных.

При этом неологизмы Станислав Лем использовал и в научных текстах. Например, большую компьютерную сеть Станислав Лем неоднократно называл «komputerowisko», что на русский язык можно перевести как «компьютеровейник», «компьютуравейник» — от «компьютер» (по-польски komputer) и «муравейник» (mrowisko). Да и себя самого Станислав Лем называл «оптисемистом» («optysemista»): «Я не являюсь крайним пессимистом, являюсь... в общем я бы это назвал

оптисемистом, то есть являюсь немного оптимистом, а немного пессимистом» [185]. И позже, уже в статье «Признания оптисемиста»: «Лично я являюсь умеренным пессимистом: назвал себя когда-то “оптисемистом”. Считаю, что технологический скелет нашей цивилизации до такой степени крепок, что может выдержать многое, даже большие катастрофы» [197]. Следует отметить, что само слово-термин «оптисемист» у писателя появилось еще в 1971 г. в фантастическом «Путешествии двадцать первом» Ийона Тихого. Оптисемистами там Лем назвал «философов, черпающих оптимизм в отношении будущего из пессимистической оценки настоящего». Философы-оптисемисты заявляли, что «чем больше прогресса, тем больше кризисов; если же кризисов нет, их стоило бы устраивать специально, поскольку они активизируют, цементируют, высвобождают творческую энергию, укрепляют волю к борьбе и сплачивают духовно и материально — словом, вдохновляют на трудовые победы, тогда как в бескризисные эпохи господствуют застой, маразм и прочие разложенческие симптомы» [5, с. 233].

Некоторые придуманные Лемом слова вышли за пределы его произведений и продолжили свою жизнь в различных языках. Их можно встретить и в художественных произведениях других писателей, и в публицистике, и в различных блогах Интернета, причем часто такие слова используются уже без ссылки на их автора, то есть фактически стали частью языка. Это, например, такие слова, обозначающие целые явления, как «фантоматика», «фантоматизация», «интеллектроника», «псивилизация», «бустория», «жирократия», «фармакократия», «некросфера», «сварнетика», «кибэротика», «киборгия», «гастронавтика», «астроцид», «завездение», ставшее уже фактически научным термином латинское выражение «*Silentium Universi*» (молчание Вселенной), английские выражения «*mind-naping*» (похищение разума по аналогии с *kidnaping* — похищение людей) и «*Sex Wars*» (неизбежное искусственное (технологическое) торможение роста населения (демографического

взрыва) для обеспечения нормальных условий всем живущим (недопущение перенаселения Земли)), упоминавшийся «опти-семист», а также «любвемер», «звездолов», «дегенерал», «кор-румпыютер» и др. Да и «Солярис» стал уже философским термином — как образ-метафора чего-то абсолютно неизведанного в космосе и предощущения грядущего контакта с инопланетным разумом, как модель кантовской «вещи-в-себе» [273]. Ну и конечно же неизвестные, непонятные, интригующие и по воле Лема оставшиеся вековой тайной «сепульки» (как пример метафоры порочного круга по определению: «Нашел следующие краткие сведения: “СЕПУЛЬКИ — важный элемент цивилизации ардритов (см.) с планеты Энтеропия (см.). См. СЕПУЛЬКАРИИ”. Я последовал этому совету и прочел: “СЕПУЛЬКАРИИ — устройства для сепуления (см.)”. Я искал “Сепуление”; там значилось: “СЕПУЛЕНИЕ — занятие ардритов (см.) с планеты Энтеропия (см.). См. СЕПУЛЬКИ”. Крут замкнулся, больше искать было негде» [5, с. 126]. И хотя в рассказе «Путешествие четырнадцатое» и в романе «Осмотр на месте» герой Лема Ийон Тихий много времени уделил выяснению, что собой представляют эти самые «сепульки», и иногда казалось, что в следующем предложении повествования наконец-то и читатель вместе с героем узнает, что же это такое, тайна «сепулек» так и осталась неразгаданной. И поэтому многие писатели в своих произведениях в разных обстоятельствах используют образ-слово «сепульки», представляя свои интерпретации загадки, чем же или кем они могли бы быть). И таких слов, когда-то придуманных Лемом, в языках появляется и закрепляется все больше.

Много высказываний Лема, поразительных оригинальностью и меткостью, принадлежат канону польской афористики (что видно хотя бы по настоящей книге, изобилующей цитатами Лема, причем часто афористического характера), и поэтому цитаты из его произведений присутствуют в различных сборниках мудрых мыслей. Если бы задаться трудом выделения афоризмов из всех произведений писателя, то можно смело

было бы поставить Станислава Лема рядом с польским классиком в этом жанре Станиславом Ежи Лецем. Например: «Суть старости в том, что приобретаешь опыт, которым нельзя воспользоваться»; «Секретарша была так красива, словно не умела даже печатать на машинке»; «Цивилизацию создают идиоты, а остальные расхлебывают кашу»; «Не может быть справедливости там, где есть закон, провозглашающий полную свободу»; «Не существует малого зла. Этику не измеришь арифметикой»; «Война — это наихудший способ получения знания о чужой культуре»; «Если что-либо, от атома до метеоритов, пригодно к использованию в качестве оружия, то оно будет таким образом использовано»; «Человек — существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается»; «Технология — это независимая переменная цивилизации»; «Чем более продвинуто технически (совершеннее!) средство, тем более примитивные, никчемные и бесполезные сведения при его помощи передаются»; «То, ЧТО мы думаем, всегда намного менее сложно, нежели то, ЧЕМ мы думаем»; «Если ад существует, то он наверняка компьютеризирован»; «Мир нужно изменять, иначе он неконтролируемым образом начнет изменять нас»; «Будущее всегда выглядит иначе, нежели мы способны его себе вообразить». Или более развернутые (и менее известные): «Партии в нашей системе не представляют частичных интересов общества иначе, чем случайно. Свои собственные стремления и желания они подсовывают плюралистическому обществу как якобы его интересы. Вцепившиеся друг в друга, представляют отдельное общество, нужное только самому себе» [251]; «Глобализация есть не что иное, как ограничение суверенитета отдельных государств для защиты их от серьезных катастроф, перенаправление которых одними обществами на другие является любимой забавой людей, особенно находящихся у власти» [15, с. 641].

Здесь следует упомянуть афористический так называемый «Закон Лема» (или «Три закона Лема»), о которых их автор говорил: «Это же была шутка. (...) Сегодня на нашей планете

с шестью миллиардами жителей никто не в состоянии рассказать что-то, чего никто другой до него не рассказал бы. В мире ежедневно выходит примерно 300 миллионов газет, не считая книг. Относительно этого наводнения и неизбежной повторяемости разных выводов я придумал, что: 1) Никто ничего не читает; 2) Если читает, то не понимает; 3) Если читает и понимает, то сразу же забывает — хотя бы потому, что в голове должен освободить место для очередной информации. (...) Один-единственный раз я когда-то был на Франкфуртской книжной ярмарке. Там выставили 280 тысяч одних книжных новинок. Тогда я чувствовал себя как человек, стоящий на берегу океана, держащий в руке маленькую кружку с водой и пробующий ее доливать в эту Атлантику. Какой в этом смысл? Никто ничего не читает, ибо не в состоянии, не успеет он даже открыть каждую из этих книг по очереди. При этом уничтожается возможность оценки критиками этого нагромождения» [359, s. 39]. Шутка шуткой, но воспринимаемая достаточно серьезно самим Лемом, — не случайно ведь он неоднократно упоминал этот закон. Впервые — в письмах переводчику Майклу Канделю (16.02.1978) [131, s. 621] и другу Славомиру Мрожеку (05.09.1978) [130, s. 695], а опубликовал впервые в одном интервью, в котором на вопрос: «Вы издали целый том рецензий — кратких пересказов несуществующих книг. Какая расточительность идей! Целые толпы писателей могли бы жить за счет этих идей годами. Вы что — ленитесь?» — Лем ответил: «Всех бы наверняка не написал. (...) Вершина моих возможностей — это одна книга в год. А во-вторых, ни в коей мере этим я бы не повысил интерес ко мне, ибо в мире действуют три закона Лема: 1) Никто ничего не читает. 2) Если читает — не понимает. 3) Если читает и понимает — забывает» [100]. Затем свой «закон» Лем представил в литературоведческой статье: «Относительно читающей общественности я вывел, опираясь на собственный опыт и опыт других, три закона чтения. *Primo*, никто ничего не читает. *Secundo*, если читает, то ничего не понимает. *Tertio*, если читает и даже

понимает, то сразу же забывает... В этом диагнозе есть преувеличение, которого, впрочем, невозможно избежать, ибо при высказывании произвольного суждения опускается все остальное, то есть весь мир» [115]. Окончательно «закон» был закреплён в 1984 г. в книге — в рассказе «Одна минута человечества»: «Как известно, издатели ничего не боятся так, как издания книг, ибо при всеобщей нехватке времени, предложении, превышающем спрос, и избыточном совершенстве рекламы уже в полную силу действует так называемый «Закон Лема» («Никто ничего не читает; ежели читает — ничего не понимает; ежели понимает — тут же забывает»)» [2, с. 484].

Лем очень критично относился к написанному, особенно к литературным текстам. Написал гораздо больше опубликованного («больше книг написал и уничтожил в рукописи, чем издал» [131, с. 676]), а рукописи неудавшихся, по его мнению, произведений, вариантов опубликованного, черновики незаконченных произведений сжег собственноручно («Я уничтожаю все свои рукописи, все неудавшиеся попытки, не поддаваясь на уговоры передать этот колоссальный материал куда-нибудь на хранение (...), оставляю лишь то, чего мне не приходится стыдиться» [140, 26; 3, с. 27]). Все это в некоей мере является следствием «Закона Лема» — писатель не хотел плодить нечитаемое. О некоторых таких произведениях или замыслах остались только следы-упоминания в статьях, но больше об этой информации содержится в письмах. Например, «в черновиках остались фрагменты нескольких лекций и целая лекция Голема, посвященная математике. Однако я очень скоро заметил, что здесь есть некоторая несоразмерность, которая заключается в том, что моя компетенция в области самых ярких проявлений современной математики недостаточна, а с другой стороны, при всей своей недостаточности она будет совершенно неудобоваримой для очень многих. Появление таких лекций создало бы дихотомию: для выдающихся математиков предложенное будет недостаточным, а для всех остальных читателей — совершенно непонятным. Это такая

шутка чертовой герменевтики, что я не отважился отправить написанное в печать» [16, с. 154-155]. Или, например, в проработке были вот такие темы с достаточно неожиданным воплощением, о чем Лем писал своему американскому переводчику в конце 1977 г.: «Когда я прочитал всего маркиза де Сада и убедился, каким же он был убогим писателем, совершенно не художником, а просто извращенцем, который примитивным образом удовлетворял свое противоестественное «танатологическое» libido, и потом, когда от Вас услышал о Вашей же концепции сказки об Ужасном Чудовище, с которым герой крутил роман, — пожалуй, именно тогда меня посетила мысль, что Настоящая, то есть ДЬЯВОЛЬСКАЯ, порнография вообще до сих пор еще не написана. Как, скажем, не золото и валюта являются теми приманками, на которые дьявол действительно успешно ловит наши души, так же и ни космическое преувеличение генитальной сферы, ни энциклопедическое представление садистским (от де Сада) образом задаваемых мучений не являются порнографией Из Ада Родом. И подумал я о весьма порядочном, интеллигентном, солидном, благородном типе, который всю свою продолжительную жизнь был бы примерным гражданином, отцом, мужем, сыном, коллегой, а этот ад носил бы с собой, имел бы его только в душе. В определенном смысле это было бы воплощение, противоположное тому у Рота [Филипа в романе «Грудь»], ведь его оналист был весь наружу, экстраверт, эксгибиционист, открыт, а мой же герой должен был до конца жизни никому ничего не выдать из своих мыслей, и этими своими мыслями должен был грешить, ужасным и одновременно гротескным и смешным способом — с дьяволом в себе должен был подвергнуться Искушению внешними обстоятельствами — это не сложно организовать. И так бы он стал диссидентом, поднявшимся даже выше, чем хотел, выше Гитлера, и тогда, когда уже мог безнаказанно и с осознанием своей безнаказанности получать то *delectation diabolica* [дьявольское наслаждение (лат.)], — ничего бы не сделал. Это была бы, одним словом, показанная

на Таком Примере ситуация писателя, который, однако, ничего не пишет потому, что то, о чем пишет, не удастся ему реализовать — внутренний мир его представлений имеет идеальную автономию, которая суррогатом чего-либо вне его не является. Год назад я даже набросал черновики этого произведения, и забросил. (...) Хотел также собственное творчество, определенные его части, принять в качестве объекта Мрачных Испытаний, чтобы те же самые ситуации, например из путешествий Тихого, показать, но совершенно с другой стороны, чтобы проявилось то, что изменение точки зрения является изменением населяемого мира. И даже это достаточно далеко проработал, потому что накопилось уже четыре портфеля черновиков. Некоторые эскизы были поразительным образом подобны сегодняшнему реальному положению дел, особенно в сфере таких экстремальных явлений, как терроризм. Все это лежит на полках в моем кабинете. И много других вещей...» [131, s. 613-614].

Но, увы, все эти уже напечатанные на пишущей машинке материалы завершили свое существование в костре на лужайке около дома писателя в Кракове. Но осталось очень много копий писем (по оценкам секретаря писателя — порядка пяти десятков тысяч (!!!) [361, s. 139]; все свои письма Лем печатал на машинке (к счастью, под копирку), так что исследователям творчества Станислава Лема, возможно (если наследники дадут на то согласие), предстоит еще много открытий.

ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ

I. ОТНОШЕНИЕ К ФИЛОСОФИИ

Прошло уже время больших философских систем. Моя философия состоит из лоскутов. Я иду в том направлении, в котором в текущий момент происходит больше всего событий [193].

Станислав Лем

В целом о философии Станислав Лем говорил: «Лично я никогда всерьез не интересовался объемом и границами этого понятия. (...) Но в основном я исходил из школы фальсификационизма Поппера. Пожалуй, именно оттуда исходит мое понятие философии. Философы должны заниматься тем, что выходит за пределы элементарных знаний, которые человек получает благодаря восприятию. Но не в смысле трансцендентности, а лишь в том смысле, что они требуют, чтобы философия не только использовала результаты научных исследований, но и рассматривала науку как фундамент наших общих знаний. Если быть кратким, то можно сказать следующее: философия, как и во времена древних греков, состоит из онтологии, эпистемологии, ну и еще добавляется этика. Онтологические вопросы вообще невозможно решить однозначно с помощью экспериментальных методов. Скорее, это можно сделать с эпистемологическими вопросами. А этика? Из науки вообще невозможно сделать аксиологических выво-

дов. Это значит, что если у человека есть плутоний, то он знает, как его получить. А вопрос о том, станет ли плутоний средством убийства людей, относится к области этики и может рассматриваться с разных точек зрения» [172].

По своей философской позиции Лем является аналитическим философом, принявшим и творчески переосмыслившим основные философские положения Венского кружка (действовавшего в 1920-1930-е гг.), Львовско-Варшавской школы (1920-1930-е гг.) и англо-американской аналитической философии. Об этом он сам писал: «Сформировался я на Венском кружке (Wienerkreis), кроме этого — Айдукевич, лучшая философская голова в Польше в этом веке» [131, s. 292; 128, s. 219]; «Не в Шопенгауэре следует искать мои Корни, а скорее в Поппере. От первого я взял, возможно, немного его Дух, но от другого что-то более важное — метод. И достиг в этом суверенного параллелизма. Например, Поппер в своей последней книге [«Объективное знание. Эволюционный подход»] сопоставляет процесс естественной эволюции с процессами (плодами) познающего мозга, а это является подходом, который лег в основу “Суммы технологии”, и именно это является ключом к моему Кредо» [131, s. 306-307]; «Сейчас я читаю “Объективное знание” Поппера от 1972 г., и удивляет меня совпадение его позиции и следующих из нее взглядов с моими, и только даты появления его эссе гарантируют мне первенство, иначе неизбежным было бы обвинение меня во вторичности относительно Поппера, но мой стержень в этом, т.е. “Сумма технологии”, возник в 1962/3 годах — и этот аргумент доставляет мне удовольствие» [131, s. 379].

Поэтому «союзниками» Лема в философии, в первую очередь, являются австриец Людвиг Витгенштейн (ведь программа Венского кружка базировалась на его «Логико-философском трактате»), из представителей Венского кружка — американцы Рудольф Карнап, Курт Гёдель, представители Львовско-Варшавской школы поляки Казимеж Айдукевич, Альфред

Тарский, Тадеуш Котарбиньский, аналитические философы британцы Бертран Рассел и Карл Поппер и американец Уиллард ван Орман Куайн, а также философы-рационалисты поляки Юзеф Бохеньский и Людвик Флек и немец Ханс Рейхенбах. Из классиков Лем особо уважал древних греков Платона и Аристотеля, римлянина святого Августина, англичанина Уильяма Оккама, ирландца Джорджа Беркли, французов Блеза Паскаля и Пьера-Симона Лапласа, немцев Иммануила Канта, Артура Шопенгауэра (в большей степени стилем философствования, литературным языком, пессимизмом) и Карла Маркса (только в части его материалистической философии, не путать с марксизмом: «Маркс ошибся в самом существенном: придумал человека-функцию, никогда не существовавшее лицо, которое если чем и обладает, то только классовым сознанием. Лицо, что будто бы исчезнет вместе со всеми своими пороками, когда мы построим коммунизм. Все при коммунизме станут паиньками. Это утопия, а попросту ложь. Были у истории разные эпохи, не похожие друг на друга, а человек остался, думаю, тем же, кем был» [183]). А учитывая в большой степени естественно-научную и кибернетическую направленность интересов и творчества Лема, к его союзникам относятся также математики-кибернетики американцы Джон фон Нейман и Норберт Винер и англичанин Алан Тьюринг, биолог англичанин Чарлз Дарвин.

К своим главным противникам в философии, к взглядам которых Лем постоянно, порой даже нелицеприятно, оппонировал, являются немецкие философы Георг Гегель, Эдмунд Гуссерль, Мартин Хайдеггер, Зигмунд Фрейд, французские философы Жан Поль Сартр, Клод Леви-Стросс, Жак Деррида, Пьер Тейяр де Шарден, Мишель Фуко, Жак Лакан, Жан-Франсуа Лиотар, американские философы Джозеф Райн, Пауль Фейерабенд, Герберт Маркузе, Ричард Рорти, канадский философ Херберт Маклюэн, а также философы-футурологи Герман Кан и Фрэнсис Фукуяма.

Обо всех вышеперечисленных философах можно найти рассуждения в произведениях Лема, как в философских, так и в беллетристических, например такое: «Есть философы, которые нравятся мне, не глядя даже на то, что я не обязательно соглашусь со всем, что они скажут. Мне близок, и я очень уважаю Шопенгауэра, даже при том, что его система “Мира и воли как представления” не вызывает особого восторга. Мне очень нравится Бертран Рассел своей скептической и трезвой позицией. Это — типично английское философское направление с флегматичной и аналитической основой. Напротив, я абсолютно не переношу феноменологов, Хайдеггера и Гуссерля, и особенно этого сумасшедшего Дерриду с его неоклассицистским теоретизированием. Я не могу отрицать вклад и эмоциональность Поппера и его школы; фальсифицируемость — полезное понятие, да и сам Поппер был проницательным мыслителем» [374, р. 62-63].

А всего в своих работах Лем упоминает порядка 4500 персон. Это число получено подсчетом персон во всех книгах, в 95% опубликованных статей (1430 из порядка 1500), в 60% опубликованных интервью (330 из порядка 550), в опубликованных письмах, любезно предоставленных наследниками автору (но это, к сожалению, менее 10% от количества писем, сохранившихся в архиве писателя). При этом порядка 250 реальных персон упоминается в фантастических произведениях, и это подтверждает, что у Лема даже самые фантастические произведения по своей сути являются вполне себе реалистическими. И поэтому не случайно ведь Лем считал себя реалистическим писателем, объясняя это так: «Сфера понятия “реализм” в литературоведении не была объявлена ни на горе Синай, ни в Кане Галилейской. (...) Эскизно можно набросать такую трехчленную схему: “непосредственный реализм”, “реализм в средней инстанции”, “реализм на

границы". Первый — это то, что обычно и считают реализмом, с возможными спорами о том, сколько там намешано натурализма. Второй тип — это литература, ставящая реальные проблемы, но необязательно делающая это реалистичными средствами. При таком допущении "Насморк" — это реализм первого типа, а "Непобедимый" — второго. И наконец, реализм третьего типа, то есть полный отход от типичных беллетристических канонов, таких, как введение героев с их человеческой психологией, как фабула, одним словом: это переход от судеб людей к судьбам неких идей и проблем; когда такая концепция становится "героем", о реализме можно говорить лишь тогда, когда она пересекается с естественным порядком вещей». К «реализму третьего типа» Лем относил свой «Голем XIV» [16, с. 149]. Лем говорил: «В общем я являюсь — как сам себя оцениваю — натурой, укорененной в традиции реалистического писательства. Не умею, не хочу, не могу писать произведения, которые были бы вымышленными, имели бы беспроблемный характер, были какой-то игрой воображения, исключаящей связь с сегодняшними или будущими делами» [388].

Интересно, не правда ли, сколько философов среди упоминаемых Лемом персон? Как говорил Лем, «в общем смысле философия — это то, по поводу чего спорят философы. (...) В конечном счете философия — это то, чему обучают в университете» [172], философия — это то, что публикуется в специализированных философских журналах. Ну а философы — это те, кто имеет ко всему этому отношение, при этом фамилии наиболее выдающихся из них попадают в качестве титула статей на страницы философских энциклопедий. Для составления всемирного списка философов автор воспользовался следующими изданиями: 1) «Encyclopedia Britanika» — 830 персон; 2) «The Cambridge Dictionary of Philosophy» (Cambridge University Press, 1999) — 595 персон; 3) «Encyclopedia of

Philosophy» (Martin Gale, 2006) — 924 персоны; 4) «The Oxford Companion to Philosophy» (Oxford University Press, 1995) — 557 персон; 5) «Routledge Encyclopedia of Philosophy» (Routledge, 1998) — 933 персоны; 6) «Stanford Encyclopedia of Philosophy» (Stanford, 2010) — 387 персон; 7) «Powszechna Encyklopedia Filozofii» (Lublin, 2001-2009, 10 томов), дополненная несколькими десятками персон из трехтомной «Polska filozofia powojenna» (Warszawa, 2009) — всего 2519 персон; 8) философские энциклопедии под редакцией А.А. Грицанова: «Всемирная энциклопедия: Философия» (М.: АСТ; Мн.: Харвест, Современный литератор, 2001); «Всемирная энциклопедия: Философия. XX век» (М.: АСТ; Мн.: Харвест, Современный литератор, 2002) — в обеих энциклопедиях суммарно 720 персон; 9) собрание коллективного разума — Википедия в Интернете, а в ней англоязычные (List of philosophers) и немецкоязычные (Liste der Philosophen) списки философов — всего 3514 персон по состоянию на середину 2013 г. Все эти упомянутые в перечисленных источниках персоны (5453) и будем считать философами. Данные по этим философам и упоминаемости их в работах Лема приведены в таблице 1 (см.), где в столбцах: 1) количество источников, в которых упомянуты философы; 2) количество философов, встречающихся, по крайней мере, в соответствующем количестве источников; 3) в том числе количество философов, упоминаемых в работах Лема; 4) то же в процентах к столбцу 2; 5) в том числе количество философов, упоминаемых в художественных произведениях Лема; 6) то же в процентах к столбцу 2; 7) столбец 5 в процентах к столбцу 3.

Воспользовавшись еще рядом рейтингов типа «*Top 100*» философов (100 самых известных (знаменитых, выдающихся, влиятельных, великих) философов всех времен и народов), уменьшили строки 8 и 9 до круглого числа, применили математику (пропорции) для строк 3-6 и получили таблицу 2 (см.).

Таблица 1

Количество источников упоминания	Количество философов	Из них в работах С. Лема		Из них в беллетристике С. Лема		
		количество	в процентах к ст. 2	количество	в процентах к ст. 2	в процентах к ст. 3
1	2	3	4	5	6	7
1	5453	469	8,6	100	1,8	21,3
2	1848	294	15,9	88	4,8	29,9
3	1180	236	20,0	78	6,6	33,1
4	816	198	24,3	67	8,2	33,8
5	595	167	28,1	61	10,3	36,5
6	446	150	33,6	57	12,8	38,0
7	327	127	38,8	50	15,3	39,4
8	227	101	44,5	43	18,9	42,6
9	116	57	49,1	28	24,1	49,1

Таблица 2

Рейтинг философов	Количество философов	Из них в работах С. Лема		Из них в беллетристике С. Лема		
		количество	в процентах к ст. 2	количество	в процентах к ст. 2	в процентах к ст. 3
Топ 1000	1000	218	21,8	73	7,3	33,5
Топ 500	500	157	31,4	59	11,8	37,6
Топ 200	200	95	47,5	42	21,0	44,2
Топ 100	100	55	55,0	27	27,0	49,1

Таким образом, из «Топ 1000» философов (представленных не менее чем в трех источниках из девяти) Лем упомина-

ет более пятой части, из «*Top 500*» (не менее чем в пяти источниках) — почти третью часть, из «*Top 200*» (не менее чем в восьми) — почти половину, из «*Top 100*» (во всех) — более половины, из них почти половина упоминается в художественных произведениях. Это, без сомнения, свидетельствует о всеобъемлющем знакомстве Лема с предметом философии и творчеством наиболее известных и выдающихся философов.

О том, что лежит в основе его критики философов и философских теорий, Лем писал: «Я обладаю силой воображения и являюсь рабом логики; мне трудно представить себе нечто такое, что никак не связано с реальной действительностью. Я просто не могу перестать мыслить логически, и это для меня важно. Все, что я здесь сказал, основано на моем жизненном опыте и нескольких тысячах прочитанных мной книг, принадлежащих лучшим умам, которые когда-либо существовали. И пусть даже никто не может знать этого априори — все-таки ни в чем я не уверен так безусловно, как в том, что могу очень быстро отличить умницу от дурака, слепца от гения по нескольким взятым наудачу страницам. Это моя точка опоры, та самая, которую искал Архимед, чтобы перевернуть Землю. Отсюда следует также, что я всегда готов полностью пересмотреть свои суждения, взгляды, оценки, если встречу убедительные доказательства противоположной точки зрения. Только до сих пор я их не смог отыскать» [140, с. 316].

Как писатель Лем не мог не обращать внимания и на язык философствования: «Больше всего мне нравится Б. Рассел в “Истории западной философии” (ибо саркастический, язвительный, краткий). (...) Ясность и краткость — это все. Афористичность, чтобы формулировки “сами” западали в память. Ба, но как это сделать! На это нет рецепта. Уверяю Вас, что это НЕ ДАЕТСЯ МНЕ ЛЕГКО, что такие фрагменты я писал по 20 раз и в этом нет ни слова преувеличения.

(Написать, проверить, что излишне с точки зрения ясности; переписать заново; экстракт должен быть таким, как сказал наш поэт-пророк: писать так, чтобы словам было тесно, а мыслям вольно.)» [131, s. 307-308]. Лем выделял также великолепие прозы А. Шопенгауэра: «Он один из немногих философов, которых читаешь с несомненным удовольствием. С точки зрения качества эстетического восприятия он удобоварим как там, где мы общаемся с правильно построенной аргументацией, так и там, где он пускается в сомнительные сферы» [16, с. 428]. И далее: «Многие из текстов Шопенгауэра сохранили свою ценность не потому, что там есть познавательные достоинства, нет, они оттуда испарились или стали анахроничными, а потому, что это прекрасно написано» [16, с. 239]. А, например, «Сартр раздражает своими тяжеловесными трудами на тысячи страниц. В том, что пишет Поппер, много смысла, но, с другой стороны, он слишком напоминает школьного учителя, который, грозя пальцем из-за кафедры, объявляет вещь такой-то и такой-то. И, рискуя быть притянутым за ухо и выдворенным из классной комнаты, нельзя не согласиться с ним» [374, р. 64]. Поэтому Лем подчеркивал: «Я — верный сторонник принципа, что и литература, и философия не должны быть скучными до смерти для своих читателей. В процессе чтения никогда не стоит продираться сквозь джунгли слов и понятий, испытывая трудности и дискомфорт ради добычи того, что приходит естественным образом. Взвесив все, я также уважаю смелых мыслителей. Я не знаю, расценивается ли это как смелый поступок, но одна из причин, почему мне так нравится Рассел, состоит в том, что ему хватило интеллектуальной и моральной целостности, чтобы назвать Гегеля — без обиняков — полным идиотом. Я полностью с ним соглашаюсь: Гегель — идиот, и те, кто почитал его труды, оказали себе плохую услугу. Честность и простота мышления — вот то, что необходимо всем нам» [374, р. 66].

II. ОСНОВНЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ИДЕИ

Я родился, чтобы философствовать в то время, когда в королевстве философии уже невозможно построение целостных систем. Королевство философии распалось из-за вторжения науки, так что философы уже не могут выступать суверенными создателями образа мира. Меня всегда волнуют такие загадки, как причина жизни, сознания и смерти. Вопросы о границе наших возможностей и вопросы, касающиеся формирования интеллекта [257].

Станислав Лем

О своих философских взглядах Станислав Лем писал: «Что касается философии, то в гносеологии я абсолютно рационален и более-менее ясен, но в онтологии иначе, потому что считаю, что существует необъяснимая загадка, “Эго” (“Я”) — физика, биология и т.п. эмпирические науки могут нам в достаточной мере объяснить возникновение и существование “иных”, т.е. “третьих лиц”, но никогда нельзя рассчитывать на то, что они смогут выяснить, откуда “Я взялся”. От “они” к “я” вообще нет никакого перехода в сфере естественных наук, так как “я” с точки зрения существования выделяется своей “непокидаемостью” (Вы не можете покинуть свое “я”, выходя из себя), и В ЭТОМ КРОЕТСЯ ДЛЯ МЕНЯ ВЕЛИЧАЙШАЯ ТАЙНА БЫТИЯ. А остальное — это уже ЕЕ следствия... (Отсюда “удивление бытием” и т.д.)» [131, s. 291]. И далее: «Трудно определить мое онтологическое “гражданство”, еще труднее — эпистемологическое. Я полагаю этот мир реально существующим на уровне (“в разрезе”) чувственного восприятия, которое было дано человеческому роду в ходе антропогенеза и определяется нашей принадлежностью к таксономическому ряду гоминид и гоминоидов. В рамках данного таксономического ряда эволюционно сформировались и наше чувственное восприятие, и наше сознание. Такое происхождение задает границы сферы чувственного познания: где-то в диа-

пазоне между квантово-атомным микромиром и галактическим и метагалактическим мегамиром. Проникать за эти границы мы способны лишь с помощью теоретического и математического опосредования» [202].

Для представления основных философских взглядов и идей Станислава Лема, пронизывающих все его творчество: и дискурсивное, и беллетристическое, — воспользуемся монографией доктора философии Павла Околовского, в которой они изложены наиболее полно [356], а также их сокращенным изложением [358]. Причем с первоначальным вариантом описания основных своих идей Околовским [353; 354] Лем ознакомился лично и даже с удовлетворением высказался, что ему в этих работах «как философу поют дифирамбы» [18, с. 210] и «Разные хорошие вещи написал также этот автор по вопросу моего положения на небосводе современной философии. Однако мне кажется, что с таким высоким местом он немного перебрал» [17, с. 751].

На фоне философии XX века философия Лема представляет собой рационалистический натурализм: во главе стоит логика и отвергается платоновский дуализм. При этом она отличается от марксизма, в котором тоже уважается логика и бытие отождествляется с природой. Отличие философии Лема заключается в ее метафизической и созерцательной направленности (соединенной с уважением многовековой традиции Запада), в пессимистическом видении человека и апологетической концепции религии, особенно присущей христианству. Также отличается отсутствием волюнтаризма, активности, веры в прогресс в эпоху научно-технической революции, но также и отсутствием воинствующего атеизма. По сути Лем оказался по некоторым вопросам в оппозиции к Б. Расселу, К. Попперу и Львовско-Варшавской школе, хотя к ним относился очень уважительно. Протагонистами для него оказались А. Шопенгауэр, Ф. Достоевский и святой Августин. Знаковой являлась его враждебность к иррационализму, к которому он относил феноменологию, фрейдизм, оккультизм, постмодер-

низм, пантеизм, политкорректность. Лем себя называл: «человек, оппонирующий существованию трансцендентности» [12, кн. 2, с. 229].

После себя Лем оставил философскую систему, что, правда, является результатом логического анализа его работ, а не его собственным заявлением: сформировал собственные метафизику, теорию познания и аксиологию. Его метафизика — материалистический монизм — атомистична и казуалистична (вероятностный детерминизм). Выводы из нее: в мире не все взаимосвязано; вечным космосом управляет случай (в соответствии со стохастическими законами), и поэтому в нем имеют место синтезирование эмергентности — появляется нечто новое и непостижимое (например, жизнь, язык, культура). Материализм в толковании Лема близок аналогичным древним доктринам, особенно близок эпикуреизму (а в его рамках прежде всего работе Лукреция «О природе вещей»). В метафизике Лема рациональной теологии соответствует теория вероятности разума (ноология). В соответствии с ней интеллект и разум представляют собой разные вещи; только разум имеет отношение к воле и поэтому должен быть интегрирован в тело и наделен чувствами. Возможна целая иерархия космических разумов, которые возникают всегда независимо (как, например, в произведениях Лема «Голем XIV» и «Солярис»). Эти и многие другие идеи Лема явно выходят за рамки натурализма, что свидетельствует о их глубине. Есть также пророческие идеи на фоне современной когнитивистики. В бытии неотъемлемо присутствует тайна, что сближает метафизику Лема с метафизикой крупнейших философов — Витгенштейна и Лейбница.

Эпистемология Лема, четко оставаясь в тени размышлений над бытием, представляет собой умеренный эмпиризм и тонкий рационализм (на основе сайентизма), обогащенный социологией знания, взятой у Людвика Флека. Эта теория познания основывается на классическом определении истины и фальсификационизме Поппера, признавая, однако, за чело-

веком скромные познавательные возможности. И хотя Лем подчеркивал, что принадлежит к «ордену эмпириков» [16, с. 465] («[Эмпирия] — это единственный источник, который может утолять мои желания» [16, с. 422]; «Эмпирия — это насос, приставленный учеными к миру, который нагнетает в человечество информацию без каких-либо ограничений» [16, с. 335]; «Все нирваны, коаны дзен-буддизма, трансмогрификации и трансфигурации для меня ничто по сравнению с теми чудесами природы, которые нам открывает эмпирия. (...) Эмпирия — это нечто вроде мощной катапульты в реальное пространство» [16, с. 420]), его тезисы о мире как целостности априори являются синтетическими суждениями, ибо был он все-таки «оппортунистически настроенным сторонником эмпирии» [16, с. 422].

Антропология и аксиология Лема, важнейшие в его философии и являющиеся его наибольшим вкладом в современную мысль, по сути христианоцентричны — прежде всего из-за признания склонности человеческой природы к моральному злу и основополагающей роли Декалога в жизни («Декалог является мощнейшим сопротивлением относительно наследованной от тысяч предков человеческой природы, которая, когда только может, устраивает нам что-нибудь совершенно неблагоприятное» [170]). Главными тезисами лемовской философии человека являются следующие: личную судьбу каждого человека прежде всего определяют его гены (антропологический нативизм), а также эпоха (состояние культуры) и общество (Родина и семья); эти факторы независимы от наших желаний и намерений. Антропологический нативизм предполагает врожденные характеристики личности; по Лему, это характер, темперамент, эмоциональность, интеллект, и все они определяют талант личности. Лем писал: «Количество генов, обеспечивающих появление определенных свойств организма, насчитывается в соотношении один к одному, впрочем, их скорей меньшинство; в большинстве случаев, например если речь идет об интеллекте, должно взаимодействовать большое

их количество. При этом эти гены ориентированы на воздействие окружающей среды: на вопрос “nature or nurture”, природа или воспитание, нет однозначного ответа, ибо это почти то же самое, что спрашивать, что лучше: суп или жаркое. Одно без другого ничто, дети, воспитанные вне человеческой среды, говорить не научатся. Мы являемся социальными созданиями гораздо больше, чем полагаем» [234, s. 247] (из статьи «Музыка генов»); «Быть личностью — то же, что обладать целостной памятью о собственном прошлом с его поворотными пунктами. А быть культурной группой — то же, что располагать коллективной памятью, в которой сохранилось все наиважнейшее: как доброе, так и злое. Но поскольку ни личность, ни группа по чисто физическим причинам не в состоянии запомнить все, что с ними когда-либо приключалось, то как память личная, так и память коллективная обе функционируют селективно. (...) Личность подвергается случайным флуктуациям (событиям) в полной пассивности, пока длится ее детство и созревание. Сознание же фиксирует при этом в памяти то, что наиболее интенсивно в нее проникает, будит наиболее сильные эмоции. Культура, напротив, будучи формой коллективной памяти, вместе с тем в полной мере является и фильтром. Когда она подверглась иерархизации, присущие ей ценности устанавливают предпочтения в процессе естественного отбора всего того, что подлежит отсеву (или, наоборот, усвоению). Национальная культура смыкается с культурой общечеловеческой там, где инварианты человеческого состояния той и другой взаимно и с полной интенсивностью уподобляются и где тем самым сквозь все отличия чужой культуры от нашей мы учимся видеть черты сходства их обеих» [13, с. 407-408].

Независимой от нас является также технология, которая развивается в принципиально неизвестном направлении. И это является главным тезисом философии Лема: **«Технология — это независимая переменная цивилизации»** (или общественного развития) — эта фраза в различных видах встречается

фактически во всех философских трудах Лема, во многих его научных и публицистических статьях и интервью, например: «Технологическое развитие является независимой переменной развития цивилизации. Если сделано открытие, его уже нельзя закрыть. Если сделано изобретение, процесс его создания нельзя повернуть вспять. А одно открытие вызывает за собой следующее. Роботы делают все более совершенных роботов. Процессоры проектируют все лучшие процессоры. И это нельзя остановить. Все стремятся двигаться вперед и никто не знает куда» [206]; «Техноэволюция представляет собою независимую переменную прежде всего потому, что ее темп коррелируется количеством уже обретенной информации, причем явление экспоненциального ускорения следует из проникновения в “гибриды” элементов информационного множества. Конечно, местами, в которых происходит столь плодотворное скрещивание, являются человеческие умы, (...) однако умы эти — как бы места именно неизбежных информационных встреч, тем более энергетически плодотворных, чем большие количества эмпирической информации будут в них участвовать» [12, кн. 2, с. 467-468]; «По-прежнему придерживаюсь сформулированного когда-то утверждения, что технология — это независимая переменная цивилизации. Это автокаталитический процесс, и отклонения и даже катастрофы могут приводить к его временному торможению, но они, однако, не приводят к постоянному застою. Американцы пытались предвидеть психосоциальные и политические последствия массового удорожания новых ветвей технологии, но их проект не удалось реализовать — всегда остается большой процент риска, просто неизвестное» [189, s. 7-8]. И даже встречается в беллетристике — в романе «Фиаско»: «Подгоняемая длительным конфликтом эволюция техномагии становится независимой переменной от типа строя, поскольку эту эволюцию формирует структура конфликта, а не общественные структуры» [8, с. 632]. Обоснованию этого своего философского тезиса Лем уже в конце жизни посвятил даже специальную статью

«Дорога без отступления», которую начал и закончил следующим: «Утверждение, что технология является независимой переменной цивилизации, требует более подробного объяснения. (...) Невинное, безмерно много обещающее начало способно иметь печальные и даже смертельные последствия. Как транспорт, так и современная медицина с ее оснащением и фармакологической базой, равно как и атомная энергия, и распознавание и декодирование основ нашей наследственности показали нам уже свое грозное обличье. Однако (...) мы не сможем уже сойти, а тем больше отступить с этой дороги, ощетинившейся пользой и опасностями, на которую мы вступили уже очень давно» [231].

Тем самым речь идет об общественном детерминизме, определяющем нашу коллективную судьбу, что связывает идеи Лема с историческим материализмом Маркса, только основывается на совершенно иной метафизике — не гегелевской. Лем говорил: «В “Диалогах” мне удалось протащить структурный и функциональный анализ тоталитарной системы, прежде всего советской модели, но ведь существовали явления абсолютно предсказуемые и непредсказуемые. Непредвиденными оказались, например, темпы перемен и автокаталитический способ, которым технология становилась все более независимой переменной цивилизации и начинала уже влиять на мир» [16, с. 508].

Технология влияет и на культуру, приводя ее к упадку. Лем писал: «Мне кажется странным, что подверглась разрушению эта устойчивая последовательность, в какой маршировали друг за другом эпохи парадигм во всех видах искусств. Обычно знатоки соглашаются, что мы живем в период декаданса, ведущего к упадку высоко ценимых ранее способностей и вкусов. Все глубже мы погружаемся в скопления все больше воняющего мусора, повсеместность которого столь абсолютна, как будто бы за ним стоит какая-то сила, принуждающая к уважению всего того, что нам приволюкут, нарисуют, расскажут или изваяют из каких-то мерзких лох-

мотьев особы, считающиеся людьми искусства. Добавим к этому еще секс, кровь, фрагменты трупов, руины и выражения, означающие бессмыслицу. В области пластики нет, говоря без обиняков, такой гадости, такой мерзости, такой зловонной рвоты, которую бы не размещали на выставках, не воспроизводили и не восторгались ею, если не искренне, то изображая, пусть и несколько критическое, восхищение» [234, s. 87] (из статьи, публиковавшейся под красноречивыми названиями: «Падение искусства» и «Падшее искусство»); «Чем выше уровень технологических средств передачи информации, тем проще распространять глупости, а люди, к сожалению, глупости любят» [178, s. 71].

Лем отметил: «Коллапсу культуры предшествует фаза ее патологии» [13, с. 389], в которой мы уже находимся. Культура разбавляется графоманией: «Современная технология парадоксальным образом движется в двух противоположных направлениях одновременно. Она создает более совершенные, чем когда-либо ранее в истории, средства для массового воспроизведения произведений искусства. Она ввела в действие информационные каналы, по которым образ, звук, слово, голос за доли секунды могут дойти до миллионов людей. Тем самым современная технология открыла возможности для не известного ранее глобального воздействия артиста на аудиторию, состоящую из жителей всего земного шара. Но вместе с тем в качестве источника художественного вдохновения технология бесплодна. (...) Технология ведет к обезличению, она является, можно сказать, естественным и первым противником искусства», [13, с. 402-404]; «В литературе мы живем в потоке слов, и все трудней выловить из него тексты, значащие больше, чем притязания авторов на пантеон муз, очень напоминающий подтопленные клозеты больших городов» [234, s. 89]. Культура уступает развлечению, становясь в большой степени индивидуальной вместо коллективной, удовлетворяя анти-вкусы: «Обезличение в области искусства означало бы по

самому существованию дела ликвидацию искусства. Но это не касается «низших искусств», иначе говоря, индустрии развлечений. Она вполне может развиваться в атмосфере торжествующих технологий, потому что должна быть в определенном смысле в равной мере эффективна и безлична, как автомобиль или самолет. Подобно продуктам этого рода, развлечения состоят из взаимозаменяемых частей, на основе общеупотребительного комплекса стандартных приемов, вызывающих определенные реакции. Развлечение может быть даже великолепным — и тем не менее все равно представляет собой конструкцию, построенную из стереотипов. Развлечению нисколько не вредит отсутствие признаков работы творческой личности, между тем как искусство не может существовать без них» [13, с. 405].

Упадок Лем относил и к научной фантастике, которую писатель-фантаст хотел видеть как «инкубатор еретическо-познавательной мысли»: «Science Fiction кажется специально созданной для наиболее рискованных попыток неортодоксального мышления, для дерзких умозаключений, просочившихся из институциональной науки, для провозглашения гипотез, которых ученому провозглашать еще нельзя, так как они представляют собой вершину предположений строящейся Вавилонской башни. SF могла бы стать полигоном также новых философских размышлений (областью так называемой “фантастической философии”, о которой мечтал Борхес), убежищем социологического воображения и инкубатором или “хранилищем” таких идей, которых наука продвинуть еще не в состоянии. По сути, однако, SF эти эпистемологические возможности не использует. Свободу от риска, завоеванную вместе с допущением логической неточности обоснований, Science Fiction использует для производства глупостей. Познавательное предвосхищение променяла на умственный регресс, обратившись к сказкам, мифам, магии, пытаясь “научообразить” суеверия, ксенофобию и бульварные версии иррациональных доктрин (из области так называемой “паранауки”). (...) Интеллектуальная

измена Science Fiction — это одно из существенных проявлений упадка массовой культуры. И эту измену не спровоцировала какая-либо *fatum* [фатальность (лат.)]. SF не должна была становиться могилой неиспользованных возможностей. Ответ на вопрос, почему она стала такой могилой, важен не только для нее и не только для литературы» [97].

В философии Лема выделяется антропологический манихизм. Лем обращал внимание, что человеческая природа характеризуется «асимметрией стремлений к злу и добру (...)». Заставляет также задуматься “асимметрия” истории культуры, в которой добрые намерения довольно регулярно обращались во зло, до обратной же метаморфозы дело как-то не доходило» [1, с. 533-534]. В конце концов, асимметрию добра и зла Лем считал универсальной характеристикой (пристрастностью) космоса: «Мир является недоброжелательным, ибо: в нем легче уничтожать, чем создавать; легче мучить, чем делать счастливым; легче погубить, чем сохранить; легче убить, чем оживить. Если бы оба вида деятельности можно было выполнять одинаково легко, тогда мир был бы безучастным. Зато если бы легче было осчастливить, чем разрушить, легче оживить, чем убить, это был бы доброжелательный мир. Из этого перечисления следует, что наш мир является недоброжелательным. (...) То, что любой предмет легче разбить, чем его воссоздать, это вектор энтропии — второй закон термодинамики! (...) Такова природа мира. Даже Господь Бог разводит руками» [16, с. 480-481]. Относительно человечества Лем говорил: «Опасаясь, что общее количество поступков, действий, которые рождают плохие последствия, у людей больше, чем количество тех, которые рождают хорошие последствия. Может, это происходит исходя из большей разнообразности плохих действий. Когда кто-то подает милостыню — он просто дает милостыню и все, а если кто-то убивает детей или развлекается как охотник на представителей своего вида, тогда перед ним открывается кошмарное многомерное пространство возможностей» [204, s. 178].

Лем считал, что человек творит зло исходя из своей природы: «Как я уже икс раз повторял, технология — это независимая переменная нашей цивилизации: ее раскрученных механизмов ничего, кроме глобальной гибели, не удержит. Ее движение, по существу, не зависит ни от наших намерений и надежд, ни от наших усилий. Это движение свойственно самой природе мира, а то, что из созревающих плодов Древа Технологий мы охотнее всего и усерднее всего выжимаем яды для самих себя и для других людей, это уже не является “виной” мира. Ни наяву, ни в играх люди не смогут снять вины с себя» [15, s. 390] — тем самым придерживаясь позиции антропологического манихеизма, что означает, что существуют люди добрые — способные затормозить имманентное зло, а также порочные, неспособные нажать на тормоза, а считающиеся единственно только с физическим насилием. По мнению Лема, добро можно наблюдать и не желать его, при этом «не желать добра» Лем понимает в широком смысле как «желать его уничтожения». Лем говорил: «Бескорыстное мучение и убийство, за которым не следует пожирание, — это исключительно особенность человека. (...) Зло живет в нас» [170]; «Прав был, к сожалению, Иосиф Бродский, говоря, что пристрастие к преступлениям и массовым убийствам — основная черта человеческой природы, хотя, конечно, черта эта далеко не всегда проявляется» [18, с. 148] (кстати, любопытное наблюдение: по польски «зло» — *zło* (*ZŁO*), «человек» — *człowiek* (*cZŁOwiek*), то есть действительно зло заключено в человеке).

Лем придерживался антропологического паулинизма, то есть разделял убеждения святого Павла, что человек, как общественное существо, может побеждать зло исключительно коллективно, а не индивидуально. Моральные тормоза, имеющие религиозную родословную, совершения зла людьми поставляет общественное сознание. При этом, по мнению Лема, среди религий христианство предпочтительнее,

ибо оно единственное создало научно-техническую цивилизацию, дополненную государством права, основанного на идее свободы. Евангельское «любите врагов ваших» (...), возможно, было наиболее драматическим и отчаянным усилием противостояния тому злу, тому наследию “хищной обезьяны”, которое передали нам поколения антропогенеза за несколько миллионов лет» [178, s. 54]. Христианская система ценностей наиболее соответствует человеческой природе, хотя в современных условиях Декалог не помешало бы дополнить какими-нибудь новыми заповедями, соответствующими новым условиям жизни, например порожденными биотехнологией. Корнем религии является неизбежность смерти, поэтому то, что предоставляет коллективную надежду относительно личного небытия, и является религией, и людей нерелигиозных практически нет: «Человек мыслящий возник тогда, когда начал тело умершего (...) хоронить в ритуальном положении (часто в положении плода в чреве, т.е. как будто бы подготовленное к следующему рождению) и когда приступил к заполнению могил всяким человеческим добром, едой, напитками, оружием, чтобы умерший мог сражаться с противником в потустороннем мире или мог охотиться, когда и одежду, и ценности в могилы укладывали. (...) Так возникли религиозные веры. Возникали не столько из-за обычного страха от посмертного небытия (...), сколько из-за чувства чрезвычайной подлости, нечестности и прямого унижения человеческого достоинства, которое смерть в себе содержит и собой воплощает» [178, s. 254]. Религиозность Лема разнородна: содержит католические (в сфере культа и образа жизни) и другие, нехристианские, элементы. Его метафизическая доктрина с атрибутами космоса — это созидание и разрушение, а также эсхатологическая надежда. Лем аргументировал надежду на жизнь после смерти тем, что космос будет вечно порождать все новые поколения разумных существ, а они будут реализовывать

абсолютные ценности. Это направление мысли Лема согласуется, независимо от намерения ее автора, с христианским воплощением прославления Бога, или, говоря по-светски, с аксиологическим абсолютизмом.

Центральным звеном философии Лема являются его глубокие размышления о развитии и разложении научно-технической цивилизации. Лем сразу же после 1953 г., когда Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик объявили о своем открытии структуры ДНК и механизма наследственности (возможно, величайшее научное открытие XX века), в полной мере воспринял их новый стиль мышления. И единственный (до сих пор) из известных мыслителей перенес его в область философии. Вскоре, уже в «Сумме технологии», признал созидательные языки (к которым принадлежит ДНК) величайшим проявлением эволюции космоса, отражающим в полной мере главные метафизические свойства Универсума. В свете этого знания недостаточно сказать, что «генотип определяет фенотип», а следует резюмировать, что в зиготе уже заключена наша судьба. Существует в ней — пусть и в спящем состоянии — наша душа; весь человеческий вид и вся человеческая индивидуальность: физическая, интеллектуальная, эмоциональная, моральная. Философия Лема — это философия судьбы, то есть признания случая, и поэтому ее можно называть тихизмом (учением о господстве случая во Вселенной). В отличие от всякого светского гуманизма, она не противится случаю, ибо он является демиургом: относительно нас глух, неожиданный, поэтому и несправедлив. Перефразируя слова Маркса, можно сказать: современные философы пытаются изменить мир, для Лема же главное — мир понять.

Более подробно конкретные взгляды и идеи Лема преимущественно его же словами представлены в следующей главе настоящей книги — ведь критикуя или поддерживая того или иного мыслителя, Лем «обнажал» свои мысли, «проявлял», демонстрировал свою философию.

III. С. ЛЕМ О МЫСЛИТЕЛЯХ XX СТОЛЕТИЯ

По сути больше всего меня интересовала философия и думаю, что я искал ее не столько у философов, сколько у кибернетиков, физиков, биологов... [62].

Станислав Лем

В настоящей главе приводятся мнения Станислава Лема о наиболее известных мыслителях XX столетия. Список этих мыслителей ограничен теми, о взглядах которых планировалось издать отдельные книги в серии «Мыслители XX столетия» издательства «Книжный Дом»: это 50 философов (первая очередь), фамилии которых приведены на последней странице обложки настоящей книги, и еще 65 фамилий, которые сообщил автору Александр Грицанов как главный редактор серии и о взглядах которых также предполагалось издать книги (вторую очередь). Из этих 115 мыслителей Лем в своих работах упоминает 59 (51%). Несколько десятков мыслителей добавил автор: Венский кружок, Львовско-Варшавская школа, некоторые польские философы, известные футурологи, несколько выдающихся ученых, считающихся и философами.

Хотя **Фридрих Ницше** (1844-1900) несколько месяцев не дожил до XX века, но по разным соображениям его биография была включена редакцией в серию «Мыслители XX столетия», поэтому приведем также мнение Лема об этом немецком философе. Лем говорил: «Я его очень не люблю. Между жизнью Шопенгауэра и его концепцией существовало колоссальное противоречие, и хотя таковое наблюдается также у Ницше, но шопенгауэровское симпатично и забавно, в то время как ницшеанское оскорбляет меня и злит. Этот глашатай скандалов и сильной личности — если заглянуть в его сочинения — был в сущности мягким и неряшливым. Ведь он постоянно лишь делал вид — он вложил в свою доктрину все, чего не имел. Там много неприятного лицемерия. И, кроме того, “Так гово-

рил Заратустра” очень меня раздражало, когда я читал это в возрасте шестнадцати лет. (...) Когда что-то следует сказать с умеренностью, Ницше высказывает это с вагнеровским грохотом, которого я не переносу. И если однажды что-то вызвало во мне осознанную и решительную антипатию, позже ее трудно преодолеть» [16, с. 431].

О философии Ницше Лем достаточно подробно написал в «Философии случая» при обсуждении «Доктора Фаустуса» Томаса Манна, здесь же мы приведет только основные тезисы: «Вопрос о ницшеанстве не совсем прост. Во-первых, никакого “ницшеанства” нет, если мы хотели бы его увидеть в форме связно изложенной Ницше системы его взглядов, тем более с *explicite* выраженной общественной программой. Существуют только сочинения, разбитые на множество блестящих афоризмов, ярких по стилю, импонирующих типично литературными намеками, то есть имеющих прежде всего словесные достоинства. Любой афоризм бьет в глаза некоей частичной правдой, какой-то одной стороной многоаспектной проблемы всей силой пламенной напористой риторики, которая — в особенности под конец творческой карьеры Ницше — стала совсем безответственной. (...) Ницше (...) представлял собой некий особый промежуточный феномен между профессиональным писателем и философом. (...) Из всего того множества разрозненных замечаний, наблюдений, парадоксов, издевательств и всеопровергающих софизмов, которое оставил после себя Ницше, я взялся бы выделить две серии: одна дает нечто вроде фашистской программы, а другая этой программе полностью противоположна. Речь идет только об общем распределении акцентов, об апологетическом противопоставлении инстинктов, воли к жизни, воли к власти — познающему разуму, аристократизму и элитаризму, вообще всем программам, у которых в качестве знаменателя выступает мелиоризм, а в качестве числителя — эгалитаризм. Именно поэтому ретроспективно мы невольно ассоциируем оба типа программ, и Ницше оказывается предшественником — или даже создате-

лем — таких парадоксов и переоценок, на которые затем фашизм дал чудовищную, дьявольскую карикатуру. (...) Без Ницше чего-то не хватало бы в великой и часто диссонирующей симфонии течения человеческой мысли. (...) В мои намерения не входила ни недооценка, ни оправдание нищезанятия. То, что я не отношусь к его почитателям, к делу не относится. Речь была только о том, что выводить из него фашизм — приблизительно то же, что искать в Евангелии причины, которые привели к возникновению инквизиции» [13, с. 717-721]. И еще: «В диатрибах Ницше зло занимает (...) эксцентрическую позицию», т.е. зло является «средством для достижения цели, а не целью» [17, с. 143]. Кстати, в Германии «Голем XIV» Лема публикуется под названием «Так говорил Голем» — Also sprach Golem — «название придумал д-р Роттенштайнер, намекая на Ницше, и это было очень удачно» [131, с. 707-708].

Особым было отношение Лема к британскому философу **Бертрану Расселу** (1872-1970): «Бертран Рассел — один из тех немногих, кого я оцениваю очень высоко» [374, р. 102]; «Мне очень нравится Бертран Рассел своей скептической и трезвой позицией. Это — типично английское философское направление с флегматичной и аналитической основой» [374, р. 63]. Особо высоко Лем ценил монографию Рассела «История западной философии», которая была у Лема настольной книгой, которую он на протяжении своей жизни постоянно перечитывал («Для удовольствия фрагментами как Библию» [131, с. 127]; «Опять читаю на сон великолепную “Историю западной философии” Рассела» [131, с. 323]; «Последнее, что читал, — это Поппер, Рассел, опять его “История философии”, и ничего более» [131, с. 486]). И эту монографию Лем взял бы на необитаемый остров, если бы ему позволили взять только одну книгу: «Одну? Только одну? Наверняка это была бы очень толстая, мощная история философии. А говоря об истории философии, я имею в виду конкретную книгу: Бертрانا Рассела “Историю западной философии”. Вы сейчас, конечно, спросите

почему. Во-первых, потому, что это замечательная работа, а во-вторых, она написана человеком, который не скрывает своих симпатий и антипатий, который их ясно выражает, который доходит до того, что препируется даже с Платоном. Согласитесь, есть что-то забавное в препирательствах с философом, который умер двадцать веков назад, но эта интенсивность увлечения онтической, эпистемичной, а также моральной проблематикой мне в самом деле очень близка. Это для меня не мертвые буквы, а что-то близкое и органично живое. Зато, например, Аристотель оставляет меня совершенно равнодушным. Я никогда не мог ощутить этого человека. Мне никогда не удавалось нащупать его духовную эктоплазму в отличие от Платона, который был очень мудрым, но вместе с тем несимпатичным человеком» [16, с. 210]. Еще о своем отношении к этой книге Лем писал: «Очень люблю, потому что в ней [Рассел] уничтожает сукина сына Гегеля, которого я не переношу, этого надутого болвана, и других философов; это перво-классная работа, и поэтому нет ничего удивительного, что этой книгой Рассел разъярил многих философов, так как он философию трактует с юмором, что экспертов доводит до бешенства...» [131, s. 111]; «Одна из причин, почему мне так нравится Рассел, состоит в том, что ему хватило интеллектуальной и моральной целостности, чтобы назвать Гегеля — без обиняков — полным идиотом. Я полностью с ним соглашусь: Гегель — идиот, и те, кто прочитал его труды, оказали себе плохую услугу. Честность и простота мышления — вот то, что необходимо всем нам» [374, p. 66]; «Великолепна “История философии” Рассела, но только по-английски. (...). “История философии” Рассела великолепно читается еще и потому, что забавно написана» [128, s. 34]; «Тип рассуждений, который предложил Рассел в “Истории западной философии”, мне очень соответствует, потому что он не скрывает своих симпатий и антипатий. Если, например, труд Гуссерля он считает одним большим недоразумением, то в его книге вы не найдете ни слова, которое свидетельствовало бы о том, что

такой философ существовал. Историки философии, разумеется, сердятся за столь бесцеремонную трактовку философских школ, но я на его стороне. Если бы он преподавал в университете, возможно, не имел бы на это право, но в книге, пожалуй, можно себе позволить одних обсуждать с уважением, а других — иронично или ехидно. О Гегеле, например, Расселл сказал только — мне это, впрочем, очень соответствует, — что эта богатая система свидетельствует лишь о том, как много оригинальных и сложных выводов можно сделать, если принять неправильное или внутренне противоречивое предположение. Никто из философов никогда не мучил меня так, как именно Гегель, поэтому когда я писал о нем как о “невразумительном очковитрателе” и о том, что “явный дурень менее вреден, чем невразумительный, потому что невразумительные невежественны и таким образом смотрят вглубь”, тогда это действительно выражало мое фактическое убеждение. Гегель для меня ужасный путаник!» [16, с. 425]. При этом Лем и эту книгу тоже оценивал критически, соглашаясь не со всем там написанным: «Бертран Рассел в своей “Истории западной философии”, которую я высоко оцениваю за оригинальность и преднамеренный субъективизм взглядов (Гегеля он считал дураком), полагал, что материя — это то, что подчиняется законам теоретической физики, — взгляд, с которым нельзя согласиться просто потому, что именно в современной физике существуют альтернативные теории, а материя, поскольку существует (а я так думаю), — одна» [15, с. 12].

В своих работах и интервью Лем упоминает и цитирует и другие работы Рассела: «Я прочитал за свою жизнь тысячи книг, среди которых к чисто философским относятся только “История западной философии” и “Человеческое знание и его ограниченность” Бертрана Рассела, “Трактат о логике и философии” Витгенштейна и его “Философские заметки”» [172]; «Один аргумент против солипсизма, который я считаю особенно убедительным, восходит к великому Бертрану Расселу» [374, р. 60-61]; «Как сказал Рассел, реальность передается нам

тем способом, который доступен нашим органам чувств; все остальное — это результат наших гипотез и умозаключений» [374, р. 62]; «Математики прекрасно знают, что не знают, что делают. Весьма компетентное лицо, а именно Бертран Рассел, сказал: “Математика может быть определена как доктрина, в которой мы никогда не знаем, ни о чем говорим, ни того, верно ли то, что мы говорим”» [1, s. 278]; «Как удачно заметил Бертран Рассел, доказательство Беркли не вполне корректно, так как Филонус совершенно задавил Гиласа и не позволил ему привести ни одного принципиального аргумента против положения *esse est percipi* [быть — значит быть в восприятии (лат.)]. Одним словом, победа была дана одному из участников дискуссии “«до установления истины”» [16, с. 99]; «Рассел склоняется к концепции, что одним из мощнейших двигателей распространения христианства было обещание вечной жизни, а также утешение, что чем меньше везет кому-то здесь, тем больше ему будет везти Там» [16, с. 475].

В 1988 г. в Германии был издан сборник фантастических рассказов, в котором Лем выступил в качестве составителя и автора предисловия. О своем выборе Лем написал: «Если по-честному, я могу сказать лишь следующее: далеко обходя Гималаи бессмыслицы, называемой научной фантастикой, я собрал очень разноплановые произведения, более или менее “фантастические” (...), и в качестве критерия, которым я руководствовался, я могу назвать только один, который для меня не подлежит сомнению. Я выбрал то, что мне понравилось, по тем причинам, которые я не вполне мог бы объяснить. В качестве гарантии того, что это так и было на самом деле, должно быть достаточно моего честного слова» [191]. В сборник из 7 рассказов Лем включил 2 рассказа Рассела «Кошмар метафизика» и «Кошмар Сталина» (оба на русском языке не публиковались), а также рассказы Славомира Мрожека, Николая Лескова, Рэймонда Смаллиана, Кристофера Черняка и Хаймито фон Додерера. В предисловии Лем отметил, что «Бертран Рассел в конце своего долгого пути как философа в возрасте

более чем 80 лет обратился к беллетристике» [191], не случайно ведь ему в 1950 г. была присуждена Нобелевская премия по литературе.

Прочитал Лем и трехтомник воспоминаний Рассела: «Получил от своих западных издателей II том дневников Рассела, охватывающий 1914-1944 гг. Очень мрачная эта литература! Знаете ли вы, а я и понятия не имел, что уже будучи мировой знаменитостью и пребывая в 1938-1944 гг. в США он был подвергнут такому остракизму, что его из всех институтов выбрасывали как заразу, что не было на что жить, и если бы не благоприятное стечение обстоятельств, то черти знают, чем бы там все закончилось. А началось это с того, что какая-то дама пожаловалась в администрацию штата Нью-Йорк, что та пригласила в свой университет Рассела — известного вырожденца, безбожника, атеиста и т.д. И когда дело дошло до суда, Рассел не мог выступать на нем в качестве стороны по процессу, так как обвинен был штат Нью-Йорк, а не он. Администрация изо всех сил ХОТЕЛА проиграть этот процесс, чтобы, основываясь на приговоре, иметь возможность Рассела, с которым имела столько проблем, прогнать взащей, и это успешно удалось. В обвинении фигурировало, среди прочего, что Рассел был инициатором нудизма, порнографии, извращений, гомосексуализма и т.д., — и он не мог даже протестовать, кроме как писать письма в “NY Times”, но тогда в ответ получал письма разъяренных на атеиста христиан. Эта лавина привела к тому, что его везде избегали как прокаженного; и происходило это в первые годы II мировой войны. (Nb Рассел приводит много собственных писем и адресованных ему, а также третьих лиц, поэтому материал представлен достаточно объективно.) Это, обратите внимание, коснулось одного из первоклассных мыслителей Запада — в либеральных (!) США. (Nb до этого он отсидел в британской тюрьме за протест против участия Англии в I мировой войне, но это всем известно, это мелочи.) А чего могли ожидать люди меньшего покроя?» [133, 28.02.1974]; «Недавно читал третью часть

автобиографии Бертрана Рассела и был непередаваемо разочарован и опечален падением интеллектуального уровня этого великолепного старца, который на старость, ибо ему уже за 80, вбил себе в голову, что должен все силы приложить ради спасения человечества от атомного “холокоста”. Словно забыл о собственной мудрости теоретика, о том, что ТАК ничего не ускоришь, и тем более с целью “спасения человечества”. Возможно, уже вследствие старости был неспособен к интеллектуальному творчеству, и эта его бредовая деятельность — это уловка, увертка, бегство в “состояние активиста”, заслоняющая ему самосознание (автодиагноз), что наступила уже духовная смерть, опередившая на много лет смерть физическую? Во всяком случае, это я читал с грустью, замечая, как сжался этот великий ум в последней фазе жизни. (...) Уэллс тоже закончил немного подобно Расселу: посвятил свой писательский труд делу “усовершенствования” человечества, нравоучениям, наставлениям, проповедованиям, из чего никогда ничто конкретное УСТОЙЧИВОЕ не следует!» [132, 18.09.1976].

Также с большим уважением Лем относился и к австро-британскому философу **Карлу Попперу** (1902-1994), изучил все его основные работы и следил за его текущими публикациями: «На весь гонорар в Западном Берлине накопил себе книг, почти всего Поппера по-немецки, ибо он частично писал по-немецки, 3 тома Канетти (...), стопку футурологии, но больше ее критику, что-то из культурной антропологии, и сам уже не помню что еще...» [132, 26.05.1975]; «Читаю сейчас опять “Открытое общество и его враги” Поппера — если не читали, то советую — написано 25 лет назад, но как будто сегодня. Великолепно развенчал Платона, Маркса и Гегеля» [131, s. 440]; «Сейчас при чтении книги Поппера “Открытое общество и его враги” особое впечатление произвела на меня сокрушительная критика Платона и Гегеля, и удивительно здесь чрезвычайное подобие интеллектуальных предпочтений и вкусов моих и

этого парня, уже фактически старца (почти 80-летнего). У меня не было смелости, ибо не имею авторитета ни в науке, ни в истории философии, так же как он двумя руками подписываться под всем, что Шопенгауэр написал относительно Гегеля. Это потому очень важно, ибо служит доказательством, что никчемная контрлогическая писанина может получить стабильно высокое положение в культуре и в истории культуры, я имею в виду Гегеля (ибо с Платоном иначе: он был гениален, только стоял на “этически отвратительных позициях”). То есть мифом является существование независимых фильтров селекции и выбора качества (даже чисто интеллектуального) в истории» [131, s. 483-484].

Для третьего издания «Суммы технологии» Лем написал большое предисловие, в котором изложил свое понятие футурологии и ее классификацию, там же для аргументирования Лем многократно обращался к взглядам Поппера, соглашаясь с его антипрогностической позицией («Я полностью согласен с Поппером, который утверждал, что будущие события предвидеть нельзя. Можно весьма туманно предсказать, какое будет перепутье, но нельзя сказать, на какую дорогу падет выбор» [16, с. 417]): «Этот философ истолковал опровержение предсказуемости истории в “Нищете историцизма”. Он допускает только медленное, пошаговое улучшение социальных положений. Будущее, согласно ему, неразлично, поэтому оно представляет изменение, преобразующее и данное состояние вещей, и законы, которые им управляют. Суть взглядов Поппера представляет тезис, помещенный в другой книге, а именно в “Постскриптуме к «Логике научного открытия»”, гласящий, что «если существует нечто такое, как растущее человеческое знание, то мы не можем предвосхитить сегодня то, что узнаем только завтра». Поппер привел логичный довод невозможности предсказания произвольным предсказателем собственных будущих состояний. В вольной трактовке вопрос этот выглядит так: будущее сильно зависит от дальнейших достижений науки, а их не предскажешь наверняка, потому что если бы

прогноз будущего открытия был верным, то тем самым он был бы точным, а если бы он был таким точным, то открытие произошло бы не в будущем, а здесь и сейчас. Открытие всегда является подтверждением связи заслуживающих доверия параметров (например, массы, скорости, расстояния). Кан утверждал, будто бы ему удалось предсказать открытие лазера. De facto он выполнил разновидность экстраполяции из уже совершенных открытий (из сообщений, касающихся лазера). Это не был прогноз чего-то, что даже зачаточно не существовало, а естественное продолжение направления, которое уже обозначилось, и столь явно, что можно было его квантифицировать на небольшую дистанцию вперед. Просто Кан опубликовал в печати то, что физики уже обсуждали в разговорах. (...) Прогнозирование науки в ее теориях было бы тождественно приданию нашему познанию характера безошибочности — что, вне всякого сомнения, недостижимо. Здесь надо признать правоту Поппера. Выходом из тупика кажется мысль, сегодня утопическая, об установлении связи с высокоразвитыми цивилизациями космоса. От них мы, несомненно, смогли бы получить сведения о будущей науке. Но и тогда правота осталась бы на стороне Поппера, потому что получить такие сведения, это ведь не значит — самому их предсказать» [80]. Правда, Лем был не столь категоричен, как Поппер: «По Попперу не только ход истории непредсказуем, но также и ход естественной эволюции. Однако это не является — заметим — непредсказуемостью полной. Механизм эволюции мы приблизительно знаем. Она играет с Природой, а ставка в этой игре — выживание организмов в зависимости от качества наследственного кода. Природа делает судьбоносные шаги (горообразованием, изменениями климата, вторжением в биосферу твердых космических излучений и т.д.), а поскольку оптимальной тактикой выживания также может быть только судьбоносная, именно ее, нацеленную на механизм наследственной изменчивости, практикуют организмы. Эволюция движется тогда словно путник посреди бездорожья, который очередные про-

межуточные решения принимает на основе брошенных костей. *Prima facie* кажется, что направление движения такого путника непредсказуемо, но это не так. Случайным является также перемещение частиц в броуновском движении, бомбардируемых молекулярным хаосом жидкого тела, в котором они плавают, но, однако, можно установить рамки поведения каждой такой частицы, т.е. определить предельные вероятности ее локализации после определенного отрезка времени. Здесь появляется лучик надежды. Эволюция движется иначе, чем броуновская взвесь, не блуждает без определенного направления, а выявляет градиент растущей во времени сложности — как самих организмов, так и отношений между организмами и между видами. Создает его не некое стремление к усложнению или “тенденция к прогрессу”. Как игрок, в ходе состязаний приобретающий все большую сноровку, тем самым вызывающий среди партнеров соперничество, а неспособные к нему вынуждены выходить из игры, так и, согласно закону больших чисел, какие-то организмы вынуждены совершенствовать свою стратегию выживания, следовательно и другие, зависимые от них (такие, что питаются ими или служат им в качестве корма), также подвергаются селекционному отбору. Таким образом, коррелятом такого соперничества является именно растущая сложность организмов и их взаимоотношений. (Паразитизм является, в некоторой степени, обратным процессом, «стремлением к упрощению», и соответствует тактике обмана в игре; но как не могут все игроки получать прибыль из взаимного обмана, так не могут все организмы паразитировать: обман предполагает одновременную лояльность параметров, а паразитизм — соперничество в прогрессе.) (...) Природа является собранием наглядных экспонатов, более того, сокровищницей, полной доказательств конструируемости необычных вещей на небе и на земле, к которым мы сами принадлежим. Каждое такое доказательство представляет для нас вызов как гарантию наших осуществлений, которые остаются нереализованными. Нельзя утверждать, что там, где нет доказатель-

ства конструируемости, нет ни шансов для начинания, ни указателей направлений деятельности. В умениях Природы, притягивающих наши усилия и тем самым ориентирующих наше движение в будущее, я вижу аргумент против тотального антипрогнозизма Поппера» [80]. Об этом же писал Лем в предисловии к немецкому изданию «Суммы технологии»: «Правильно то, что ни в истории, ни в эволюции нельзя с достоверностью или точностью узнать что-либо о будущем. Но это не означает, что нельзя узнать или угадать вообще ничего. Даже если речь идет о случайной игре, то все же можно то тут, то там исследовать возможности развития. В прогнозе эти возможности никогда не станут достоверными. Они неизбежно остаются возможностями с неопределенной вероятностью осуществления. Распознать очертания далеких возможностей — это все же больше, чем ничего» [91].

Лем соглашался с Поппером в части способов совершенствования человеческого общества: «Я никогда не был членом какой-либо политической партии. Я придерживаюсь либерального направления, нахожусь на стороне Поппера в его анти-историзме и полагаю, что нет других способов совершенствовать человеческое существование, кроме выполнения небольших шагов. Все другие методы могут принести только много страданий. (...) Я, например, не разделяю веру мелиористов, что человечество постоянно может улучшаться и становиться более благородным, и я не верю в утопическую концепцию марксизма или коммунизма, что возможно социальное государство с совершенным всеобщим счастьем и благосостоянием. Частично, по крайней мере, я разделяю взгляды Карла Поппера об открытом обществе и его критику историзма. Выполнением маленьких шагов вы можете улучшить то и это, но человек никогда не сможет преодолеть себя, вылезть из собственной кожи, стать ангельским существом» [110]; «Характерно, что скромные доктрины для широких масс мало-привлекательны (ибо мало обещают), но зато, без сомнения, они менее опасны. Поэтому нет ни одной партии Попперистов,

но зато есть множество других. Карл Поппер просто говорит, что можно выполнять только мелкие усовершенствования социальных организмов. И, разумеется, нет партии “усовершенствователей мелочей»» [16, с. 426-427].

На теорию Поппера Лем ссыался, рассуждая о «выращивании информации» («Мы уже знаем, благодаря Попперу, что теорию можно опровергнуть при столкновении с перечеркивающим ее экспериментом, но ее нельзя утвердить (верифицировать) так, чтобы она осталась для нас неизменной, безупречной и “вечной” правдой. Поэтому и после “выращивания познавательной информации” нельзя будет, как я предполагаю, ожидать какой-то абсолютно точной безупречности» [15, с. 262]), об «экспериментальной философии» («У этого выражения есть привкус оксюморона, потому что философия “не знает границ”, то есть она заканчивается не там, где начинается поставленная Карлом Поппером стена экспериментальной фальсификации. Философия выходит за рамки неустойчивости опытов (эмпирических, не ментальных), и это идет в различных направлениях, будь то онтология, наука о бытии (существовании) или эпистемология (наука об источниках правомочности познания)» [15, с. 273]), обосновывая свой тезис, что «не следует моделировать культуру» [15, с. 331].

О стиле философствования Поппера Лем писал: «В том, что пишет Поппер, много смысла, но, с другой стороны, он слишком напоминает школьного учителя, который, грозя пальцем из-за кафедры, объявляет вещь такой-то и такой-то. И, рискуя быть притянутым за ухо и выдворенным из классной комнаты, нельзя не согласиться с ним» [374, р. 64]; «Просмотрев “Интеллектуальную автобиографию” К. Поппера (“Неутомимые поиски”), я погрузился, так как английскую версию читал более десяти лет назад и сейчас убедился, как много уже анахронизмов в творчестве Поппера. Частично они касаются логических отношений (эпистема в физике, например, претерпевает неизлечимые антиномии, “ибо таков локально-нелокальный мир”), частично его концепции “трех

миров” с признанием метафизического статуса дарвиновской эволюции» [17, с. 703].

Отметил Лем и следующее: «92-летний философ Поппер сказал (...), что есть войны, которые следует вести для спасения мира. Я с ним полностью согласен» [159] — по этому вопросу Лем соглашается с Поппером, но не соглашается с Иоанном Павлом II: «Я был удивлен, когда узнал, что он [Папа Римский] выступал также против войны старшего Буша за освобождение Кувейта — словно считал, что любая война это поражение человечества» [258, Т. 31, с. 204].

Учитывая особое отношение к Расселу и Попперу, Лему было приятно сравнение с ними, поэтому он с удовлетворением отметил: «Из изданной недавно в Германии философской энциклопедии «Grosses Werklexikon der Philosophie» я узнал, что являюсь философом аналитического покроя, в своих высказываниях приближенным к таким мыслителям, как Поппер, Рассел и в некоторой степени Шопенгауэр» [227].

«Взбунтовавшимся учеником Поппера» [204, с. 258] был австро-американский философ, методолог науки **Пауль Фейерабенд** (1924-1994), с работами которого Лем также был хорошо знаком: «Фальсифицируемость — полезное понятие, да и сам Поппер был проницательным мыслителем. Но затем из тени мастера вышел студент, Пол Фейерабенд, отступник и еретик всей школы Поппера. Я даже вступил в полемику с Фейерабендом на страницах одного немецкого журнала. Правда, воздержался от излишних оскорблений в его адрес, хотя он действительно их заслуживал. Поводом послужило его заявление, что научная индукция и остальные научные методы не обязательно приводят к истине, и что все методы, дающие контролепригодный результат, одинаково хороши. По существу, я не против того, что он говорил, но я обязан был высказаться, когда он зашел слишком далеко, предлагая в качестве теории познания своего рода анархический дадаизм» [374, р. 63]. В письме Лему, при публикации озаглавленному как

«Немного пищи для размышления специально для господина Станислава Лема», об этой полемике Фейерабенд писал: «Дорогой господин Лем! Несколько месяцев назад мы письменно оскорбляли друг друга (...). Я сказал, что вам не помешало бы немного фантазии и легкомыслия, вы же выставили меня в качестве обладателя неприятного сочетания высокомерия и невежества. Это было не очень захватывающе, и души Ульриха фон Гуттена, Лютера, Ницше, не забудем и о Карле Краузе, наверняка с сострадательной насмешкой смотрели сверху вниз на этот жалкий спектакль» [314].

Тогда же Лем полемизировал с Фейерабендом и по вопросу поведения населения, осознающего неизбежность массовой смерти. Лем отмечал сходство в поведении людей, беспомощных в условиях массового убийства. Фейерабенд, не соглашаясь с Лемом, ссылаясь на разнообразную реакцию людей на объявление предстоящего скорого конца света. Лем же исходил из личного опыта: «Летом 1942-го я часто посещал Львовское гетто. Его жители уже знали, что им предстояла смерть. Последние иллюзии улетучились после того, как из лагеря смерти Бельцек вернулся пожилой еврей и смог очень подробно описать используемые там технологические средства. И я в то время говорил с этим человеком. Хотя я не был квалифицированным этнологом, я мог наблюдать поведение евреев в гетто непосредственно перед массовой смертной казнью (а в ту осень было убито примерно 180 000 — больше, чем в Хиросиме). Мои наблюдения могут быть бессмысленными для Фейерабенда. Тем не менее речь шла о почти двухстах тысячах людей. Итак, я наблюдал довольно скромное многообразие реакций. Убийц-садистов Фейерабенда, которые хотя бы еще быстро перебесятся перед смертью, в гетто не было... Также не было установлено коитального, ориентированного на оргазм поведения. Евреи не интересовались интенсивным половым сношением, зачатием, но интересовались уже порожденными ими детьми, а именно: они хотели их спасти. Большинство людей было в отчаянии, были довольно баналь-

ного, скучного вида. Таким образом, спектр поведения был не таким пестрым, не таким разнообразным, как у Фейерабенда, например в его средние века. Почему? Вероятно, у господина Фейерабенда по этому поводу будет снова одна из его оригинальных точек зрения. Мое мнение совсем банально. В средние века ожидали страшного суда. Человечество должно было отправиться в ад из-за своих грехов. Но никто не знал как. Вследствие этого эсхатологическое мышление пошло в гору и могло хорошо развиваться. Во Львове, напротив, точно знали, как и где, только не знали, когда. Из-за этого все было таким однообразным. Я удивляюсь тому, что Фейерабенд ищет примеры предстоящего массового убийства где-то в средних веках или в японских фильмах, когда он ведь мог найти при своей жизни... лежащее ближе... Холокост должен относиться к классике геноцида... Конечно, я не чувствую себя лично оскорбленным, но когда немец довоенного поколения говорит о массовом убийстве и Освенциме шутя, это уже обвинение. В этой теме я не нахожу никакого легкомыслия» [123]. В этой полемике Фейерабенд написал, что у Лема недостаточно воображения для понимания реальности, на что Лем ответил: «Уничижительное суждение о моем воображении я должен принять. Я сам часто бываю смущен и недоволен своим воображением. Здесь Фейерабенд прав, его воображение гораздо богаче, но я думаю, что он часто использует это богатство не по назначению. (...) Г-н Пауль Фейерабенд слишком упрощенно представляет эпистемологическую жизнь, взяв слишком много дадаизма для своих рассуждений» [107]. Здесь же они немного порассуждали о квантовой теории. Например, на мнение Фейерабенда о том, что в квантовой теории законы сохранения строго справедливы, Лем заметил: «Фейерабенд немного ошибается. В квантовой теории законы сохранения строго справедливы только в измеряемой области. Иначе не было бы никаких виртуальных частиц, и вакуум будет “действительно” пуст» [107].

Лем удивлялся карьере, которую сделал Фейерабенд как философ: «Прославился тем, что смешал учителя с грязью, исказил его теорию познания, а своих критиков обзывал обидными прозвищами. Вместо того, чтобы игнорировать его как гегелисты Шопенгауэра, философы берут диатрибы Фейерабенда дрожащими от благоговения руками и полемизируют с ним на фоне реверансов и поклонов. Если бы этот Фейерабенд не сказал ничего осмысленного, было бы полбеды. Тотальное непонимание тотально отвергает всякую критику. (...) Фейерабенд представляет образ философа, зарезающего со смехом философию науки. (...) Стать известным философом за счет того, что допускать рассыпание философии и стать анархистом и дадаистом — не это ли Конец Мира?» [104]; «Я вообще считаю, что наступила некая стадия упадка, если приходит Пауль Фейерабенд и говорит, что все индукции и дедукции — это одна большая чепуха, что ни о каких точных методах нет и речи, что anything goes и все методы хороши. Он установил (а это и так было известно раньше), что эффективно познавая мир, мы сами не знаем, как это делаем. Поэтому если мы получаем прирост реального знания, то все пути исследований хороши — не важно, противоречат ли они друг другу или основаны на индукции или на чем-то другом. Я это, разумеется, страшно упрощаю, но сам Фейерабенд назвал это анархизацией философии. Речь идет совсем не о том, чтобы выстроить систему, ибо это подобно детской игре в кубики. Зачем нам система? Лучше, чтобы то, что мы говорим, соответствовало тому, чего человек достигает на самом деле. Философы должны были поклониться ему с уважением, а потом Фейерабенд их всех вместе со своим учителем Поппером, которого он обругал, выбросит за борт. Вы смеетесь, но я не сильно преувеличиваю» [16, с. 436].

Особо следует упомянуть небольшой литературно-философский шедевр — главу «В пути» из романа «Осмотр на месте» [9, с. 267-293], где главный герой Ийон Тихий коротает время долгого космического полета в беседах с великими мыс-

лителями. Конечно, не с ними самими, а с их компьютерными моделями, в которых моделируемые «экстрагируются из собраний их сочинений, а это имеет тот результат, что воскресенцы говорят не так, как говорили при жизни, но так, как писали: то есть, скажем, поэты — только стихами» [9, с. 273-274]. И в этом романе на двух десятках страниц представлена беседа на философские темы Бертрана Рассела, Карла Поппера, Пауля Фейерабенда, в которой они отстаивают свои взгляды, спорят, приводят мнения других (Куайна, Эйнштейна), критикуют третьих (Гегеля, Дьюи, Витгенштейна), а затем к ним присоединяется Уильям Шекспир. При этом Лем как бы далее развивает идеи этих философов, говорит за них то, что, возможно, следовало из их работ, но не было ими самими явно произнесено («Только за гробом можно позволить себе говорить все, что думаешь, начистоту» [9, с. 276]), вкладывает свои идеи в уста беседующих и спорящих. Например, так модель Рассела характеризует собеседников: «Господин Фейерабэнд — умеренный анархический экстремист в теории познания, я — неимперативный антиинтуитивный категориалист аналитического стиля, наконец, лорд Поппер — автор нескольких любопытных концепций, а так вообще — несинкатегорематический разогреватель онтологически нейтрализованных зразов в соусе из *Circulus Vindobonensis* [Венский кружок (лат.)]. Из Кружка, в котором Витгенштейн сиял, сиял и, наконец, перестал. А Кружок с тех пор висит себе на колышке» [9, с. 281]. Подобно этому в «Звездных дневниках» (в рассказе «Путешествие двадцать пятое» [9, с. 297-313]) философы разных школ (физикалисты, семантики, неопозитивисты, томисты, неокантианцы, холисты, плюралисты, бихевиористы, сторонники Рассела и Рейхенбаха) высказывали мнения по одной и той же теме, каждый по своему пытался объяснить происходящее, но в «действительности» все оказалось совершенно иначе.

Говоря в целом о философах XX века, Станислав Лем отмечал, что «в исторических исследованиях философии науки

вырисовывается одна четкая модель: чем более недавним является рассматриваемый период, тем очевиднее становится, что философам приходилось менять свои взгляды в зависимости от открытых науками фактических данных» [374, р. 101-102]. И это Лем рассматривал как нормальный естественный процесс и поэтому очень негативно относился к немецким философам **Эдмунду Гуссерлю** (1859-1938) и **Мартину Хайдеггеру** (1889-1976), ибо они относились к тем ветвям «философии — здесь феноменология может служить хорошим примером — сюда можно отнести Гуссерля, Хайдеггера, Дерриду, Лиотара и им подобных, — которые прогрессивно дистанцировали себя непосредственно от научных знаний, отказавшись в целом от обращения к экспериментальным тестам и гипотезам, на которые опирается наука. Эта тенденция имела любопытное следствие в том факте, что и Гуссерль, и Хайдеггер написали только первые тома своих основных системных работ. Следуя эволюции своих размышлений, они просто не смогли больше писать последовательные тома в духе первого» [374, р. 102]. «Гуссерли, Хайдеггеры и им подобные пишут только “первые тома” своих “главных трудов”, а потом либо умолкают, либо (как Хайдеггер) “остроту” формулировок переводят частично (или даже не частично) в неологическо-поэтическую плоскость (метафорическую поэтичность позднего Хайдеггера не я выдумал или обнаружил). И как разные виды поэзии в разной степени поддаются переводу на другие языки, так и разные методы философствования в разной степени возможно представить в иных языках. “Греческость” как основа размышлений Хайдеггера была, скорее всего, его личной манией. Поэтому Фариас польстил Хайдеггеру, отказываясь от перевода его работ, утверждая, что только читая мудреца по-немецки можно его по-настоящему понять... Однако между поэзией и онтологией должно быть какое-то различие, какой-то хиатус» [178, с. 158]. Отмечая сложность языка немецких философов, Лем писал: «И здесь есть крайние случаи, как Хайдеггер, перевод которого представляет собой высшую языковую акробати-

ку, и поэтому по-настоящему его можно понять, читая в оригинале, но удовольствие от этого небольшое» [189, s. 150], «ведь он писал своим чужаковатым стихом» [17, с. 697]. «При этом возникают некоторые софизматические претенциозности таких авторов, как Хайдеггер, который считал свою философию простым (почти) продолжением древнегреческой. Его язык так “переметафоризирован”, что недостаток имеющихся метафор в германизмах склонял Хайдеггера к созданию неологизмов, лучше всего понимаемых немецкоязычными особами; из-за этого были проблемы с переводом Хайдеггера» [15, с. 163]. И Лем, отлично знающий немецкий язык, писал: «Я, например (...), не понимаю многих фраз в текстах Хайдеггера или Гуссерля, они для меня ничего не значат» [1, с. 245] (правда, писал Лем это совершенно по другому поводу — рассуждая о сложностях машинного перевода).

О сути своих разногласий с указанными немецкими философами и их последователями Лем говорил: «Мои предположения диаметрально отличны от позиции типичных философов, особенно из школы Канта — Гуссерля — Хайдеггера, так как они сильно принижают фигуру человека как существа познающего. Я полагаю, что мы являемся животным видом, который, путем сложных эволюционных процессов, оказался наделен мозгом, предназначенным для эффективной переработки информации. Но также *homo sapiens est primus inter pares* [человек разумный есть первый среди равных (лат.)], то есть вместе с другими видами он ограничен стартовыми и пограничными условиями, которые установлены окружающей средой и естественным процессом. По этой причине мнение, что человеческий разум имеет что-то общее с Абсолютом или представляет собой образец «разума вообще», следует трактовать как беспочвенные притязания. Ведь другой вид может превысить наш уровень — это может быть даже вид разумных машин, которые мы сами создадим. Мы вовсе не являемся непреодолимым потолком. Я испытываю большое недоверие к абсолютизации информационного знания, которое можно

вывести из ткани языка. Обратите, пожалуйста, внимание, с какой торжественностью люди типа Гуссерля или Хайдеггера доверяются языку и ломают себе голову над ним, считая, что оттуда можно извлечь разные истины, выходящие за рамки полученного до сих пор знания эмпирической природы. Я совершенно так не считаю. Язык является всего лишь четкой, проверенной людьми на практике и загруженной значениями коммуникативно-сигнализационной системой. (...) Убеждение, что углубившись в язык можно получить более полный доступ в *natura rerum* [природа вещей (лат.)], — это заблуждение. Моя позиция очень далека от позиции пророка, Нострадамуса или Хайдеггера. Я всегда был противником философии *par excellence* [преимущественно (лат.)] языковой, которая предполагает, что через исследование языка мы в состоянии определить бог знает что» [16, с. 418-419]. И далее: «Я отдаю себе отчет в неслышанной утонченности, необыкновенной деликатности и в разных замечательных идеях, которые высказывали и один [Гуссерль], и второй [Хайдеггер], впрочем, каждый по-своему. Я знаю также, что перечислять их на одном дыхании предосудительно, но чтобы это сделать добросовестно, мы должны были бы проболтать до конца света. Так или иначе, их позиция всегда казалась мне своего рода ужасным ограничением. Это как древняя башня из слоновой кости, в которой они закрылись вместе со своими верными учениками и духовными преемниками и теперь сидят там и долбят, в то время как мир не хочет останавливаться и идет дальше. И что самое худшее, идет в абсолютно другую сторону» [16, с. 436-437]. Подобные рассуждения Лем вложил в уста суперкомпьютера Голема XIV в его лекции «О человеке трояко»: «Философы направления Канта — Гуссерля — Хайдеггера считали себя не антропоцентристами, но универсалистами, предполагая, явно или неявно, что нет иного разума, кроме человеческого, а если и есть, он должен во всем совпадать с человеческим» [2, с. 376].

Критиковал Лем положения немецких философов и относительно теории литературы: «Чисто филологические размыш-

ления на основе идей Гуссерля — Хайдеггера не объясняют в достаточной степени исключительную оригинальность произведения» [128, s. 79]; «Вся интенциональная концепция значения, с такими усилиями выработанная Гуссерлем и с таким благоговением воспринятая от него феноменологической теорией литературы, расходится (в том, что касается семантики) с реальным состоянием дел. Оно формируется массово-статистическими процессами, которые невозможно редуцировать к какому-либо совершаемому отдельным индивидуумом действию» [13, с. 299].

Об особенности философии Хайдеггера Лем говорил: «Он занимался бытием человека, обреченным на существование, но занимался этой проблематикой в чисто языковом плане. Вместе со своими интеллектуальными преемниками он заложил пробный камень полного доверия языку. Они полагают, что некоторые вещи язык объясняет до конца, и, кроме того, указывает конечные границы, к которым вообще может прийти познающее существо. Это попросту неправда. То, что мы до сих пор узнали о языке, склоняет нас, прежде всего, к мысли, что он партикулярным способом подходит для четкой взаимной коммуникации людей в пределах их экологической ниши, каковой может быть: некая малая планета, определенная социальная система, определенные климатические условия, данный исторический период и так далее. В таких рамках артикуляции при сохранении своей лексикографической формы с течением времени теряют старые значения и приобретают новые. Достаточно, чтобы возникла новая конситуация, новые исторические и культурные контексты. (...) Человек, который философствует по образцу Хайдеггера, кроме апеллирования к нашим чувствам и нашему пониманию языка ничего не может нам представить. (...) В философии хайдеггеровского типа нежелание делать это проявляется наиболее отчетливо, а еще больше этого нежелания у ее бедной родственницы — лингвистической философии, которой так настойчиво занимаются англичане. Она даже не стремится к тому, что хотел Хайдеггер,

который рассматривал язык и особенно артикуляцию, чтобы понять, как в действительности обстоит дело с человеком, а ограничивается исследованиями синтаксической и семантической структуры предложений. О мире здесь уже ничего не говорится. Мир старой философии исчезает. Они говорят так: опираясь на язык, который будем изучать, мы будем определять, на какого рода философствование способен человек. Для меня это схоластика» [16, с. 433-436]; «Вопрос Хайдеггера: “Почему существует что-то, если этого совсем не может быть?” всегда очень удивлял меня, потому что, конечно: если бы этого никогда не было, то не было бы и Хайдеггера, и он не задал бы этот вопрос; итак, мы попадаем в заколдованный круг, и этот заколдованный круг имеет для меня очень банальный, пресный вкус» [172]. При этом Лем отмечал, что «Герменевтика — особенно Хайдеггера — абсолютизирует язык, одновременно (верно) подчеркивая, что то, ЧТО язык создает, то, ЧЕМ он в своих смыслах ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ и направляется через высказывания, происходит ВНЕ сознания» [15, с. 277].

Досталось Хайдеггеру от Лема за то, что он «реально поддерживал национал-социалистическое движение и видел в нем некую осмысленную альтернативу для нашей цивилизации» [189, с. 134]. В «Провокации» — рецензии на вымышленный двухтомник о природе зла вымышленного автора Асперникуса — автор (Асперникус, а значит — Лем) упрекает Хайдеггера «не в принадлежности к нацистской партии, из которой он вскоре вышел; в тридцатые годы — и это Асперникус считает смягчающим обстоятельством — кровавое будущее нацизма было не так уж легко угадать. Ошибки простительны, если они ведут к отказу от ошибочных взглядов и к поступкам, которые отсюда следуют. Автор называет себя в этом отношении минималистом. Он не утверждает, что Хайдеггер или кто-то другой в его положении обязан был выступить в защиту преследуемых, а иначе, мол, он заслуживает осуждения за недостаток мужества: не каждый рождается героем. Дело, однако, в том, что Хайдеггер был философом. А

тот, кто занимается природой человеческого бытия, не может молча пройти мимо преступлений нацизма. Если бы Хайдеггер счел, что они относятся к “низшему” уровню бытия, то есть носят чисто уголовный характер, выделяющийся единственно степенью, в которую их возвела мощь государства, и заниматься ими ему не пристало по тем же самым причинам, по каким философия не исследует уголовные убийства, ибо ее предмет далек от предмета криминалистики, — если, повторяем, Хайдеггер счел именно так, он либо слепец, либо обманщик. Тот, кто не видит внекриминального значения преступлений нацизма, умственно слеп, то есть глуп; а какой из глупца философ, хотя бы он мог даже волос расщепить натрое? Если же он молчит, чтобы не говорить правды, он изменяет своему призванию. В обоих случаях он оказывается пособником преступления — разумеется, не в замысле и выполнении, такое обвинение было бы клеветой. Пособником он становится как попуститель, пренебрежительно отмахиваясь от преступления, объявляя его несущественным, отводя ему — если вообще отводя — место где-то в самом низу иерархии бытия» [2, с. 447-448]. «Гитлеризм по своей сути изначально был абсолютной ложью, и попытка вознесения его над этой дурацкой ложью, которую предпринял, например, Хайдеггер, должна была для возносившего плохо кончиться, так как этот пангерманский миф был предназначен для очень средних, если не глуповатых людей» [178, s. 278]. Но при этом Лем подчеркивал: «Считаю самой большой ошибкой Хайдеггера не его остро критикуемую после Второй мировой войны принадлежность (а также близость его философии) к нацистской партии, а то, что он был философом, ненавидящим технологическое направление развития нашей цивилизации и представляющим себе, что возврат к дотехнологической культуре — это реально возможный путь развития. (...) С той минуты, когда много миллионов лет назад возникли *Australopithecus*, *Homo robustus* и вскоре — *Homo habilis* на юге Африки, уже тогда в ходе медленной, исторически последовательной акселерации всей своей

биологией они были обречены на изобретение технологии (начиная с эолита и палеолита), поскольку вместе с освобождением верхних конечностей от применения их в качестве опоры при ходьбе, а мозга — от типичных способностей, необходимых животным для выживания, в те времена другого пути (кроме вымирания вида) уже не было» [15, с. 90].

Лем был хорошо знаком с работами Хайдеггера: «У меня есть целая “хайдеггеровская” полка в твердом переплете, ибо по своей природе я любопытен, а как только делается столько шума вокруг какой-нибудь философии, то у меня появляется искушение это прочитать. Кроме этого когда-то ксендз Тишнер эти труды переводил и комментировал. К счастью, сейчас уже не имеет на это времени. Но когда имел, то я очень удивлялся, потому что знал, что этот Хайдеггер не был хорошим человеком, например в противоположность Ясперсу. Поэтому — зачем им заниматься?» [169]. Как видно из последней цитаты — знал Лем и творчество немецкого философа-трансценденталиста **Карла Ясперса** (1883-1969), более того — советовал своему другу писателю Славомиру Мрожеку прочитать его труды (впрочем, вместе с трудами других упомянутых выше философов): «Из твоих писем делаю вывод, что для тебя наступило время чтения философов, а именно Ясперса, Хайдеггера, Гуссерля, Кьеркегора, а Сартра не надо, слишком сильно тебя раздражит. (...) И еще читай моего любимого Шопенгауэра» [130, s. 531].

Одно из своих интервью Лем завершил словами, что в наше время в основном нужно читать научные труды и при этом «следует избегать французских философов» [223], имея в виду главным образом **Жака Лакана** (1901-1981), **Мориса Мерло-Понти** (1908-1961), **Жана Франсуа Лиотара** (1924-1998), **Жиля Делёза** (1925-1995), **Мишеля Фуко** (1926-1984), **Жана Бодрийяра** (1929-2007), **Жака Дерриду** (1930-2004), а также их последователей и единомышленников американ-

ских философов **Поля де Мана** (1919-1983) и **Ричарда Рорти** (1931-2007).

Лем писал и говорил: «Наступает космополитическое болото, особо заметное, к сожалению, в философии: Хайдеггер, Бодрийяр, Фуко, Деррида» [223]; «Действительность расходится с тем, что хотят сказать ныне живущие мудрецы. Особо не мила мне группа французских философов; не говоря уже о Дерриде, который является моим *bête noire* [предмет ненависти (фр.)], но и Бодрийяр или даже Фуко в области рассуждений о будущем человеческого вида ужасно ошибаются: занимаются какими-то маргиналиями, которые раздувают до размеров стратосферных шаров» [242]; «Труды всей этой школы под знаком Дерриды и Лакана я знаю, хотя вразбивку. И скажу вам, что я в это не верю! Не верю! Некоторое время назад американские суперученые дамы наводнили «*Science Fiction Studies*» критическими рецензиями на мой «Насморк», который рассматривался именно через окуляры микроскопов Лакана и Дерриды. Скажу кратко: для меня это было мало читабельно» [16, с. 654]; «Две ученые дамы писали обо мне много, широко и, собственно говоря, по-научному, (...) они проявили превосходную начитанность в этой, якобы философской, литературе, которая достигла столь больших высот в Штатах, то есть они прикладывали мои тексты к различным лаканам, фуко, даже затронули Дерриду и последователей таких знаменитостей. Поскольку я считаю доказательства Лакана псевдонаучной болтовней, или так называемой чрезмерной компликаторикой (хотя очень модной), то и похвалы, которыми я был отмечен по-американски, показались мне мало полезными» [17, с. 635]; «Труды последователей Лакана и Дерриды кажутся мне не вполне внятными и напоминают идеологию, облеченную в талмудическую форму и перемежающуюся с казуистикой» [249]. Лем отмечал, что популярность Лакана и Дерриды — это «триумф путаницы» [163], что «существующие сегодня такие понятия как Лакан, Деррида... — это психопатия» [401, s. 10]. О своей домашней библиотеке Лем

однажды написал: «Я имею особую полку для еще непрочитанных книжных новинок (...) во главе с Дерридой, постмодернизмом и многими Лаканами и всякими Фуко, да будут прокляты их имена, ибо не понимая их, не наберусь смелости спустить их в унитаз. Балласт страшный, хотя гуманистически заостренными герменевтиками особо почитаемый и без сдержанности и следа понимания широко цитируемый» [160]. В одном из интервью на вопрос: «Есть ли люди, близкие Вам эмоционально, разделяете ли Вы их взгляды?» — Лем ответил: «Это сложный вопрос. Мне проще сказать, чего я не люблю. Я не люблю Хайдеггера, Лиотара» [171].

Лем не соглашался с «известным утверждением французского философа Мориса Мерло-Понти, создателя экзистенциально доказываемой антропологии, который, поставив вопрос, какие темы остались предметом философии после продолжающейся целый век революции в науке и ее огромных успехов, ответил: “Те же, что и прежде”» [137]. Ибо, по мнению Лема, «эта империя философии распалась из-за вторжения науки, поэтому философы не могут больше выступать в качестве независимых творцов картины мира» [254]. «Важно помнить, что те среди них, кто настаивает на поддержании своей “независимости” от науки, зачастую не в состоянии понять (как, например, Деррида), что никакая школа философии не сможет опровергнуть Гёделя и следствия его знаменитых доказательств» [374, р. 102]. Об этом Лем также писал: «Вероятно, причина наибольшего в современности недоразумения, которое породило как английскую лингвистическую философию, так и явно отличную от нее феноменологическую философию вместе с поздними ответвлениями этой философии (Хайдеггер, Деррида, де Ман, Лиотар et alii), была скрыта от понимания этих мыслителей; я имею в виду известный закон Гёделя» [15, с. 157].

В качестве примера того, что «для нас наступили времена не только этического хаоса», Лем приводит книгу «Анти-Эдип» Делёза и Гуаттари (Deleuze G., Guattari F., *«L'Anti-Oedipe»*). —

Paris: Les Editions de Minuit, 1972; русск.: Делёз Ж., Гуаттари Ф., Капитализм и шизофрения. Анти-Эдип. — М.: ИНИОН, 1990), в которой «двое ученых мужей — один известный философ, а другой — психолог» — «разрушили Фрейда», ибо здесь «Вельзевула психоанализа подменяет дьявол психоза» и «шизофрения отождествляется с капитализмом, а параноя — с фашизмом и реакцией» [12, кн. 1, с. 212]. И Лем удивляется, что «это на полном серьезе дискутируется на развороте в “Le Mond”, и только один человек, психиатр, nota bene еврей польского происхождения, набирается смелости сказать, что все это попросту полная ерунда, правда утверждает это он очень вежливо. Погоня за сенсацией, даже в философии человека, — это вызывает разочарование. (Философ, соавтор “Анти-Эдипа”, был настолько честен, что в книге спокойно признался, что в жизни не видел шизофреника...)» [131, s. 50-51].

Особо от Лема досталось Жаку Дерриде, с работами которого Лем был достаточно хорошо знаком: «Лично я очень не люблю Дерриду, хотя имею его здесь в немецких изданиях» [246]; «Деррида. Я купил его “Грамматологию” на немецком и ни в зуб, причем сильно. Введение в Деррида. Не справился. Деструктивизм деструктивный и постмодернизм постструктуралистический. Скорей я себе зубы повыламываю. К черту, ничего не пойму, а все в “Encounter” и “NYT Book Review” бормочут! “Деструкция, Поль де Ман”. И праомдернизм. И супер. И Сьюзен Сонтаг. Итак, опять, но ничего, хоть и с разбегу и даже бегом. Легче мне было бы влезть на стеклянную гору, пока мне член Академии, очень мудрый пожилой человек, не объяснил на ухо: “Д. дурак!”. Вот так, просто. Logorrhea [словесный понос (с лат.)] и заразил всех во главе с американцами» [17, с. 628]. Лем подчеркивал: «Гуманисты отдают честь моде, которая, как структурализм, как постмодернизм, как “деконструкционизм” Дерриды, имеет столько же общего, что и ничего, с методами эмпирии, т.е. природоведения, и поэтому между моей философией и гуманистикой была и остается не засыпанная пропасть» [141]. Лем соглашался с

мнением, что «постмодернизм — это не культура, а идеология, которая расцвела благодаря усилиям несчастных французских философов, прежде всего Дерриды» [18, с. 60]. Не нравился Лему и его язык: «Деррида тоже порастягивал некоторые лексикографические сухожилия и суставы французского языка» [15, с. 163].

О своих принципиальных разногласиях с Дерридой Лем говорил и писал следующее: «Деррида с помощью своего деконструктивизма попытался доказать, что невозможно в одном предложении обнаружить при чтении только один-единственный смысл. Правда, он при этом не заметил, что данный метод можно применить и против него самого. Таким образом, и Деррида всегда неоднозначен, и в этом отношении он говорит чистейший вздор относительно себя самого. Мне вообще не нравился этот парень. Меня волнуют другие вещи. Точные вещи. С давних пор меня волнуют вопросы причинных оснований жизни, сознания и смерти, вопросы о границах того, что мы можем сделать, и о способности интеллекта принимать ту или иную форму» [254]; «Когда-то я написал короткую статью, в которой высказал тезис, что если все, что пишет Деррида, серьезно, оно должно выдерживать тест самовозвратности. И, следовательно, его тексты тоже следует подвергать тем же самым сомнениям. Но тогда эта методология рассыпается. Я перестал все это читать» [16, с. 654]. Здесь речь идет о статье «Деструкция деконструкции» [178, s. 301-309], в которой Лем написал: «Деконструкция Дерриды по сути не значит чего-то существенно большего, чем попытка безграничного расширения в область произвольности значений любых языковых текстов. Деконструкционизм, как указывает само название, является демонтажем (размыванием) локализации смыслов, установленных различными соглашениями, поэтому может быть применен к литературе, к истории, а также для возможности демонстрации неуверенности, неоднозначности, не заточенности на правде любых текстов, что способствует (опосредованно) тем, которые утверждают, например,

что “историю всегда пишут победители”, что она всегда необъективна, астигматически переименована, и поэтому, например, Колумб может быть признан разбойником, который ради грабежей и убийств открыл Америку. И наоборот, что, наверное, ничего, кроме вшей, не гибло в лагерях смерти, потому что факты мутнеют в самой природе языка и кратковременности языковых значений (и неустойчивости толкований). Все тонет в неопределенности. Единственный изъян, который уже на этапе такого краткого определения термина “деконструкционизм” можно обнаружить, это то, что он не хочет быть самовозвратным, ибо если все тексты могут значить что-то и что-то иное (...), то это должно касаться и самого деконструкционизма. Сложный в понимании из-за запутанности текстов, Деррида желает себе и приказывает нам (а этот философ — порядочный грубиян и привык невежливо расправляться с критиками), чтобы мы признали, что его собственные тезисы четко и точно представляют нечеткие и деконструированные еще при рождении все языковые выражения, что представляет собой обычное противоречие. Нельзя говорить, что везде все темно без всяких исключений, ибо если действительно язык должен быть темным, то и язык деконструкциониста также, так как не будучи воплощением всеислия, только при помощи языка можно язык по-своему разбирать. Если — *tout court* [просто-напросто (фр.)] — нет нигде единой правды в языке, то и в текстах Дерриды ее не может быть. Если он делает исключение из своих трудов, то пользуется методами фокусников. (...) Здесь уже оказывается, что предком и родоначальником Дерриды был сам Горгий из Леонтии, который уже очень давно более просто и ясно, чем профессор Деррида, говорил, что ничего не известно, а если бы что-то было известно, то тоже не известно, правду мы знаем или нет. (...) Короче говоря, каждый может болтать, что хочет, особенно если присвоит себе дерридаичную безошибочность или если является обычным дураком». Здесь же Лем также отмечал, что «сам будучи евреем, Деррида лично не был замечен в отрицании

Холокоста, но его деконструкционизм для таких дел (сам он этим не занимался) очень хорошо может быть пригоден». И Лем возмущался, что мир восхищается де Маном и Дерридой: «Первый гитлеровцев прославлял в Европе, второй, после восторгов де Мана по поводу применения газовых камер для евреев, его оправдывал. То, что немцы Дерриду из-за его неарийскости уничтожили бы, если бы он попал им в руки, совершенно не влияет на Дерриду, так как он больше жизни ценит свой деконструктивизм. Это, однако, пройдет, как проходит любая мода» [178, s. 309]; «Пусть бы лучше месье Деррида попытался своим “деконструктивизмом” выполнить анализ вер таким образом, чтобы выявить их единомнозначность как повсеместное свойство, вместо постулированной “едино-однозначности”. Но это не происходит, потому что Деррида не хочет иметь проблем с какой-нибудь верой» [178, s. 203]; «Нас кормят (...) импортным западным рортично-дерридаичным чтивом, но уже и читать необязательно, ибо я узнал, что господин Д. соизволил нас посетить, чтобы нашу темноту еще больше затемнить темнотой своей болтовни» [258, Т. 29, s. 325].

В целом причину ошибок Дерриды Лем объяснял следующим образом: «Деррида не является философским львом, который врожденным инстинктом крупных хищников добычу хватает за шею, ударом ломает позвоночник языковой жертве, так как он не осознал гёделевского вывода, который принципиально влияет на эффективность укушения и удара. Его работа мне напоминает, скорее, то, чем занимаются грифы с голыми шеями. (...) Считаю, что то, что относится к языку, нужно объяснять не просто языком, а нужно сначала разобратся с установленными математическими ловушками, а уже только потом приступать к семантическому анализу» [178, s. 170]; «Тенденции развития, которые родились в головах феноменологического или экзистенциального типа, те, которые Гуссерлем, Хайдеггером, Дерридой, Лиотаром зондируют темноту глубин, которую Витгенштейн уже давно называл само-

завязыванием человеческой речи (философия, по его мнению, должна была эти узлы развязывать, а не все более крепко затягивать), неосознанно приобрели направление, вступающее в противоречие с движением чисто эмпирической лингвистики, проверяемой, в определенном смысле настолько “внечеловеческой”, насколько “внечеловеческим” является язык наследственности. И здесь нет какой-либо произвольности, замысловатости, выдумки. Здесь каждый шаг математики является инструментом точности верификации. Увидите, что в конце концов и моя концепция “битической литературы” когда-нибудь, не знаю, через пятьдесят или сто лет, проявится как неопровержимый факт: и это будет совсем не конец философии, а только она (возможно вынужденно) спустится с потолка и стен» [178, s. 155-156]. Говоря о “битической литературе”, Лем имел в виду свой апокриф «История бит-литературы» [2, с. 255-300] из тома «Мнимая величина»: «Под бит-литературой мы понимаем любые тексты не-человеческого происхождения, то есть такие, непосредственным автором которых не был человек. (Зато он мог быть им косвенно — предприняв действия, побудившие непосредственного автора к творчеству.) Дисциплина, изучающая всю совокупность таких произведений, называется битистикой».

В своих работах по футурологии Лем отмечал, что ускорение различных процессов происходит в разных областях: «В частности, в области духовного все быстрее будет сменяться мода и парадигмы, например, (...) в царстве королевы наук — философии. Развитие позитивизма, неопозитивизма, феноменологии протекало еще относительно медленно, по шагам. Но потом дело дошло до ускорения, так что после короткого периода Хайдеггера в качестве его потомка мы получили деконструктивизм Дерриды. Я думаю, что еще не было никого, кто был бы достаточно дерзким, чтобы заявить, что следовало бы срочно провести деконструкцию деконструктивизма, чтобы доказать, что он в принципе является своего рода новоязом в смысле Оруэлла; короче говоря, бессмыслицей, очень витиева-

той и сложной, наподобие Талмуда. Так как каждую исходную идею можно развить так далеко, что ее смысл превратится в бессмыслицу, и то, что вначале было совершенно разумным, было доведено именно Дерридой до абсурда» [148.2].

Лем отмечал, что «метастазы дерридаизма на другом берегу океана, т.е. в Соединенных Штатах, уже достигли полной зрелости и размножаются самостоятельно» [258, Т. 29, s. 243], имея в виду в том числе и американского философа Ричарда Рорти. В одном интервью на вопрос о философии Рорти Лем ответил: «Могу сказать искренне, что господина Рорти — как философа — я не уважаю. И прежде всего потому, что исходя из склада ума, из которого следует его философия, он поддерживает Дерриду, которого я считаю ослом. Я же скорее из попперовской школы мышления, кратко говоря: не доверяю Рорти, так же как не доверяю всей этой плеяде молодых философов, которые пытаются придумать, например, чем является сознание, считающих, что завтра удастся создать искусственный интеллект, а послезавтра появится робот в десять раз умнее человека. В этих взглядах я очень скептичен, сказал бы даже, что это не пессимизм, а реализм — я не верю в такие чудеса. Из того, что я сам пересел из конной дрожки в автомобиль, совершенно не следует, что моя внучка, которой сейчас полтора года, будет прогуливаться по Марсу. В это я не верю» [201].

Лем познакомился и с работами французского социолога и культуролога, создателя школы структурализма в этнологии **Клода Леви-Стросса** (1908-2009): «Кибернетика создала определенный перечень понятий, в котором я “жил” некоторое время, но по сути это не было каким-то окончательным “поселением”. После “кибернетического периода” я ближе познакомился со структурной лингвистикой и менее герменевтически видами структурализма (думаю здесь в первую очередь о французской школе — Леви-Стросс et alii)» [131, s. 28], в числе «et alii» был и один из представителей философской герменев-

тики **Поль Рикёр** (1913-2005). Изученное получило свое воплощение в монографиях «Сумма технологии» (в главах «Две эволюции» и «Интеллектроника») и «Философия случая» (в главах «Структурализм и эволюционизм», «Введение в метакритику» и «Экскурс в генологию»; первые две главы публиковались только в первом издании монографии, нет их и в издании на русском языке, а третья публиковалась начиная со второго издания).

Приведем несколько цитат Лема о работах Леви-Стросса главным образом из неизвестных русскоязычным читателям глав «Философии случая»: «Леви-Стросс изучал институт брака вне культур с точки зрения коммуникации: женщина оказалась там “кодовым знаком” системы. Это дало великолепные результаты в части структурного исследования кровных и родственных связей как информационного объекта, то есть социологического, а не чисто биологического. Но за этот успех надо было заплатить — отсечением от анализа различных “неинформационных” аспектов этой сферы. Чтобы системную “коммуникационность” в поле своего интереса изолировать, Леви-Стросс должен был быть хирургом, который некоторые органы отрезает, а не хирургом пластическим, который их своим ланцетом приукрашивает» [67, s. 272]; «В реальности нет таких культурных явлений, которые хотя бы в потенциале не были бы слугами коммуникационной функции. Ведь даже и кулинария выявляет определенную “коммуникационную систему”, как на это обратил внимание Леви-Стросс. Есть в обычаях определенной культуры омары и запивать их шампанским — это не только получать гастрономическое удовольствие, но также включать эти продукты (точнее, их потребление) в информационный оборот, ибо так есть — это “что-то значит”. Можно также (и об этом писал Р. Барт) в качестве информационного явления исследовать и моду» [67, s. 275]; «Знакомство с работами Леви-Стросса позволяет сориентироваться в том, как отдельными тематическими изъятиями он отдаляется, раз меньше, раз больше, от “гарантированной” закрытости

как определенной черты анализируемых “подсистем” культуры. Ослабление силы результатов за счет их неоднозначности, тем самым принижающее их универсальную важность и экстраполяционный трансферт, видно, например, в “*La Pensée Sauvage*” [“Неприрученная мысль”], где “структуры мышления” тотемично подняты до уровня всеобщего для примитивных культур сверх их возможностей (что критиковали специалисты)» [67, s. 279]; «Обобщение Леви-Стросса, отнесенное к тотемическому мышлению, представляет собой подобие анализа определенного небольшого подмножества языковых высказываний из их целого множества несравнимо более многочисленного, и выявленные закономерности поэтому являются законами не всеобщими, а локальными, не универсально важными обобщениями, а инвариантами такого рода, что на высшем уровне они уже теряют свою инвариантность (о чем, впрочем, говорил П. Рикёр, только что в “гуманистической форме”). От поражения антрополога спасает соответствие той опоры, какой обладает лингвист, который без математических машин, но понимая язык, приступает к его анализу» [67, s. 405-406]; «Наше незнание в области формирования культур “чистых”, гомогенных, очевидным образом тянет за собой незнание о формировании изобилующих перекрещиванием составляющих культуры. Предположения Леви-Стросса, который причину цивилизационного взрыва Запада рассматривал в виде лавинной реакции, до которой дошло дело после многократных перекрещиваний культурных и мыслительных течений (в особенности вокруг средиземноморского бассейна), представляются мне чрезвычайно удачными и точными» [67, s. 420]; «Что касается разработанного Леви-Строссом этнологического структурализма, то его цель и смысл состоят именно в том, чтобы показать полное равенство перед аксиологией всех без изъятия культур. (...) Структурализм школы Леви-Стросса весьма энергично сопротивляется всяческим попыткам поставить под сомнение аксиологическую неоднородность культур. Эта школа утверждает, что можно сопоставлять одни

культуры с другими для реализации топологической, конфигурационной, комбинаторной компаративистики, но не для того, чтобы выставить какие бы то ни было оценки. Ибо чтобы хвалить или порицать данную культуру (а это уже подход вполне произвольный), оценивающий может сослаться — как на стандарт измерения — только на качества другой культуры. Как я уже говорил, с такой крайне деаксиологизированной позицией можно и не соглашаться. Этнологифункционалисты иногда так и поступали. Но внутри структурализма для аксиометрии места нет» [13, с. 556-557]. При этом Лем обратил внимание: «Леви-Стросс утверждал, что все структуры равнозначны, но когда дело дошло до гитлеризма, то, однако, заикнулся, что так нельзя» [223]. А в целом: «Леви-Стросс — путаник, которого время от времени посещает великолепная интуиция, которую он не в силах использовать как следует, так как не имеет базового логикоматематического образования» [128, с. 54].

О французском философе-постструктуралисте **Ролане Барте** (1915-1980) Лем писал: «Он мыслитель скорее блестящий, чем глубокий» [2, с. 67]. На его работы Лем ссылался в своей монографии «Философия случая» (в главе «Введение в метакритику»), здесь среди прочего Лем приводит определение Бартом критики как «метаязыка литературы» [13, с. 574-575], отмечал стиль его письма: «Это эссе считали (кажется, и сам Барт тоже) образцом структуралистского анализа. Написано оно великолепно, как обычно пишет Барт» [13, с. 577]. Ссылался Лем на Барта и в «Фантастике и футурологии» (в главе «Структура литературного творчества»), анализируя отдельные произведения, например: «Характерные признаки, которые Р. Барт обнаруживает в авантюрных романах Флеминга о Бонде, “агенте 007”, удивительно похожи на особенности, открытые Тодоровым в “Опасных связях”» [12, кн. 1, с. 413]). А о кратком изложении «нулевого уровня писатель-

ства» по Барту Лем написал: «Это авгиев труд, который я, не будучи Геркулесом, взять на себя не могу» [17, с. 271].

Французского теолога и философа **Пьера Тейяра де Шардена** (1881-1955) Лем рассматривал как «человека, наделившего религию эмпирией, а одновременно придавшего эмпирии религиозные черты» [12, кн. 2, с. 228]: «Можно соединить науку с религиозной доктриной, но в перспективе не много есть пользы от этого ни для науки, ни для религии. (...) Шарден также этим занимался. Соединение науки с верой всегда удастся осуществить, но вскоре это распадается» [100]; «Произведения Тейяра де Шардена являются для меня не чем иным, как попыткой скрещивания теологии и биологии, вредной для обеих» [117]; «Эволюционизм пытался в последнее время инъецировать теологические идеи Тейяра де Шардена. (...) Любая эволюция предполагает наличие субстрата и окружения, и тем самым граничные и краевые условия процесса. Говорить, что Добро и Зло сосуществуют, поскольку иначе вообще быть не может, и ссылаться при этом на точку зрения термодинамики, как это делает Тейяр, — ребячество. Он говорит, что как двигатель выделяет отработанные газы, то есть как определенное уменьшение энтропии в одном месте влечет за собой ее повышение в другом, так и в бытовых процессах Зло играет роль “продуктов сгорания”, то есть растущей энтропии. Но обойденной молчанием, хотя и логически неизбежной посылкой таких утверждений является суждение, будто иного типа эволюции, нежели та, которая происходит на наших глазах, быть не могло. Какой нонсенс с позиций теодицеи, если в соответствии с нею Высочайший сотворил все, а стало быть и законы, которым подчиняется каждый эволюционный процесс!» [12, кн. 2, с. 157-158]. Достаточно подробно философию Тейяра де Шардена Лем представил в разделе «Метафизика научной фантастики и футурология веры» в монографии «Фантастика и футурология» [12, кн. 2, с. 228-235], в том числе дал такую характеристику: «Впечатляющими, то есть квазиве-

роятными и осмысленными Тейяровы результаты могут быть только до тех пор, пока в них наличествует научная терминология, а используемые ссылки к научным установлениям воспринимаются не без снисходительности, то есть когда дается согласие на неточность названий, на затуманивание оперативного смысла значений, одним словом — на полную благороднейших желаний наивность, предполагающую, будто в дискурсивном методе еще остается какое-то количество даже “научного” элемента: когда он пользуется расплывчатыми, извлеченными из контекстов понятиями для построения, может, и увлекательных, но принципиально размытых целостных аналогий. Грубо, но четко говоря, — это попытка соединить воду с огнем путем остужения огня и подогрева воды. Такая метода рискованна...» [12, кн. 2, с. 229-230].

О философе-экзистенциалисте **Льве Шестове** (1866-1938) Лем писал: «Я не верю в Бога Шестова, в Бога нелюбящего, который над добром и злом, так как такое представление меня лично ОСКОРБЛЯЕТ, и если бы, как говорится в анекдоте, Бог был, и к тому же еще такой, то “упаси меня Боже”, то есть “Слава Богу, что Бога нет!”» [133, 06.03.1988].

Будучи медиком и биологом по образованию и философом по сути, Лем очень интересовался вопросами, связанными с мозгом и сознанием человека, поэтому изучал многое, относящееся к психологии, в частности работы создателя типологии темпераментов немецкого психолога **Эрнста Кречмера** (1888-1964). Еще студентом Лем высказывал собственные мнения в этой области, например в статье «Психологизм и реализм»: «Типология Кречмера (...) является системой в значительной мере интуитивной, то есть не строго научной. Почти все характерологии, основанные на биологических исследованиях, как, например, Юнга, Абрахама (психоаналитическая), Кюнкеля, Йенша и других, исходят из существования двух главных типов: обращенного наружу экстра-

верта (Юнг) и подлинного интраверта. Разделение это, у Кречмера связанное с физическими характеристиками, которые можно измерить, безусловно, существует, и принятие его в качестве «истины» не может быть делом чьих-то убеждений или веры, потому что научный характер теории подтверждается опытом. (...) Типология (...) при изучении определенных психических (или физических) черт данной личности предсказывает, какими будут некоторые его физические (или психические) черты. Делается это, однако, с некоторым, но поддающимся достаточно точному определению процентом правдоподобия. (...) Не следует забывать, что типологическое разделение является только первым приближением, именно донаучной формулировкой (ведь очень часто Кречмер оперирует, например, метафорой, причем очень метко, но этот метод ученым запрещен). Типологическое разделение проведено на основе определенного, ограниченного количества психических характеристик и наверняка не исчерпывает их всех, и поэтому уже у классифицированной личности можно найти черты, существенно противоречащие теоретической схеме. Но эти сложности отпадают, если будем помнить о том, что 1) каждый человек — это совокупность черт или, как предпочитают говорить генетики, гибрид огромного количества скрещиваний и 2) типы — это не окончательное изображение существующих людей, а схемы, выполняющие роль рабочей гипотезы» [24].

Позже Лем обращался к трудам Кречмера, рассуждая о сне: «Эрнст Кречмер открыл различные состояния: гипноические, гипнотические и другие, когда явь перемешивается со сном, когда имеешь такие видения, при которых не знаешь, происходят ли события в реальности или уже во сне...» [238]; «Двух- или многодвойственная категориализация восприятий является нормой сна, или гипнотических состояний, то есть не только вопросом психиатрической феноменалистики (см.: Э. Кречмер: “Клиническая психология”)» [17, с. 85]; рассуждая о сознании и искусственном интеллекте: «Могут быть состоя-

ния гипопоические, гипобулические (о них писал создатель антропологической типологии Э. Кречмер), и вывод из этого в итоге такой: если машина какого-нибудь будущего поколения будет обладать программой, имитирующей интеллект, то она должна по возможности оказаться ВОСПРИИМЧИВОЙ к отклонениям вышеупомянутого типа» [15, с. 243]; рассуждая о тоталитаризме: «Кречмер, (...) в сочинениях, где пропагандирует свою типологию, пишет, что в спокойные времена психопаты находятся под контролем психиатров. Но при общественных переворотах психиатры оказываются во власти психопатов. Эта доктрина, основанная на предопределенности и детерминизме, по сути своей есть столь же наивный, сколь и благородный оптимизм, потому что из нее, по-видимому, вытекает, что не допустить явлений типа фашизации можно было бы вообще без труда. Это попросту санитарная проблема, из области психиатрической профилактики» [13, с. 693-694].

Досконально изучал Лем и психоанализ — главным образом работы основоположника психоанализа австрийского психолога **Зигмунда Фрейда** (1856-1939), а также его последователей, в том числе австрийского психолога, основоположника индивидуальной психологии **Альфреда Адлера** (1870-1937) и швейцарского психиатра, основоположника аналитической психологии **Карла Густава Юнга** (1875-1961), следил и за текущими исследованиями (например, в обзоре иностранной печати было особо отмечено, что «11.10.1948 в Цюрихе открыт Институт К.Г. Юнга, посвященный психологическим исследованиям» [31]). Все это позволило ему дать следующие характеристики: «Психоанализ — это болезнь, которая выдает себя за терапию» [188]; «Психоанализ, Юнговы теории “архетипов” и т. п.» являются «ветвями психологии и антропологии, эмпирический статус которых наиболее сомнителен именно в связи с их слишком явным родством с мифическим мышлением» [12, кн. 2, с. 307]; «В свое время психоанализ предоставлял любимую в определенных кругах претендующего на ученость

мещанского общества сенсацию со вкусом скандала, особенно благодаря провозглашенному пансексуализму подсознания» [61, s. 481].

Особенно досталось от Лема, конечно же, Фрейду, которого Лем упоминает и/или критикует в нескольких десятках своих работ. Приведем здесь некоторые характеристики Фрейда из произведений Лема разных жанров. В романе «Глас Господа»: «Фрейд стал Птолемеом психологии, так что каждый может теперь толковать людские феномены, громоздя эпициклы на эпициклы; эта конструкция нам близка, потому что красива. Идиллию он заменил гротеском, оперу — трагикомедией, не ведая, что остается рабом эстетики» [3, с. 350]. В монографии «Фантастика и футурология»: «Фрейд как науковед — примерно то же, что дьявол в роли теолога. Создатель наименее эмпирической из всех научных теорий — последний авторитет, от которого можно ожидать толковых науковедческих установок» [12, кн. 2, с. 370]. Среди профессиональной литературы по психиатрии Фрейд представлялся Лему «почти как баснописец, который услышал, что якобы звонят в костеле, но не знал ни в каком, ни почему и для чего» [178, s. 147].

Источник фрейдизма Лем видел в том, что «Фрейд жил в конце викторианской эпохи, когда господствовал пуританизм и преобладала сдержанность относительно любовной тематики. Эти нормы наполняли его мозг, и поэтому все для него было парасексуальным» [238], «а тот факт, что Фрейд уверовал в пансексуализм подсознания, явилось результатом прюдерии венской буржуазной среды, из которой он рекрутировал своих пациентов. В те времена скромная барышня падала в обморок, если кто-нибудь увидел ее колено. Нет никаких чисто физиологических признаков, которые определяли бы “неприличие”. В этой области, как и во многих других, влияние культуры является тотальным и всепроникающим» [13, с. 582].

Фрейдовскую триаду Id-Ego-Superego (или Подсознание-Сознание-Сверхсознание) Лем считал «псевдонаучной кон-

струкцией» [61, s. 475], считал, что «так явно ограничить процессы, происходящие в разуме человека, не удастся. Вольная воля в определенных ситуациях является решающим фактором, а в другом границы между тем, что предопределено, и тем, что принято решением, неустойчивы» [226]. «Если двое людей испытывают друг к другу запрещенное (скажем) влечение, психоанализ наверняка более прав, чем теолог средних веков, который в положении дел обвинил бы, возможно, самого дьявола. Однако и психоанализ пользуется приемом персонификации, только что более “размытым”. Его “дьявол” не является пришельцем прямо из ада; ад психоанализа локализован в подсознательном Id, и имя его не Вельзевул, а Либи́до. Это полуметафоричное начальное приближение не является наихудшим, но дальнейшего пути психоанализ открыть не может. Сам себе закрывает, так как Либи́до хотя бы в том подобно дьяволу, что его уже дальше разделять или расщеплять нельзя. Если я сделаю что-то, что кроме вреда ничего не даст, и если психоаналитик выяснит, что я сделал это под влиянием Либи́до, я должен замолчать. Не получил от этого никакого удовлетворения? Его имело мое подсознание» [61, s. 481]. И поэтому не случайно в «Кибириаде» у Лема появляется доцент Врейд (в оригинале Frond): «Сей душевед доказал, что сознание есть зловонное скопление лжи на поверхности души — из страха перед тем, что в середине (“Мыслию, следовательно, лгу”))» [4, с. 572]).

Целая беседа Лема с польской поэтессой, другом семьи, Евой Липской была посвящена снам, и естественно, что в разговоре речь шла и о теории «сновидений» Фрейда, которые якобы открывали символические или буквальные содержания, главным образом сексуальные, приглушенные в реальности, однако в настоящее время от этой доктрины произошел, скорее, отход» [222]: «Иногда мы что-то ищем во сне — и не знаем что. Иногда куда-то идем и знаем, что идем с какой-то целью, но эта цель не ясна. На основе таких фрагментов теории пытаются сформулировать объяснение, почему снится

то, а не иное. Фрейд был, очевидно, обычным маньяком. Психиатрия — это болезнь, которая подает себя в качестве терапии. Помнишь этот стишок?

Слонимский Антоша Фрейда в грош не ставит.
— Недоумка этого мир напрасно славит.
Мне приснился шкафчик, с виду был безвредным.
«Это женский орган», — разъясняет Фрейд нам.
А приснится орган. «Что же это значит, —
Я спрошу у Фрейда, — неужели шкафчик?»¹

Затем возникли школы и постфрейдовская ересь, Карл Густав Юнг со своими отклонениями... На вопрос: “Зачем видим сны?” — краткий ответ звучит: “Неизвестно”. А почему нам снится именно это, а не что-то иное — это неизвестно в квадрате. Собственно, ничего не известно. Только то, что сон нам как-то нужен» [238]. Об этом же еще раньше Лем написал в «Футурологическом конгрессе»: «Кузен Тарантоги не верит ни во Фрейда, ни во фрейдистов, потому что у Фрейда можно узнать, что думает тот, кому наяву или во сне чудятся башня, дубина, телеграфный столб, полено, передок телеги с дышлом, кол и так далее; но вся эта мудрость оказывается бесполезной, если кто-нибудь видит сны напрямую, без обиняков. Кузен Тарантоги питает личную антипатию к психоаналитикам, считает их идиотами...» [9, с. 81].

И поэтому очень скептически Лем относился к толкованию снов, считал, что оно только вредит психоанализу: «Как известно, пациенты Юнга видят сны, рекомендуемые его школой, пациенты Фромма видят сны о Мудром Старце, который в системе этого мудреца занимает центральное место, а пациенты ортодоксальных фрейдистов запросто ухитряются увидеть во сне те объекты, которые заполняют

¹ Стихотворение польского поэта Марьяна Хемара (кстати, двоюродного брата Лема по отцовской линии), перевод Аркадия Штыпеля.

фаллическо-вагинальную реквизиторскую фрейдовской половой символики. Если временами нам снятся предметы и люди, о которых мы только мельком читали в романах, видели в кино, то почему бы, собственно, американцам добросовестно и настойчиво не видеть в снах то, что десятки психоаналитических школ им неустанно полвека вколачивают в головы?» [12, кн. 2, с. 575]. При этом Лем отмечал, что произвольной является «интерпретация снов и их символики, которые, согласно фрейдовской пансексуальной теории, отображают лишь различные способы совокупления или органы, без которых при этом нельзя обойтись; у последователей школы Юнга имеется свой «словарь символики сна», и весьма поучительно, что пациенты фрейдистов видят сны в согласии с теоретическими предписаниями Фрейда, а сновидения пациентов, пользующихся услугами психоаналитиков школы Юнга, совпадают с толкованиями этого ученого. Мания толкований с помощью единственного приема, которым является «анализ сновидений», превращает ценные элементы, имеющиеся в психоанализе, в островки трезвой мысли среди океана совершенно произвольных вымыслов» [1, с. 189].

Упоминал Лем и работы Адлера. О своем творческом процессе написания фельетонов (еженедельно в 1957-1958 гг.) Лем в фельетоне же писал: «Когда гуляю по городу, на каждом шагу наталкиваюсь на Отличную Тему. Мысли размножаются в голове, разветвляются, пенятся, как молодое пиво, уже и места им не хватает, Тонкие Замечания, Меткие Наблюдения и Удачные Злословия меня переполняют, и тогда я оглядываюсь по сторонам, полный Фельетонической Мощи, с чувством, что могу каждую вещь Заклеймить, Раскритиковать или Отметить, каждое Явление охарактеризовать, одно обречь на Вековечное Забвение, иное Увековечить, полный адлеровского “Wille zur Macht” [стремление к власти (нем.)], легким шагом направляюсь домой, где ждет меня верная пишущая машинка...» [54], и далее Лем описывает «психоло-

гический феномен», ибо по мере приближения к пишущей машинке все постепенно стирается из памяти, и в конце концов «в этой пустынной пропасти терзает только одинокий, несколько перепуганный, кантовский Категорический Императив, что я Должен Написать Фельетон» [54]. В рецензии на произведение Анджея Киёвского, главным героем которого является Ребёнок, Лем с удовлетворением отмечает, что «“психологически рассматриваемого” Ребёнка можно было бы трактовать по Адлеру, Фрейду или другими глубинными теориями психологии. К счастью, Киёвский не ступил ни на один из путей такого готового школярства. Его герой не помещается в круге, очерченном психологически, поскольку достигает онтологического размера, при законах психологии, подвешенных на крючке» [17, с. 268].

Лем отмечал, что психоанализ пользуется успехом в литературе и искусстве: «Искусство получило союзника в психоанализе не благодаря тому, что в нем научно, а именно благодаря тому, что в нем научным не является. Психоанализ создает таинственные фантомы Libido, Id, придает высокое значение сновидениям, открывает двери свободной, наполовину мифологической комбинаторике — одновременно закрывая их перед проникновением вглубь микромеханики духа» [61, s. 486]. При этом возможны ситуации, как с одной известной польской писательницей: «У нее в голове такой хаос психологии, все у нее заканчивается на Юнге: анима, архетипы. (...) Зачем я буду портить ей настроение, объясняя, что она здесь и там написала глупость, ссылаясь на Фрейда, на Юнга» [223]. «Подтекстом фрейдовской доктрины является придание характера навязчивых видимостей всей культуре, а логическим продолжением этого — принятие, что неудобство человека, брошенного в культуризацию, имманентно; отсюда и идет “Недовольство культурой”. Эта неправда принесла массу неудобств даже “рационалистам”, коими считают себя деятели из круга научной фантастики. И в частности, на территории Соединенных Штатов, где фрейдистская доктрина долгое время царила почти

нераздельно, обретая статус парадигматической правды как вдохновительницы творцов» [12, кн. 2, с. 29].

Размышлял Лем и о последователях Фрейда, отметив, что психоанализ «успешно защищает своим постфрейдовским разделением собственное бессилие, то есть то, что из гениальных проблесков интуиции Фрейда не возникла эмпирически проверяемая дисциплина, а его наследие распалось на провинции, захваченные учениками-диадохами, создавая направления и ориентиры, которые вторглись в психиатрию, а при последующей экспансии и в теорию культуры — с немалым вредом. Психоанализ считает всякую творческую деятельность вторичной, исключающей автономию, из-за чего культура представляется будто бы феноменальной оболочкой достаточно примитивных столкновений, происходящих в троекратно воплощенном духе. (...) Фрейд не объяснил состояние вещей, но познал его благодаря проявлению...» [86].

На утверждение американского психоаналитика, одной из ключевых фигур неофрейдизма **Карен Хорни** (1885-1952) о том, что явления в современной культуре и науке — это элементы «невротической личности нашего времени», Лем ответил: «Я согласился бы на речь о такой масштабной болезни, если бы мне показали здоровую личность и соответствующие нормальные времена. Невроз сравнивается, как и болезненное состояние, с некой нормой. Если такую норму нельзя практически определить, то можно говорить только о наступлении изменений. Такое название — это осуждение целой эпохи, но речь должна идти не об осуждении, а о том, чтобы задуматься, можно ли и что сделать, чтобы стало немного лучше или чтобы не были погашены шансы дальнейшего развития» [92].

Работая в конце 1960-х гг. над монографией «Фантастика и футурологи», Станислав Лем познакомился с работами

немецких философов так называемой Франкфуртской школы неомарксистов **Макса Хоркхаймера** (1895-1973), **Герберта Маркузе** (1898-1979), **Эриха Фромма** (1900-1980), **Теодора Адорно** (1903-1969), ибо «хотел найти философа, который выступал бы неким противовесом, противопоставлением относительно профессионалов футурологии» [69]. В качестве такого философа Лем выбрал Герберта Маркузе: «Это человек, образованный гуманитарно и философски, в некоторой степени современный преемник больших давних работ системной философии, это человек, всесторонне неудовлетворенный и недовольный современным миром, его институтами, и ему противостоит этот мощный клан футурологов (...). Чисто формально различие между трудами футурологии и философии в том, что каждое философское течение, каждая школа достраивает одну определенную систему, в рамках этого выдвигаются утверждения, поддерживающие единство, а в то же время опытный футуролог не строит единый прогноз, а представляет их целое альтернативное собрание. Каждая философия в рамках своей исторически возникшей или существующей школы объясняет, что есть так и так, что кроме того должно быть так и так. В то же время футуролог представляет не только прогнозы как аксиомы (подобно астроному, предсказывающему очередное солнечное затмение), а преподносит предсказания, перемешанные в одной упаковке с предписаниями и предупреждениями» [69]. Поэтому в общественной жизни философия часто уступает футурологии, «немодернизированная методологически, неинформированная философия оказывается бессильной, способной только на бесплодный протест. Конкретные события, например майские [выступления студентов в 1968 г.] во Франции, сделали героем дня — совершенно мимо его воли — и одновременно символом так называемой “контестации” — Маркузе. Таким

превознесением он сам был вроде бы удовлетворен, но и смущен из-за отсутствия конкретной программы» [69]. Представленные в работах «почтенных старцев с классическим философским или гуманитарным образованием» утопии Лем определил как «гуманитарно-психологическая» у Фромма, «марксистско-эротическая» у Маркузе» [12, кн. 1, с. 172]. Хоркхаймера Лем назвал всемирно известным автором [129, s. 371]. О Теодоре Адорно и вместе с ним о немецком философе (также неомарксисте) **Эрнсте Блохе** (1885-1977) Лем писал, что не смог осилить их труды, ибо ощущение от них такое, «как если бы кто жизнь и немалый ум посвятил соломе» [131, s. 293]. При этом Лем с удовлетворением неоднократно отмечал, что «Адорно сказал, что после Освенцима уже нельзя писать стихи» [221; 223], и, естественно, не согласился с Фейерабендом, назвавшим эту фразу Адорно идиотской [107]. Последователя Франкфуртской школы **Юргена Хабермаса** (род. 1929) Лем упоминал в связи с дискуссией, возникшей после публикации в 2003 г. воззвания «Наше обновление после войны: второе рождение Европы», написанного Хабермасом и подписанного Дерридой: «Французско-немецкая концепция “твердого ядра” Евросоюза лишена как военной силы, так и общественного резерва. Что из того, что мы скажем: все мы будем с сегодняшнего дня трезвыми и благородными, если мы коррумпированные и гнилые. (...) Интеллектуалы очень потеряли уважение, доказательством чего является, что политики вообще не подхватили дебаты, начатые Хабермасом» [241]. А также в связи с полемикой «об очищении немецкого прошлого», которую этот немецкий философ и социолог вел с немецкими учеными [244].

Лем соглашался с тезисом немецкого философа и социолога **Макса Вебера** (1864-1920), который в работе «Про-

тестантская этика и дух капитализма» утверждал, что «существует связь между религиозностью (...) и трудолюбием». Лем вспоминает об этом тезисе, задавшись вопросом: «А что будет происходить, когда страны Средней Европы войдут в Европейский союз?». И отвечает: «Наверняка мы окажемся частично заражены секуляризацией, которая, как видно, удивительно негативно коррелирует с работоспособностью. Я не предпринимаю углубленного объяснения этой корреляции и не пробую однозначно связать религиозность с желанием трудиться, но статистическим данным трудно противоречить» [258, Т. 31, с. 262-263].

Лем был знаком с трудами французского философа и политолога **Раймона Арона** (1905-1983). В 1984 г., будучи в эмиграции и критикуя польские власти, Лем писал: «В Польше господствует “фашизм с человеческим лицом”. Идиоты у власти поняли, до чего могут привести уступки. “Конец века идеологии” Раймона Арона осуществился сначала полностью у нас. Фасад “марксистского гуманизма” рассыпался в прах. Возникла военная власть, размышляющая по-военному. Это объясняет много парадоксов команды Ярузельского, выглядящих как дурость. Генералы думают по-военному, так, как их научили» [112], и позже, критикуя футуролога Фукуяму: «Фрэнсис Фукуяма с настойчивостью, достойной лучших дел, гласит на право и на лево о “конце истории”. Возможно, как слишком молодой он не знает, что Раймон Арон уже сорок лет назад написал “Конец века идеологии”, а Фукуямов вывод в полной мере является продолжением этой темы: так как марксизм потерпел неудачу, то победил рыночный либерализм. Как же мила такая простота. К сожалению, ни мир, исследуемый точными науками, ни тем более мир, исследуемый политологами, простыми быть не желают» [178, с. 16-17].

Размышляя в 1995 г. о войнах в Югославии и Чечне, Лем упомянул немецкого мыслителя **Эрнста Юнгера** (1895-1998):

«Столетний сегодня Эрнст Юнгер, которого немцы сейчас очень уважают и почитают, возможно, был прав, утверждая, что война, кровавая битва и смертный бой являются естественной природой человека. Пишу это вопреки самому себе, ибо такой взгляд является антиподом моих предыдущих представлений о человеке и обществе» [177, s. 37].

Так называемый Венский кружок в 1920-1930-е гг. стал идейным центром философского логического позитивизма (неопозитивизма). Духовным учителем Венского кружка был **Людвиг Витгенштейн** (1889-1951), а наиболее яркими представителями **Мориц Шлик** (1882-1936), **Ханс Рейхенбах** (1891-1953), **Рудольф Карнап** (1891-1970), **Курт Гёдель** (1906-1978). Лем писал, что Витгенштейн «вступил на философскую сцену своим “Логико-философским трактатом”, провозгласившим, что логическая структура артикуляции является образом (отражением) фактической структуры мира, а ушел с этой сцены, оставив работу, изданную посмертно, в которой перешел от прежних взглядов к убеждению в том, что язык, артикулирующий положение вещей, является формой игры, и что при этом могут возникать различные типы игр. Как можно предполагать, свои последние в жизни воззрения он не подготовил к публикации, поскольку тогда еще не существовало никакого формального понятийного аппарата, позволяющего трактовать понятие игры точным математическим способом (теория игр Дж. фон Неймана возникла позже)» [12, кн. 1, с. 522]. Или иначе: «Этого философа сегодня все необычайно уважают, а уж особенно его “Tractatus Logico-Philosophicus” [“Логико-философский трактат” (лат.)], над которым он мучился в течение шестнадцати лет. Я изучал версию немецко-английскую, построенную почти по принципу “книги откровений”. Похоже, она очень раздражала Карнапа. После долгих лет размышлений Витгенштейн по сути дела отказался от

всего, ведь в “Philosophische Untersuchungen” [“Философские исследования” (нем.)] мы найдем уже другую постановку вопроса. Первоначально он был поклонником логического атомизма, считая, что существует возможность привести языковое высказывание в состояние однозначности. Потом, однако, он стал от этого энергично отступать, сориентировавшись, что это совсем не так. По этой же причине, наверное, начал медленно переходить на позиции, близкие к вероятностной трактовке языка, что как раз можно подтвердить его последней книгой, где он говорит, что язык — это игры *sui generis* [в своем роде (лат.)], а между отдельными играми возникает такое же сходство, как между членами семьи, и, тем самым, родство. Одним словом, он уже сознательно начал спасаться метафоричностью, чтобы передать то, что тогда еще не умел сказать иначе. Впрочем, и сегодня никто не сумел представить это правильно формализованным образом. Витгенштейн, например, также сказал, что “границы моего языка это границы моего мира”. В целом с ним надо согласиться, так как достаточно посмотреть на эти ужасные трудности *mare tenebrarum* [море мрака (лат.)], с которыми я всегда сталкивался, когда хотел представить мир, радикально отличный от нашего. Эти неслыханные проблемы, разумеется, были следствием того, что преступить границы своего мира, а также границы описывающего этот мир и построенного на нем языка почти невозможно» [16, с. 432-433]. Лем назвал Витгенштейна «Моисеем неопозитивизма», который «велел считать свой “Tractatus” лестницей, которую, поднявшись по ней, втягивают за собой, — он отдавал себе отчет в том, что эта лестница метафизическая, и хотел от нее как-то избавиться, но таким образом не удалось ему избежать критики за то, что то, что говорится, бессмысленно именно в свете критериев, установленных говорящим» [17, с. 431].

Рассуждая о философии и о литературном творчестве, Лем часто ссылался на работы и выводы Витгенштейна. Например: «Витгенштейн утверждал, что все то, чем занимаются философы — специалисты по этике, с самой этикой не имеет ничего общего. Не хочу задаваться здесь вопросом о том, прав ли он был, говоря об этике и философах, но думаю, что то, чем занимаются различные структуралисты, “разбирая” стихи, не имеет ничего общего с поэзией» [17, с. 515]; «Согласен с Витгенштейном, который сказал, что “границы моего языка являются границами моего мира”, причем не издевательски, что я предпочел бы избежать, а из-за любви к честности, и должен подчеркнуть, что это утверждение Витгенштейна можно понимать во многих различных смыслах. Это видно хотя бы потому (добавлю несколько отходя от темы), что благодаря этому утверждению одни марксисты тянули Вингенштейна к себе, а другие, возможно более категорически ортодоксальные, выбрасывали его из-за этого же утверждения в «мусорку идеалистов», то есть в место, заменяющее им ад» [178, s. 101]; «Перефразируя Витгенштейна: границами моих миров являются границы не моей изобретательности, но моего разума» [13, с. 443]; «Как это заметил еще Людвиг Витгенштейн, у нас в философии полно парадоксально сплетенных, запутанных суждений, которые вытекают из злоупотребления этим даром, который отличает нас от всех других созданий, а именно: языком» [232]; «Витгенштейн когда-то написал, что многие из поставленных физикой вопросов являются по сути таковыми только в силу скудности нашего же языка. По этой причине он полагал, что они были не реальными проблемами, а только кажущимися (думаю, это одна из причин последующей популярности философии языка). Я же думаю, мир знаний несравненно грандиознее, чем Витгенштейн когда-либо предполагал. Любой индивид теряется перед необъятностью интеллекту-

альных перспектив, которые открываются почти ежедневно» [374, р. 64-65]; «Философ Людвиг Витгенштейн говорил: “Границы моего языка суть границы моего мира”. То же самое я могу сказать о своем творчестве. То есть: я не обладаю воображением, которое было бы неязыковым, нелингвистическим, несловесным воображением. Все, что я написал, не было переводом каких-то картин, каких-то видений на слова и фразы, но строилось исключительно внутри самого языка. Из фраз, которые я заносу на бумагу, построены все созданные мной миры» [138]; «Теоретически, наверное, можно через несколько десятилетий с помощью контрацептивов ограничить численность населения двумя миллиардами, а потом, может быть, одним, — но, знаете, мне задают вопросы не для того, чтобы я рассказывал сказки; как сказал Витгенштейн, о чем нельзя говорить, нужно молчать» [172]; и даже в «Големе XIV»: «Вот простейшая наглядная картинка: путешествуя по шару, можно огигать его бесконечно, кружить по нему без границ, хотя шар конечен. Так и мысль, выпущенная в заданном направлении, не встречает границ и начинает кружить, отражаясь в себе самой. Именно это предчувствовал в прошлом столетии Витгенштейн, высказывая подозрения, что множество проблем философии — это запутанные клубки мысли, самосплетения, петли и гордиевы узлы языка — языка, а не мира. Не будучи в состоянии ни доказать, ни опровергнуть эти подозрения, он умолк» [2, с. 363]; и в целом: «Что касается Витгенштейна, его считают гением, но я в этом не уверен» [128, s. 54].

Обилие ссылок на Витгенштейна (а значит, отличное знание его работ) не удивительно: «Я сейчас поддался лени и ничего, кроме философов (Рассел, Витгенштейн, Поппер), не читаю и также ничего не пишу» [131, s. 483]. Лем сам читал много философов и другим настоятельно советовал, чтобы «быть критическим рационалистом, который проглотил

Поппера и Витгенштейна, чтобы не попадаться легко на крючок новинок, ибо везде есть мода, не только в одежде. Мода, однако, проходит и оставляет за собой ослепленных, слишком поверивших в новинки» [16, с. 658]. Советовал читать также и неопозитивистов, причем «не в зачастую карикатурных сокращениях их противниками, а их непосредственные работы (Карнап, Шлик, хотя его работы слабее, Рейхенбах, но его лучшие работы не переведены, но если вы знаете русский язык — россияне почти всего Рейхенбаха перевели)» [128, s. 35-36].

В своих рассуждениях Лем использовал и аргументы неопозитивистов: «Я стою на позиции классического канона эмпирии, согласно которому наука должна давать фальсифицируемые результаты, то есть повторяемые в исследованиях. А различные истории, которые могут нас взволновать, — это лирика, а не наука. Как говорил Карнап, это утверждения, которые в категориях симметричной логики ничего не значат. Это игрушки на рождественской елочке» [147]; «Еще Карнап и его неопозитивисты показали, что хотя и можно сказать: “О, вот был живой человек, а сейчас перед нами мертвое тело!”, но не существует научно-эмпирической возможности доказать, что превратить человека в труп — это плохо» [172]. И вступал с ними в полемику: «Были различные попытки обосновать этическое поведение: трансцендентными ссылками, логическими, утилитарными, психобиологическими, в конце концов. Наконец, неопозитивисты дошли до предположения о неэмпиричности этики, раз, как отметил в тридцатые годы Карнап, из фразы “Убийство — это плохо” невозможно вывести никаких следствий для анализа их с помощью тестов на ложь, потому что после совершения убийства можно увидеть труп, а вот “зла” от этого действия нигде нельзя обнаружить. Заставляет задуматься то, что это суждение поддержал также Рейхенбах, который одно время

занимался законами вероятности, правда, также только в области физики. Если бы, однако, философы-неопозитивисты обратились к низшей области ее применения, каковой является технология, они бы заметили, что в ней не существует, к примеру, “истинных машин” в отличие от “ложных”, но именно “хорошие” и “плохие” — или, пожалуй, “лучшие” и “худшие”. “Хорошей” в таком понимании является машина или любое другое материальное множество, которое отвечает определенным критериям чисто инструментальной оценки» [14, с. 412]; «Вероятностная концепция позволяет выяснить многие вещи, о которые безрезультатно разбивали себе головы неопозитивисты во главе с Карнапом» [16, с. 439].

Учителем Карнапа был **Готлоб Фреге** (1848-1925). О дискуссиях в области языкознания Лем писал: «Приятно и допустимо стать часовщиком, способным выполнить *coupage* и *decoupage* [сборка и разборка (фр.).] любого механизма. Однако не спрашивайте часовщика о том, чем является время, которое измеряют все его часы, ибо не знает он лучшего ответа, чем ответ святого Августина, который говорил, что знает, чем является время, пока у него не спросят определения. Нет недостатка в часовщиках языка: стоит, однако, знать, что все их заключения в высшей степени неокончательны. Нет пока никаких критериев разрешения споров между специалистами, когда до них доходит дело, ибо ученики часовщиков, таких как Фреге, Витгенштейн, Рассел, возражают друг другу в рамках теоретического языкознания, но никак не могут друг друга переубедить» [17, с. 56].

Из участников Венского кружка Лем выделял Рейхенбаха, считал его одним из прекурсоров Эйнштейна относительно единой теории поля: «Профессор Рейхенбах — замечательный физикалист, который пытался создать такую единую концепцию, опираясь на геометризацию используемых понятий» [58, s. 99]. В журнале «Жизнь науки» Лем опубликовал

аннотацию на работу Рейхенбаха «Принцип аномальности в квантовой механике»: «Автор поднимает две проблемы: 1) имеют ли ненаблюдаемые параметры конкретные, пусть и неизвестные, значения? 2) если бы эти ненаблюдаемые свойства были известны, то было бы возможно точное предсказание результатов их последующих измерений? Ответ на оба вопроса представляется негативным, а анализ приводит к формулировке принципа (причинности) аномалии, дополняющей принцип неопределенности Гейзенберга. Этот принцип гласит, что взаимодействие через контакт нарушается всякий раз, когда ненаблюдаемым параметрам присваиваются конкретные свойства, т.е. всякий раз, когда применяется комплексная интерпретация квантовой механики. Причинную аномалию можно устранить применением ограничительной интерпретации, которая выделяет выводы о ненаблюдаемых параметрах в третий класс заключений, отличный от заключений истинности или ложности. В другой версии ограничительной интерпретации таким заключениям присваивается третье значение истинности, неопределенное, и квантовая механика основывается на трехзначной логике» [31, s. 585]. Лем рекомендовал применять в научной фантастике тип логики, предложенной Рейхенбахом [12, кн. 1, с. 265], нравился Лему и стиль его письма: «Не многих философов стоит читать в оригинале. Лично мне нравится стиль Шопенгауэра, Рейхенбаха, Айдукевича» [128, s. 34]; «Когда я приступаю к онтическим (или только эпистемологическим) рассуждениям, предпочитаю Рейхенбаха или Витгенштейна (но НЕ Хайдеггера, ведь он писал своим чудаковатым стихом, а Дерриду я также не выношу). Здесь, конечно, ничего не поделаешь» [17, с. 697].

По мнению Лема, «Гёдель — это самый выдающийся математик нашего столетия» [16, с. 215]. Так считал Лем главным образом из-за доказанных Гёделем теорем о неполноте

(«Закон Гёделя») и о влиянии следствий из этих теорем на развитие науки в целом и философии в частности. Кратко закон Гёделя Лем формулировал следующим образом: «Никакая достаточно большая система, вместе со своим алфавитом и своей грамматикой (или со своим конечным набором знаков и правилами их преобразования) НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ. Это значит, что для каждой такой системы (к ней относится математика, а в своей известной первой работе Гёдель ссылается на “Principia Mathematica” Рассела как также подверженную неустранимому правилу несовершенства) можно обнаружить истинные утверждения, правдивость которых не удастся доказать внутри этой системы ЕЕ правилами (доказанными из нее трансформационными правилами)» [15, с. 157]. Как обратил внимание Лем в своем романе «Глас Господа», «первый [Рассел] обнаружил трещины в фундаменте хрустального дворца, а второй [Гёдель] расшатал сам фундамент» [3, с. 355]. «Из теоремы Гёделя вытекает существование островов и архипелагов математической истины, отделенных от континента математики бездной, которую нельзя преодолеть шаговыми процедурами» — это уже из лекции суперкомпьютера Голема XIV [2, с. 390]. (Кстати, Лемом была написана специальная лекция Голема XIV о математике, но, к сожалению, опубликовать ее он не решился и, скорее всего, уничтожил — в архиве писателя эта лекция не найдена; наверняка там было много слов о Гёделе.) О величайшем значении доказанного Гёделем Лем говорил и писал: «До Давида Гильберта включительно математика проводила непрерывную кампанию против многозначности, выстраивая свои логические навыки, чтобы искоренить “туманную” поливалентность естественного языка. Однако открытие Гёделя о неполноте математических систем положило конец вере и надеждам Гильберта на аксиоматизацию математики. Кажется, что есть какое-то весьма интри-

гующее соответствие между фактами физики и фактами, установленными открытием Гёделя. Так же, как часть Вселенной, понятая и исследованная макроскопически теориями Эйнштейна (особенно общей теорией), распадается из-за черных дыр, логически абсолютная доказуемость всех утверждений во всех математических системах терпит неудачу, как только наталкивается на “математические дыры” в форме верных теорем, которые возникают в системе, но чью истинность можно доказать только средствами “более богатой”, то есть иерархически более широкой, системы» [374, р. 94]; «Кстати, я считаю доказательство Гёделя константой для всей метагалактики, возможно, даже всей Вселенной» [374, р. 96]; «Я считаю утверждение Гёделя (о неполноте больших формальных систем) космической постоянной, примерно такой, как заряд электрона» [15, с. 183].

К теоремам Гёделя Лем неоднократно обращался в своих рассуждениях. О языках: «Мечтой многих, и прежде всего неопозитивистов (и молодого Витгенштейна), была такая “атомизация” языка, которая придала бы ему строгую однозначность. Это невозможно. Язык, а точнее все языки, которыми пользуются люди, потому неоднозначны, полиинтерпретационны, “размазанны” в своей контекстной и конотационной природе, что тем самым они обходят пропасти, которые открыл Гёдель в своем известном доказательстве несовершенства таких “богатых” систем, как арифметика. Всем языкам людей характерна определенная неустранимая “мутность”, и одной из первоначальных причин выкристаллизовывания из этнических языков надэтнической (ибо единой для всех землян!) математики была именно попытка устранения этой мутности. Язык обеспечивает то, что даже если вид математических формул (например, это хорошо видно в квантовой механике) универсален, остаются многочисленными интерпретации этих формул, и даже взаимно

противоречивыми» [178, s. 156-157]; «Язык своей широко-значностью, своей относительной “туманностью”, конотационной доопределенностью значений, атакованных гёделевской заразой (именно так хочется сказать: заразой, открытой этим великим математиком, как в свое время Левенгук открыл бактерии), отвечает панлингвистической стойкостью. Это, разумеется, имеет свою цену: обходить пропасти удастся, но результатом этого является именно многозначность выражения, сентенции, высказывания, книги, ба — даже совершенно простого предиката» [178, s. 169-170]; и подробно в специальной статье «Языки и коды» [15, с. 155-165]. О представлении знаний: «Излишек точности, то есть желание добраться до абсолютно точного языкового описания понятий, ведет в формальные системы, после чего мы падаем в страшную бездну, открытую Куртом Гёделем» [15, с. 13]; «Наш язык и каждая его разновидность благодаря своему составу, лексикографии, фразеологии, а также идиоматике избегает ловушек и предательских капканов, присутствие которых в каждой арифметически замкнутой системе открыл великий Гёдель, но бывает обманчивым, когда мы ведем дискуссии, основанные на аргументах разной степени проверяемости и силы. Язык — это и наша сила, и иллюзорная слабость, поэтому науки тесным строем «отступают» в сферу математизации, где их, однако, подстерегает гёделевская западня...» [15, с. 94]. О переводах с одного языка на другой: «Создается впечатление, что формальные процедуры действительно имеют ограничения, вытекающие как следствия из теоремы Гёделя о неполноте дедуктивных систем, и что чисто алгоритмическими методами невозможно с настоящей эффективностью переводить с одного естественного языка на другой, поскольку между ними не существует отношений взаимно однозначного соответствия» [1, с. 215]; «Нельзя преодолеть несводимость литературоведения к математике. Язык

фундаментально нематематизируем (в смысле Гильберта); просто невозможно обойти коллапс Гёделя. Но нет повода расстраиваться. Каждое произведение, даже необязательно произведение художественной литературы, интерпретируемо своими читателями несколькими способами, и ничто не может свести это положение дел к однозначности и единственности (естественно, тоталитарные диктатуры могут навязать определенную общепринятость чтения, но какое это имеет отношение к правде?). Другими словами, я не подписываюсь под точкой зрения, что литературоведению вообще следует навязывать математизацию; для нее это было бы прокурстовым ложем» [374, p. 106].

Приверженцем и популяризатором идей Венского кружка стал американец **Уиллард ван Орман Куайн** (1908-2000), «считающийся одним из величайших логиков и философов. Он особенно известен благодаря своей оригинальной работе о двух догматах эмпиризма, в которой доказал, что между аналитическими и синтетическими суждениями существует стертая, неустойчивая граница» [17, с. 751]. Кстати, в программировании именно по его фамилии «куином» («куайном», «квайном») называется программа, которая на выходе генерирует собственный исходный текст. Станислав Лем неоднократно обращался к работам Куайна для подтверждения правоты собственных рассуждений. В критике Дерриды: «В метафизике, в мистических картинах, романах, в тавоте, вываленном кучей на старый стул (Йозеф Бойс) как скульптурное произведение, т.е. в любой области искусств я в качестве архимедовой точки опоры (как утопающий хватается за соломинку) взял интересубъективно верифицируемый опыт, и поэтому не свалился в тот бездонный колодец, который Деррида буравит, вызывая величайшее уважение и восторг постхайдеггеристов и иных особ, живущих в абсолют-

ной изоляции от эмпиризма. Куайн, безусловно, был прав, когда говорил об опыте как границе поля всех наших теорий, принадлежащих самым точным наукам, об опыте, который сам нам это “поле теорий” разрушает, растягивает и разворачивает, и видим, например, что мы вынуждены выбросить теорию флогистона из-за теории, вводящей кислород в центр окислительных явлений (и здесь, в свою очередь, можно спорить, ибо от кислорода нам нужен только электрон его оболочки)» [178, s. 308]. В доказательстве множественности возможных искусственных разумов: «Как доказывал Уиллард ван Орман Куайн, двойственное деление суждений на аналитические и синтетические точно не выполнимо, так как в опыте существует какая-то помеха аналитичности, и не правда, что *nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu* [в разуме нет ничего, что отсутствовало бы ранее в чувственном восприятии (лат.)] (что означает, что наш мозг в момент рождения является — хотя очень слабо, очень начально — запрограммированным). Итак, закончу. Стоит опасаться, что “Единственного Разума” — единственного искусственного интеллекта, очищенного ото всех упомянутых и неупомянутых налетов, раз и навсегда создать не удастся. Ибо если разум (*Sapientia ex machine* [Разум в машине (лат.)]) удастся высечь, то уже *eo ipso* (тем самым) должны будут возникнуть различные виды (типы) разума. Точно так же, как это произошло с автомобилями, самолетами или ракетами. Может, это и звучит банально, но это — правда. Если бы разум был возможен только “один-единственный”, тогда бы все (подобным образом воспитанные и образованные) люди знали, а также верили бы точно в одно и то же. А нам прекрасно известно, что так хорошо не было и нет» [15, с. 399]. В определении момента, когда появляется человеческое существо: «Известный американский логик Куайн сказал, что кольцо клетки может разделиться на две или три части (то

есть получаются близнецы, тройняшки и т.д.), еще нельзя утверждать, что возникло некое идентичное само себе существо. До момента, когда клетка еще может делиться, существуют только будущие возможности или — если угодно — чистые потенции» [16, с. 633]. В критике структурализма лингвистики: «Куайн доказал, что как определение фонема, так и выделение класса грамматических правил не могут быть осуществлены формально без привлечения семантических понятий синонимии и значения (как значимости). Мортимер Таубе (...) сравнивал по последствиям это доказательство Куайна со знаменитым доказательством Гёделя» [67, только в изд. 1, с. 260]. Некоторые исследователи отмечают близость взглядов Лема и Куайна в части системного понятия знания, в эпистемологии, в онтологии и даже в идеологии [364, с. 142, 158]. (Предполагается, что главный герой романа «Глас Господа» математик Хогарт — это собирательный образ на основе биографий математиков-философов Рассела, Куайна и фон Неймана [364, с. 414].)

Один из основателей современной теоретической физики и философ науки **Альберт Эйнштейн** (1879-1955) — самая упоминаемая личность в работах Лема: и в дискурсионных, и в художественных. Это, конечно, следствие также того, что Эйнштейн был его «юношеским идеалом» [131, с. 62]. При этом Лем очень часто использовал фамилию «Эйнштейн» в качестве синонима слову «гений», интересовался истоками его гениальности: «В последнее время довольно много говорили о последних результатах исследования мозга Эйнштейна, отличающегося значительными размерами теменных (парие-тальных) долей. Однако нет оснований утверждать, что гениальность Эйнштейна была следствием лишь этой исключительной макроскопической особенности его мозга. (...) Ничего не известно о том, чтобы родители или предки Альберта

Эйнштейна отличались особыми способностями, которые могли бы передаться создателю теории относительности. Тщательные статистические исследования на большом материале нескольких человеческих поколений не дали однозначных результатов, поскольку не каждый одаренный особыми способностями человек признавался окружением таковым» [15, с. 633-634, 636].

Лем всесторонне изучил и проанализировал творчество Эйнштейна и отобразил его во всех своих философских монографиях, в каждой — с разных сторон в соответствии с главным замыслом своей книги и с собственными оценками и выводами. Приведем несколько фраз Лема со ссылкой на Эйнштейна из этих монографий. Из «Суммы технологии»: «Одна и та же теория по отношению к одним явлениям может быть феноменологической, а по отношению к другим — объясняющей. Например, теория Ньютона объясняет законы Кеплера, которые имеют чисто феноменологический характер, поскольку описывают обращение планет, но не объясняют, почему они обращаются именно так, а не иначе. В свою очередь, сама теория Ньютона — в сопоставлении с теорией относительности — оказывается феноменологической, потому что она не объясняет свойств гравитационного пространства, а лишь принимает их как данное, тогда как эйнштейновская теория ставит метрику пространства в зависимость от наличия в нем гравитирующих масс. Но и «объяснительная мощность» теории Эйнштейна тоже имеет свои ограничения, поскольку теория эта не вскрывает, «что такое гравитация». Впрочем, объяснение всегда является ступенчатым процессом, который должен остановиться в каком-то месте; это — сопоставление одних фактов (формально уже обобщенных) с другими обобщениями; и всему этому не видно конца. Во всяком случае, как показывают примеры, старая теория, входящая в состав новой, «демаскирует» свой феноменологический характер; но пока этого не произойдет, суждения специалистов по

этому поводу могут быть (и бывают) различными. Чем руководствуются в такой ситуации специалисты? Их позиция зачастую предопределяется факторами психологического порядка. Так, например, Эйнштейн считал квантовую механику феноменологической теорией, поскольку не мог согласиться с принципиально статистическим характером микроявлений (“Господь Бог не может играть с миром в кости”). Я считаю, что если научную теорию можно не только подвергнуть проверке опытом и не только вмонтировать в уже возведенное здание “информационной структуры” всей нашей науки, если, помимо этого, ее можно еще и переживать субъективно, испытывая ощущение, будто благодаря этой теории мы обретаем особое состояние “понимания сути дела”, дающее нам интеллектуальную удовлетворенность, то это вроде как люкс-надбавка и ее следует принимать с сердечным благодарением, но нельзя домогаться в категорической форме, всегда и от всех явлений. (...) Эйнштейн был абсолютно убежден в объективном и не зависящем от человека существовании внешнего мира, равно как и в том, что человек может познать план его строения. И все же это можно понимать по-разному. Разумеется, каждая научная теория является шагом вперед по сравнению с предыдущей (теория гравитации Эйнштейна по сравнению с теорией Ньютона). Однако на этой основе нельзя с логической неизбежностью заключить, что существует, точнее, что может существовать “окончательная теория”, которая завершит путь познания» [1, с. 409-410, 588]. Из «Философии случая»: «Поскольку мы стоим на эмпирической позиции, имеет смысл добавить, что дело не обстоит так, как бывало в точных науках, когда вновь возникавшие новые теоретические конструкции сразу заполнялись реальным десигнативным содержанием. Так, например, знаменитые формулы Эйнштейна по существу отличаются от формул Лоренца (например, в плане влияния скорости тела на его длину, измеренную в направлении его движения) только тем, что Эйнштейн придал физическое — следовательно, реальное — содержание кон-

струкциям, которые Лоренц считал “скорее всего формальными” и таковым содержанием не обладающими. (...) Наука ставит себе целью предвидение будущих состояний мира, опираясь на знание прошлых состояний. Это становится возможным благодаря теориям — языковым моделям связей, имеющих место в реальном мире. Эти связи — инварианты больших классов явлений. Например, уравнение Эйнштейна об эквивалентности энергии и массы, умноженной на квадрат скорости света, — инвариант для класса явлений, равного “содержанию всего космоса”. (...) Предположим, что мы ничтоже сумняшеся изобрели новый вариант “общей теории относительности” — только не в физике, как это сделал Эйнштейн, а в истории. Так вот, если бы мы ввели такое обобщение относительности, которое за изменчивостью судеб человека в обществе вскрывает их инварианты, как теория Эйнштейна раскрыла инварианты космоса, тогда рецепты долговечности для художественного произведения (предполагая, что у него непреходящая проблематика) можно было бы сформулировать приблизительно с помощью того, что называют тематическим подходом. Для наблюдателей, находящихся в относительных системах отсчета с различными ускорениями, одни и те же физические явления представляются различными и потому не сводимыми к единству. Однако путем ковариантного преобразования основных параметров можно привести эти явления к тому, чтобы они совпали друг с другом. Если бы в распоряжении наблюдателя общественных явлений был некий эквивалент теории Эйнштейна, этот наблюдатель, применив аналогичное преобразование, мог бы выявить многоаспектное сходство между разными эпохами. (...) Если в исследовании нам недостаточную помощь оказывают теории Эйнштейна, нет смысла возвращаться к Птолемею или к вавилонским космогониям» [13, с. 125, 174, 475-476, 713]. Из «Фантастики и футурологии»: «Предпочтения общего плана, которые характерны для выдающихся ученых, несомненно, глубоко коренятся в свойственном им типе личностной

структуры. Ведь нельзя считать, что Эйнштейн возражал против стохастически-неопределенного подхода к микрофизике только потому, что был «слишком старым», чтобы понять смысл того переворота, каким квантово-индетерминистские новации опрокинули классическую физику, или потому, что ему уже не хватало интеллектуальной смелости для перехода на новые позиции. Разумеется, это не так. Именно Эйнштейн принадлежал к первооткрывателям квантовой микрофизики. То есть по своей природе его сопротивление не было ни догматическим окостенением, ни интеллектуальным бессилием. В нем возобладал его генеральный принцип подхода к миру явлений, а такой принцип не может не выражать самые глубинные основы личности» [13, с. 85].

При этом Лем тщательно разбирался с теоретическими работами Эйнштейна по физике и даже в одном из писем фактически сделал небольшой доклад о тахионах и об общей и частной теориях относительности [128, s. 123-124]. При этом Лем отмечал: «Интересуют не слова, не понятия, а СТИЛЬ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ РАБОТЫ, и, как говорил Абель, нужно читать “всегда учителей, никогда учеников”. То есть не что об Эйнштейне расписывают философы, а что он сам по вопросам, например, эпистемическим писал» [128, s. 36]; «Не так давно Эйнштейн был для идеалистов материалистом, для материалистов — идеалистом, а теперь все его сообща аннексировали. Я сказал бы, что вообще любая философия, которая в таком смысле вмешивается или пытается вмешаться в процессы познания мира, это правило “немешания” нарушает» [17, с. 429]. Рассматривая вопросы создания систем виртуальной реальности (по Лему — фантоматики) и искусственного интеллекта, в качестве одного из аргументов, что дорога к созданию таких полноценных систем еще очень долгая, Лем приводил и такой: «Сложнее было бы исполнить мое желание побеседовать с Альбертом Эйнштейном о теории относительности. Ибо создать фантоматическую девушку значительно проще, чем воспроизвести разум гения. Компьютер,

имитирующий Эйнштейна, должен быть таким же умным, как сам Эйнштейн» [165].

Теориям Эйнштейна Лем отвел много места и в лекциях своего суперкомпьютера «Голема XIV». Голем XIV, а значит, сам Лем, отвечает на вопрос об ошибках Эйнштейна: «Спрашивающий — автор книги об Эйнштейне — думает, что ошибкой Эйнштейна я считаю его упорный труд над общей теорией поля во второй половине жизни. Увы, дело было хуже. Эйнштейн жаждал совершенной гармонии мироздания, то есть его постижимости без изъятий, и потому до конца жизни не мог примириться с принципом квантовой неопределенности. Он видел в нем не более чем временную завесу; отсюда его известные изречения, что, дескать, Бог не играет в кости, что “Бог изощрен, но не злонамерен”. Четверть века спустя после его смерти вы, однако, добрались до границ эйнштейновской физики, когда Пенроуз и Хокинг установили, что в нашей Вселенной нельзя построить физику без сингулярностей, то есть таких мест, в которых физика перестает действовать. (...) Эйнштейновская физика оказалась неполной: умея предсказывать собственные провалы, она была не способна по-настоящему понять их. Мироздание злонамеренно подшутило над непоколебимой верой Эйнштейна, ведь для того, чтобы им могла управлять совершенная физика, в нем должны содержаться несовершенства, этой физике неподвластные. Бог не только играет с мирозданием в кости, но и не позволяет заглянуть в стаканчик. Обнаружение ограниченности очередной модели мироздания — дело обычное в истории вашей науки, но тут случилось нечто похуже: потерпел поражение познавательный оптимизм Эйнштейна. (...) Нечто ужасающе забавное вижу я в этом здании, полную постижимость которого без ограничений столь доверчиво исповедовал Эйнштейн — именно он, творец теории, поставившей под вопрос его веру, ведь именно его теория ведет туда, где сама она рушится и где должна рухнуть любая теория, — в разрывы Универсума. Ведь она предсказывает эти разрывы, эти

бреши, и хотя ей самой они недоступны, все же выйти из Универсума можно в любом месте, лишь бы нанести ему удар такой силы, на какой способна коллапсирующая звезда» [2, с. 388-389, 416].

Лем очень интересовался и биографией Эйнштейна: «Я изучал истории людей, выполнивших перевороты в науке; знаю (и имею) много биографий, например Эйнштейна, к которому питаю особое расположение. Я пытался создать образ героя, используя его в качестве прототипа: им является ученый Гообар в “Магеллановом облаке”. Я испытываю уважение к научному творчеству, выходящему за пределы эрудиции» [57]; «Удивительно, что в художественной литературе (...) почти нет ученых, а это особый вид. Некоторые святые, как Эйнштейн, но некоторые — чудовища, и не дай бог, если они получают власть над миром. Впрочем, думаю, что пасквиль на Эйнштейна (не как *vie romanesque* [биографический роман (фр.)], а используя его в качестве модели) был бы необыкновенно интересным. Был он обречен на непрерывные размышления, и был он многосторонне трагической личностью, ведь то, за что знаменит, сделал после двадцатого года жизни, а затем полвека работал над тем, из чего абсолютно ничего не получилось (теория поля), — и не перестал верить, что он прав, ибо “Бог не играет с миром в кости”. Интересно, не ошибся ли он когда-нибудь с именем, обращаясь к следующей жене. Был он таким необычайно объективным, благородным и рассудительным человеком, что это вызывает подозрение» [131, s. 51-52]; «Недавно я прочитал поразительные вещи о характере Эйнштейна, якобы Майя, его сестра, отмечала в своих воспоминаниях его агрессивную вспыльчивость, он мог кинуть табуретку в раздражающую его особу и поколачивал ее (сестру) — и вовсе не в детском возрасте! (...) Я с удовольствием посмотрел бы эти воспоминания сестры Эйнштейна, потому что всегда мне весь этот Эйнштейн казался слишком монументально совершенным и потому неправдоподобным» [131, s. 79-80]; «Нужно написать, и я хочу, рецензию на несколько

биографий Эйнштейна, но все они, которые у меня здесь есть, не многого стоят, стереотипные — он был таким добрым, спокойным, рассудительным, лояльным, но был также, как я думаю, настоящим Чудовищем. Возможно, Чудовищем Героическим, потому что в определенном смысле был беспощадным к себе, как и к другим. Впрочем, мне кажется, что стереотип, в соответствии с которым или приводятся к сведению историйки из жизни гения (Э.), или целыми разделами не совсем удачно пересказываются его теории — проходят мимо человека, о котором в результате оказывается почти ничего не известно» [131, s. 657]; «Об Эйнштейне прочитал очень интересные вещи как о ЧЕЛОВЕКЕ, но НЕ там, где пишут о деле его жизни, а он сам в автобиографии описал теорию относительности, ибо ЭТО было смыслом его жизни, а не matrimoniaльные перипетии» [133, 06.03.1988].

Лем отметил особую роль, которую сыграл Эйнштейн в запуске процесса создания атомной бомбы в США: «Если бы Гитлер не был антисемитом, и если бы все талантливейшие физики из Германии и Венгрии вместе с Эйнштейном не сосредоточились как беженцы в Соединенных Штатах, и если бы Эйнштейн не написал письмо Рузвельту, то Гитлер мог бы победить Советскую Россию и мы бы никогда не освободились из немецкого плена. Даже страшно об этом говорить» [401, s. 3]; «Уже в марте 1939 года физики попытались заинтересовать правительство Штатов возможностями урана. С этой целью организовали встречу Ферми с представителями Военно-морского ведомства. Однако военные не приняли слова ученых всерьез и избавились от них, произнося ничего не значащие благодарности. Тогда Силард и Ферми в поисках человека с как можно большим авторитетом обратились к Эйнштейну, чтобы тот написал письмо президенту Рузвельту. Следует остановиться на этом драматическом моменте. Не просто было заинтересовать политиков вопросами урана. Для доказательства своих предположений ученые не имели ничего, кроме ряда непонятных схем и горсти разрозненных фактов

из лабораторий. Цепную реакцию, проходящую с освобождением энергии, еще никто не наблюдал; она существовала только на бумаге. Даже среди физиков находились сомневающиеся в ее осуществлении. И речь шла о создании нового разрушительного средства. Такое применение открытых свойств урана представлялось впервые. Почему? Сложно осуждать — возможно, причиной было повсеместное состояние умов на пороге новой войны. Тем не менее на неизвестное миру средство массового уничтожения должен был обратить внимание американского правительства Эйнштейн — человек, который всем ходом своей жизни, всеми выступлениями демонстрировал, что является пацифистом и более всего опасается вторжения властей и политиков в дела науки. Только необычные и опасные обстоятельства могли вынудить его перечеркнуть жизненные убеждения. Эйнштейн знал, что впервые уран был расщеплен в Германии, что там находится много выдающихся физиков и что правительство Гитлера ничего не пожалеет, чтобы добиться господства над миром. Эйнштейн не сомневался, что известнейшие немецкие ученые (...) всем своим знанием будут помогать Гитлеру в создании средств уничтожения. И он как никто понимал, что это означает в руках фашистов. Второго августа 1939 года он, Эйнштейн, написал письмо президенту, начинающееся со слов: «Некоторые новые работы Э. Ферми и Л. Силарда, которые мне показали в рукописи, привели меня к убеждению, что элемент уран может в ближайшем будущем стать новым и важным средством энергии...». Президент ответил незамедлительно. Возникла правительственная комиссия по вопросам атомной энергии. Ученые получили первую дотацию в размере 6000 долларов. Это было не много в сравнении с последующими миллиардами. Но это было также начало» [58, 135-136]; «Эйнштейн, один из наиболее мирно настроенных людей, своим письмом Рузвельту запустил механизм, который привел к появлению атомной бомбы. Он думал, что это гонка на скорость с учеными Гитлера. Но допустимо ли принимать в расчет намерения? (...) Познанию законов при-

роды всегда сопутствуют какой-то аверс и какой-то реверс. Чувство вины, преследовавшее Эйнштейна до самой смерти, — это моральные издержки профессии ученого» [135].

Лем отмечал своеобразный юмор Эйнштейна: «О литературной юмористике знает каждый, о научной — почти никто. В профессиональной работе и публичных выступлениях ученый должен сдерживать намерение пошутить, что иногда дается ему с трудом, так как разум идет в паре с воображением, а оно — с чувством юмора. Правда, и до широкой общественности добираются своеобразные юмористические, но содержащие важный смысл высказывания научных светил, как, например, известные замечания Эйнштейна “Бог не играет с миром в кости” (афористический отказ от принципа квантовой неопределенности) и “Бог изощрен, но не злонамерен” (кредо оптимистического с точки зрения познания мировоззрения)» [98]; «Говорят, что на вопрос о «первопричине» науки Эйнштейн ответил столь же забавно, сколь и метко: “Никто не чешется, если у него не зудит”» [1, с. 132]; «Не нужно объяснять, что такие афоризмы принадлежат истории науки, ее фольклору, а не набору ее утверждений по существу» [98]. И сам Лем не без юмора обыграл в своих художественных произведениях фамилию Эйнштейна. В большом и насыщенном научными и фантастическими идеями рассказе «Профессор А. Донда» (см. также [300]): «Окончательно подкосило Донду выступление доцента Богу Вамогу из Кулахари, который (...) представил работу под названием “Камень как движущий фактор европейской мысли”. В фамилиях людей, утверждал доцент, сделавших переломные открытия, часто встречается слово “камень”, что следует, например, из фамилии величайшего физика (ЭйнШТЕЙН), великого философа (ВитгенШТЕЙН), великого кинорежиссера (ЭйзенШТЕЙН), театрального деятеля (ФельзенШТЕЙН). В той же мере это касается писательницы Гертруды СТАЙН и философа Рудольфа ШТЕЙНера. Касаясь биологии, Богу Вамогу назвал основоположника гормонального омоложения ШТЕЙНаха и, наконец, не преминул

добавить, что Вамогу по-лямбийски значит “камень всех камней” [5, с. 479-480]. А одним из героев «Путешествия восемнадцатого» из «Звездных дневников Ййона Тихого» является ученый Разглыба [5, с. 148-160].

Не обошлось и без курьезов, связанных с Эйнштейном: «Из Минска один преподаватель термодинамики политехнического института, он же профессор, прислал мне восторженное письмо с приложением своей книги о термодинамике, обращался ко мне “коллега”, жаль только, что в письме также написал, что он меня понимает, и поэтому я должен понять его, потому что он ни в какие теории Эйнштейна не верит, но он в такое время, как сейчас, не может, к сожалению, об этом Эйнштейне написать так, как следовало бы, то есть разнося его вдребезги. И у меня не поднимается рука написать этому милому типу, потому что я всегда несколько сторонился дураков, а здесь имеем дело с сумасшедшим с ученой степенью и даже профессором» [134, 03.07.1969].

И в заключение Лем о себе: «Эйнштейн, когда его попросили написать автобиографию, рассказал не о событиях своей жизни, но о своих любимых детищах — своих теориях. Я не Эйнштейн, но в этом отношении близок к нему: главным в своей биографии я считаю нелегкий духовный труд. Все остальное — житейские пустяки» [140, с. 25; 3, с. 26].

С основополагающими работами отцов кибернетики и информатики **Норберта Винера** (1894-1964), **Джона фон Неймана** (1903-1957), **Алана Тьюринга** (1912-1954) и **Клода Шеннона** (1916-2001) Лем ознакомился фактически сразу после их опубликования, при этом по некоторым их книгам учил английский язык: «Выбирал лучшее — Норберта Винера “Кибернетику” и Шеннона “Теорию информации” — и со словарем продирался через них целыми ночами. Сильным я был тогда — как две или три лошади» [204, s. 188]; «Таким образом я познакомился с кибернетикой Норберта Винера, с теорией информации К. Шеннона, с трудами Джона фон Неймана,

которые произвели на меня огромное впечатление, с теорией игр и так далее» [17, с. 645]; «Я читал почти как Шампольон, расшифровывающий иероглифы на египетских гробницах, — медленно, страница за страницей, со словарем в руках. Потом у меня стало получаться все быстрее и таким образом я разобрался с этим языком. Правда, до сих пор я говорю по-английски не очень хорошо, но читаю и пишу свободно» [16, с. 52]. И полученные таким тяжелым трудом знания во многом повлияли на мировоззрение Лема: «В винеровской и шенноновской кибернетике я увидел начало новой эпохи, и притом не только в технике, но и в цивилизации; тогда, однако, кибернетика считалась у нас “лженаукой”. В те годы я был особенно хорошо информирован о новейших научных течениях. (...) Набравшись так ума-разума, я в течение нескольких лет написал романы, за которые мне и теперь не стыдно, — “Солярис”, “Эдем”, “Непобедимый” и т.д.» [140, с. 16; 3, с. 18]. А до этих романов Лем написал первую философскую монографию — «Диалоги», в которой свои размышления «старательно переложил на язык кибернетики» [16, с. 56]. Для второго издания «Диалогов» Лем написал большое дополнение «Диалоги шестнадцать лет спустя», в котором в разделе «Утраченные иллюзии, или От электроники к информатике» [14, с. 303-340] рассмотрел состояние дел в кибернетике, отдав должное ее основоположникам: «Разочарование в кибернетике после двух десятилетий ее существования — частично практического, а частично теоретического свойства. (...) Известно, что отцы кибернетики — Винер, Шеннон, фон Нейман — с самого начала предостерегали от чрезмерного оптимизма видеть в кибернетике универсальный ключ к познанию. Но известно также, что сами они не смогли избежать ни эйфории вследствие ее успехов, ни завышенных ожиданий по ее поводу. (...) “Отцы” были по образованию математиками, но только Винер ближе всех был к чистой математике: фон Нейман, ум несомненно гениальный, занимался “всем понемногу” — квантовой механикой, теорией автоматов и инфор-

мации, химией, биологией, даже нейрофизиологией; Шеннон, в свою очередь, был инженером связи. Непонятными также были — и таковыми, собственно, и остались — отношения между кибернетикой в конкретном понимании (сюда относится теория систем, имеющих входы и выходы, с обратными связями, а также их всевозможными модификациями, с участками гомеостаза, самоорганизации) и т.п. ей и их относительно автономными областями, такими как теория информации Шеннона, а также еще менее связанными с кибернетикой и более независимыми направлениями — от теории динамического программирования до теории методов организации. (...) Наряду с неудачами в области теории познания (...) кибернетику постигло фиаско и на других направлениях. Относительно многие исследователи считают, что понятие информации Шеннона как бы зависло в пустоте или же осталось “недоработанным”. (...) Это совсем не означает, что я пессимист по отношению к будущему кибернетики, я просто не верю в то, что какое-нибудь терминологическое или концептуальное изобретение, какая-нибудь там революция в области понятий могут способствовать радикальному перелому, сделать кибернетику многосторонне результативной гностически — и тем самым с лихвой отдать долги, каких она понаделала, провозглашая амбициозные лозунги и программы у истоков своего возникновения. Фиаско в других областях — более практического свойства: крах надежд создания “усилителя интеллекта”, машины для перевода, машины, имитирующей, в конце концов (хотя бы только в сфере лингвистики), человека (это была программа Тьюринга), — связано, я думаю, с теми не предвиденными вначале трудностями, с какими столкнулась теория автоматов — или, если говорить менее возвышенно, попросту компьютерная техника. Крах надежд был обусловлен тем, что компьютерное программирование сталкивается с трудностями непредвиденными и вообще не существовавшими по мере того, как необходимые программы становятся все более сложными».

В 1965 г. Лем назвал Винера наиболее ценным им ученым [64] (и в 1969 г. тоже [75]), а объясняя свой отказ от поездки в США, написал другу: «Меня Гарвард не привлекает. Я бы поехал, если б можно было поговорить с мудрецами, но увы — Винер лежит в могиле, я с языком слабо, а увидеть Нью-Йорк?» [130, s. 383]. Тогда же на вопрос о своей эрудиции Лем ответил: «Информацию необходимо вводить в себя ежедневно, как пищу. Для этого нужно терпение. Еще Винер показал, что чем больше содержится в системе упорядоченной информации, тем лучше ее энтропийные, энергетические возможности, качества. Когда я пишу книгу, то упорядочиваю в ней свои знания наиболее стройным образом. Поэтому, хочу я этого или нет, мои книги получаются как бы умнее меня самого» [65]. Находил Лем даже некий параллелизм в своем творчестве и творчестве Винера: «Полной загадкой для меня остается то, почему проблема, содержащаяся в “Солярисе”, а сейчас в “Маске”, так меня захватила, что возвращается (окончательное разрешение проблемы отношения Создателя к Созданному существу, что-то à la последняя книга Винера “God & Golem Inc.”)» [131, s. 278]. Понятно, что не мог пройти мимо Винера Лем в своем труде «Сумма технологии», например в главе «О морали гомеостатов»: «Вред, который гомеостаты наносят рабочим, можно, разумеется, ограничить, введя в исходную программу (в «аксиоматическое ядро» поведения) статьи трудового законодательства, обязательного для всех выступающих на рынке производителей; но тем самым может быть увеличен вред для конкурирующих фирм или производителей стали в других странах. Однако самое важное состоит в том, что «черный ящик» не знает, когда именно он действует во вред кому-то, и от него нельзя требовать, чтобы он информировал людей о таких последствиях принимаемых им решений; ведь ex definitione никто из людей, в том числе и конструктор-проектировщик, не знает его внутренних состояний. Внедрение гомеостатических регуляторов приводит к последствиям такого рода. Их-то и имел в виду Норберт Винер, когда в новом

издании своего основополагающего труда “Кибернетика” посвятил отдельную главу непредвиденным результатам деятельности гомеостатов. Могло бы показаться, что опасность такого рода можно устранить в зародыше, создав “черный ящик” высшего типа в качестве “машины для управления”, но не людьми, а подчиненными ей “черными ящиками” отдельных производителей. Последствия такого шага оказываются чрезвычайно интересными» [1, с. 166]; в главе «Сомнения и антиномии»: «Господствуем ли мы сами, каждый из нас, над своим телом? Только в очень узком диапазоне параметров: остальные нам “заданы” предусмотрительной Природой. Но никто не может “задать” нам, то есть наладить за нас, регулирование очень сложной общественной системы. Опасность, о которой говорил Винер, состоит в том, что к положению, когда мы уже вынуждены будем требовать «интеллектуальной подмоги», прогресс подводит нас незаметно и постепенно, а в тот момент, когда мы начнем утрачивать ориентировку в целом и, следовательно, способность к контролю, цивилизацию в отличие от часового механизма нельзя будет остановить — она должна будет “идти” дальше» [1, с. 230]. И в целом: «Кибернетика совсем не далека от понимания тщетности сущего; в “Human Use of Human Beings” Винер четко говорит, что мы являемся экипажем планеты, которая должна пойти на дно, но может осуществить это, по крайней мере, достойным образом. Я хотел бы быть на волос большим оптимистом, о чем свидетельствовать может “Сумма”» [130, s. 317-318].

Лем неоднократно со ссылкой на Винера писал о последствиях развития кибернетики. Например, о безработице: «Норберт Винер, отец кибернетики, в книге “Human Use of Human Beings” полвека тому назад предсказал безработицу, вызванную расширяющейся массовой автоматизацией все большего числа производственных процессов. Кто не видел на TV одного из многих японских автомобильных заводов, схожего с трассой, по краям которой крутятся как шальные крашенные (как правило, в желтый цвет) большие роботы, в отсут-

ствие человека складывающие, сваривающие, заворачивающие элементы кузова, моторов, соединений? Эти безлюдные фабрики уже появляются, и поэтому безработица становится (как утверждают некоторые экономисты и инженеры) неотвратимо прогрессирующим явлением, небезопасным для общества, поскольку работа автоматов-роботов дешевле, а зачастую и точнее, чем работа людей, поскольку роботы, армия которых перевалила уже за триста тысяч, не требуют ни еды, ни зарплаты, ни отдыха, ни отпуска, ни пособий, ни социального страхования на старость (“на старость” роботы идут как отходы на свалку)» [15, с. 57-58]; «Полвека тому назад Норберт Винер в книге “Human Use of Human Beings” предвидел возможность наступления эпохи безработицы, вызванной теми или иными последствиями автоматизации, которые все вместе будут внуками или правнуками кибернетики, чья концепция была заложена самим же Винером» [15, с. 547]; «Безработица как результат всеобщей автоматизации может стать бедствием XXI века, и думать об этом следует уже сейчас» [15, с. 117]. О «машине для управления государством»: «Когда была издана “Кибернетика” Норберта Винера, один доминиканец в Париже написал, что на горизонте уже показалась машина для управления. Тогда мне это не понравилось, а сейчас думаю, что это был бы не худший вариант. Машина не ворует, машину нельзя коррумпировать, машине безразлично, будет ли она наибольшей и наиболее важной — поэтому, собственно, почему нет?» [210]; «Считаю, что человечество никогда не объединится, а это было бы последним условием для начала реализации идеи, которую доминиканец отец Дюбарль выдвинул в 1948 году в “Le Monde” после появления “Кибернетики” Норберта Винера, а именно для конструирования “машины, управляющей всем миром”. Ни простые люди не согласятся на такого Хозяина Земли, ни a fortiori политики, от которых, как от руководителей, сверх их умственных способностей и талантов возросла зависимость человеческого бытия. Что в целом не уменьшило их амбиций или желания обладать властью» [15, с. 572].

Знаком был Лем не только с научными работами Винера: «В сфере научной фантастики периодически появляются на правах недолгих гостей профессиональные ученые, публикующие научно-фантастические тексты. Среди них можно назвать несколько выдающихся имен, например Норберта Винера (...). Норберт Винер в небольшом по объему рассказе описывает “мечь”, которую уготовил некий нейрохирург похитившему его гангстеру: во время операции он произвел глубокую лоботомию и тем самым настолько изменил интеллект пациента, что тот перестал быть ловким, заранее планирующим свои бандитские предприятия профессионалом, и конец его оказался печальным» [12, кн. 1, с. 517-518].

Джона фон Неймана Лем считал «одним из умнейших ученых нашего столетия» [172], писал, что он «один из творцов современной науки, возможно, последний “ренессанс-универсалист”» [69]. Фон Нейман мог явиться причиной того, что «Сумма технологии» могла бы не увидеть свет, и одновременно явился причиной, что эта книга все-таки на свет появилась. Это следует из слов Лема из его предисловия к первой журнальной публикации «Суммы технологии» в 1962 г.: «Одним из людей нашего века, к которым я всегда испытывал глубочайшее восхищение, был сооснователь теории информации и теории игр великий математик Джон фон Нейман. После его преждевременной смерти была объявлена подписка на избранное (не “*Opera omnia*”) из его частично разбросанных по изданиям работ: только из этого сообщения я в полной мере сориентировался, какова была широта активного интереса фон Неймана, который оставил заметный вклад в областях, так отдаленных одна от другой, как чистая математика и физическая химия, метатеория самоорганизующихся систем и физика поля, химия ароматических соединений и программирование цифровых машин. Это выбор наугад из списка из сотни названий (фон Нейман также принимал активное участие в анализе определенных следствий теории относительности — впрочем, чем он не занимался!). Когда я

осознал, что этот человек со знаниями, поразительным образом превышающими мои, даже и не думал о едином, великом синтезе, понимая, видимо, тщетность такого предприятия, и все силы своей плодотворной жизни посвятил только тому, чтобы принимать участие в насколько возможно большем количестве направлений развития науки, вопреки тому “центробежному специализационному взрыву”, который мы только наполовину осознаем, но являемся полностью беспомощными свидетелями, я быстро спрятал все свои разбухшие машинописными листами папки в самый дальний ящик стола. То, что сегодня их достаю, не значит, что хотя бы на волос изменил свое мнение. Фон Нейман был прав — хотя об этом явно никогда не говорил; эта “правда” содержится в его конкретном, математически и лабораторно подтвержденном, по-ренессансовски всестороннем наследии. Я только подумал, что документ неудачи (но не художественной) может заслуживать внимания хотя бы как свидетельство одного из любимых занятий человека: стремление к целям недостижимым» [59].

Лем соглашался с выводом фон Неймана, высказанным им после создания атомной бомбы, что «отдельная личность не может отвечать за то, что делается во всем мире»: «Это разумно, ибо действительно каким является мое влияние на судьбы мира? Даже волос не могу себе с головы вырвать, потому что их уже нет. Если речь идет о личной ответственности за зло, то есть у меня на примете несколько особ, которых бы с этого света охотно удалил, но их не большое количество. Мог бы согласиться на сообщение в прессе: “С великим нетерпением ожидаем похорон Уважаемого Господина. Надеемся вскоре зажечь свечу на Вашей могиле”. Но, наверное, нет смысла об этом думать» [217].

На труды фон Неймана Лем многократно ссыался в своих рассуждениях на различные темы. Размышляя о футурологии: «Кризис технологического роста, ожидаемый приблизительно около 1985 г., предсказал Джон фон Нейман в статье, опубликованной в “Fortune” в 1955 г.» [80]. Размышляя о развитии

компьютерной техники и технологии: «Следующей стадией в компьютерной эволюции должна быть параллельная обработка данных — то, что происходит в наших умах. Я недостаточно знаком с современным состоянием теорий, которые были представлены сорок или пятьдесят лет назад, начиная с Джона фон Неймана и современных ему “основателей” кибернетики и заканчивая Клодом Шенноном, одним из первых информатиков. Тем не менее я думаю, что фон Нейман был прав, когда критиковал чисто итеративную, линейную, комбинаторную работу конечных автоматов. Верно, что их легче всего смоделировать математически, так как все алгоритмические рекурсивные функции поддаются легкой формализации, но пропасть, возникающая из работы Гёделя, может быть устранена только с помощью стратегий того же вида, которые были найдены методом проб и ошибок за прошедшие четыре миллиарда лет “математически несовершенной” эволюцией. Я боюсь, мы никогда не преуспеем в том, чтобы предложить что-то лучшее: если что-то, начатое четыре миллиарда лет назад, “испытывалось и допускало ошибки” четыре миллиарда лет, я думаю, трудно поверить в то, что мы, вероятно, найдем великолепный “кратчайший путь” к нашим нуждам и целям, который еще не был исследован эволюцией» [374, р. 105]. Размышляя о мозге и искусственном интеллекте: «Путь антропогенеза НЕ был оптимально прямым, а скорее “слаломным”, и потому мозг является местонахождением недостаточно скоординированных приводов и тормозов, и только нам, невеждам, мозг кажется превосходным устройством! Застой (и даже регресс мозговой массы в последнем периоде голоцена) проявляется в том, что дошло до загрязнения последовательностей очередных преобразований — от одной яйцеклетки до 10 миллиардов клеток организма — при постоянно нарастающем количестве ошибок. Количество очередных, руководящих эмбриональной структурой преобразований НЕ может быть произвольно большим, ибо определение фон Неймана (“надежная система из ненадежных элементов”) является исключи-

тельно идеализирующей аппроксимацией реального состояния. Система не является до конца надежной, количество шагов не может быть произвольно большим также из-за того, что наш мозг возникал путем разрастания новейших нейроструктур на основе нейроструктур прадавних видов. ТЕМ САМЫМ УЖЕ он не является ни конструктивным ОПТИМУМОМ, ни конструктивным МИНИМУМОМ, а является избыточным до уровня самоугрозы!» [15, с. 184-185]; «Вполне возможно, что человеческий мозг создан по закону, сформулированному Джоном фон Нейманом: “Надежная система из ненадежных элементов”. Любителей и энтузиастов создания искусственного разума ждет долгая дорога, полная преград и ловушек» [15, с. 579-580]. Размышляя о языке: «Структуралистское языкознание стоит на том самом пути, от которого предостерегал один из создателей кибернетики, Дж. фон Нейман, говоря, что после того как система проходит определенный уровень сложности, проще становится описать определенный “генератор” ее поведения, нежели само поведение; и что простейшим в этом смысле описанием так называемого “распознавания оптических образов” мозгом является не что иное, как схема нейронных связей этого мозга» [13, с. 92]. Размышляя о капитализме: «Работы фон Неймана показывают, что динамика общественных процессов имеет характер игры (в математическом, формальном смысле). Каждый, кто существует и намеревается выжить в капиталистической системе, должен принять ее правила игры, а они безжалостны. Никто тебя не спрашивает, хочешь ли ты принять их и сможешь ли их применить. Кто этого не умеет или не хочет, тот потерпит поражение. Экономические пертурбации, осцилляции рыночных обратных связей решают здесь человеческие судьбы. (...) Жизнь людей при капитализме не столько сотрудничество, сколько соревнование, и поэтому в ней проявляется очень много элементов игры — игры в том смысле, в каком эту человеческую область исследовал (...) Джон фон Нейман. Соперничество и конкуренция — про-

явления этой игры, выигрышем становится успех, жизненный или экономический, а проигрышем — банкротство, неудачи в жизни» [14, с. 201, 248].

Очень часто в своих художественных и дискурсивных текстах, особенно рассуждая об искусственном интеллекте, Лем ссылался на «машину Тьюринга» (он же «Универсальный автомат Тьюринга») и «тест Тьюринга». Например, в сборнике «Молох» Тьюринг упоминается 44 раза в таких статьях с красноречивыми названиями: «Человек и машина», «Информационный барьер?», «Компьютеризация мозга», «Вычислительная мощность жизни», «Модель эволюции», «Выращивание информации?», «Искусственный интеллект как экспериментальная философия», «Квантовый компьютер?», «Умные роботы», «Разум в качестве кормчего», «Игры в Интернете», «Заменить разум?», «Метаинформационная теория эволюции», «Искусственный разум?», «Естественный интеллект», «Душа в машине», «Роботехника» и др. (см.: Персоналии [15, с. 769]).

Лем писал, что «машина Тьюринга может на бумажной ленте реализовать как data processor каждый вычислительный алгоритм, каждую рекуррентную функцию» [15, с. 143] и представляет собой «неограниченный» автомат — «автомат, способный беспрестанно переходить из одного состояния в другое; он является абстракцией, так как требует бесконечно большого времени и такого же количества материала» [1, с. 201]; «Универсальный автомат Тьюринга, который является инструментом необыкновенно простым, может подражать любому другому дискретному автомату, а следовательно — в принципе — также и человеческому мозгу, лишь следует предоставить ему соответствующую программу действия. Однако любой, с Тьюрингом во главе, признает, что тождественными здесь могут быть результаты деятельности (мозга и автомата), но не само действие, и что автомат Тьюринга абсолютно “апсихичен”. Принципиально возможно, однако, создание устройств, находящихся между этими крайностями, которые представляют “несомненно

психический” мозг человека и «несомненно апсихический» автомат Тьюринга. Я вспоминал об этом в “Сумме”, и это свидетельствовало бы о том, что решение о приписывании данному автомату сознания в полной мере зависит от нас самих и имеет договорной характер» [17, с. 389]. О Тьюринге и его автомате Лем написал философскую сказку «О смеющемся Тьюринге», которая в качестве вставной новеллы была включена в роман «Магелланово облако» (в главу «Звездная Анна» [10, с. 208-213]).

О тесте Тьюринга Лем писал и говорил: «Английский математик Алан Тьюринг в работе “Может ли машина мыслить?” предлагает в качестве решающего критерия “игру в имитацию”, состоящую в том, что мы задаем Кому-то произвольные вопросы и на основании полученных ответов должны решить, является ли этот Кто-то человеком или машиной. Если отличить машину от человека не удастся, следует признать, что машина ведет себя как человек, то есть обладает сознанием» [1, с. 202-203]; «Долгое время я был почти убежден в том, что этот тест действительно может иметь решающее значение для определения того, о каком существе — разумном или нет — идет речь. Но сейчас я так не думаю» [172]; «В своих предыдущих произведениях я иногда высказывал сомнения по поводу того, можно ли принять тест Тьюринга в качестве безошибочного. Сегодня я сомневаюсь в этом больше, чем когда-либо. Результат теста зависит от 1) человека, проводящего тест, 2) программы и 3) производительности компьютера. Людей с не более чем средним интеллектом уже ввела в заблуждение как следует написанная программа» [374, р. 105-106]; «Я, например, будучи в положении человека, который должен проверить, идет речь о разумном существе или о машине, действовал бы следующим образом: я бы рассказал историю, сказку, анекдот, шутку и потребовал бы от этого аппарата повторить эту же историю, с тем же содержанием, но своими словами, с другими выражениями, исходя из своих возможностей. Дословное повторение по принципу граммофо-

на меня бы, конечно, не удовлетворило. Если бы это удалось, я бы сказал, что вероятность того, что мы имеем дело с машиной, стала меньше. Но окончательно решить я бы не смог» [172]; «Любой тест типа теста Тьюринга не может дать 100 % уверенности в том, имеем ли мы контакт с личностью или с ее имитацией. Впрочем, мы не имеем непосредственного доказательства того, что любой человек, кроме нас (кроме меня), имеет сознание и одновременно с этим имеет независимый интеллект; это предположение, признаваемое истинным, просто следует из опыта, из удобства и из того, что функционированием, строением “конструкторски” мы почти идентичны (как вид разумных животных)» [174]; «Тьюринг, например, предполагал, что в 2000 году уже нельзя будет отличить партнера-машину от партнера-человека. Это не осуществилось» [253]. При этом Лем подчеркивал: «Можно себе представить машину, выигрывающую тест Тьюринга с любым человеком, благодаря чему эмпирически будет принято доказательство, что машина может быть по крайней мере так же умна, как человек, но на основе этого утверждение, что с такой же уверенностью нам доказано, что эта машина обладает сознанием и самосознанием (сознание, что имеет сознание), подобно, к сожалению, тезису, что так как кот имеет четыре ноги, то всевозможные четырехногие являются котами» [258, Т. 29, s. 186].

О Шенноне Лем писал, что он «был своего рода Папой Римским для инженеров связи» [13, с. 137], а размышляя в «Философии случая» о восприятии наблюдателем таких объектов, как произведения искусства, Лем воспользовался понятием обычной шенноновской информации — это «статистическая, зависящая от вероятности сигналов, соотнесенная со спектром их распределения в данном наборе дискретных состояний. Такой информацией должен быть наделен объект в тот момент, когда человек начинает его постигать. Однако постепенно обнаруживая в этом объекте различные «внутренние связи», а именно формы, образы, смыслы и соотношения,

человек организует то, что *prima facie* выглядело неким хаосом. Это следует понимать так: если перед нами комплекс объектов или элементов, каждый из которых вполне “независим” от всех остальных, то для того чтобы воспроизвести все распределение (пространственное и т.д.) этих элементов, необходимо, чтобы к нам была направлена информация о каждом из них по отдельности. Напротив, если элементы образуют некую “структуру”, то уже не требуется столь значительного количества информации. (...) Формула математизированной эстетики говорит нам, что субъективно имеющее место уменьшение количества статистической информации, содержащейся в произведении искусства, есть мера его статистического упорядочения. Чем точнее нам удастся представить “первозданный хаос” в виде целостности, тем более значителен будет выигрыш в эстетической информации, которая измеряется разностью между шенноновской информацией и информационным избытком, остающимся после перцептуальной организации массива воспринятых данных» [13, с. 50-51].

Львовско-Варшавская школа аналитической философии была основана **Казимежем Твардовским** (1866-1938) и объединяла философов, логиков и математиков, наиболее яркими представителями которых были **Ян Лукасевич** (1878-1956), **Владыслав Татаркевич** (1886-1980), **Тадеуш Котарбиньский** (1886-1981), **Казимеж Айдукевич** (1890-1963), **Мария** (1896-1974) и **Станислав** (1897-1963) **Оссовские**, **Альфред Тарский** (1902-1983).

Лем вспоминал: «Когда началась война, мне было всего семнадцать лет. Я был слишком молод, чтобы знать, что в этом городе есть какое-то шотландское кафе, что там собираются известные логики и математики, что существует Львовская философская школа во главе с профессором Твардовским» [177, с. 111]. Но затем уже в Кракове благодаря Мечиславу Хойновскому Лем попал под влияние Львовско-Варшавской школы и под этим влиянием оставался всю жизнь. Об

Айдукевиче Лем писал: «Высокого класса, ясный разум, (...) в 48 лет издал краткое введение в философию — вещь великолепную своей простотой; его труды — это прагматическая логика, статьи, все это прямо обязательно для чтения, на Айдукевиче держится половина современной семантики и методологии, не говоря уже о логике. (...) Айдукевич — мирового уровня, он почти что единственный из круга школы львовских математиков, кого в мире продолжают и продолжают цитировать как основу. Бар-Хиллел, Карнапы — они все из него» [128, s. 34, 36]. По этим авторам самообразовывался и Лем: «Я Фому Аквинского НИКОГДА не читал и знаю о нем столько, сколько профессор Татаркевич в “Истории философии” написал» [133, 06.03.1988].

Лем с удовлетворением отмечал: «Получил (...) письмо от швейцарского издателя, который занимается публикациями научного характера и — что очень приятно — недавно издал три тома Татаркевича “История эстетики” и избранное из Айдукевича, то есть наших великих» [189, s. 25]; «Недавно мне прислали авторский экземпляр “Основ этики для учителей средних школ”. Напечатали там только “тяжелую артиллерию”, таких как Айдукевич, Колаковский, Оссовские — и меня тоже. Подумал: “Сколько здесь есть строгих и глубоких истин, сколько важных рассуждений наиболее выдающихся человеческих умов — и как это соотносится с земной практикой?”. А очень плохо. Ведь нет такого агрессивного дурака, который не нашел бы своих приверженцев, ибо всегда намного проще увлечь людей в сторону зла, чем добра» [170]. И огорчился: «Информация о том, что наша современная молодежь не хочет читать “Трилогию”, доставила мне большое огорчение. Отбрасывание Сенкевича является скорее всего решением, свободным от принуждения, в то время как отбрасывание почти целого поколения великих польских философов, от Айдукевича через Котарбиньского, Лукасевича до их учеников, было менее болезненно, так как следовало из сталинизма по чужому приказу» [195].

К терминологии Айдукевича Лем обращался в рассуждениях о сложностях перевода стихов: «Происходит такое сращение эмоциональных факторов с факторами семасиологическими и логико-семантическими (по определению Айдукевича), что эта конечная неоднородная смесь не раскладывается на какие-либо отдельные “элементарные частицы”. Именно поэтому можно было бы вывести в виде софизма следующее правило, гласящее, что чем больше стихотворение использует глубинные структуры ДАННОГО языка, тем ТРУДНЕЕ оно переводится (в стихотворную форму на другом языке, а не на язык прозы), так как “резонансно-эховые” глубины слов и выражений в различных языках НЕТОЖДЕСТВЕННЫ» [17, с. 677]; в рассуждениях об ассерции — убеждении говорящего в том, что дело обстоит именно так, как он говорит: «Ассерция физика эмпирична, ассерция логика аналитична и непосредственна, ассерция философа опосредованно выведена из принципов. И однако все это разные концепции, которые не следует друг с другом смешивать. Логическая концепция ассерции, как ее представил, например, К. Айдукевич, признает, что есть такие суждения, признание которых за истинные (если их высказать) не есть вопрос чьего-либо произвола или даже чьего-либо убеждения, имеющего — скажем так — психологическую природу; напротив, это признание есть следование аксиоматическим нормам языка. Тот же, кто отказывается им следовать, высказывает не то чтобы ложь или неассертивное суждение, но нечто внутренне противоречивое» [13, с. 114].

Хорошо знал Лем и работы Тарского. И по математике: «Удивительным может быть то, что в 1924 году два польских математика Стефан Банах и Альфред Тарский опубликовали в журнале “Fundamenta Mathematica” так называемую теорему Банаха — Тарского, которая представляет особое ответвление теории множеств, названное “декомпозицией”. Они математически доказали, что можно так разрезать предмет A любого конечного размера и произвольной формы на M частей, которые без каких-либо изменений могут быть собраны в объект

В, также произвольной формы и конечного размера. Как будто бы банально, но как-то слишком обобщенно. Если же применить теорему к целым шарам, то окажется, что шар можно поделить на пять частей таким образом, что из двух из них можно будет сложить новый шар, а из оставшихся трех — второй шар; специалисты в этом видят общее с современной физикой элементарных частиц! (...) Получается, что Банах и Тарский, не ведая сами того, что делают (...), нехотя, с полувекowym опережением, открыли законы квантовой хромодинамики, когда ее не было и в помине? Это была бы довольно необычная загадка, отгадка которой, к сожалению, может оказаться поучительным разочарованием человеческой мысли в самом большом масштабе, который можно вообразить... (...) “Магический способ”, которым протон, выпущенный в металлическую цель, создает рой новых протонов, вылетающих из металла, идентичных “оригиналу”, точно соответствует упомянутой теореме на примере деления шаров Банаха — Тарского и составления их частей в пары последующих шаров. Но здесь закрадывается сомнение. Насколько вообще “реальными” являются наши модели — все эти кварки, глюоны? Только ли это модели нашего представления о микромире, созданные математически, или же это “поистине сам мир”?» [15, с. 102-103]. И по логической семантике языков: «Об истинности или ложности этих фраз можно что-либо сказать лишь потому, что в логической семантике значение приобретает совсем не тот смысл, который оно имеет в обиходе, а несколько особо одаренным ученым во главе с Тарским удалось создать такие метаязыки, а также и другие великолепные построения, кои позволяют теперь уже совершенно безбоязненно утверждать, что фраза “Идет снег” верна тогда и только тогда, когда идет снег» [1, с. 237]; «Соответствие предложения тому положению вещей, к которому оно относится, представляет собой особую проблему логической семантики. Эту проблему разрешил А. Тарский путем введения так называемых “метаязыков”» [13, с. 110]; «Нет ни эмпирических, ни логических способов давать

ответы на вопросы, которые поставлены для неэмпирических или для логически противоречивых ситуаций. Тот, кто думает иначе, должен записаться на первый курс логики, вместо того чтобы заниматься литературоведением. Конечно, существует способ вырваться из западни, если, к примеру, следуя Тарскому, распределить языковые описания по иерархическим уровням. Но критик должен конструировать метаязыки в качестве постулата, так как он, создавая эти метаязыки, ничего не открывает нового, а только стремится внести некий порядок, для чего выдвигает определенные нормативно-конструктивные предложения. Однако нельзя одновременно предлагать подобные меры и считать, что ты ничего не предлагаешь, а только ищешь реально существующие вещи, как, например, гребешок в шкафу» [12, кн. 1, с. 347-348].

Получив в качестве подарка на свое 80-летие «Новейший философский словарь» под редакцией А. Грицанова, Лем с удовлетворением отмечал: «Представители польской философии, например такие как Котарбинский, там также подробно охарактеризованы — он как создатель реизма заслужил большую статью» [17, с. 750]. По Лему, Котарбинский «признал высшей человеческой миссией опекунскую доброжелательность и представил пример опекуна прекрасных добродетелей» [130, s. 406]. При иллюстрации собственных рассуждений цитировал: «Как писал Котарбинский, где темно — там уж какая глубина» [258, T. 29, s. 325].

Известным во Львове польским философом был **Роман Ингарден** (1893-1970), ученик Гуссерля, но по некоторым вопросам близкий к Львовско-Варшавской школе. Лем вспоминал: «В гимназии у меня учителем математики был Роман Ингарден, но я не знал, с кем имею дело!» [177, s. 112]; «Впрочем, Ингарден задержался у нас совсем недолго, что и не удивительно, так как своим коллективным сопротивлением математике мы подвергали испытанию даже наиболее мощные педагогические таланты» [11, с. 289]. Впоследствии знакомство

с теорией литературного произведения Ингардена послужило толчком к написанию Лемом «Философии случая»: «Занимаясь литературой, создавая произведения, я интересовался и литературоведением и прочитал много книг, прежде всего Ингардена. Я почувствовал, что то, каким способом пишется литература и воспринимается, отличается от реконструкции, которую представляют схемы ингарденовского типа. Это стало импульсом для возникновения книги» [77]; «Прочитал книгу Ингардена, 600 страниц, о жизни литературного труда, немного поднялась температура, с поносом, но наверное все-таки не от этой феноменологии, а скорее, как мне кажется, от немых фруктов» [130, с. 434-435]; «Одним из первых толчков к написанию этой книги действительно было чтение ингарденовской теории литературного произведения. (...) По Ингардену, литературное произведение является схематическим многослойным творением, в котором есть недоопределенные места, кои заполняет читатель, и это называется конкретизацией. В онтологическом отношении это намеренное творение, но того, кто заинтересуется таким определением, я должен направить к феноменологии, так как Ингарден был учеником Гуссерля (впрочем, немного еретическим, как почти каждый философ). Из концепции Ингардена вытекают довольно странные вещи, и я назову некоторые из них. Во-первых, похоже на то, что такое произведение существует в виде целостной конструкции, построенной языком, даже если его никто не читает, а не только в виде стопки бумажных листов, покрытых пятнами типографской краски. (...) Следующее. Ингарден, несомненно будучи человеком с преобладающей зрительной памятью, при чтении художественной литературы представлял себе образы и решил, что так делает каждый читатель, в то время как у меня, например, преобладает моторная память, и я ничего не воображаю ни когда читаю, ни когда пишу. Таким образом, частное свойство читательского подобиства Ингарден посчитал свойством всеобщим и даже обязательным, как неотрывная часть получаемой из произведения информации.

(...) Читательское решение, возникающее во время чтения и определяющее *implicite*, с каким текстом мы имеем дело, сильно зависит от культурных факторов. Однако Ингарден вообще никак не принимал во внимание это обстоятельство...» [16, с. 114-117]; «Впрочем, правда о природе произведения интересовала меня намного больше, нежели желание разбить концепцию Ингардена. Если я и сравнил феноменологический образ произведения с плодом Птолемея, то без тени злобного намерения, поскольку космос Птолемея был шагом, ведущим к вселенной Коперника, как в историческом, так и в логическом смысле: именно в этом состоит этапность любой диахронии познания» [17, с. 41]. Достаточно подробно теорию Ингардена Лем изложил в «Философии случая» в главе «Рекогносцировка» в разделе «Феноменологическая теория литературного произведения» [13, с. 30-44].

Оказал влияние на Лема и польский философ **Нарциз Лубницкий** (1904-1988). Лем писал: «Вернусь к моим рождественским книгам: среди них оказался и третий том истории послевоенной польской философии, где мне как философу поют дифирамбы [Здесь Лем имеет в виду статью Околовского [354]]. Много там говорится о философе Нарцизе Лубницком, которого я с удовольствием читал после войны; это был крайне антимарксистский автор, из-за чего у него возникало много проблем. Аналитическая философия в Польше в 1950-е годы практически перестала существовать, поскольку марксизм задавил все течения, за исключением разве что тех, которые защищала Церковь» [18, с. 210-211]; «Сохраняю до сегодняшнего дня как исторически ценную вещь, изданную в 1947 г. еще до стремительного марксистско-коммунистического наступления, труд тогдашнего профессора Люблинского университета Нарциза Лубницкого. Это не толстая книжечка, но очень толковая; автор разложил в ней и положил на обе лопатки весь диалектический и исторический материализм, все эти ужасные банальности, в которые тогда следовало верить» [180];

«Еще кратко добавлю, что величайшим идиотизмом марксизма в его теории познания я считаю диалектику, которая всегда ассоциировалась у меня со старыми резиновыми подтяжками (даже еще во Львове, т.е. в 1940 г.), а в Кракове до сего дня сохранил приведение до абсурда диалектики пера профессора Нарциза Лубницкого, изданное в 1947 г. за счет Люблинского университета (ибо еще успел издать)» [159]; «Диалектический материализм» в своей диалектической основе был настолько сфальсифицирован, что один ученый из Бенилюкса показал, что использованные Энгельсом в качестве элементов доказательства математические данные были устаревшими и непригодными к применению уже тогда, когда Энгельс писал свою “Диалектику природы” (Энгельс был просто плохо образован в области математики, а среди многих философов, которые указывали на негодность диамата, не последним был Нарциз Лубницкий)» [152].

Лем очень интересовался историей и философией науки и поэтому изучил работы польского микробиолога и философа науки **Людвика Флека** (1896-1961) и американского историка и философа науки **Томаса Куна** (1922-1996).

Людвик Флек родился и долгое время жил во Львове. Лем вспоминал: «Мой отец имел с ним какие-то контакты, скорее характера официально-медицинского. (...) Флек был не только микробиологом: его считают одним из основателей новой дисциплины — социологии науки» [189, s. 25]. Автор обнаружил [332], что у отца Лема и Флека были и творческие контакты (о чем даже Лем не знал) — они опубликовали совместную статью «Редкий случай повторной вакцины на языке» (Dr. Lehm i Dr. Fleck, Rzadki przypadek wtórnej wakuiny na języku. — *Wiadomości Lekarskie* (Lwów), 1928, № 5, s. 211-214). Интересно, что в книге, посвященной Флеку (*Cognition and Fact. Materials on Ludwik Fleck*. — Dordrecht (Holland): D.Reidel, 1986), в библиографии упомянута эта статья, а в предисловии сказано, что о Флеке писал Лем в «Философии случая» — таким обра-

зом, под одной обложкой в книге, подготовленной в США и изданной в 1986 г. на английском языке в Голландии, о польско-еврейском микробиологе и философе Людвике Флеке встретились отец («Dr. Lehm», p. 446) и сын («Stanislaus Lem», p. XVIII).

О работах Флека и Куна Лем писал следующее: «В 30-е годы доктор Людвик Флек (он был выходцем из Львова, но как урожденный Галиции времен Австро-Венгрии владел немецким языком и в Германии опубликовал свою работу, сейчас переиздаваемую в Базеле швейцарцами) описал процессы, приводящие в конце концов к возникновению (особенно в медицине, в которой он как микробиолог был сведущ) научного факта. Он считал, что в коллективе специалистов, вместе размышляющих над определенной, сначала даже туманной, не точно сформулированной темой (например, что представляет собой какая-либо болезнь или аллергия и т.п.), мысли, передаваемые от одного к другому, как бы произвольно “крепнут”, “оформляются”, и в результате коллективным убеждением выкристаллизовывается новый “научный факт”. Хотя каждый, кто читал “Структуру научных революций” Куна с ее парадигмами, сразу увидит: если Кун преподнес преобразование “парадигм” как проект возникновения познавательных инноваций, то д-р Флек выразил этот процесс моделью “совместного вращения новых мыслей” в коллективе знатоков. То есть вывод таков: приходиться к “пониманию” можно так или иначе, и одно толкование может стоять другого. Впрочем, не исключено, что представить “понимание” некоего конкретизируемого предмета лучше всего можно там, где этого предмета никто раньше не видел, никто его не понимал» [15, с. 421-422]; «Сегодня мы наблюдаем поразительное явление, начавшееся несколько лет назад. Томас Кун называл его изменением парадигмы в науке, но еще раньше поляк Людвик Флек описывал это явление как “укрепление познавательных нововведений в их обращении между экспертами”. Ни концепция Куна, ни новаторская мысль Флека не дают выразительно-

го описания того, что происходит, когда основы и способы наблюдения фундамента мега- и микромира диаметрально изменяются. У нас, однако, нет лучшего описания для такого сотрясения в науке» [15, с. 533].

На упомянутую работу Куна Лем неоднократно ссылался в своих рассуждениях. О научном творчестве: «Изменение теоретических основ какой-либо дисциплины или, как это определил Т. Кун в “Структуре научных революций”, изменение парадигматики означает замену ранее привилегированных “синтаксических предложений” новыми» [12, кн. 1, с. 162]; о супертеории: «Прогресс равномерно во времени не распределяется; аккумуляционное движение иногда останавливается, так как информационно-преобразующие возможности действующей парадигмы исчерпываются. Как писал об этом Т. Кун в “Структуре научных революций”, великие перемены, знаменующие очередной “скачок вперед”, являются результатом парадигматических переворотов» [12, кн. 1, с. 162].

Еще Лем о Флеке: «Я хотел бы обратить внимание на забытую, но очень ценную в науковедческом отношении работу Людвика Флека, опубликованную у нас после войны в журнале “Жизнь науки”. Флек рассказал, как в замкнутом “псевдонаучном гетто”, которое немцы создали в концентрационном лагере [в Бухенвальде], группа лиц с высшим образованием, хотя в основном не бактериологическим, — с самыми благими намерениями и опираясь на доступную там специальную литературу, — занялась биологическими исследованиями, изучая тиф. Флек великолепно изображает, как через некоторое время там возникла целая “как-бы-наука”; как плохо приготовленным препаратам и артефактам приписывалось диагностическое значение, предвиденное на основании прочтенных по этой тематике книг. Далее, как одни “гипотезы” будто бы “подтверждались наблюдением”, другие же “опровергались”; как случайные заболевания лабораторных животных “согласно с теорией” интерпретировались так, чтобы “подходить” к ней, и т.д., и т.п. Дело в том, что, вопреки наивным утопиям логиче-

ских эмпириков (давнишних), наблюдение над “элементарными фактами”, этими “кирпичиками опыта”, отнюдь не есть нечто такое, что способен выполнить кто угодно, у кого здоровые глаза и кто способен сам вращать микрометрический винт на микроскопе. Любопытно здесь не то, что в этом “псевдонаучном гетто” какие-нибудь капли красителя и загрязнений принимались за разные ядра, клетки, бактерии и т.п. Любопытно другое: что этой группе людей удалось все такие случайные феномены объединить в систему, которая у них просто-таки идеально совпала с теорией. Теорией — уже без кавычек, потому что теорию-то они брали из добротных учебников» [13, с. 274-275]; «Когда Флек попал в этот круг, он быстро сориентировался, что его участники создали совершеннейшее фиктивное ответвление настоящей науки, такое мертвое русло реки — при этом делали все искренне! Фальшивое знание вращалось, множилось, укреплялось в различных формах. Флек сообщил эсэсовцу-руководителю о фиктивности предприятия — для того, чтобы ему объяснить, что он обязан фальшивым исследователям обеспечить старательную опеку, ибо если высшее начальство узнает, что все это липа, то тогда и он отправится известно куда. Таким образом исследователи тифа были спасены» [189, s. 26]; «Флек после войны остался в Польше, был профессором микробиологии в Варшаве, но после 1949 г., когда в биологии началось лысенковское идеологическое наступление, чувствовал себя не лучшим образом и после 1956 г. выехал в Израиль, где через пять лет умер. Там, впрочем, он тоже не был счастлив: он был типичным галицийцем, воспитанником австрийских школ, великолепно знал немецкий язык, а еврейский был для него хуже греческого» [189, s. 25].

С двумя польскими философами, будущими академиками, Лем дискутировал в специализированных изданиях. С **Ежи Кмитой** (1931-2012) полемика была главным образом по теории литературного произведения: «В июньском номере журнала “Nurt” за 1969 год Ежи Кмита косвенно вступает в полеми-

ку с моим критическим разбором его работы о семантической действительности литературного произведения. Он пишет там, что если какое-либо произведение может содержать логические противоречия, то тем не менее можно считать, что оно представляет непротиворечивое описание этих противоречий. Когда кто-нибудь говорит, например: “Дважды два равно четырем и равно пяти” — он оглашает противоречие, но когда я описываю говорящего вместе с его артикуляцией, то уже непротиворечивым образом сообщаю о возникшей антиномии (языковой). Дело в том, что этот принцип верен при отделении уровня описания от уровня описываемого объекта — до тех пор, пока удастся осуществлять это отделение произвольным образом. На практике же с произведениями, построенными антиномически, может случиться и так, что решение, которое принимает критик: считать ли непротиворечивой интерпретацию внутренне противоречивого (объективно) произведения, с любой рациональной позиции является совершенно произвольным, и потому оно само вряд ли может считаться доказательным. Кмита прав в том, что обычно любая критика так и поступает, то есть когда в произведении обнаруживаются антиномии, критик не ограничивается их отражением на плоскости своего обсуждения. На самом деле в таком случае он эти противоречия, как умеет, «растолковывает» — или обвиняет автора в их появлении, или дает отрицательную оценку самому произведению, или же выдвигает условия, при которых произведение утратит антиномичность. Изъясняется в обычном положении вещей, в том, что сам критик толком не осознает логической природы собственного поведения, то есть не понимает, что его действиям не хватает рациональной необходимости, что они являются метареконструкциями — произведениями, весьма произвольными в принципе» [12, кн. 1, с. 520-521]; «Кмита, как известно, неплохой логик, и когда-то он придумал свою теорию литературного произведения, в которой появились большие и малые квантификаторы и другие логические великолепия. А теперь я вам

выдам государственную тайну: ко мне пришел выдающийся специалист, профессор Маркевич, и пообещал угостить меня отличным кофе, если я ему объясню, о чем там идет речь. Конечно, это было написано на ужасном сленге, но мне удалось это распутать. Как видите, логик написал работу в той области, в которой приоритет несомненно принадлежит Маркевичу, однако сумел выскочить за пределы его знаний» [16, 124].

С наиболее известным польским философом второй половины XX столетия **Лешеком Колаковским** (1927-2009) полемика была по общефилософским вопросам, причем полемика продолжалась десятки лет, начиная от рецензии, которую Колаковский написал в 1964 г. на книгу Лема «Сумма технологии» («Когда я написал “Сумму технологии”, не было реакции ни со стороны авторов и критиков *science fiction*, ни со стороны научных авторитетов, за исключением одного Колаковского, который меня высмеял» [204, s. 204]; «Он посмеялся надо мной и написал, что я веду себя как мальчишка в песочнице, который думает, что может прокопать яму прямо на другую сторону Земли только потому, что у него есть игрушечная лопатка в руках» [374, p. 40]), и заканчивая обсуждением опять-таки этой же рецензии спустя тридцать лет прогресса науки и техники («По-прежнему *infallibilitas philosophica* [философская непогрешимость (лат.)] осталась краеугольным камнем его позиции и ничто, где-либо происходящее, предвзятых утверждений Колаковского поколебать не может. Это несколько удивительно для философа, мировоззрение которого менялось зигзагообразно» [15, с. 11]; «Ожесточенный тон письма Колаковского наполнил меня грустью, так как он принадлежит к немногим личностям, которых я уважаю, однако не считаю, что и самые уважаемые стоят вне всякой критики. Не могу, даже если б и хотел, отозвать ни одного слова, помещенного в моей статье, с разных сторон укалываемой письмом профессора Колаковского. (...) Публично Колаковский по-прежнему

меня не высоко оценивает, чего я не могу сказать о моем отношении к нему. В частном порядке (...) он написал мне в письме, как меня уважает, хотя галактики нашего мышления очень отдалены. Но тогда и не надо помещать в текст с трудом читаемые инсинуации из галактики в галактику» [152]). А между этим была полемика на страницах польских и немецких философских журналов, на немецком радио и при личных встречах.

В 1966 г. редакция журнала «Studia Filozoficzne» организовала дискуссию по недавно вышедшей книге Колаковского «Позитивистская философия» [66]. Лем вспоминал: «В ходе дискуссии возник спор между тогда уже знаменитым философом Колаковским и мною. Я утверждал, что область философии с течением лет теряет все больше задач, потому что они как бы подвергаются “поглощению” и приобретению в собственность наукой, понимаемой как естествознание, основанной на опыте и построенных на основе опыта теориях. Колаковский плохо воспринял это мое заключение. Признав, что движением планет, которыми занимался еще Аристотель, также как и рядом других с точки зрения философии “граничных” проблем, занимается физика, он посчитал мою позицию относительно философии “ликвидаторской”, и, кроме того, неприкосновенность первенства философской рефлексии на данной ей территории усилил, цитируя известное высказывание французского философа Мориса Мерло-Понти» [137]; «Кроме того, Колаковский утверждал, что все вопросы, которые ставили Платон с Платином, по-прежнему остаются актуальными. Я с этим не согласен. Хотя и не быстро, но дело дойдет до более принципиальных перемен» [16, с. 139].

Лем в своих работах часто упоминал Колаковского, отмечал его стиль («Колаковский в своем философском дискурсе охотно взбирается на языковые высоты, с любовью употребляет слово “тогда”, создает также огромные конструкции, немного напоминающие арочные мосты или даже разводные» [189, s. 150]) и оказанное влияние («Я думаю, моя склонность

к кабинетному философствованию была вызвана моим знакомством с определенными людьми, которые были редакторами философского журнала, например с Хеленой Эйльштейн и Лешеком Колаковским» [117]; «То, что он заразил меня (и не только меня) помпезным, высокопарным слогом, который частично портил мне то, что сам я писал (во всяком случае, как дискурсивные тексты), я ему уже давно простил» [156]).

Приведем несколько фраз Лема об упомянутой выше профессоре **Хелене Эйльштейн** (1922-2009): «Недавно я читал книгу Хелены Эйльштейн — она принадлежала к круту философов, который разогнали, когда Колаковского выкинули из Польши, — “Номо sapiens и ценности”. Речь там, в частности, идет о неизбежных, назовем это деликатно, упущениях марксизма, сводящихся к тому, что человек, которого придумал себе Маркс, никогда не существовал. Никогда не было никакого обособленного различными феодализмами и капитализмами ангела, которого достаточно избавить от всякой собственности, особенно частной, чтобы он приобрел совокупность ангельских черт. Такая концепция носила пятно крайней утопии, а когда утопические концепции вдалбливаются людям, делается это всегда похоже на Прокруста и надо обрубить большие куски человека менее или более кровавым способом, чтобы он соответствовал этим концепциям» [189, s. 38]; «Хелена Эйльштейн, когда-то ученица Колаковского, которая недавно вернулась из изгнания из Мексики, написала недавно книгу, показывая в ней абсолютную нежизненность марксизма и марксистских идей, просто отсутствие точек соприкосновения с человеческой реальностью» [204, s. 66-67]. В свое время, уже будучи подвергнутой репрессиям, Эйльштейн опубликовала большую доброжелательную философскую рецензию [313] на роман Лема «Глас Господа», которая очень ему понравилась, и потому в специальном письме в адрес Эйльштейн он написал: «Прочитал (...) анонимное эссе, но одной страницы хватило, чтобы уже не сомневаться относительно его авторства. Все-таки стиль — это человек. (...) Очень немного заме-

чаний возникает у меня в связи с этой статьей именно потому, что над ней я мог только кивать готовой, соглашаясь. (...) Хотел бы признаться, что Вы оказали на меня определенное философски направленное влияние. В частности, может это не будет посчитано бестактностью, если осмелюсь заметить, что в Вашем практическом подходе как метод и как система диалог (но Вы, кажется, не любите этого определения!) показался мне вполне толковым и качественным философским понятием, правда, не настолько, чтобы я им увлекся, но настолько, что я должен был задуматься. А раньше я считал, что уже вообще нет над чем задумываться» [128, с. 23-25].

Возвращаясь к Колаковскому, отмечим, что Лем часто его критиковал: «Лешек Колаковский написал одну статью, называется “Этика без кодекса”, в которой выявил повсеместные внутренние противоречия этических норм, основанных различными религиозными и светскими системами. В области, где заповеди или другие условные догмы не наблюдаются де-факто, не может быть никакого прогресса. Зачастую утверждается, что любые нормы нравственности, рассматриваемые как система запретов и предписаний, срываются в обществе всегда с задержкой. Как можно было формализовать или обобщить такую теорию этической задержки — я не имею ни малейшего понятия. По-моему, это аналогично квадратуре круга. Существуют такие сферы деятельности, как мировая политика, которая исключена из этики де-факто, и, как показывает история Объединенных Наций, там нет никакой надежды на ту или иную форму объединения» [374, р. 103]. О трехтомнике Колаковского «Основные этапы марксизма. Возникновение — Развитие — Распад» (1976—1978 гг.) Лем писал: «Трилогия о марксизме привлекала меня меньше потому, что она настолько же интересна, насколько была бы занимательной “История создания *perpetuum mobile*”. Построить его невозможно, но, несмотря на это, люди веками с этой целью затрачивали огромные усилия и немеренно наплодили оригинальных и удивительных проектов. Никто не дрогнул,

когда с бумаги с большим усердием их пытались перевести в реальную конструкцию, но точно так же можно ведь говорить и о теории построения рая на земле, проекты которого представил нам, несчастным, марксизм, который стремлением к тому вечному движению во все более светлое будущее привел к гигантским массовым человеческим захоронениям и руинам, из развалин которых приходится выкарабкиваться с большим трудом и самопожертвованием» [15, с. 9-10]. О религиозных темах в своих гротескных произведениях Лем говорил: «Я не очень сведущ в запутанности религиозных доктрин, а — извиняюсь, что об этом напоминаю, — выковыриванием сомнительных изюминок из обоих Заветов занимался когда-то в своих сказочках Лешек Колаковский. Я, скорее, не ощущаю потребности кусать религию или выворачивать ее наизнанку. Мои старые вольтеровские штучки имели совершенно иной характер. Впрочем, о внутренних противоречиях веры писали сами теологи» [204, s. 124]. Полемике с Колаковским посвящен целый раздел «*Sacrum и profanum*» главы «Границы роста культуры» монографии «Философия случая» («С наблюдениями Колаковского я соглашаюсь в том, что касается констатации фактов, но не обязательно в том, что касается причин») [13, с. 352-357].

А иногда Лем с Колаковским соглашался: «Сложный вопрос о причинах возникновения сект, а также о их устойчивой “плодовитости” под крылышком великих религий. Мне кажется, что распределение сектантской “урожайности” на исторической временной оси не совсем равномерно: лучше всего, на мой взгляд, хотя и с некоторыми профессиональными ограничениями, изложил эти вопросы Лешек Колаковский в своей работе “Религиозное сознание и церковные узы”. Не знаю, согласен ли автор по-прежнему с главной мыслью этого труда, как и со своим утверждением, что “религия — это способ, при помощи которого человек принимает свою жизнь как неизбежное поражение”. Для меня эта мысль — очевидность, сопутствующая нашему виду с тех пор, как он осознал свою

неминуемую смертность» [188]; «Я опять искренне считаю, что его “Религиозное сознание и церковные узы”, изданное в 600 экз. (скромный тираж, особенно на те времена), устоит и выдержит давление текущего времени, ибо оно представляет собой, что демонстрируется исторической фактографией, метание между верностью учительству (магистерии) римско-католической церкви и вероотступничеством, ересью, сектантством, вызванными таким пламенным желанием Бога, что не смогло разместиться в установленных догмой рамках, и поэтому В ЭТОМ наверняка Колаковскому нет чему стыдиться» [159]; «Как верно заметил Колаковский, всегда хорошо иметь какую-то точку сравнения. Как и он, я считаю, что в секуляризации и десакрализации скрывается много зла, но с некоторыми оговорками. (...) Я не хочу сказать, что люди, которым переломали обе ноги, должны заниматься теми, кому мучительно изъяли селезенку. Но какой-то “перевертыш” произошел. Та Церковь, которая когда-то была глашатаем имущих, защищала их и совершала помазание королей, а беднякам давала лишь утешение, говоря, что богачи не протиснутся через игольное ушко в рай, эта Церковь начала наконец беспокоиться и о бедняках. Хотя одновременно по-прежнему господствует секуляризация и все меньше призванных. Если можно так несерьезно выразиться, я еще менее верующий, чем Колаковский, и считаю профессию духовного лица — в любой религии — одной из самых странных идей, которые когда-либо приходили людям в голову. То, что кто-то может быть более других “запанибрата” с Творцом, является для меня чем-то необыкновенным» [16, с. 331]; «После десяти лет свободы можно себе сказать одно: добрый товарищ Сталин пододвинул Польшу на триста километров на запад не потому, что безумно любил, а потому, что хотел иметь лучший плацдарм для нападения на Западную Европу. Это очевидная причина, почему у нас есть так называемые «возвращенные земли». Неприятная правда, но правда — Колаковский когда-то написал, что правда является основополагающим качеством нашей культу-

ры, средиземноморской, христианской, европейской. И действительно — от правды нет спасения» [190]; «Вспоминается интервью с Лешек Колаковским, опубликованное в русскоязычном журнале “Новая Польша”, в котором он справедливо выливает помой на помощников Качиньских из “Лиги польских семей” и “Самообороны”» [180].

Но в конце разочаровался: «Я слышал, что Лешек Колаковский, который когда-то был закоренелым атеистом, недавно отозвался обо мне с сожалением, что “тяжела ситуация этого Лема, ибо он неверующий”. Из этого следует, что он принял веру. О себе не могу сказать, что я меняюсь под влиянием изменения окружения. Это вопрос оценки, к которой человек сам приходит. Считаю, что каждому должна оставаться свобода выбора» [209]; «Но с каким Колаковским дискутировать? Ведь их два: тот до и тот после обращения в католицизм. Меня не интересует разговор ни с одним из них. Он ведь пренебрегает всем, что пахнет натурализмом, то есть наукой. Пребывает в мире Спинозы, различных мистиков и имеет собственную интерпретацию христианства, которая не интересует меня ни в его, ни в чьем-то ином издании. Предпочитаю разговаривать с учеными из первой линии — физиками, геномиками» [216]. Более подробно о полемике Лема и Колаковского можно ознакомиться в специально посвященной этому магистерской работе «Колаковский и Лем: две “мыслительные галактики”» [336].

Еще об одном известном польском философе, идеологе еврокоммунизма, академике **Адаме Шаффе** (1913-2006) Лем писал: «Работы Шаффа о семантике, языке и т.д. не хороши и, скорее, очень убоги: читать не советую. Делают только кашу в голове. К сожалению, кроме него, у нас никто монографию не написал» [128, s. 36]; «Когда я увидел в руководстве Римского клуба фамилию профессора Адама Шаффа, то сразу же подумал: “Это уже конец, если Таких людей туда кооптировали”.

Куда подевались более достойные? И особенно у нас? Мне казалось, что есть много разумных» [157].

Польскому философу и теологу **Юзефу Марие Бохеньскому** (1902-1995) Лем посвятил отдельную статью «Человек обширных пространств», в которой отметил его исключительные способности: «Логик с большой буквы, но при этом ум чрезвычайно универсальный, был так многосторонне и щедро талантлив, что можно было предполагать, что эти таланты будут мешать друг другу. Но он реально во многих областях сделал немалый вклад, наверное и в теологии. (...) Очень интенсивно занимался коммунизмом, написал ряд советологических работ, которые не свидетельствовали о глубокой любви к Ленину и Сталину» [179].

С польским священнослужителем **Каролем Войтылой** (1920-2005), ставшим в 1978 г. Папой Римским **Иоанном Павлом II**, Лем был знаком лично и даже, будучи в Австрии в эмиграции, получил от него (уже Папы Римского) благословение (правда, по телефону и через третьих лиц [18, с. 118]). О встречах с Войтылой Лем вспоминал: «С Каролем Войтылой я познакомился пятьдесят лет назад [26.12.1957 г.] в доме моего друга Яна Юзефа Щепаньского. Был он там после колядок как обычный пастор, так как еще не имел какого-либо высокого духовного сана. Встреча была случайной и мало что говорящей о личности этого священнослужителя. Позже, когда я начал заниматься прогнозированием, Войтыла, уже как епископ, пригласил меня в свой дворец, чтобы я прочитал лекцию о последствиях эмбарго, введенного производителями нефти. Неважно, что я говорил группе собравшихся ксендзов, — речь сейчас идет не о моем мнении о том времени. Однако характерно, что Войтыла уже тогда живо интересовался судьбами мировой цивилизации. Вспоминаю, что потом я был приглашен еще раз, но, к сожалению, не помню, какой была тема моего следующего выступления. (...) То, что это был человек с

открытым и восприимчивым умом огромного масштаба, было видно уже тогда, хотя бы принимая во внимание широкий спектр его интересов» [255].

Лем близко к сердцу принял покушение на Папу в 1981 и 1982 гг., неоднократно упоминал это в своих статьях и даже написал философский рассказ «Черное и белое» [108], в котором главными действующими лицами являются Папа и его убийца соответственно как воплощение добра и зла, между которыми неизбежна вечная борьба, без которой мир не будет иметь смысла [288].

Лем постоянно следил за деятельностью Папы Римского, знакомился с его посланиями-энцикликами «*Urbi et orbi*» («Городу и миру»): «За энцикликами нашего Папы кроется для меня по сути разочарование — что этот мир не хочет одуматься. Это не только дело одного вероисповедания или только Церкви, здесь речь идет о повсеместной угрозе хаоса, о реальности, в которой управляющей становится слепая технологическая мощь, человеком освобожденная, но и свободная уже от его воли и власти» [173]; «Не знаю почему, но “цивилизационный” прогресс часто становится своей противоположностью. Людские массы со страшной легкостью поддаются демагогиям и популизмам. (...) Папа говорит о “цивилизации смерти”» [168]; «Человек получает эту страшную чрезмерную свободу и делает страшные вещи, потому что не боится ни Бога, ни ада, вообще ничего. Здесь, в этом диагнозе Папа прав на сто процентов; я только не верю в успешность средств, которые он рекомендует» [359, s. 116]; «Когда в последнее время на горизонте возшла опасная зеленая планета ислама, конфликт между отдельными религиозными верованиями возобновился, ибо, с одной стороны, приверженцы фундаментализма призвали к уничтожению неверного Запада, а с другой — из Ватикана раздался голос кардинала Ратцингера, который заявил в “*Dominus Jesus*”, что никто из тех, кто не принадлежит к народу божьему и Римской католической церкви, не будет спасен. Правда, Папа в “*Urbi et orbi*” как бы попы-

тался провести параллель между разными монотеистическими религиями, как христианство, иудаизм и ислам, но противоречие между тем, что сказал Ратцингер, и тем, что выдвигают на первый план исламские фундаменталисты, буквально бьет в глаза. Мне кажется, что это делает примирение невозможным» [16, с. 563].

Лем старался Папу (и в его лице католическую церковь) не критиковать, тем более что многие свои статьи он публиковал в католическом еженедельнике, но по тем вопросам, по которым Лем был не согласен принципиально и категорически, он не молчал: «Мне нельзя в “Tygodnik Powszechny” критиковать Папу, поэтому только скажу, что пронаталистическая политика Ватикана, категоричная не только против аборт, но и противозачаточных средств, легкомысленная относительно вирусной и всякой иной опасности повсеместно при низком уровне развития цивилизации и здравоохранения, представляется мне, к сожалению, вредной. Вижу это также в глобальной перспективе» [197]; «И хотя польскому Папе я предан всем сердцем, я не пойму, почему в свете церковных догматов одинаковое значение имеют противозачаточные средства и прерывание или устранение беременности. И не могу поверить, чтобы человек мог принимать какую-то программу без ограничений — в данном случае церковную программу — исключительно по приказу авторитета» [111]; «Папа Римский выступает против контроля за рождаемостью. Я хотя и поляк, не поддерживаю Папу Римского» [203]; «Когда Папская теологическая академия заявляет, что надо обязательно притормозить демографический рост, и это вызывает страшное недовольство со стороны Ватикана, я разочарован, ибо это просто закупорка человеческого развития в глобальном масштабе. Нас слишком много в мире уже в эту минуту! Это вопрос не будущего, а сегодняшнего дня! Я также считаю, что создание Ватиканом преград для экспериментов над материнскими клетками из пуповины эмбриона не только бессмысленно, но и напрасно. Это примерно такое же положение, как тогда, когда церковь

говорила, что не следует применять эвтаназию, ибо если Господь Бог послал нам страдание, то надо с покорностью принять его, а не избегать. Я считаю, что Папа в этом вопросе неправ» [16, с. 516-517]; «Хотя я люблю Папу, однако считаю, что он должен больше интересоваться политикой, а меньше тем, что происходит в кроватях, так как это является второстепенным делом в условиях страшных угроз, стоящих перед миром. Нельзя считать одинаково важными вопросы доктринального запрета средств контрацепции и факта, что сорок тысяч детей ежедневно умирает от голода. Я возмущен, когда какой-нибудь ксендз-профессор пишет в “Tygodnik Powszechny”, что нужно оберегать зачатую жизнь. Ну так охраняйте эту зачатую жизнь! Но не только в момент зачатия, но также и после появления ребенка на свет» [147].

В связи с этим Лем в 1993 г. опубликовал сатирический рассказ «Тайное совещание в аду» (который, правда, до сих пор был опубликован только однажды на немецком языке в швейцарском журнале), в котором представляет католическую церковь как пособника дьявола в распространении ВИЧ: «Римская католическая церковь будет нашим главным союзником в глобальном распространении пандемии! (...) Рим будет строжайше запрещать презервативы любого вида, объяснять, что их использование — это большой грех, и таким образом активно нам помогать! Через десять лет должно быть до десяти миллионов зараженных, которые впоследствии умрут от СПИДа, в 2000 году — уже почти сто миллионов, и жители Земли не смогут остановить этот рост, потому что число зараженных увеличивается во время сексуальных контактов... (...) Всемирное зло — “операция СПИД” — стартовало» [162].

Не был согласен Лем и по вопросам семейных разводов, тем более что видел в словах Папы противоречие: «Неловкое молчание воцарилось в стране после последнего высказывания Папы, требующего от католиков-юристов отказа от всех дел по разводу, как гражданских, так и союзов иноверцев. Американская пресса комментировала это замечанием, что и

Папа объявил экумению вер, а ведь ислам считает нас неверными (или отданными злу). Или союз мусульманской пары, живущей во Франции, развести законно может только правосудие оседлых там исламских юристов? Я не понимаю этого несоответствия» [225].

А иногда Лем даже выступал в защиту и поддержку Папы, например когда «на двадцать пятый год своего понтификата Папа решительно, ясно и бесповоротно сказал нам, что Польша должна вступить в Европейский союз» [235]: «До сих пор Папа был непререкаемым авторитетом для всей Польши, и я изумился бы, если бы мне кто-нибудь раньше сказал, что появятся люди, которые захотят переворачивать и подрывать его слова. А сегодня господин депутат Богдан Пенк заявляет, что Папа не знает, что говорит, — речь идет, разумеется, о словах, направленных к полякам на тему Европейского союза, — поскольку он не знает содержания подписанного Польшей присоединительного договора. (...) Мы должны использовать шансы, какие перед нами открываются. И нет причины, чтобы мы плевали в собственное гнездо или на склоне понтификата Иоанна Павла II неожиданно становились, по крайней мере, в политическом пределе, анти-папистами. Высказывание депутата Пенка я воспринимаю как бесстыдное» [258, Т. 31, s. 410, 413].

О последнем паломничестве Папы в Польшу Лем писал: «Когда видели Папу во время его польского паломничества, видели человека, в котором силен дух, но тело не сильно. Он сделал больше того, что казалось возможным. Папе действительно было тепло на сердце, что он встретился с земляками, и действительно ему было жалко уезжать. Это не были высокие слова. (...) И я подумал — если хотя бы 80% этих людей, что пришли на папскую мессу, вели себя согласно евангельским словам Папы, если бы каждый день они были столь благородны как в Блонях, наша жизнь выглядела бы иначе» [234, s. 36-37].

Памяти Папы Лем надиктовал три статьи для разных периодических изданий, которые заканчивались следующими словами: «К его величию уже ничего добавить нельзя. Он остался Папой, способным к постоянному развитию своих необычайных способностей, и можно быть уверенными, что его наследие не будет забыто» [255]; «Умерший после двадцати шести лет понтификата Папа был великой личностью, направления деятельности которой, вероятно, не могли предусмотреть даже те, кто его избрал главой Римской Церкви. Поэтому огромная работа, полная риска, ожидает Его преемника» [256]; «Едва ли не самое сильное впечатление произвела на меня сцена последнего Пасхального Воскресенья, когда Папа, уже тяжело больной, сидел у окна и боролся с собственным телом, поскольку очень хотел произнести слова благословения “городу и миру” — но уже не смог и лишь молча благословил всех собравшихся на площади Святого Петра. Некоторым показалось слишком жестоким новшеством то, что он умирает не в уединении, а на глазах у всех; но ведь именно так умирал Христос...» [18, с. 118].

Познакомился Лем и с творчеством румынско-американского философа и историка религий **Мирча Элиаде** (1907-1986): «Бывают отступающие от нормы личные ритмы. Мирча Элиаде — я это прочитал в его воспоминаниях — упражнениями смог ограничить свою потребность в сне до четырех часов в сутки. Подобное описывает в «Автобиографии в четыре руки» Гедройц, только что у него это было побочным следствием медицинской терапии» [204, s. 230].

На труд «Психология толпы» французского психолога, основателя социальной психологии **Гюстава Лебона** (1841-1931) Лем ссылался неоднократно, наблюдая различные манифестации и акции протеста воочию (например, в Германии [16, с. 601]) или по телевизору (например, в Пакистане [258,

Т. 31, s. 194] и Великобритании [244]), и даже посвятил ему специальную статью «Охлократия всегда опасна», которая позднее в сборнике вышла под названием «Психология толпы» [234, s. 150-152], в которой Лем отметил: «Лебон (...) убедительно доказал, что приведенные в движение массы в принципе действуют деструктивно, разрушающе и стремительно. Типичные для отдельных личностей моральные тормоза как бы растворяются в буре страстей, которая надеется полностью освободить человека из толпы от личной ответственности за поступки, поскольку он становится только анонимным элементом. Французский психолог занялся также показом обстоятельств, в каких оказываются, завоевывают уважение, престиж и славу предводители масс. Он подчеркивал и показывал, что такой лидер как бы сам себе придает авторитет, обращаясь к потенциальным сторонникам простым и категорическим способом, апеллируя к их ожиданиям и играя, прежде всего, на негативных эмоциях слушателей. Такой предводитель не аргументирует с помощью логического рассуждения, не приводит конкретных доводов против тех, которые осуждает, а провозглашает свои мнения клеветнически, грубо, очерняя, объявляя, что имеет конкретные данные, открывающие преступные действия противников, и, кроме того, бросает многочисленные лозунги и обещания, уверяя, как прекрасно будут награждены те, кто пойдет за ним». И сделал вывод: «Книга Лебона осталась актуальной, и показанный в ней предводительский примитивизм, который умеет разжечь пустыми словами человеческие надежды, в дальнейшем может сыграть не последнюю роль, ведя целые народы на ложный путь». Был знаком Лем и с другими работами Лебона; рассуждая о творчестве Борхеса, Лем написал: «Как сказал уже старый Гюстав Лебон в своем сочинении о юморе, все механическое мы объясняем заранее, что приводит к тому, что из событий уходит вся необыкновенность и непредвиденность. Поэтому нетрудно предсказать будущее чисто механического феномена» [17, с. 782].

Станислав Лем был не согласен с циклической парадигмой истории, приверженцами которой в XX столетии были немецкий философ-культуролог **Освальд Шпенглер** (1880-1936), русско-американский социолог **Питирим Сорокин** (1889-1968), британский философ-культуролог **Арнольд Джозеф Тойнби** (1889-1975). Лем считал, что «история может иметь осцилляционный характер, но при этом совершенно не обязана быть циклической по Шпенглеру» [128, s. 26]. Лем объяснял это следующим образом: «Идея моя достаточно проста. Случай как сингулярность не исключает регулярности как всеобщего приоритета. В таких системах, как эволюция жизни на Земле, эволюция стилей в визуальном искусстве, эволюция жанров и стилей в балетистике и поэзии, эволюция этнических языков, эволюция религиозных верований, выступает “счастливое попадание”, действующее внутри системного репертуара возможных для осуществления комбинаций — выходных элементов. Не все принципиально возможные комбинации этих элементов составляют системы, которые реализуются фактически и обладают перспективным потенциалом дальнейшего развития. Существуют закономерности, также и во всеобщей истории, которые послужили поводом возникновения концепции цикличности (Шпенглер, Сорокин, Тойнби), только что положения этих историософов являются примитивизацией сложного реального состояния вещей. Не бывает так, чтобы гений мог ex nihilo что-то создать и быть при этом созидателем без предшественника, и так, чтобы гений всецело подчинялся какой-то изначальной регулярности эволюционирования стилей и способов созидания...» [131, s. 318]. Лем отмечал, что «историософы-“циклисты” оперируют отрезками, не превышающими столетий, поскольку занимаются генерализацией реальной истории, а вся она целиком не насчитывает больше нескольких тысяч лет», утверждая при этом, что «в космосе нет явлений идеально ациклических, если только продлевать время наблюдения» [12, кн. 2, с. 455]. Высоко оценивая произ-

ведение Олафа Стэплдона «Последние и первые люди», Лем обратил внимание на «влияние, которое Шпенглер оказал на Стэплдона», утверждая, что «если б Стэплдон больше занимался историей науки и физики и меньше читал Шпенглера, то его произведению это пошло бы только на пользу» [12, кн. 2, с. 465-466].

Был Лем знаком и с работами итальянского социолога, основоположника теории элит **Вильфредо Парето** (1848-1923). Рассуждая об искусстве, Лем писал: «Каковы критерии, которые должны выполнять произведения искусства, чтобы быть произведениями искусства, например “классикой”, “литературой высокого полета”? Такие, что есть пару типов, взаимно признающих друг друга компетентными, определяющих то, что является наилучшим? Но ведь ВСЕГДА, со времен, когда ассирийцы начали в камне выбивать клиноподобные буквы, ВСЕГДА было больше людей с мозгом, устроенным достаточно просто, чем людей с “утонченным вкусом”, “компетентных”. И несмотря на это, угрозы тому, что я называл моноцентричностью культуры, не было вообще ни в древние времена, ни в средние века, так как читали и восхищались “такими вещами” практически только элиты (привет от Парето)» [131, s. 566].

На вопрос, соглашается ли Лем с тезисом немецко-американского философа, основоположницы теории тоталитаризма **Ханны Арендт** (1906-1975) о банальности зла, Лем ответил: «Много в этом правды. Безнаказанно причинять зло для многих может быть приятным делом. Я читал репортаж об одном немецком подразделении, которое было направлено в небольшой городок, чтобы расстрелять собранных там евреев. У командира слезы стояли в глазах, и он объявил, что никто это делать не обязан; однако нашлись такие, кто хотел. Потом все к экзекуции привыкли и жаловались главным образом на то, что оружие слишком разогревается и расход патро-

нов слишком велик. Проблему решили, применив технологию более массового убийства» [204, s. 115]. В подтверждение тезиса о банальности зла Лем приводил такой пример: «Гитлер, не имея собственных детей для убийства, перед самоубийством отравил овчарку Блонди, своего любимого пса. В убийстве этого пса, которому действительно ничего не грозило ни со стороны русских, ни американцев, ни международного еврейства, ни нюрнбергского трибунала, подтверждается справедливость тезиса Ханны Арендт о банальности зла. Небанальное зло было бы прежде всего способно к размышлению, самооценке и самопознанию. Имело бы смелость выступить под собственным именем, а не под именем добра для немецкого народа. Но такого зла там не могло быть, когда проявился крайний нигилизм зла. Если бы была возможность, Гитлер тогда убил бы, я в этом уверен, весь немецкий народ, впрочем, подобного желания он даже не скрывал, перед концом давая приказы на разрушения, которые, исполненные, в военном отношении уже ничего не дающие, означали месть немцам за то, что его разочаровали. Поэтому наиболее поразительной чертой зла, по крайней мере для меня, является его бескорыстность. Добро, потерпевшее поражение, не превращается в желание уничтожения всего, что его победило, вместе с ним самим» [258, Т. 29, s. 172-173].

Размышляя о гитлеризме, Лем писал: «Хотя доктрина гитлеризма была эмпирически бессмысленна, низкопробна, аллоична — тем не менее немцы, которые ее реализовали, показали себя прекрасными прагматиками, поскольку сумели добиться, чтобы в созданных ими ситуациях их жертвы, которых соответственным образом натаскивали, становились палачами своих же собратьев. Впрочем, по этому вопросу нет полного согласия — особенно среди тех, кто не мог наблюдать подобную практику вблизи. Типичным примером может служить полемика между американским критиком (впрочем, весьма разумным) Норманом Подгорецом и Ханной Арендт — авто-

ром книги “Эйхман, или Банальность зла”. Подгорец обвинил ее главным образом в клевете на жертв гитлеризма. Речь шла о евреях, которые в рамках созданных немцами организаций типа Judenräte [“Еврейские советы” (нем.)] или Ordnungsdienst [“Служба порядка” (нем.)] помогали ликвидировать соплеменников или же соглашались выдавать людей определенных категорий ценой сохранения жизни остальным обитателям гетто, причем сами выполняли этот отбор. Американский критик старается перенести эту ситуацию на почву “нормальных” договорных отношений, сопоставляя ее, таким образом, с политикой уступок, проводившейся западными державами в мюнхенский период. Подгорец не желает, кроме того, принять во внимание, что Эйхман (пример в данном случае вполне репрезентативный) был скорее средней личностью, чем страшным монстром. (...) Согласно Подгорецу, раз Эйхман вел себя как чудовище, чудовищем он и был. Должен был им быть» [13, с. 693]. В этой полемике Лем занял однозначную позицию: «Подгорец спорил с Ханной Арендт о том, были ли гитлеровские преступники типа Эйхмана совершенно обычными и заурядными людьми (это ее тезис) или монстрами зла (как он утверждает). Считаю, что правота полностью на ее стороне» [128, s. 199-200]. Об этой полемике Лем писал и в «Провокации»: «Смерть, публично приговоренная к смерти, не исчезла из жизни. Не находя себе уголка в системе культуры, низвергнутая с прежних высот, она стала наконец прятаться и дичать. Вновь освоить ее, вернуть ей прежнее место общество могло одним только способом: узаконив и регламентировав ее. Но напрямую, в открытую, этого нельзя было объявить, и потому убивать следовало не во имя возвращения смерти в культуру, а во имя добра, жизни, спасения, и именно этот подход был возведен нацизмом в ранг государственной доктрины. Автор напоминает здесь о горячих спорах, которые в Соединенных Штатах вызвала книга Ханны Арендт “Эйхман, или О банальности зла”. Участники этой дискуссии утверждали, что “каж-

дый человек сознает в душе святость жизни” (Сол Беллоу), а “чудовищное преступление может совершить лишь чудовище” (Норман Подгорец) и потому нельзя приравнивать ужас нацизма к банальности. По мнению Асперникуса, заблуждались все диспутанты: сведя проблему к делу Эйхмана как квинтэссенции злодеяний нацизма, они не могли ее разрешить. Эйхман, подобно большинству креатур Третьего рейха, был исполнительным и усердным бюрократом геноцида, но до этого его довела не только сознательная слепота карьериста, одного из партийных чиновников, соперничающих между собой в додумывании до конца неконкретизированных указаний фюрера. Доктрина, считает Асперникус, была банальна, банальны могли быть ее исполнители, но не источники, лежащие вне нацизма и вне антисемитизма. Спор увяз в частности, безразличных для правильного диагноза народовубийства XX века» [2, с. 470-471].

Познакомился Лем и с «Истоками тоталитаризма» Арендт: «Это очень умная баба. (...) Удивительное впечатление от чтения! Оба тоталитаризма безусловно представила дьявольскими, так как: 1) придала им чистую бытовую самостоятельность “*per genus proximum et differentia specifica*” [через ближайший род и видовое отличие (лат.)] и 2) придала им полноту намеренности. Очевидным образом ее разделение между тиранией, абсолютизмом, диктатурой, с одной стороны, и тоталитаризмом, с другой, является категоричным как дихотомия, пресекающая дифференциацию там, где в действительности происходили изменения постоянные, суммирующие, мелкие, пошаговые, и это по 1), а по 2) наделила эти системы плодами зла намеренного, то есть следствием полностью осознанных действий, присущих их социальной антирациональности; и это все, чтобы получить “чистый препарат” чего-то, “чего под солнцем не было”, а именно — формации, исключающей крупницы утилитаризма, прагматизма, то есть кроме постоянного Творца Зла (как Гитлер) “никого не было” (по ее мнению), кто с этого что-то бы имел в смысле “*id fecit, cui prodest*” [“сделал

тот, кому выгодно” (лат.)). (...) Тем не менее ей удалось именно путем преувеличений, упрощений и насилия над фактическим материалом, подстроенным а priori к концепции, материализовать определенную “ауру”, определенный “genius temporis acti” [“гений прошлого” (лат.)] — того времени, которое отлично знаю из собственного опыта» [131, s. 161-162]. Сослался Лем на эту работу Арендт при характеристике коммунистического тоталитаризма: «То, что коммунистическая практика стоит на лжи и этой лжи прежде всего служит террор, типичный для сталинского периода истории СССР, — это уже отлично известно. В этот период распространялось мнение, будто бы не сама ложь, а служащий ей террор был сутью советского строя. Однако исследователи тоталитаризма под влиянием ужасов гитлеровского режима склонялись — как, например, Ханна Арендт — к представлению самого понятия террора как социальной технологии властей. Они считали, что смертоносный террор, неустанно ликвидирующий какую-то часть общества «физическими» средствами (главным образом в трудовых лагерях), представляет четкий признак “истинного” (или “последовательного”) тоталитаризма. Поэтому события периода десталинизации в СССР и в странах, покоренных СССР и переименованных на “народную демократию” (то есть “масло масляное”), доставили этим теоретикам и исследователям коммунизма достаточно большие проблемы. Так как мысли XX века было свойственно убеждение, рожденное в XIX веке, о некоей “автоматичности” цивилизационного прогресса, то есть просто вера в то, что история человечества как целое с течением времени не может становиться кошмарнее, а доступность к благам и справедливости “должна” становиться все более повсеместной, антитоталитарные мыслители с радостной усердностью старались рассмотреть в десталинизации зачатки благоприятного обновления как советского коммунизма, так и его иностранных мутаций. При этом надежды связывались с «коммунистическим строительством», предоставляя кредит доверия властям, и как правило все это было

тем больше, чем меньше конкретных данных мог получить Запад с коммунизированных территорий. Убеждение, что коммунистический тоталитаризм для своего существования должен применять террор с массовыми убийствами, т.е. убеждение, которое notabene “рационализировало” на длительную дистанцию на сколь безумную, на столь и самоубийственную для СССР политику Сталина по уничтожению собственных элит (элиту политическую, военную, научную, культурную и т.д.), — оказалось фальшивым. Оказалось оно не верным прежде всего потому, что ограничило само понятия террора, ибо, как показала практика постсталинского “социалистического строительства”, отказ от человекоубийственных форм террора не равняется отказу от террора в любом другом воплощении» [96].

Лем не был согласен с концепцией канадского философа **Маршалла Маклюэна** (1911-1980) о мире как «глобальной деревне»: «Пророчества Маклюэна сбываются, однако навыворот, как обычно бывает с пророчествами. Его “глобальная деревня” действительно возникает, но разделенная на две половины. Бедная половина бедствует, а богатая смотрит на эти страдания по телевизору, сочувствуя им издалека. Известно даже, что так продолжаться не может, однако все-таки продолжается» [6, с. 500]; «Глобальная деревня, о которой писал Маклюэн, стала фактом. Однако это такая деревня, в которой бросают гранаты из окон одного дома в окна другого» [194]; «“Глобальная деревня” Маклюэна, в которую превращаемся, — это глобальное побоище. Нетрудно догадаться, что, обнаружив жизнь в космосе, мы довели бы дело до военного столкновения и смертоубийства в космических масштабах» [211]; «Глобальная деревня Маклюэна является глобальным застенком» [15, с. 674]; «Пророчества Маклюэна (Земля как “глобальная деревня”) сбываются издевательски, ибо карикатурно» [258, Т. 29, с. 69]; «Может быть, напор всемирных бедствий не ощущался бы так непрерывно и насильственно, если бы испол-

нились пророчества Маклюэна, причем исполнились именно гуманным, придуманным им самим способом: если бы весь мир по существу пошел по пути превращения в “глобальную деревню”. Но пока что пророчество исполняется зловредным способом: мир можно сравнить с деревней только в том, что касается информационных связей и объема опасностей» [161, с. 430-431]; «Молниеносность передачи информации действительно приводит к “уменьшению” земного шара, но благодаря этому возникает не глобальная деревня, о которой писал Маклюэн, а скорее какие-то дикие поля, на которых пороки развиваются стремительно, как пожар. В основе механизма современного мира, подобно гире, благодаря которой идут часы, расположен мешок, наполненный человеческой кровью» [177, s. 64]; «Это глобальное село (по Маклюэну), полное шума, трупов, мух, ползающих по детским полутрупам, ежедневно прессуется и полученным экстрактом, насколько возможно катастрофическим, танково-кровавым наполняет нас, рассеявшихся перед ящиком со стеклянной стенкой, каждый вечер телевидение» [178, s. 293]. Лозунгу маклюэнизма «media are the message» (средства коммуникации являются сообщением (англ.)) Лем противопоставил свой: «media are the civilization — culture is the message» (средства коммуникации являются цивилизацией — культура является сообщением (англ.)) [131, s. 294-295]. Лем даже соглашался с Маклюэном: «На вопрос, на самом ли деле в телевидении совершенно исчезла положительная информация, Маклюэн когда-то ответил: она есть, но сосредоточена исключительно в так называемых рекламных паузах. И действительно...» [189, s. 64]. Но в целом: «Завершил читать сборник о Маклюэне; он — наглый взбесившийся путаник, как курьез его можно полистать, но основательно читать не стоит. Это, по-моему, касается и Маркузе» [128, s. 55].

Об английском писателе **Джордже Оруэлле** (1903-1950) и его культовом романе «1984» Лем писал: «Оруэлл дал модель

совершенного, глобального, застывшего тоталитаризма, какого на самом деле никогда не могло существовать в столь мрачной законченности. Он собрал распыленное, находившееся еще в зародыше зло и соорудил ему памятник, гигантский дьявольский монумент. Оруэлл вверг человечество в земной ад и оставил его непрестанно мучиться там. Он построил тюрьму, а не лабиринт. Его роман — антиутопия зла в чистом виде, безграничной лжи и безграничного насилия. Это поразительное видение, но слишком простое, чтобы быть достаточным истолкованием будущего. Если будущее готовит нам ад, то не такой, как оруэлловский, потому что “история не может остановиться ни в золотом веке, ни в темных веках» [13, с. 446]; «Я должен подчеркнуть, что версия сталинизма, которую Оруэлл и его последователи распространили на Западе, является фальшивой рационализацией. Для “1984” существенна та сцена, в которой представитель власти говорит О’Брайену, что образ будущего — сапог, топчущий лицо человека, — вечен. Это демонизм за десять копеек. Действительность была значительно хуже потому, что она вовсе не была так отменно последовательна. Была она абы какой — полной небрежности, разгильдяйства, бессмысленности, даже настоящего хаоса, балагана, — но все эти позиции “должно” вера переносила в категорию “есть”. (...) Именно эта вера, а не какие-то там пытки, например, приводила к тому, что на известных процессах обвиняемые признавались в наиболее абсурдных поступках, “шли напролом” в признании этого обвинения. Пытки пытками, но не каждого можно ими сломить, и мы, пережившие немецкую оккупацию, кое-что об этом знаем. Это была ситуация войны с врагом, который располагал гигантской мощностью, но ему можно было противопоставить внутренние ценности. А вот против Истории как злого Бога, как безапелляционного детерминизма процессов, никто не имел своей правоты, потому что никто не мог противопоставить этой загадочной абсолютной силе никаких еще более могучих ценностей, потому что каждый глубоко верил в трансцендентальность. (...) Так

что это была абсолютная вера, которая возвышалась над всеми, независимо от их убеждений: этого Оруэлл попросту или не мог понять, или не сумел выразить в романе. Всеобщность человеческого одиночества возникала потому, что никто никому не мог доверять, — в трансцендентальном, то есть типично теологическом смысле, а не в смысле прагматической социопсихологии и таких правил поведения, к которым приучают, например, шпионов, коим предстоит действовать на территории врага. Это был Абсолютный Миф, и когда он пал, то пал тоже абсолютно, то есть после него не осталось ничего, кроме недоумения бывших верующих: как можно было поддаться такому параноидальному безумию? Ведь это было коллективное сумасшествие. Это факты, а не фантастические вымыслы. (...) Отсюда все нелепости у Оруэлла, так как он решил, что все это вытекало из сатанинской преднамеренности. Никакой такой совершенной преднамеренности попросту не было. Отсюда и противоречащие друг другу два портрета этой формации: как колосса на глиняных ногах, которого развалит любой толчок, и как совершенное воплощение Истории в виде неизбежных, хотя, может быть, и кошмарных явлений: это был какой-то Ваал, абсолют, загадка, совершенно брэнная тайна, лишенная внеисторического смысла, но и проникнуть в ее историческое содержание было невозможно. Поражение верой, мифом, а не какие-то там выходки маркизов де Садов, исполняющих функции следователей в аппарате политического преследования врагов системы. А поскольку нельзя было даже попытаться назвать эти явления, используя терминологию, отличающуюся от освященного канона, и поскольку общественный анализ явлений не мог даже начаться, а тем более распространиться, загадка разрасталась вследствие ее неназываемости и неприкасаемости. Этот роман, конечно, является метафорой, моделью такой реальности, а не ее фотографией, отчасти и потому, что я не верю, будто бы речь шла о возможной реализации таких

условий и отношений, то есть чтобы это могло повториться под другим небом» [17, с. 536-539].

Лем отмечал, что у Оруэлла было много последователей среди американских писателей-фантастов, но при этом подчеркивал: «Все, что написано по этой теме после него, в лучшем случае является упрощением, в худшем — чепухой» [58, с. 38]; «Не тенденционную памфлетность в этом случае я ставлю в вину таким авторам, а их социологическую фальшь. Все известные мне писатели, за исключением, пожалуй, только Олафа Стэплдона, не зря ведь он социолог, конструировали стабилизовавшиеся общества, причем не важно, за счет сверхмерного блаженства или страха. Но ничего стабилизацию не предсказывает, ничего на нее не указывает» [60]; «Особую группу составляют “компьютерократии” — общества, управляемые машинами либо одной электронной супермашиной. (...) Машина не всегда управляет сама; порой она — либо их сеть — является инструментом власти, абсолютно и диктаторски осуществляемой людьми; такие произведения обычно находятся под сильным влиянием нашумевшего в свое время романа Оруэлла (“1984”) и более или менее удачно копируют его схему» [12, с. 487-488]. Сравнивал Лем с романом Оруэлла и известный роман своего любимого писателя-фантаста Рэя Брэдбери, причем не в пользу последнего: «Драматичная дистопия Брэдбери — “451° по Фаренгейту” — совершенно наивна. Брэдбери изображает общество, преследующее все плоды духовного творчества, если они инструментально бесполезны. Это произведение представляет собою всего лишь бледную тень романа Оруэлла; Брэдбери не понимает, что гораздо хуже правления злых людей власть тех, кто не велит сжигать книги, поскольку они в общественном сознании утратили какую-либо ценность. Пока люди находятся под чисто внешним принуждением, например таким, какое Третий рейх ввел на оккупированных территориях, неразрывность культурных традиций действительно подвергается величайшему давлению, однако она сохраняется внутриличностно (...). Культура погибает

полностью тогда, когда следы памяти о ней стираются из общественного сознания, поскольку использованные для этой цели социотехнические методы действовали достаточно долго и эффективно. У гитлеровцев, к счастью, не было в распоряжении нужного времени, чтобы полностью осуществить такую программу...» [12, с. 498-499].

В связи с Оруэллом Лем объясняет один из аспектов своего романа «Футурологический конгресс»: «Как стали замечать критики в последние годы существования коммунизма в Польше, центральной темой романа является (...) наслаивание иллюзии и обмана, неправда реальности, которая рисует данную цивилизацию великолепной, в то время как на самом деле она не является никакой другой, кроме как ужасной. Если следовать этой интерпретации, мой роман — почти игра, которую вело оруэлловское польское правительство, стараясь убедить нас, что в то время, когда мы жили в богатстве и счастье, Запад погибал в нищете. В Польше всегда было трудно найти людей, заблуждавшихся на этот счет, но многие граждане Советского Союза верили в это долгое время. Конечно, это самая суть психимического мира, который я описал в «Футурологическом конгрессе», только роль, выполняемую в нашем реальном мире обычной лживой пропагандой, в романе играли психимические технологии» [374, р. 58]. В другом своем романе — «Рукопись, найденная в ванне» — Лем противопоставляет отношение ко злу в обществе оруэлловскому: «Если конкретная общественная система абсолютным образом отождествляется с патронирующей ей идеологией, то все, что в ней обнаруживается, получает характер намеренности. Это значит, что ничего там не может осуществляться просто так, например из-за беспорядка, или чьей-то самовольности, или глупости, ничего не идет на какой-то частный, посторонний счет. Система оказывается воплощением престабилизированной гармонии или безошибочного преддетерминизма, то есть ее бессмысленность нужно представлять как ее тайные смыслы. И это есть то место, в котором я противопоставляю себя

Оруэллам, так как они мир явлений толкуют с привлечением дьявола, говоря высокопарно о некоем умышленном зле, совершаемом по неким метафизическим причинам. Между тем это зло имеет преимущественно низменный характер, лишенный сверхмирового санкционирования, и потому так важно, чтобы гражданин всегда был в праве кричать, что у него что-то болит, так же, как обладает этим правом человек в кресле у стоматолога, который ему в зубе дырку сверлит» [131, с. 72-73].

Хорошо знал Лем и труды французского философа, представителя атеистического экзистенциализма **Жана Поля Сартра** (1905-1980), хотя и писал: «Сартр раздражает меня своими тяжеловесными трудами на тысячи страниц» [374, р. 64]. Рассуждая о «новом романе», Лем приводит позицию Сартра: «Сартр сообщает, что новый роман упраздняет позицию “изолированного от мира наблюдателя” наподобие того, как в релятивистской физике равноправны высказывания всех наблюдателей, хотя пространственно-временные отношения, будучи относительными, изменяются при наблюдениях (когда наблюдатель, изменяя свое местоположение, изменяет вместе с тем и “структуру отнесения”)» [161, с. 238]. И критикует ее: «Не знаю, читают ли физики такого рода критические статьи. Если читают, то могут найти много поводов посмеяться. Филипп Франк в своей интересной книге “Современная наука и ее философия” справедливо утверждает, что в сегодняшней философии в качестве аксиом функционируют истины вчерашней физики. От себя добавлю, что в литературоведении ситуация еще хуже, поскольку то, что в нем функционирует на правах гносеологических аксиом, это даже и не позавчерашняя физика. Поспешность, с которой литературоведы переучивались на новый лад, сопровождалась у них забвением и искажением элементарнейших фактов» [161, с. 239].

Рассуждая о «Лолите» Набокова, Лем упоминает и сборник «Стена» Сартра: «По части психопатологии иные рассказы

этого сборника заходят дальше, чем “Лолита” Набокова. Но после “Стены” у меня осталось только чувство отвращения. Оно, разумеется, не возникло бы, если бы я читал эту книгу как сборник историй болезни, но ведь она числилась по ведомству литературы. А литература эта плохая. Никакого отклика, никакого сочувствия замученные персонажи Сартра не пробуждают. Он написал холодное исследование, до такой степени сходное с клиническим, что в свое время я позволил себе сочинить псевдорецензию, в которой “Стена” рассматривалась как ряд психиатрических очерков» [17, с. 246]. Здесь Лем имеет в виду свой фельетон «Из дневника клинициста», опубликованный в 1958 г. [58, s. 103-106]. И далее Лем объясняет позицию Сартра: «Он имел в виду собственную философию, и “Стена” иллюстрирует “тошнотворную” онтологию экзистенциализма; но иллюстрировать философию, хотя бы самую почтенную, при помощи беллетристики — это, по-моему, фальшь, злоупотребление литературой, которую мне хотелось бы видеть самостоятельной, существующей на свой собственный счет...» [17, с. 246].

Писал Лем и о других произведениях Сартра: «Сартр, этот несимпатичный мне тип, написал, как сообщает Блоньский, пространную книгу-откровение “Слова”. Как хорошо, что ничто меня не заставляет и я совершенно не обязан это читать. Желание Сартра обнажиться для меня очевидно, “Затворники Альтоны” — для меня это тупейший китч, мерзейшая психо-социальная фальсификация, какую только можно себе представить: как нафаршированный Словами детина представляет себе фашистов, немцев. Проблема в том, (...) что этого, этой андерсеновской обнаженки Сартра, в этом произведении так явно заметной, никто никогда не увидел, а если и увидел, то о ней не зарычал со слюной и смехом пополам!» [130, s. 281].

К Сартру как к человеку Лем относился очень негативно: «Исключительно неприятная фигура, извините, что прерываю, но я должен дать выход своей глубокой антипатии к этому негодю, который наверняка даже не знал, что таковым явля-

ется. Только человек внутренне нечестный может отважиться утверждать, что не следует говорить правду о темной стороне прекрасного строя» [16, с. 432]. Здесь Лем имел в виду, что «Сартр утверждал, что, возможно, в России и существуют концентрационные лагеря, но лучше о них не говорить, потому что это убийственно для высокой идеи улучшенного человеческого мира» [189, s. 116]. По этой причине имя Сартра даже стало нарицательным: «Загадкой для многих мыслящих людей является эта чрезвычайная легковёрность, с которой интеллектуалисты в частности и в особенности Запада относились к коммунистической утопии. Эта самогубительная наивность, с какой различные Сартры и Соллерсы наделяли советизм способностью преобразования людей в каких-то ангелов, и эти чрезвычайное желание и готовность к любой лжи, обещающей трудовые лагеря, ГУЛАГи и иные массовые могилы. По-видимому, мотивация была благородной. Я думаю, что людям, утомленным человеческой никчемностью, подлостью, завистью, убожеством, просто очень хотелось, чтобы кто-то где-то показал, как хорошо и просто можно вырастить человеческие существа, полные доброты, нежности, и к тому же еще и сытые и очень довольные своей судьбой» [156]. Продолжая «ругать» Сартра, Лем говорил: «Затем он заболел маоизмом. Его энтузиазм я всегда объяснял желанием пребывать в первой шеренге. Он ужасно боялся, что история может его выплюнуть, что он может потерять публику, потому что молодые пойдут в другом направлении. Разъезжая по миру, он мог не замечать тех ужасных вещей, которые творил в Камбодже Пол Пот — также воспитанник Сорбонны, — во имя светлого будущего вырезая миллионы людей. Зато он не забыл навесить в ФРГ Баадера (из террористической группы Баадера — Майнхоф) и посетовал в прессе, что у того в тюрьме недостаточно комфортный туалет. Это избирательное видение совершенно умаляет его в моих глазах как человека» [16, с. 432]. При этом Лем отмечал, что Сартра очень хорошо принимали в Советском Союзе: «Температура у русских, когда они ощу-

щают интеллектуальное приключение, несравнимо более высоко по сравнению с тем, что происходит в других странах. Сартр, когда возвращался из Москвы, был буквально пьян от того, как его носили на руках. Я тоже это испытал. Русские, когда кому-то преданны, способны на такую самоотверженность и жертвенность, так прекрасны, что просто трудно это описать» [16, с. 298].

Был хорошо знаком Лем и с творчеством французского писателя и философа **Альбера Камю** (1913-1960). Более того — в 1961 г. Лем назвал писателей, которых наиболее ценит: «Кafka, Достоевский, Фолкнер, Камю», и писателей, которых наиболее любит: «Камю, Брэдбери» [57]. В 1954 г. Лем писал: «Драма Камю “Калигула” как литературный труд является захватывающей, хотя с исторической точки зрения является ложью от первого до последнего слова. Прочитал эту инсценированную лекцию экзистенциализма с большим интересом. Если бы, однако, вместо Калигулы главным героем был бывший комендант Освенцима Хёсс, эстетическое очарование литературного труда меня бы не достигло, ибо еще раньше меня бы со злости черти взяли. Сказал бы “Никчемная ложь” — и вслед за мной это сказали бы сотни тысяч людей. Почему мы согласны на деформацию, на вымышленного фиктивного императора, а на фальшивое представление Хёсса “не дадим согласия, мой господин”? Потому что личность Калигулы нам далека, так далека, что совершенно безразлична; писатель может делать из него Люцифера или архангела, и мы отнесемся к этому флегматично. О Хёссе же мы бы захотели узнать правду, потому что были его потенциальными жертвами (подобное сравнение, ясное дело, может быть не только в «черном» цвете)» [48]. А в 1957 г. — в год получения Камю Нобелевской премии по литературе — Лем опубликовал большую рецензию на его «Чуму» и «Падение» под названием «Говорит голос в темноте», которую завершил следующими словами: «Мир Камю — это плотно закрытая память, как все-

ленная Эйнштейна, без выхода, без отмены, без надежды на другие ценности, кроме преходящих, которые, едва появляясь, уже рассыпаются; это не демонстрация черной изнанки добродетели, не исповедь “ребенка века”, ибо бытие безвременно; это не манихизм, а только видимость, видимость и тщетность; всегда запаздывает. Онтология поглотила, разрушила социологию; всегда имеются женщины, друзья и всегда их теряют; портрет должен быть зеркалом, подставленным человеческим лицам. Что в конце остается? Какой-то бунт, какое-то беспокойство где-то в глубине; каждый опыт без сопротивления проникает в судьбу человека как почти безразличное событие, даже если это событие чрезвычайно страшное, например с времен последней войны; если игра проиграна с самого начала, но ничего уже не грозит. От хаоса спасает только осознание проигрыша: “судья — грешник”... Это первые шаги в области философии Камю. И сейчас, в этом месте, в котором следовало бы приступить к ее анализу, я завершаю комментарий — с надеждой вернуться в будущем» [58, s. 117-118]. Согласился Лем с оценкой Камю творчества де Сада: «Дома у меня есть научное издание избранных произведений де Сада и его “Философия в будуаре”, так как мне было интересно, насколько был прав Камю в своем предисловии к “Юстине”, и оказалось, что был прав на 100%» [178, s. 395]; «Все творчество де Сада во вступлении к “Юстине” Камю квалифицировал, как Господь Бог указал: спокойно и по делу там написал, что де Сад был низкого уровня беллетристом, но зато высокого класса извращенцем» [204, s. 251]. Прокомментировал Лем и «Бунтующего человека» Камю: «Мне это показалось очень интересным, как то, что составляло одно позорное пятно на чести древней аристократической семьи, оказалось перенесено на 360 лет и сейчас является медом нигилистической философии в улье нашего времени» [130, s. 606].

Об итальянском философе и писателе **Умберто Эко** (род. 1932) Лем говорил: «Миллионы людей знают Умберто Эко как

автора романа, но только немногие знают, что он также является профессором семантики» [139], автором теории «открытого литературного произведения» [13, с. 447]; «То, что роман “Имя розы” Умберто Эко стал всемирным бестселлером, для меня это радостное событие. Я не верил, что — используем математическое понятие — множество хороших книг пересекается с множеством бестселлеров. Эко опроверг это» [348, s. 62]; «Роман Эко — редкое исключение из правила, согласно которому большая часть бестселлеров — просто мусор» [138]; «Говоря о бестселлерах, очевидно, что большинство из них живут очень короткой жизнью. Есть люди, которые, как правило, довольно негативно настроены по отношению к таким литературным сверхновым звездам. Например, мой друг Славомир Мрожек отказался читать книгу “Имя розы” Умберто Эко, когда она была такой популярной. Фактически я вынужден был убедить его в своих письмах прочесть ее, утверждая, что это одно из тех нечастых исключений из правила, что всякий бестселлер является хламом. В конце концов он прочел ее и признал, что я был прав» [374, р. 31]. Роману «Имя розы» Лем посвятил целую главу в монографии «Философия случая» [13, с. 455-478], ибо: «Прежде всего он мне очень понравился, так что я перечитал его несколько раз [в прекрасном немецком переводе, а потом отрывками еще и в английском, несколько менее удачном]. Каждый раз я переносил основное внимание на разные аспекты — и каждый раз получал не меньшее удовлетворение, чем в предыдущий. Вместе с тем я испытывал зависть к автору — что со мной случается очень редко. (...) Перед нами произведение, анализ которого дает действительное удовлетворение и автору которого стоит позавидовать. В особенности учитывая, что (...), во-первых, его проблемные интересы близки моим, потому что направлены на ключевые вопросы современности, хотя он подходит к ней с другой стороны временной шкалы. Во-вторых, этот роман доказывает, что обещанный нам (неустанно, вот уже в течение нескольких десятилетий) конец эпоса и наррации классического типа —

это распространяемая болтливо-импотентной массовой культурой ложь. В-третьих (...), несмотря на то, что “Имя розы” предъявляет к читателю достаточно серьезные интеллектуальные требования, роман стал бестселлером» [13, с. 456-457]. В своем многостраничном глубоком анализе романа и написанного позднее послесловия «Заметки на полях к “Имени розы”» Лем отмечает: «В “Имени розы” проявляется много различных обширных планов повествования одновременно. Самый крупный — исторически аутентичная панорама борьбы между светской и духовной властью, между императорами и Папами. (...) Следующий план повествования — связанные с этой борьбой богословские споры об имущественных правах Христа и апостолов. (...) Следующий и более важный план — то, как автор поступает с материалом доступного ему знания. (...) Ему удалось написать роман с широким читательским адресом, причем в качестве платы ему не пришлось отказаться от весьма глубокой философии. (...). В связи с “Именем розы” встает также вопрос, нельзя ли из конструкции этого романа вывести рецепт конструкции других художественных произведений, столь же жизненных и долго сохраняющих свою актуальность. Если бы это удалось, мы бы получили разыскиваемый многими “универсальный алгоритм творчества, предназначенного для всех”. Но хотя такой рецепт в качестве некоей стратегии творчества можно выделить из “Имени розы”, большой практической пользы эта литературная стратегия не принесет. Для нее должны иметься три начальные предпосылки: (1) полное, широко захватывающее знание как специальная компетенция в целой группе отраслей, иначе говоря, многосторонность эрудиции; (2) воображение с большим потенциалом создания сюжетов, причем этот потенциал должен быть независим от эрудиции; (3) умение находить либо аранжировать такие обстоятельства и ситуации, которые позволяют собрать в один фокус максимум повседневных (но равным образом и эсхатологических) человеческих дел. Эко сделал

изобретение, но изобретениям свойственна та особенность, что они делаются лишь один раз» [13, с. 465-470].

С классиками научной и социальной фантастики братьями **Аркадием Натановичем** (1925-1991) и **Борисом Натановичем** (1933-2012) **Стругацкими** Лем был знаком лично — несколько раз встречался во время посещения Советского Союза, а с Аркадием однажды и в Праге: «Я начал бывать в России во времена Хрущёва, в составе делегации Союза польских писателей. (...) Однако в ходе своих поездок я так и не познакомился с русскими писателями, за исключением братьев Стругацких, так как общался в основном с представителями научных кругов» [224]; «“Физики” перехватывали меня у “лириков”. Я успел познакомиться только с братьями Стругацкими. Помнится, в начале нашей встречи братья поставили на стол бутылку коньяка, и едва она опорожнялась, как на ее месте волшебным образом возникала следующая. Но я с честью выдержал это испытание» [214]; но и «с братьями Стругацкими, должен сказать, мне просто не везло. Лишь однажды мне удалось повидать их вместе и всерьез побеседовать; это было в Ленинграде; потом, сколько я бы ни приезжал, встречался с ними порознь и ненадолго» [83]. Хотя старший из братьев был младше Лема всего на 4 года, Лем считал их представителями уже следующего поколения: «Из фантастов младшего поколения в первую очередь хотелось бы назвать братьев Стругацких. Мне нравятся многие их произведения» [68]; «Мне кажется, хотя, естественно, я могу глубоко ошибаться, что Стругацкие в определенном смысле идут проторенными мной тропами, что делают это самостоятельно и умно, иначе говоря — таких “учеников” не следует стыдиться, но, однако, все равно желал бы, чтобы делали что-нибудь полностью суверенное, в полной независимости от меня... и от всей остальной мировой фантастики» [133, 10.01.1974]; «Я, конечно, вижу, где и как они шли за мной, т.е. по моим следам, но не могу их не уважать, потому что в каждый момент имею под рукой столько некачественной

американской макулатуры, на фоне которой их книги звучат хорошо и чисто, порядочно и серьезно» [133, 28.02.1974]; «При всем тематическом и жанровом разнообразии англо-американской фантастики там очень заметно то, что я назвал бы “параличом социального воображения”. Там пока совершенно невозможны произведения типа “Трудно быть богом” или “Обитаемый остров” А. и Б. Стругацких. Когда англо-американские фантасты пишут об отдаленном будущем, у них проявляются две крайности — либо они представляют его совершенно “черным”, либо совершенно “розовым”» [72].

Лем с интересом прочитал все основные произведения Стругацких, причем отдельные читал при первой публикации в журналах, которые ему присылали из СССР. Приведем мнение Лема о некоторых из них: «Люблю братьев Стругацких. Очень интересен их роман “Трудно быть богом”. Он отвечает всем критериям, которые я требую от произведений научной фантастики: новизна, философскость. Хорошо, — я говорю как писатель, — хорошо написано, сильно» [75]; «Роман [“Трудно быть богом”] Стругацких хорош, но есть неудачные места, они или не сумели, или не смогли его с размахом написать (российская критика заметила, что “Трудно быть богом” проблемно идентична “Эдему” и что идея отсюда; думаю, что это правда)» [131, s. 147]; «“Трудно быть богом” (...) — очень явное повторение (во всяком случае, для меня) проблематики “Эдема” (вмешиваться или не вмешиваться в чужую историю), а фон чрезмерно мнимый (“чужие средние века” являются попросту микстурой, смесью событий — впрочем, довольно поверхностных в историографическом смысле — земного хода истории, кроме того там есть еще анахронизмы, наивность, продиктованные аллегорично-иносказательным воображением, — я имею в виду “фашизм”, — все это вместе определяет, что имеем книгу не плохую, но не являющуюся ни выдающимся литературным произведением, ни захватывающей научной фантастикой)» [133, 28.02.1974]; «“Трудно быть богом”, если задумывалось как полемика с “Эдемом”, полемикой не

стало, потому что герой ничего не добивается своим бунтом: ничем не помог угнетаемым массам, девушку убили, а ему остались воспоминания. Кто в результате воспользовался тем, что он вышел за рамки игры, проводимой как чистое наблюдение? Можно сказать, что полемика заключается не в области моральных решений (вмешиваться — не вмешиваться), а в гносеологии (познаваема ли чужая культура?). Но и здесь нет никакой полемики, (...) ведь эти их инопланетные существа — это ЛЮДИ до последнего атома, то есть задача (гносеологическая) была “решена” с помощью *circulus in definiendo* [круг в определении (лат.)], — я спрашивал, можно ли понять нечеловеческую историю, а они исходно заложили, что она ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ, то есть ничем существенным от человеческой не отличается. Это меня удивляет — может быть, Аркадий и не является орлом интеллекта, но Борис?» [17, с. 579-580]; «Мне восприятие этого романа очень затрудняет предпосылка авторов о полном подобии этих неизвестных существ и людей. Я попросту не могу в это верить! Разве что это сказка, но тогда она совсем сбивает меня с панталыку. Есть еще одна их книга — называется “Малыш”. Там причудливо поставлена проблема невозможности контакта с иной цивилизацией, которая замкнулась и не ищет никаких контактов» [16, с. 250]; «“Малыш” уникален — это ясно, кроме того легко читается» [133, 28.02.1974]; «“Сказку о тройке” я считаю превосходной, а “Гадкие лебеди” меня утомили» [17, с. 578]; «Сейчас Стругацкие пишут продолжение колоссальной истории о “Экселенц”, о “странниках” и т.п. [имеется в виду “Жук в муравейнике”], публикуемое фрагментами в “Знание — сила”, — мой австрийский агент достал пару номеров, поэтому мог прочитать, и это мне показалось малостоящим. Естественно, что с такими обесценивающими суждениями следует всегда быть очень осторожным, но мне это действительно не понравилось. В частности, это не вызвало ни такого интереса, ни таких эмоций, как “Пикник на обочине”, который по моему мнению продолжает быть их лучшим романом. Если где-нибудь упаковывается так

называемая “еврейская проблема”, как в “Гадких лебедях”, то последствия там были скорее плохими для произведения. А если вставляются какие-то перекрученные отдельные слова, свидетельствующие о совершенно не космических вопросах (потому что не считаю семитскую-антисемитскую проблему космической), то выявление таких вещей представляется мне ловлей блох. Ибо что из этого с точки зрения художественной, миропознавательной или идеологической следует?» [133, 10.01.1985]; «Братья Стругацкие ударились в чудачества, в разные яйцеклетки и т.п. Не знаю, зачем?» [133, 07.12.1986]; «Книга Стругацких “Жук в муравейнике” мне совершенно чужда. Вся эта история с космическими яйцеклетками не вызывает у меня энтузиазма. Это просто сказочка, без смысла, которая не имеет какого-либо соответствия в реальной действительности» [125].

О романе «Пикник на обочине» следует сказать особо. Эту книгу Лем считал лучшей в творчестве Стругацких, включил в свою серию книг «Станислав Лем рекомендует», написал большое послесловие [17, с. 345-369]. Впервые прочитав в журнале этот роман, Лем отметил: «Прекрасно написано, дьявольски увлекательно, сенсационно, а смысл такой: прилетели космические хулиганы, устроили Пикник на Обочине, затем сели, улетели и оставили после себя “Зоны Посещения” — в которых полно “их хлама”, но этот хлам — чары для нашей науки, некие объекты, нарушающие все законы термодинамики и Ньютона, и что только себе “пожелаете”» [17, с. 554]. При этом Лем, наверное, первым отметил схожесть этого романа Стругацких с романом «Эра чудес» Джона Браннера: «ПАРАЛЛЕЛИЗМ фантастических мотивов (sjužet) я заметил давно. Это обидное для человеческого разума свидетельство его ограниченности в воображении! Но с Браннером и с “Пикником” — это уже что-то из телепатии. а) Пришельцы создают локальные “города” на Земле, и попасть в них нельзя; б) вокруг “городов” царит хаос, закон сильной руки, локальные самозванные “власти”, затрудняющие исследования; в) у

границы “городов” и в них самих можно найти непонятные объекты, которые не удастся познать ни одним из способов, доступных людям, нельзя их “разгрызть”. И таких совпадений еще больше! Как и то, что загадка Пришельцев до конца остается неразгаданной загадкой... (...) Если бы “Пикник” не проваливался так неприятно в эпилоге и еще если бы был менее «сплюснен» — мелкий — в перипетиях героев — это могла бы быть изумительная вещь. Задатки были! И что бы там с Браннером ни совпадало, “Пикник” значительно лучше в художественном смысле» [17, 578-579]. В послесловии Лем отметил: «“Пикник на обочине” основан на двух концепциях. Первая — это (...) стратегия неразгадываемости тайны пришельцев. (...) Вторая — это реакция человечества на Посещение, отличная от обычной в научной фантастике. (...) Посещение в “Пикнике” — это не странность для странности, а введение исходных условий для мысленного эксперимента в области “экспериментальной историософии”, и в этом заключается ценность этой книги» [17, с. 351-352, 356]. Лему не понравилось окончание романа: «Не авторский комментарий должен уводить нас от навязываемого структурально решения, а сами события в их объективном виде. Поэтому локально мощный эффект эпилога портит прекрасное целое книги» [17, с. 369]. Впоследствии, отвечая на вопрос о советской научной фантастике, Лем отметил: «Собственно, кроме пары книг, таких как “Пикник на обочине”, я не нашел там ничего такого, что бы меня восхитило. Эта книга Стругацких вызывает во мне своеобразную зависть, как если бы это я должен был ее написать. С повествовательной точки зрения она безумно увлекательна, хотя авторы немного и хватили через край» [16, с. 250].

Но в произведениях Стругацких важно и ценно еще и другое — аллегорически-иносказательный подход, что особо отмечал и Лем: «Большинство их произведений — это беспощадные карикатуры на советский тоталитаризм и социальные отношения. Они говорят, что никто не может быть сделан счастливым насильно, осуждают злостные злоупотребления

внутри системы и т.д. Их “Трудно быть богом”, возможно, лучший пример подобного типа произведений. Тогда едва ли удивительно то, что с того момента, когда советская система развалилась, в работах Стругацких стали заметны любопытные и показательные тенденции. В прошлом писатели очень близко, насколько возможно принимая во внимание инструкции советской цензуры, шли вдоль допустимых границ художественного творчества. Они должны были скрывать то, что находятся в социальной и политической оппозиции к режиму. Естественно, когда в какой-то момент в 1960-х годах эта сторона их творчества была замечена советскими литературоведами, разные осведомители и доносчики, конечно, в меру своих возможностей в качестве литературных критиков, причинили много вреда этим писателям (задерживая публикацию их работ и т.д.)» [374, р. 22]. Подобным подходом пользовался и сам Лем: «Вначале научная фантастика воспринималась как дурацкая литература. До тех пор, пока Советы не догадались, что братья Стругацкие являются идеологическими перебежчиками, и до тех пор, пока это информация не была передана в Польшу, можно было себе очень многое позволить и ловко камуфлировать. (...) И если делались не очень прозрачные намеки, то это проходило» [181]. В связи с этим была проблема-опасность, которая не в полной мере осознавалась на Западе, но которую хорошо понимал Лем: «Расшифровка» произведений Стругацких, когда они сидят в СССР и не пользуются большой любовью властей, кажется мне очень несоответствующей ситуации. Иначе обстоит дело с умершими авторами, как Адамов, ибо даже КГБ не сможет сделать ничего плохого покойнику, но выискивание мельчайших намеков у братьев Стругацких — это уже подобно доносу! Недавно я начал читать в “Знание — сила” их новый роман [“Волны гасят ветер”], который представляется продолжением “Жука в муравейнике”. Как-то меня это не очень увлекает, но считаю, что не следует указывать, “что авторы в действительности имели в виду”, даже если намеки представляются невинными. Это

очень деликатный вопрос. Я сам, когда пишу о Стругацких, осознанно воздерживаюсь, например в послесловии к “Пикнику на обочине”, и в письме старался отговорить одного американского профессора от публикации его лекции о Стругацких, потому что это может им навредить» [133, 07.11.1985]. А в целом у Лема общее впечатление от творчества Стругацких сложилось очень положительным, ибо в одном из своих последних интервью, данном испанцам, на вопрос, как Лем относится к Брэдбери, Кларку и Азимову, Лем ответил: «Никак. Я думаю, что россияне, братья Аркадий и Борис Стругацкие, лучше» [247].

Лем был знаком с работами советских писателей-диссидентов и общественных деятелей **Александра Исаевича Солженицына** (1918-2008), **Александра Александровича Зиновьева** (1922-2006), **Владимира Константиновича Буковского** (род. 1942). В 1984 г. Лем писал: «Когда-то — уже давно — политика НКВД относительно диссидентов представлялась мне глупой: анонимных людей меньшего ума отправлять в лагеря, замучивать по-тихому, а выдающихся выбрасывать на Запад, где они — как Солженицын, или Зиновьев, или Буковский — приступали сразу же к доведению до сведения Западу, чем на самом деле является советская система. Я не мог этого понять: миллионными тиражами книг о ГУЛАГе Солженицын документировал правду жизни в Советях, Зиновьев выполнил вскрытие советского общества, описал “хомососа”, другие эмигранты дорассказали все остальное. Как же НКВД мог этого не ожидать и не опасаться? Почему таких людей совершенно случайно не убили какой-нибудь автомобиль, какая-нибудь неожиданная болезнь, несчастный случай? Неужели “достоинства” советской системы стали бы тогда меньшими? Был глуп. Чем больше правды знал Запад, тем в большую политическую шизофрению попадал. (...) Известно, что в США господствует свобода слова и каждый там может провозглашать, что ему захочется. (...) Полки библиотек на

Западе ломаются от книг, представляющих конкретно и количественно советские успехи в человекоубийстве, эмигранты лезут из кожи вон, чтобы просветить Запад о природе этого строя, а эффект удивительно скромен, так как оказывается, по данным какого-нибудь ученого специалиста, что это клевета. Что с этим государством, которое столько выдержало и столько достигло, следует поступать по-хорошему. (...) Миф хорошего Советского государства бессмертен. Даже если все диссиденты станут на головах, всегда на Западе найдется солидный ученый идиот, который знает лучше их. (...) Шизофрения расширяется в западной прессе. (...) Огромными были не только усилия советских диссидентов, демаскирующих советскую психиатрию. Огромными были также усилия многочисленных психиатров Запада, чтобы задокументированные чудовищные безобразия — трактование умственно нормальных людей как опасных психов — не принимать к сведению» [112].

Лем очень переживал за судьбу диссидентов, в 1978 г. написал Мрожеку: «Читал ли ты *“Les Hauteurs Beantes”* [“Зияющие высоты”] Зиновьева? Если нет, то очень прошу — прочитай, и по-русски это намного лучше, но не знаю, владеешь ли ты языком Гоголя. За последние годы ни одно известие меня так не обрадовало, как то, что его выпустили [имеется в виду высылка из СССР на Запад, а могли ведь отправить в лагерь в Сибирь. — В.Я.], и сейчас он преподает логику в Мюнхене. Похоже, что издал он и вторую книгу, но ее не знаю...» [130, s. 701].

Лем внимательно следил за деятельностью и творчеством советских диссидентов, анализировал их, поддерживал и критиковал, формировал собственное мнение на происходящие в СССР и вокруг него события: «Мнения советских диссидентов об обществе, в котором выросли и жили, радикально противоположны. На “оптимистическом” полюсе имеем В. Буковского, который утверждал, что благодаря рождению диссидентского движения в этом обществе произошли позитивные изменения. Вместо того, чтобы измываться над политиче-

скими узниками, правоохранные органы начали их опекать. Диссидентское движение во времена хрущёвской оттепели и еще некоторое время после действительно усиливалось. Однако Брежневу при помощи Андропова удалось его успешно разбить. Несмотря на это, я не слышал, чтобы Буковский, уже пребывая в США, изменил свое мнение. Изменил или не изменил, но в книгах гласил о готовности широких масс в Советах поддерживать оппозицию. В это же время Зиновьев в написании портрета советского человека — хомососа — пошел в противоположном направлении. В эмиграции становился все более аподиктичным: его хомососы — это так обработанные режимом массы, что этот режим принимают и охотно поддерживают. Эти свои заключения он выдает за объективную правду. Говорит, что в СССР существует настоящее “правление масс”, и партия иногда даже сдерживает коллективы от жестокости, направленной на тех, кто “отклоняется”. Что научная среда, в которой он работал, была готова его повесить за пасквили на систему. Эта тема усилена в романах Зиновьева, но не может быть принята исключительно в качестве литературной фикции, так как Зиновьев это же самое повторяет в интервью. В конце дошел до перевернутой идеи, что оказался на Западе потому, что этого хотело КГБ, и тем самым он и его книги представляют для Запада советскую отраву... Эти два образа homo sovieticus взаимно исключают. Их можно было бы согласовать гипотезой, что в общественной массе, сформированной за 60 лет существования СССР, какое-либо устойчивое общественное мнение вообще не может возникнуть. Это более чем четверть миллиардное, многонациональное общество не знает Запада с его плюралистической демократией точно так же, как Запад не знает этого общества. Граждане СССР, даже если размышляют в стенах квартиры, не могут обратиться к какой-либо собственной демократической традиции, потому что никогда в своей истории такой традиции не имели. Можно и дальше так рассуждать. Например, что этим обществом не управляют какие-либо “объективные научные

законы” (Зиновьев очень любит говорить о социологических “научных законах”), но происходит обычная обратно пропорциональная зависимость между усилением репрессий и проявлением свободлюбивых тенденций. Впрочем, понятие репрессий не однозначно. Не обязано обозначать массовый террор, массовые высылки и постоянные показательные судебные процессы. И дело не в том, чтобы каждый знал, что глаза и уши КГБ присутствуют везде. Достаточно, чтобы ему казалось, все именно так. Буковский был, осмелюсь думать, чрезмерным оптимистом, а Зиновьев является чрезмерно рафинированным черновидцем, “научностью” обосновывая свой диагноз. Если бы зиновьевский хомосос представлял собой необратимую форму “человека советского”, то колоссальные траты на глушение заграничных передатчиков были бы не нужны. Не нужно было бы также постоянное заливание мозгов одним и тем же, безнадежно глупой и нудной ложью. И поэтому не известно, думает ли и о чем это общество и в какой мере доверяет своей власти. Но зато известно, как сильно эта власть не доверяет своему обществу. Таковы факты. Можно вокруг них строить дальнейшие новые рассуждения, но интеллектуальное состояние советских масс остается неизвестным, и я не считаю, что правда лежит посередине — между “готовностью к бунту” Буковского и “демонической всеагентурностью” Зиновьева. Последний повторял: в партийную идеологию верить не нужно — нужно ее принимать, и все это делают. Допустим. Но дальше не известно, сколько партийной стабилизации содержится в зиновьевском “принятии идеологии”. Технологии передачи информации, такие как орбитально-спутниковые, вызывают в Кремле агрессивную злобу, то есть опасение. И это уже не предположение, а факт. Знаю людей, утверждающих, что неглушение телевизионных передач на советской территории (например, американских фильмов и репортажей, показывающих жизнь на Западе), быстро привело бы к падению кремлевской власти. Однако это большая наивность. Советское общество сильно кастово иерархизировано.

Власть с огромным трудом старается достичь оруэлловского идеала: правда есть то, о чем сегодня гласит власть. Воздействие самиздата всегда было очень скромным, зато в миллионах советских квартир должны находиться тома “Истории Коммунистической партии СССР”, потому что миллионные тиражи имело хрущёвское издание этой теории, очерняющей Сталина за чистки и за полное поражений начало войны с Третьим рейхом. Может, и удалили эти книги из публичных библиотек, но не конфисковали из частных квартир. Это только небольшой пример, как трудно достичь состояния, представленного Оруэллом. Тот, кто утверждает, что охватил всю правду политического сознания во всем СССР, утверждает больше, чем следовало бы» [113]; «Хочу кратко разобраться с пасквилем на советское общество, которым мы обязаны в чем-то талантливому писателю, каковым является Зиновьев, автор “Номо sovieticus” и других книг. Зиновьев признал советскую систему бытия “обнаженной социальностью”, общество — “стадом свиней”, которым комфортно жить, валяясь в болоте уже само собой разумеющейся подлости, поэтому от советского общества он уже ничего не мог ожидать. (Казус польской “Солидарности” он объяснил мельком и неохотно как исключение из им самим установленного закона.) Если бы было действительно так, как утверждал Зиновьев, гигантское разрастание аппарата КГБ, врастающего во все клетки жизни Советов, свидетельствовало бы исключительно о тяжелой мании преследования, имеющейся у той власти. Однако оказывается, что это общество “духовно занимает минимальный объем” только подобно газу под высоким давлением. Достаточно уменьшить давление, и сразу же проявляется одновременно как общественная активность, так и удивительная бережно сохраненная память будто бы уничтоженного до нуля прошлого как в культуре, так и в политике, религии и т.д.» [124]; «Мне в руки попала во фрагментах книга выдающегося логика, советского философа Зиновьева (...), который написал апокриф, представляющий советскую действительность, про-

свеченную его логическим взглядом, (...) и не было там для меня ничего нового, кроме краткого обвинения, диагноза, который русскому народу поставил Зиновьев, — эту правду так безапелляционно до сих пор никто, ни один из диссидентов, не отважился сформулировать: что этот народ в определенном смысле ЖЕЛАЕТ советский режим, что купается в своей собственной недееспособности, что ему хорошо в неволе, ибо он Любит кандалы (что естественно, ибо нет Ничего Нового под Солнцем, это давно известно, еще Мицкевич сказал об этом в стихотворении “Друзьям-москалям” — о тех, кто “привык к терпеливо и долго носимым оковам”...). Но для новоявленных либералов, гуманистов и прочих еврокоммунистов это, однако, ужасные слова, и они будут, я в этом уверен, восприняты в молчании, т.е. осознанно не замечены. И одновременно с этим вижу, как наиболее правая, консервативная, антикоммунистическая пресса и ее партии с радостью делают под себя, когда иногда оказывается, что Советы, однако, не такие плохие и что с ними можно *detente* [разрядка (англ.)] делать честно» [131, s. 586-587]. «Есть такой русский диссидент Буковский. Он во всем видел участие КГБ. В том числе и в событиях в СССР. И только когда Россия во главе с Ельциным востала, — Буковский засомневался» [149].

То, что впоследствии Зиновьев крайне негативно оценивал разрушение советской системы, не прошло незамеченным Лемом: «Скажем, такой советский диссидент, как Александр Зиновьев, который теперь получил опять советское гражданство, написал книгу “Хомо советикус”, в которой утверждал, что в Советском Союзе никогда ничего не изменится, что никогда ничего демократического быть не может, что все законаны в панцири, что все — как мертвые. Конечно, это идиотство, потому что очень медленно — но все-таки сдвинулось! Дать задний ход и сказать: “Давай назад к сталинизму!” — теперь просто невозможно» [143]; «Немного подобным образом повел себя Зиновьев, который попросту является вдовцом — парадоксально, но вдовцом — по реальному сталин-

скому социализму. Может, из-за интеллектуальной спеси, не знаю. Его случай находится на обочине, и я не собираюсь уделять ему больше внимания, потому что не верю в искренность его неискренности. Что-то такое существует, подобно как интеллект примененный неинтеллектуально: Мудрость не может быть глупой — интеллект, ориентированный на неинтеллектуальность, наоборот» [156]; «Думаю, что Зиновьев страдает от мании величия и ностальгии по Великому Гению Человечества Сталине» [133, 07.10.1985]; «Думаю, необычные чудачества Зиновьева, написанные после того, как он оказался на Западе (например, “Homo Sovieticus”), являются следствием по крайней мере двух причин: ностальгии, потому что скучают по любой утраченной родине, в т.ч. и по советской (в данном случае: российской), а также ощущения (а он рассудительный человек), что если он сам себя не выделит среди эмигрантов, не будет отличаться, и сам себя срочно не разрекламирует, то утонет в эмигрантском гетто. Поэтому скандалил, а если я ошибаюсь и он верит во все противоречия относительно Советов, которые описывал, то он самоуверенный осел...» [133, 07.10.1985]; «“Зияющими высотами” Зиновьев звал в светлое будущее рая на Земле то тех пор, пока ему не стало жаль, что сталинских сладостей как диссидент-эмигрант уже не попробует» [159].

С творчеством Солженицына Лем впервые познакомился во время поездки в СССР: «В гостиницу мне принесли первое, “почти горячее” от печатных машин издание “Одного дня...” Солженицына как символ растрескивания стен неволи» [178, s. 227; 20]. Об этом же: «Помню, как раз во время одного из моих первых приездов в Москву был опубликован “Один день Ивана Денисовича”. Мои знакомые принесли мне в гостиницу этот рассказ так триумфально, словно это было знамя победы» [224]. После этого Лем познакомился и с другими произведениями Солженицына: «Очаровал меня когда-то Солженицын: “Один день Ивана Денисовича” и “В круге первом”. Я хотел бы отделить это от политических дел, хотя мы уже не сможем

вырвать из сердец этот фактор. Это нельзя читать так, как “Красное и черное” Стендаля. Это удивительно, так как для меня это литература не самого высокого полета, хотя должна быть, потому что в своем повествовательном каноне она выдержана очень последовательно. Элемент любопытства, что это такая политическая порнография? Может быть. Но при чтении невозможно дистанцироваться. Это суп, содержащий такую острую приправу, что обжигает язык и тем увеличивает мой аппетит, потому я его и поглощаю» [16, с. 222-223]. О романе «Август Четырнадцатого» Лем написал: «Последний роман Солженицына, перед которым пал ниц литературный Париж, — абсолютно неразборчивая хала с чудовищной претензией на обер-Толстого. И скучный же он! И еще ему, добродушно, захотелось современного исполнения, таких, знаете, виртуозных выступлений в стиле... Великий Боже, как жаль, что тебя нет! — как говорил из могилы старый Кереброн. Должно быть стыдно! Потому что имеется дизъюнкция между моральной позицией и талантом; а мудрость писателя заключается в том, чтобы Не Выходить за данные тебе Возможности. Выходящих ожидает неудача» [131, s. 113-114]. Об одном из наиболее известных произведений Солженицына Лем позднее говорил: «Когда мы получили суверенность, пришла в движение огромная лавина мартирологической литературы, но сейчас уже это почти никто не читает. Я прочитал только один том “Архипелага ГУЛАГ” и должен признаться, что уже не имел желания читать следующие... И это не из-за скуки, а только если система дала человечеству 50 миллионов трупов, то сложно желать, чтобы человек прочитал историю каждого из этих замученных в отдельности» [145]. В это же время о другом произведении: «Недавно я прочел в журнале “Новый мир” Солженицына “Бодался теленок с дубом”. Это же история Вавилона, ей 6 тысяч лет. Зачем все это ворошить? И так много писать, и так долго? Все это прах. Длинно, неприятно и тяжело» [151].

При этом Лем постоянно следил за творчеством Солженицына: «Скажите мне, читает ли кто-нибудь Солженицына?.. Сам-то он не слишком доволен Россией. Но его главное пророчество сбылось — он вернулся. Кто же мог в это поверить?» [183]. В декабре 1999 г. по просьбе польского поэта, лауреата Нобелевской премии Чеслава Милоша Лем подписал письмо в адрес российского правительства, интеллектуальной элиты России, всех россиян и мирового сообщества «Моральное самоубийство», протестуя против военных действий в Чечне. В отношении к событиям в Чечне Лем разошелся с мнением Солженицына: «Отчаянная история. Солженицын также считает, что война правомочна» [204, s. 232]. В статье о Милоше проводил аналогии: «Солженицын в последних номерах “Нового мира” широко пишет об обвале подлости, которая его сопровождала не только в Советской России, но и потом, когда он жил уже в Вермонте. С одной стороны к нему тянулись советские щупальца, с другой — эмиграция ставила ему в вину то и это, и все пытались пить из него кровь» [17, с. 788]. Лем отмечал, что «Солженицын не мог бы ни одного слова так называемого “протеста” даже пискнуть, если бы не “оттепель”, и исчез бы, и ни одна душа в мире никогда бы о нем даже не услышала» [131, s. 262]. Можно отметить и еще несколько иное пересечение творчества Лема и Солженицына. Как известно, в 1976 г. Лема исключили из почетных членов Американской ассоциации писателей-фантастов (SFWA): «Это был целый скандал, в результате которого я удостоился прозвища “польский Солженицын”» [16, с. 293]. Или иначе: «Об этом написали, что случай с Лемом похож на случай с Солженицыным, и так далее» [16, с. 727]. И в завершение: «Жаль, что после возвращения на родину Солженицын не сумел сохранить свою “литературную форму”» [224].

Был знаком Лем и с научной, и с общественно-диссидентской деятельностью **Андрея Дмитриевича Сахарова**

(1921-1989), в одном из интервью Лем сказал: «У меня было много друзей среди советских ученых, и Сахаров был одним из них» [175]. Причем Лем знал ранние работы Сахарова по астрофизике [128, s. 166], читал его воспоминания, а размышляя о развитии атомной энергетики и о катастрофе на Чернобыльской АЭС, Лем приводил мнения специалистов: «Читал недавно однозначное мнение американских специалистов: они считают удивительным, что эта катастрофа произошла так поздно и что так долго удавалось ехать на этой бочке пороха. Конструкция чернобыльской электростанции с самого начала была безумно рискованной. Еще Сахаров думал о размещении части элементов электростанций такого типа под землю; однако сложно это было сделать, не прерывая производство» [204, s. 226]. Собираясь писать статью «о сравнении двух тоталитаризмов, гитлеровского и сталинского», Лем для характеристики сталинизма намеревался опираться «на несколько выбранных воспоминаний, дневников, работ таких людей, как Сахаров...» [178, s. 301]. Лем считал, что «Российская научная элита в значительной мере уцелела в эпоху сталинского погрома только потому, что партия была слишком глупой, чтобы подняться на такие мыслительные высоты, каких достигали, например, Сахаров, Франк или Капица. Отсюда такая закономерность: чем более абстрактной была некая область (например, высшая математика), тем меньше пространства для разговора имели марксисты, а больше — настоящие ученые, хотя позже их работа переводилась в конкретные действия. Короче говоря, политруки были слишком ограничены, чтобы понять, в чем там дело. А так как россиянам всегда было очень важно военное превосходство, они вкладывали в эти исследования все возможные средства» [16, с. 567]. При этом «случай главного создателя советской водородной бомбы, Сахарова, который провел годы в ссылке вне Москвы, когда он понял ужасные последствия собственных работ, свидетельствует, что система вела себя действительно как каток, давящий на своем пути даже собственные шансы развития» [219].

Когда в 1985 г. появился слух, что Сахаров может быть отпущен на Запад, Лем написал, что это «шаг, который Москве будет очень мало стоить *de facto* и будет иметь большое пропагандистское значение» [133, 07.10.1985]. «Незабываемый Сахаров» понял «отвратительную сторону собственной деятельности, этой профессии смерти» [154]. А сам Сахаров в 1989 г. так охарактеризовал сложившуюся в СССР политическую ситуацию: «Сейчас происходят очень интересные психологические процессы, но назвать это возрождением социалистических идеалов я бы все-таки остерегся. Это Горбачёв так говорит, что мы восстанавливаем социалистические идеалы, в духе Ленина. На самом деле создается что-то совсем другое, мы еще в этом разобраться не можем. Идет такое брожение, когда очень трудно сказать, к чему мы придем. (...) Брожение — что-то вроде этого самого океана в повести Лема “Солярис”, где из этого океана возникают образы, на самом деле порожденные мозгом человека... такая страшная вещь. Я вовсе не так светло смотрю на ситуацию, я просто считаю, что нет никакого другого выхода, кроме перестройки. Оптимист я или пессимист, я даже не знаю» [http://www.sakharov-archive.ru/Raboty/Rabot_61.html].

Об основоположнике теоретической космонавтики **Констанине Эдуардовиче Циолковском** (1857-1935) Лем писал: «Уже приблизительно в 1300 году нашей эры китайцы запускали первые ракеты, движимые силой пороховых газов. Однако должно было пройти еще около шестисот лет, пока русский ученый Циолковский впервые начертил план межпланетного корабля» [10, с. 490]; «Инициаторы и теоретики идеи космических полетов, как Циолковский, предвидели, что это будет великолепным достижением человечества. Предполагали, что уже сама работа объединит мир, который выбросит балласты и разрушит разделяющие его барьеры. К сожалению, эти прогнозы не осуществились» [70]; «Циолковский и многие другие с понятным нам и заслуживающим высочайшего ува-

жения идеализмом мечтали, что проникновение человека в космическое пространство укротит его и умиротворит. Что тоска по объединению в единую людскую семью станет реальностью благодаря самой космонавтике» [71]; «Пионеры космонавтики, и особенно россиянин Циолковский, мечтали, что осуществление высокой идеи космодромии объединит человечество, сделает его лучше, приведет к Братству разумного сотрудничества и т.д., и т.п.» [178, s. 172-173]; «Различные предтечи новых областей техники — как Константин Циолковский, который в бедной и босой России мечтал о космических полетах, — представляли себе, что когда реализуются их проекты, то наступит эпоха братства, всеобщего мира и благополучия, что технология может нас спасти» [177, s. 39]. На вопрос «А как вы относитесь к высказыванию Циолковского: “Земля — колыбель человечества, но нельзя вечно жить в колыбели”?» Лем ответил: «Пионерам космонавтики был присущ романтический оптимизм, совершенно не учитывающий экономических аспектов проблемы. Да и социальных тоже. Они наивно полагали, что с началом космических полетов все сольются в братскую семью и жизнь каждого станет лучше» [214].

Высоко оценивал Лем работы российского математика и философа **Василия Васильевича Налимова** (1910-1997): «В последнее время на меня произвела огромное впечатление книга советского математика Налимова — “Вероятностная модель языка”. Она настолько глубока и интересна, что я написал несколько писем, желая издать ее как можно раньше у нас, потому что книга великолепна» [89]. И это «лоббирование» дало свои результаты — на польском языке книга была издана очень быстро в 1976 г. (при том, что на русском — в 1974 г.). Размышляя о языках, Лем отмечал: «Мой взгляд на характер языка родственен тому, что в своей книге изложил Налимов. Это математик, который вторгся в лингвистику и подверг ее вероятностной “хватке” с помощью функции Бейеса. Язык, говоря грубо и кратко, не состоит из слов, хотя и состо-

ит из них. Его создают высшие элементы, соответствующие определенным отношениям (связям). Познаваемый чувствами мир отпечатывается в языке. Существительные потому существительные, что являются определенными “сущностями”» [16, с. 108]; «Концепции теории правдоподобия, теории случайности, математической стохастической теории (которую интересно обсуждал Налимов в уже упоминавшейся книге), наверное, можно представить очень широко, но если такую книгу станут читать гуманитарии, то они даже не будут подозревать, какой огромный аппарат стоит за всем этим» [16, с. 113]; «Эта книга во многом спорит с модными, вращающимися сегодня концепциями языка, семантики и лингвистики. Она находится в сильной оппозиции к атомистической, логической концепции модели языка. Автор создал в ней одноосевую схему, в которую поместил разные языки: от очень “твердых” до “мягких”. Главное понятие, на котором основывается эта простая по сути дела вероятностная модель, — это правдоподобие по Бейесу. (...) У “твердых” языков кирпично-атомное строение, и в граничных случаях это языки бесконтекстные, следовательно, такие, в которых контекст не является необходимым для понимания. (...) Скажем, некоторые языки цифровых машин. Близко к “твердым” Налимов помещает — в чем я с ним не согласен, но это не важно — язык наследственного кода. Я был, отметим в скобках, пожалуй, первым, кто утверждал, что это первый язык, который возник на Земле, и это следует трактовать не как метафору, а почти абсолютно буквально. Это, разумеется, язык *sui generis*, так как он не относится к сознанию, но на нем “разговаривают” организмы с организмами. (...) “Мягкие” — естественные языки. Посередине находится язык полиморфный, или наш обычный этнический многозначный язык. (...) Налимов очень забавно представляет, и это мне во многом импонирует, современную абстрактную живопись как наиболее выродившийся язык — но это не уничижительное определение, ибо имеет чисто физическое значение. Есть здесь, кстати, картины Кандинского и Малевича...» [16,

с. 437-438]; «Налимов считает, что весь наш язык и наше мышление помещаются в достаточно узкой полосе. С одной стороны, языку угрожает чрезмерная “твердость”, с другой — “мягкость”. Чрезмерная “мягкость”, например, часто предвещает безумие, скажем, шизофрению. Если вы спросите у шизофреника, что общего между часами и рекой, то он не задумываясь может ответить, что камни. Частота использования слов у больного нарушена, так же, впрочем, как у поэта, когда он пишет стихи, с тем, однако, отличием, что первый делает это спонтанно и неосознанно, в то время как второй может это контролировать» [16, с. 440].

К этой работе Налимова Лем обращался и рассуждая о переводе текстов с одного языка на другой, о машинном переводе: «Как уже отмечал Налимов, эксперт по вероятности, очень неалгоритмическая природа текстов в естественных языках (и, соответственно, неравенство их переводов) — это то, что исключает все, кроме их “интерпретирования”, то есть отображения одного текста на другой. По этой причине невозможно для тысячи переводчиков перевести одну и ту же пьесу Шекспира на немецкий или польский в точности одним и тем же образом. Это показывает, что никакой алгоритм и, развивая мысль далее, никакой конечный автомат, которые могут быть симитированы простейшей машиной Тьюринга, никогда не смогут смоделировать человеческий мозг. С другой стороны, параллельная обработка данных как раз это и позволяет, но все это еще в будущем» [374, р. 106]; «Каждый, кто прочитает “Вероятностную модель языка” известного математика-вероятностника Налимова, будет убежден автором, что машине ЛЕГЧЕ пройти тест Тьюринга (в разговоре с человеком), чем сделать полноценный перевод небанального и ненаучного текста (например, философского, литературного и тем более стихотворного) с языка на язык. И это действительно так, поскольку если смотреть на ХОРОШИЙ перевод сквозь призму логической семантики, то видно, что об однозначной дословности речь никогда не идет. Налимов утверждает, и я

вслед за ним, что перевод — это всегда интерпретация понятийных смыслов, стоящих ЗА отдельными предложениями, выражающими на одном языке то, что должно представлять эквивалент на другом языке. Это, собственно говоря, очевидно, поскольку мы знаем, что на каком-либо языке каждый может как-то понять другого, также владеющего этим языком (естественно, речь не идет о топологии или алгебре), зато беглое знакомство с двумя языками действительно является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ условием для правильного перевода, но не является достаточным, так как не каждый человек, владеющий двумя языками, сумеет проявить способности переводчика — даже прозы (плохо переведенными произведениями мировая литература просто кишит)» [15, с. 242].

Заметим, что в своей книге Налимов упомянул и Лема: привел фрагменты текста из «Звездных дневников Ийона Тихого» (из «Путешествия четырнадцатого») для иллюстрации того, «как пространственный и логически правильно построенный текст оказывается недостаточным для понимания смысла чуждого нам слова. В нашем распоряжении нет того множества смысловых значений μ , на котором можно было бы построить функцию распределения $p(\mu)$. Мы не можем не только понять, но даже и смутно уловить смысл слова, если с ним не связана какая-то априорная функция распределения. Логически корректное его употребление не раскрывает еще его смысл» — здесь речь шла, конечно же, о знаменитых «сепульках».

Лем был знаком и с другими работами Налимова: «До двадцатого столетия вероятность считалась незаконнорожденным ребенком математики; сегодня она оказывается все более доминирующим аспектом во всех направлениях исследований чистой математики. Что касается причинности, любую дихотомию следует здесь применять с большой осторожностью; даже если это может быть полезным сегодня, завтра это может быть заменено более базисным формализмом. Эта проблема была изучена более детально уважаемым русским экспертом по вероятности Василием Налимовым (по меньшей мере одна

из его книг доступна в английском переводе; я знаю это, потому что у меня у самого есть экземпляр)» [374, р. 99]. Здесь речь идет о книге «Космос, время и жизнь: вероятностные пути эволюции» — Nalimov V., Space, Time, and Life: The Probabilistic Pathways of Evolution. — Philadelphia: ISI Press, 1985. Размышляя над вопросом «Почему мы не умнее?» с эволюционной точки зрения, Лем упомянул и Налимова, который «подчеркивал, насколько узкой является грань (говорить следует метафорично), вдоль которой мы следуем разумом, между пропастями избытка и недостатка свободы, когда человеческому разуму необходимо быть в равновесии между “твердостью” и “мягкостью” артикулированной мысли, между ее укрепляющимся стереотипом и расширяющейся без границ произвольностью» [178, s. 113].

Был знаком Лем и с работами американского лингвиста и философа **Ноама Хомского** (род. 1928): «Феноменолог — это тот, кто торжественно верит языку, кто так ему доверяется, что не ожидает никаких открытий, возможных в области, о которой мы ведем речь, кроме языковых операций, осуществляемых индивидуально, мыслительно и умозрительно. Зато лингвист из математической, бихевиористической и статистической школы языку, изучаемому “изнутри”, доверяет меньше всего; он хочет заниматься им как физик молекулами, табуретками или камнями, принимая к сведению только то, что можно заметить “снаружи”, закрывая глаза на то, чем и как язык понимаемый есть “в нас”. Кроме того, существуют и “центристы”, советующие соединить обе позиции или выбрать из них элементы, достаточные для компромиссного синтеза. К ним принадлежит — ибо может быть так классифицирован в этом вопросе — известный Ноам Хомски» [17, с. 55]; «Ноам Хомски еще в начале своих размышлений над языком различал две семантические структуры значений: поверхностную и глубинную, и, к слову, одной из его первых “моделей обусловленности смыслов через модальное изменение ВОСПРИЯТИЯ” было

предложение “they are flying planes”, которое (по-английски) можно понимать как “это летящие самолеты”, так и “они летят в самолетах”. Это, очевидно, упрощенная модель неустойчивости значений, ограниченная двумя видами понимания» [17, с. 675-676]; «В 50-х годах Ноам Хомский пытался формально математизировать основы языка и стремился создать так называемую генерирующую грамматику, присущую ВСЕМ человеческим языкам (а их около 4000 на Земле; некоторые из них уже практически мертвы). При этом он различал поверхностную и глубинную структуру языка, а так как его грамматики могут генерировать системы текстов, то появилась надежда, что переход от них к алгоритмическим языкам машинного перевода окажется осуществимым; однако эти труды завязли на мели: машинные переводы все еще в высшей степени несовершенны. Если же присмотреться к проблеме внимательнее и ближе, можно доказать, что буквальные однозначные переводы с языка (этнического) на другой язык с полным сохранением смысла невозможны. Скорее приходится говорить о том, что тот, кто переводит, занимается ИНТЕРПРЕТАЦИЕЙ текста одного языка с помощью другого языка» [15, с. 161-162]; «Приближаюсь к Хомскому убеждению, что основы всех человеческих языков, наречий, диалектов структурно очень подобны» [128, s. 251]; «Ноам Хомский со своей школой почти убедил меня в единстве того латентного дара, каким является семантическая структура языка, будто бы тождественная у всех людей, но тут читаю о языке готтентотов, который основывается на “причмокивающих звуках” и при переводе создает исключительные проблемы. Лучше сказать, что самих себя мы хорошо знаем там, где наша анатомия соответствует анатомии животных, а там, где в сферу исследований вступает ментальный элемент, мы являемся едва начинающими учebu невеждами» [178, s. 112]. Знал Лем и об общественно-политической деятельности Хомского, в частности о его протестах против войны США во Вьетнаме [131, s. 623, 637]. Возмущала Лема позиция Хомского относительно публикаций, пытающихся

«обелить» гитлеровские преступления: «В период, когда вымирает поколение, узнавшее гитлеровские порядки на собственной шкуре, уже можно даже идеализировать эти порядки ложью самого крупного калибра, утверждая, например, что Гитлер о геноциде ничего не знал и совершенно не предписывал его проводить или даже что никаких массовых убийств вообще не было — как это много раз и повторяли разные публикации, причем не только в Германии. У этой лжи нашлись защитники, от которых трудно было бы такого ожидать, например Ноам Хомский, который, хотя и сам еврей, заявил, что нельзя запрещать такие публикации, потому что это нарушило бы демократическую свободу слова. “Безудержный” плюрализм привел к растущему аксиологическому хаосу. Приближение к границам роста культуры (“симптом Вавилонской башни”, так можно было бы его назвать) распознается по таким вот феноменам в общественной жизни, в искусстве, литературе, нравах. Эти феномены похожи на абсурд, имеющий как будто специально издевательскую цель» [13, с. 437]; «Теперь вот один французский профессор утверждает, что немцы в оккупированной Польше никого не убивали, что все это — домыслы, а в довершение ко всему известный ученый-лингвист Ноам Хомский взялся этого француза защищать от нападок французских интеллектуалов, потому что, сказал Хомский, как там было, он не знает, но свобода слова, а значит, и свобода высказывания любых убеждений должна соблюдаться везде! (...) Мой невозмутимый либерализм улетучивается, как камфора, при чтении подобных сообщений. Этот француз, notabene, не первый со своей миссией оправдания немцев, но когда это делал кто-то из них самих, мне это в любом случае казалось менее странным извращением. Все, что находится в камерах и бараках Освенцима, видимо, умышленно изготовленные реквизиты. Ко всему этому благородный защитник француза, Хомский, — еврей по национальности. По правде сказать, я не знаю, что нужно делать в подобных случаях» [103].

Будучи теоретиком «философии будущего», Лем постоянно знакомился с работами известных футурологов, главным образом американских, таких как **Герман Кан** (1922-1983), **Сэмюэл Хантингтон** (1927-2008), **Элвин Тоффлер** (род. 1928), а позднее — **Фрэнсис Фукуяма** (род. 1952). При этом, к счастью, Лем познакомился с их работами уже после того, как издал свой классический философско-футурологический труд «Сумма технологии», ибо иначе он мог бы не осмелиться его опубликовать: «Я был словно Робинзон футурологии, и во многом благодарен этому одиночеству, этой изоляции потому, что если бы я узнал, что, когда вышла моя “Сумма” (...), на Западе уже начали появляться институты, такие как “Rand Corporation”, “Hudson Institute”, а во Франции группа “Futuribles” и т.п., то зная о существовании этого сосредоточения мудрости, подкрепленного системами компьютеров, обладающего доступом ко всей мировой литературе, свободой участия во всех конференциях и конгрессах, задавленный такой машиной, я бы ничего не отважился написать. Только подумайте: я, в одиночку, почти из деревни (с южной окраины Кракова), должен был конкурировать в пророчествах, должен был соревноваться с такими экспертами, которые выбрасывали на читательские рынки один бестселлер за другим, здесь Герман Кан, там Элвин Тоффлер... На мое счастье, о них вообще и о том, какой славой они пользуются, я не имел никакого понятия... Таким образом, изоляция может оказаться полезной» [17, с. 647].

После выхода «Суммы технологии» Лем изучил много футурологических трудов («У меня есть целая футурологическая библиотека из работ, изданных в 60-е и 70-е годы» [149]), что нашло свое отражение в монографии «Фантастика и футурология», в первом издании которой Лем упоминает книги Кана «Термоядерная война» (1960), «Об эскалации» (1965) и «Год 2000» (1967)). Но главным образом — в опубликованных в 1972 г. в варшавском еженедельнике «Literatura» статьях «Открытие миру» («Необходимо отметить, что я со смешан-

ными чувствами читаю теперь футурологические книги, потому что впечатление, что мне цитируют отрывки из моей «Суммы», особенно при знакомстве с такими авторами, как Э. Тоффлер, Гордон Тейлор или Дж. Форрестер, совершенно непреодолимо. Я писал, и не было ни отклика, ни эха, потому что время не пришло. Но в течение десяти лет меня догнали. Я говорю о смешанных чувствах, так как не очень приятно находить в чужих книгах собственные мысли, но сформулированные независимо (речь не идет о плагиате); однако в то же время такая параллельность идей укрепляет дух. Ведь это признак достоверности: это было предсказание, а не вымысел. Теперь, поумнев на прошедшие десять лет, я отчетливее вижу то, что на пороге десятилетия только вырисовывалось. Тогда еще можно было надеяться, что не все народы Земли бросятся в водопады технологии: казалось, что припозднившиеся смогут использовать шанс спуститься по более спокойному, сельскому и равнинному боковому руслу. Теперь такого шанса нет, как нет иного пути: нельзя отказаться от погони за лидирующей лодкой цивилизации. Почему, собственно? Что за исторический фатализм? Никакой это не фатализм, а закон системной динамики», «Парадигматика футурологии» (здесь Лем рассуждает о методах футурологии, в том числе на примере «Суммы технологии», а также пишет о футурологической литературе, называя книгу Э. Тоффлера «Шок будущего» лучшей популяризаторской книгой), «Бессилие футурологии» (полностью посвященной анализу книги «Год 2000»: «Из опубликованных ранее нет другой футурологической книги, которая представляла бы собой такую залежь кардинальных ошибок и недоразумений, как “2000 год” Кана и Винара. (...) “Год 2000” — это обзор прогнозов, но также демонстрация их бесполезности. Произведение переполнено недостатками, которые условно мы назовем “хронологическим перескоком”, “эклетической бастардизацией”, “всеядностью”, выравнивающей кривые правдоподобия, “впрыскиванием неопределенности в сегментацию пространства явлений” и, наконец, исходной по

отношению к названным недостаткам беспарадигматичности») и «Ложные, но существенные прогнозы», которые затем как главы были включены во второе издание «Фантастики и футурологии» (1973 [12, кн. 1, с. 154-197]).

По футурологии Лем прочитал курс лекций студентам факультета философии Ягеллонского университета в Кракове в 1972/73 г. На основе этого курса лекций было написано специальное предисловие к третьему изданию «Суммы технологии» (1974), которое предварительно было опубликовано под названием «Зонд в рай и ад будущего» [80] и в котором Лем дает классификацию футурологии. По Лему, работы Кана относятся к институциональной футурологии (*futurologia status quo*): «Кан перешел от военных прогнозов к гражданским и начал заполнять содержимым пустое до сих пор название футурологии (придуманное еще в 1942 году О. Флехтхаймом) систематической деятельностью эрудита. Таково было начало футурологии институциональной и потому щедро финансируемой, ибо связанной с властью, т.е. с “истеблишментом”. Кан не является ее главной фигурой, но наиболее эффективной, яркой (что делало его порой самозванным руководителем этой школы), а также представительной, потому что он сосредоточил в себе внеличностные черты эпохи. (...) Первый этап работ Кан вместе с Энтони Винером представили в солидном труде “Год 2000”. Его квинтэссенция — это оптимизм, растущий из скептицизма: ненадежен любой из методов предсказания, но их совокупность может приближаться к истине, понимаемой, впрочем, скромно, потому что это скорее предел предвосхищения, чем окончательное предсказание. Позиция предвосхищения определяет такую роль эксперта, где будущее ему не готовит никаких сюрпризов, потому что он создал “пространство возможности” и тем самым принял во внимание то, что может произойти. Так незначительная интеллектуальная задача сползает на умозрительную позицию, а зондирование будущего превращается в каталог шансов, инструктаж или

казуистику. К сожалению, и эта задача-минимум не была выполнена. Надо сказать, что через семь лет после выхода “Год 2000” сценарии Кана не сбылись, исторические аналогии хромают, из совокупности предположений остались лишь банальные общие фразы» [80]. В этой же статье (она же предисловие к третьему изданию «Суммы технологии») Лем рассматривает еще экологическую, бестселлерную, оппозиционную и формально-тестовую футурологию, здесь же Лем дал афористическое определение: «Футурология — это заменитель или временный протез избыточного знания».

Анализировал Лем и другие труды Кана: «Герман Кан, умерший несколько лет назад (можно сказать, что себе на пользу, ибо ошибся в целом ряде футурологических бестселлеров значительно сильнее, чем менее крупные его соратники и антагонисты), соучредитель “Rand Corporation” и “Hudson Institute”, сперва ввязался в предсказания ужасов водородной войны, а когда мода поменялась — стрелял прогнозами в даль будущего на веки веков (по крайней мере на двести лет в “Следующие двести лет”). При этом он плодил сценарные прочтения, и хотя с помощью штабов породил их великое множество, как-то ничто не желало осуществляться. Названные институты пережили крупное фиаско направленных в futurum прогнозов, а также смерть всеошибающегося мастера, но свойством институтов является то, что они легче возникают, чем гибнут, ибо главным гарантом их прочности являются не положительные результаты работы, а собственная структурная твердость. Поэтому когда на них обрушились миллионы долларов субсидий и дотаций, то факт, что пошли они напрасно, несколько не повредил работающим в них» [15, с. 7-8]; «Недавно я взял с полки книгу Германа Кана “Следующие двести лет” и снова просмотрел ее, с досадой пожимая плечами: ничегошеньки из написанного в ней не сбылось. Там и речи нет ни о глобализации, ни об Интернете, ни о мобильных, ни о сканерах, ни о биотехнологиях...» [248].

По свидетельству американского писателя Курта Воннегута (1922-2007), футуролог Тоффлер является «почитателем прозы Лема» [329, s. 24] (самому Воннегуту очень понравился «Футурологический конгресс» Лема, и он отослал этот роман американскому футурологу [329, s. 27]). Причем Тоффлер являлся почитателем Лема до такой степени, что когда в 1976 г. американец путешествовал по Европе, то организовал себе встречу с Лемом в Кракове. Об этом Лем писал своему другу: «Был здесь на прошлой неделе Элвин Тоффлер (автор бестселлера “Шок будущего” 1970 года) с женой, и так хотел со мной познакомиться, что меня американское консульство прямо-таки изнасилоvalo, чтобы я с ним пообедал...» [130, s. 472]; «Здесь был и со мной разговаривал Элвин Тоффлер, этот самозванный журналист-футуролог» [130, s. 493]. И Лем интересовался Тоффлером: «Я знал в целом, что будет через сто, триста лет, но о том, что может наступить через год, через десять лет, никогда не имел понятия в отличие от членов клана футурологов, которые постоянно проигрывали при сравнении их сценариев с голой реальностью, но как-то это не вредило их репутации. Мистер А. Тоффлер дал английскому журналу “New Scientist” интервью, из которого я понял, что он стал очень осторожен, так как, наговорив несколько страниц текста, не сказал ничего конкретного» [178, s. 177].

Знаком был Лем и с книгой Хантингтона «Столкновение цивилизаций» (1996), на которую многократно ссылался: «Считаю, что профессор Сэмюэл Хантингтон глубоко ошибается, предсказывая эпоху неожиданных столкновений, также и военных, между цивилизациями или культурами, основанными на общности религии. Ведь исламский Иран не проявляет ни малейшего желания помогать исповедующим ислам чеченцам — ибо имеет интересы в России. Экономические интересы оказываются важнее той мифической общности» [204, s. 122]; «Теракт в Нью-Йорке вывернул все наизнанку. Соединенные Штаты обратились ко всем союзникам с прось-

бой помочь в составлении списка подозреваемых в связях с террористами и в их преследовании по всему миру. Мне представляется, что одной из главных целей этого теракта был такой перевод стрелок исламского гнева, чтобы довести дело до столкновения цивилизаций, о котором писал профессор Хантингтон. Такого столкновения еще не знала история, но специальные усилия могут к нему привести» [220]; «Американское вторжение в Ирак вызвало на нашей планете политическую перегруппировку глобального масштаба. Возникли противоречия и в Атлантическом союзе, и поэтому гипотеза профессора Хантингтона о неизбежном противостоянии культур становится угрожающе правдоподобной. Но, однако, более отдаленные по времени политические события по-прежнему настолько непредсказуемы, что прогноз Хантингтона, к счастью, не имеет характер самоисполняющегося пророчества» [236]; «Одна надежда: более отдаленные по времени политические события по-прежнему настолько непредсказуемы, что прогноз Хантингтона, быть может, все же не сбудется. Не случайно в прошлом веке, после позорного провала футурологии, родилась такая поговорка: ничто не меняется так, как будущее» [245].

С творчеством Фукуямы Лем начал знакомиться еще до выхода первых его книг: «Американец японского происхождения Фрэнсис Фукуяма из Управления планирования политики Госдепартамента США в эссе “Конец истории?” утверждает, что мы присутствуем при исходе идеологической эволюции человечества, когда западная либеральная демократия утверждает себя повсеместно как окончательная форма общественного устройства. Дескать, мир настолько поглощен экономическими и экологическими проблемами, что в нем не существует больше идеологических оснований для крупных международных конфликтов. А следовательно, и для применения военной силы в глобальных масштабах. Но вот нападение Ирака на Кувейт — свидетельство тому, что история

не хочет кончаться! Как совокупность человеческих действий она идет дальше, и никакого конца быть не может» [143]. А первую книгу Фукуямы «Конец истории и последний человек» (1992) Лем критиковал неоднократно: «Фукуяма после падения советской империи радостно провозгласил наступление “конца истории”, что я считаю полной глупостью. Как можно вообще говорить о конце истории? Это как раз сегодняшний мир с точки зрения упорядоченности является гораздо более хаотическим, более непредсказуемым, чем тот, в котором были две сверхдержавы, создававшие силовое поле, и все было ясно» [211]; «Чрезвычайно наивные представления Фрэнсиса Фукуямы, который верит, что с концом коммунизма наступил конец истории, что капитализм победил и впереди только бесконечная скука сытого населения Земли, — это сущая нелепость» [172]; «После войны я сказал девушке, руки которой добивался и которая стала моей женой, что после моих оккупационных переживаний меня ничто уже не взволнует и не испугает. Это оказалось неправдой. Потом ведь были Косово, Чечня, террористическая атака на Нью-Йорк. Кошмар возвращался. Есть только один человек в мире, которому все нравится, — Фукуяма. Согласно ему, история уже закончилась. Я не уважаю его...» [16, с. 676]; «Это же одни глупости разные! Ведь ничто же не осуществилось так, как он представлял себе. Ведь не только никакого нет конца истории, но, наоборот, есть новые конфликты и новые политические напряжения. Не только в Ираке, но и на Украине, почти везде. Значит, он ошибся. И когда он увидел, что он ошибся, он же даже и не думал, чтобы вернуться к своим фальшивым прогнозам, а только написал следующую книгу, про конец человека, и тоже дурацкую» [16, с. 718].

Этой следующей «дурацкой» книге Лем посвятил целую достаточно большую статью «Конец концов» [258, Т. 31, с. 414-418], в которой поспорил с Фукуямой: «Книга в польском переводе называется “Конец человека”; издатель усилил назва-

ние, которое в оригинале звучит “Our posthuman future”, т.е. “Наше постчеловеческое будущее”, с подзаголовком “Последствия биотехнологической революции”. Мы имеем дело с футурологическим произведением, и, по моему мнению, оно разделит судьбу пророчеств бывших знаменитостей футурологии, таких как Герман Кан, или таких коллективов, как “Rand Corporation”. Когда-то очень читаемые, они подверглись саморазрушению, потому что ход событий не подтвердил предсказаний. (...) Фукуяма совершает так называемую ошибку эквивокации, которая основана на том, что один и тот же термин используется в двух разных значениях. В настоящее время стерлась разница между технологией, понимаемой как строительство мостов или лунных ракет, и процессами, которые заведуют органическими явлениями жизни, также и человеческой — отсюда термин “биотехнология”. Мы оказались на распутье: технология была деятельностью, над которой ученые и политики могли господствовать как финансово, так и проектно, зато над биотехнологией до конца господствовать нельзя. Тем временем Фукуяма чрезмерное внимание привязывает к возможностям, какие в ее ограничении имеет законодательная власть. Как профессор университета Принстона он занимается политической экономикой, и наверняка оттуда в его мышлении склонность к законодательно-регулирующим действиям. Я когда-то писал, что технология — это независимая переменная цивилизации, зато Фукуяма доказывает, что познавательные явления в науке могут подчиняться законодательству, а следовательно, и политикам. Он прав в очень ограниченной степени: в точных науках так называемая политическая алчность может только сбить с пути научный прогресс, так как это было, например, с Лысенко. Однако это трудно объяснить кому-то, кто всю жизнь сидит в экономике: экономика это не точная наука, немного напоминает метеорологию: до сих пор нет никаких, собственно говоря, математизированных способов предвидения на дальний срок событий в экономике, так

же как нет точных долгосрочных прогнозов погоды. Автор считает, что легислатура может остановить или спустить в канализацию дальнейшее развитие биотехнологии, — это нонсенс. Биотехнология не может, разумеется, развиваться быстрее, чем исследовательский бассейн, из которого она черпает поддержку, а эти исследования могут быть в какой-то стране приторможены; Буш уже начал это делать. Тогда наступает их перенос в другие части света, где американское законодательство не достает, например в Корею. Тем временем Фукуяма действительно считает, что если не дойдет до великой катастрофы, называемой концом человека, то, прежде всего, благодаря тому, что американское законодательство будет расширено на весь мир. Видение Фукуямы — это мираж, нашпигованный наивными представлениями. (...) В книге Фукуямы нет ничего неизвестного, и это большой ее недостаток, ибо явно показывает, что автор пользуется информацией из вторых рук. Главной же слабостью Фукуямы является отсутствие какого-либо творческого видения; он хочет нас только напугать. Большой шумихой медиа вокруг биотехнологии 1999-2001 годов он бросил проекцию в будущее, раздул и усилил. Возникла ужасающая и одновременно застывшая картина, в то время когда, по сути, речь идет о процессе динамическом».

В 2003 г. краковский ежемесячник «Znak» свой сентябрьский номер посвятил теме «Будем ли мы жить вечно?», в рамках которой опубликовал эссе Фукуямы «Продление жизни» и попросил Лема высказаться на тему номера и этого эссе. Об этом Лем писал и говорил следующее: «Прислали мне, с просьбой прокомментировать, текст Фрэнсиса Фукуямы на тему того, что произойдет, когда человеческая жизнь будет неимоверно продлена; Фукуяма предполагает, что это наверняка произойдет. Я намерен ответить, что с некорректно сформулированными и некомпетентно обсуждаемыми тезисами не стоит серьезно дискутировать. Фукуяма должен тихо сидеть в

углу, ибо биологии он вообще не знает, а пророчествами на тему конца истории достаточно уже себя скомпрометировал. (...) Знание человеческой биологии указывает, что приходя в мир, мы уже несем зачатки нашей смертности. Нашу жизнь можно продлить самое большее на пару лет» [239]; «Мне нужно ответить на статью Фукуямы, который опять взялся за предсказания, что человек будет жить вечно. У него исключительно идиотские идеи, но работает в хорошем месте, в редакции “Foreign Affairs”, и этого достаточно...» [237]; «Уже в названии эссе Фукуямы “Продление жизни” есть противоречие, поскольку тот факт, что мы живем дольше, чем, например, наши пещерные предки, ни в коей мере не следует из дарвиновского естественного отбора. Практически мы почти совсем не отличаемся от них набором наших генотипов, а главной причиной того, что пещерные люди в среднем не доживали до тридцати лет, а мы в странах некоего благосостояния достигаем семидесяти, является отличие социальных и биологических условий» [243]; «В последнем номере «Znak» напечатали статью известного фальшивыми прогнозами Фукуямы, который распространяет свои замечания на тему вечной жизни на Земле. Я ему деликатно ответил, показывая, что предположения, на которые опирается его концепция, взяты из воздуха. Человек это существо, которое рождается, чтобы умереть» [242].

И в целом: «Фрэнсис Фукуяма, с давних пор мой отрицательный герой, в последнем номере “Financial Times” беззаботно щебечет, как бы позабыв о том, что сам написал раньше. И совсем не помышляет, чтобы хоть в двух словах объяснить, почему он так ошибся. Если уж подает голос некто, ранее раструбивший на весь мир о конце истории, то уместно было бы объясниться. В особенности после того, как теракт в Нью-Йорке вывернул все наизнанку» [220]; «Фрэнсис Фукуяма, отличающийся всесторонней некомпетентностью, особенно в излюбленных им темах, не разочаровывается,

постоянно попадая пальцем в небо. По профессии он что-то вроде самозванного футуролога, которые, как известно, страдают полной амнезией в области широкого диапазона своих ошибочных предсказаний. И вообще ошибки не лишают их дальнейших приливов страстного увлечения прогнозами» [243]. А небольшую статью, специально посвященную книгам и прогнозам Фукуямы, Лем закончил так: «Фукуяма стреляет из заряженного эрудицией пулемета с таким же успехом, как пальцем в небо, и ничем это не вредит его всеобщему признанию» [252].

Самому Лему удалось много чего предсказать (см., например, статьи “Что мне удалось предсказать” [15, с. 703-710] и “Повторение сказанного” [15, с. 711-718]), причину своего “успеха” Лем объяснял следующим: «Загляните, пожалуйста, в “Год 2000” Кана и Винера: возможно, будет побежден рак, возможно, будут запущены водородно-гелиевые реакторы, возможно, будет использована и преодолена гравитация... И ни слова о том, каким образом можно этого достичь. Этим отличается предсказание уровня развития от пророчества. Пророк вещает о том, что произойдет, не указывая путей или альтернатив, ни места, ни прогрессивных направлений развития, венцом которых станет предсказываемое состояние. Я никогда не писал так. Именно поэтому я взял за образец не видение «с потолка», а большие эволюционные процессы, ибо они, несомненно, существуют, и технологию, которой оперирует эволюция в наших телах, потому что это не фантазия, а факт. По сути дела, я старался присматриваться к тому, что закономерно и возможно в мире природы, предполагая, что туда, где непреодолимых барьеров нет, можно вторгнуться. Я никому не пытался внушать, например, что можно достичь бессмертия только потому, что есть люди, которых это очень интересует. То, что нечто является ценностью для людей, никогда не было для меня достаточным поводом, чтобы предпринимать усилия и аргументировать, что возможно именно так. В то же время я считал, что некоторые явления, проис-

ходящие в природе, можно позаимствовать. Это реальные явления, но ускользающие от нашего знания и способности подражать» [16, с. 417-418]; «Неудачи футурологии возникли оттого, что она пыталась дать точные сценарии *temporis futuri* излишне детально: она утверждала, что в политике может произойти то-то и то-то, что открытие чего-то не известного сегодня произойдет послезавтра, она представляла меню настолько подробное, что все происходило иначе. Только рефлексивно чувствуя, что предсказать большие или малые политические стычки не удастся, я не касался реальной политики (еще и потому, что я писал, желая при благоприятных обстоятельствах уберечься от бдительности цензоров «реального социализма»). Хотя, как видно, трудно порвать с политикой, так как можно сразу потерять читателей, жаждущих конкретики. Герман Кан, как сегодня Фукуяма или Хантингтон, — все они кропотливые исследователи и пробуют прозондировать будущее так, как будто бы должны нарисовать его на поверхности глобуса — черном, гладком шаре, который находился в географическом кабинете моей львовской гимназии. Однако чем более детален прогноз, тем легче он поддается безапелляционным фальсификациям. Ну кто сегодня читает толстые тома Кана?» [15, с. 704]. И в целом о футурологах: «Какие же эффектные прогнозы развития цивилизации давались в последние десятилетия! Был златоуст Кан, консервативный Кеннеди, свежий как прошлогодний снег Тоффлер, затем Хантингтон со своей концепцией борьбы культур и вер, а теперь — обильный урожай глобалистских и антиглобалистских концепций... Что ни год, то пророк! С частотой приблизительно раз в два года появляется новый провидец, изображающий ученого, и, разумеется, все видит по-другому. Все меняется неслыханно быстро, в связи с чем будущее и прошлое выглядят все время иначе, потому что оказывается, что историкообразующие механизмы функционируют не так, как считалось раньше. Толком ничего нельзя предвидеть, особенно в политике и экономике» [16, с. 622].

Из списка мыслителей XX века, предоставленного автору Грицановым, в работах Лема еще просто упоминаются **Михаил Михайлович Бахтин** (1895-1975) [17, с. 577], **Анри Бергсон** (1859-1941) [131, с. 492], **Николай Александрович Бердяев** (1874-1948) [31], **Владимир Иванович Вернадский** (1863-1945) [219], **Хосе Ортега-и-Гассет** (1883-1955) [16, с. 410], **Фридрих Август фон Хайек** (1899-1992) [16, с. 514].

В завершение этой главы приведем высказывания еще об одном выдающемся мыслителе XX столетия — о самом **Станиславе Леме** (1921-2006), при этом дадим слово исключительно упомянутым выше и охарактеризованным Лемом персонам.

Лешек Колаковский: «Без сомнения, называю его выдающимся идеологом сайентистской технократии, то есть человеком, убежденным, что нет такой реальной проблемы, которую принципиально нельзя было бы разрешить при помощи технологических средств» [337].

Хелена Эйльштейн: «Фантастика Лема под собой имеет основу, каковой является необыкновенное многостороннее знакомство с современной научной проблематикой. (...) Какой-то счастливый бросок генетическими костями обеспечил то, что дьявольская эрудиция Лема была подключена как усилитель, а не как глушитель к его фантастико-творческому таланту. “Глас Господа” с этой точки зрения является настоящим концертом. (...) В нем открывается одна из лазеек, ведущих к неустанно появляющейся в мыслях Лема философской и психологической проблематике установления контактов и непонимания» [313].

Ежи Кмита: «Пора уже четко сказать, что Станислав Лем является одним из замечательных представителей нашего современного философского творчества. В своих литературных и дискурсивно-философских работах автор «Фантастики и футурологии» неизменно занимает позицию методологиче-

ского натурализма: основополагающие принципы научного прогресса, разработанные при исследовании природы, считаются подходящими также и для познания явлений, интересующих гуманитариев. (...) В философии культуры одной из главных основ интеллектуального творчества Лема является онтологический натурализм, (...) который распознается в том, что как в литературной теории, так и в практике он особо высоко ценит такие “модели” действительности, которые сконструированы исходя из предположения, что реальным является “неумышленное”, т.е. природное, управление культурой» [335].

Пауль Фейерабенд: «Мне кажется немного странным, что и такие люди, как Лем, который все же является господином с более-менее богатой фантазией и который написал несколько интересных и необычных историй, наступают на одни и те же грабли. Он изобретателен — это да, но он использует свой изобретательский талант как своего рода роскошь, так сказать, для мечтаний, он не решается применять его в качестве вспомогательного средства для понимания реальности. В этом он намного менее склонен к авантюрам, чем самые лучшие из сегодняшних физиков и космологов» [107, s. 235-236].

Аркадий Стругацкий: «Лем — это гигантский писатель и гигантский философ» (из выступления на встрече с читателями в ДК МАИ 19 ноября 1983 г.).

Борис Стругацкий: «Разговаривать с ним было — одно наслаждение: он был блистательный полемист, потрясающий эрудит, остроумец и вообще умница. Думаю, это был один из умнейших людей, с которыми мне приходилось общаться за всю мою жизнь. А уж воображение его!.. Нет и не было в литературе XX века писателя с таким мощным, многогранным и изощренным воображением! Мы пока еще не понимаем, какого гиганта потеряли. Он был Рабле и Свифт XX века в одном лице. Равных ему нет и не было со времен Уэллса. Человек-Гора!» [407].

В своей книге о философии Станислава Лема Павел Околовский приводит рисунок, на котором в наглядном виде представляет место Лема в обществе, определяя его в одном лице как **мыслителя, морального авторитета, мудреца, гения и философа — создателя системы** [356, s. 484]. При этом Околовский исходит из следующих определений:

— мыслитель — тот, кто формулирует обоснованные тезисы о мире, не обязательно подтвержденные наукой;

— моральный авторитет — тот, кто собственной жизнью демонстрирует, что является добром (а через это — и что является злом);

— мудрец — моральный авторитет, обладающий обширными и основательными знаниями в разных областях;

— гений — создатель шедевров (в произвольной сфере деятельности);

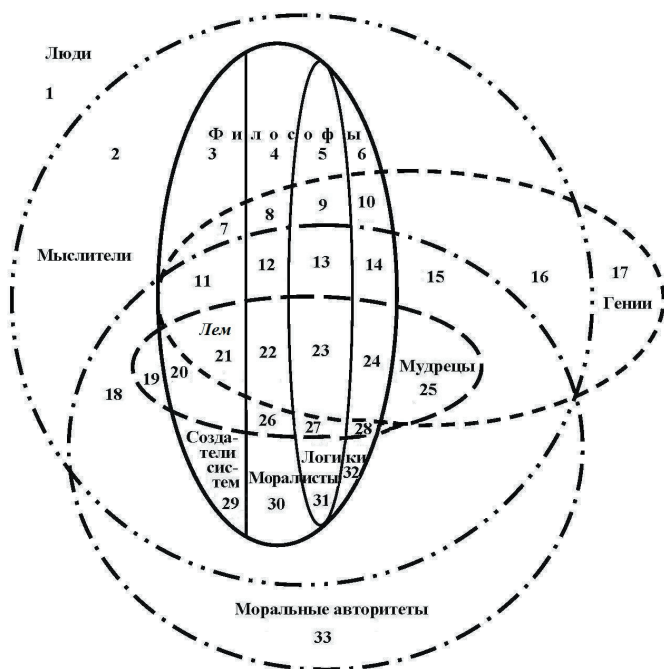
— философ — систематический мыслитель; философ подразделяется на:

— философ-логик (в широком смысле) — философ, аналитически и критически исследующий человеческую мудрость в различных ее проявлениях;

— философ-моралист — тот, кто систематически формулирует тезисы относительно добра и зла (особенно в новых ситуациях);

— философ — создатель философской системы — тот, кто формулирует оригинальные и согласующиеся друг с другом тезисы из области метафизики, эпистемологии и аксиологии.

На основе характеристик, данных Лемом, и общеизвестной информации, а также консультируясь с Околовским, автор осмелился разместить большинство из упоминаемых в этой главе персон на приводимом ниже рисунке (в первую очередь стараясь максимально отразить место конкретного мыслителя **с точки зрения Лема**). Понятно, что мнение автора очень субъективно, особенно в части гениев и моральных авторитетов, так что, уважаемый читатель, не суди строго.



На рисунке:

1. Автор и большинство читателей этой книги.
2. Адлер, Арендт, Арон, Блох, Буковский, Гуссерль, Деррида, Кан, Кун, Лакан, Леви-Стросс, Лиотар, Маклюэн, Ман, Маркузе, Мерло-Понти, Ницше, Оруэлл, Парето, Рикёр, Рорти, Сартр, Сорокин, Тоффлер, Фейерабенд, Фрейд, Фромм, Фуко, Фукуяма, Хабермас, Хайдеггер, Хантингтон, Хоркхаймер, Хорни, Юнг.
3. Беркли, Гегель, Котарбинский, Маркс.
4. Шестов, Шпенглер.
5. Бохеньский, Вебер, Делёз, Зиновьев, Колаковский, Татаркевич, Шафф, Эйльштейн.

6. Айдукевич, Барт, Ингарден, Лукасевич, Налимов, Оккам, Рейхенбах, Шлик.

7. Аристотель, Витгенштейн, Кант, Платон, Шопенгауэр, святой Августин.

8.

9. Паскаль, Поппер, Рассел, Хомский.

10. Гёдель, Тарский, Флек, Фреге.

11.

12. Камю.

13.

14.

15. Будда.

16. Винер, Дарвин, Достоевский, Милош, Нейман, Ньютон, Пилсудский, Тьюринг, Шеннон.

17. Эдисон.

18. Бодрийяр, Кречмер, Лебон, Оссовские, Турович, Элиаде, Юнгер.

19. Солженицын, Стругацкие, Тойнби, Эко.

20.

21. Лем (место, определенное Околовским и автором).

22. Иоанн Павел II.

23.

24. Куайн.

25. Сахаров, Циолковский, Эйнштейн.

26. Тейяр де Шарден, Ясперс.

27. Лубницкий, Твардовский.

28. Карнап, Лем (место, которое, возможно, определил для себя сам Лем).

29.

30.

31. Адорно.

32. Кмита.

33. Не исключено, что большое количество читателей этой книги.

* * *

С. ЛЕМ:

«Во время моей учебы в Львовском медицинском институте однажды собрали “отличников”, к которым и меня причисляли, и хотели принять нас в комсомол. Я сказал тогда, что да, всю жизнь мечтал принадлежать этому Комсомолу, но что еще идеологически не готов и хотел бы прежде всего прочитать и Маркса, и Энгельса, и Ленина, и Сталина. Они пытались что-то там говорить, но я стоял как стена — не годен еще для великих дел» [142];



(Коллаж В. Язневича из рисунков Славомира Мрожека к своим статьям: 1) фигуры: *U fryzjera*. — *Tygodnik powszechny* (Kraków), 1992, № 11; 2) буквы: *Salto mortale*. — Там же, № 3.)

«Все-таки Маркса, Энгельса “Анти-Дюринг”, Ленина, Сталина “Вопросы ленинизма”, “Краткий курс истории ВКП(б)” я изучил. Почему? А потому, что до июня 1941 г. во Львове при Советах я два года был студентом медицины. Должен был сдавать экзамены (...). Ужасно глупыми показались мне эти труды, но что делать. Впрочем, Маркс, о Боже! Мало есть настолько фальшивых утверждений, как то, что HISTORIA MAGISTRA VITAE [история — учитель жизни (лат.)]. STULTITIA MAGISTRA VITAE [глупость — учитель жизни (лат.)] — это уже нечто иное, с этим я согласен. Именно при

коммунистах глупость плыла сразу же бурным (сталинизм), но единым потоком. Русло бетонное, берега укрепленные. Разрешена только глупость с фирменной, марксовской отметкой. Точнее, со сталинской, но это уже тонкости. Когда эти берега русла размягчались и опять укреплялись, народ эти явления называл оттепелями и заморозками» [155];

«Пара отцов Маркс — Энгельс потомком в России имела Ленина, напрасно именованного коллективом подхалимствующих пропагандистов выдающимся философом, затем пришло время Сталину брать чужие труды и под собственным именем публиковать халтуру, угробив настоящих авторов, а если что-то Сталин сам иногда писал, то было это, однако, очень скверной пищей, ужасно несъедобной, и тогда большие хоры разных Академий должны были общими усилиями, слышимыми как стоны восхищения и оргазма, запечатленные в энциклопедиях, превозносить и превозносить ее на недосягаемую высоту» [178, с. 279];

«Можно ли считать результатом того, что выдумали Маркс с Энгельсом, преступления эпох Ленина и Сталина и какая здесь есть причинно-следственная связь? Какая-то, мне кажется, есть; доктринальные корни зла, посаженные Марксом, можно обнаружить» [180]; «Трагедия XX века заключается в том, что не было возможности испытать теорию Карла Маркса сначала на мышах» [175].

IV. ОТДЕЛЬНО О «ГОЛЕМЕ XIV»

Должен признаться, что усилия, которые я вложил в написание этой книги, не сравнятся с усилиями по написанию никакой другой [16, с. 154].

Станислав Лем

В творчестве Станислава Лема можно выделить три основные разрабатываемые им всю жизнь темы: **КОСМОС**, **ЖИЗНЬ** и **РАЗУМ**, их **зарождение** и **эволюция**. Относительно разума

следует отметить еще фактически начатое Лемом направление в литературе — «откровения нечеловеческого разума», — представленное в рассказе «Записки всемогущего» (1962) [2, с. 579-602], романе «Глас Господа» (1968) [3, с. 339-522], повести «Маска» (1974) [3, с. 523-571], повести «Голем XIV» (1973, 1981) [2, с. 301-438]). При этом «Голем XIV» занимает особое место — в определенной степени он венчает все творчество Лема, представляя основные научные гипотезы писателя-философа в художественном оформлении в виде лекций суперкомпьютера Голема XIV, что значит самого Лема: «Так как Голем — это в некотором смысле я сам, и что важнее, если отбросить грим и реквизиты, представленные там тезисы — это мои реальные убеждения. (...) Не могу сказать, что я слово в слово об этом и том так думаю, столь категорично, как там “написано пером”, но НАПРАВЛЕНИЕ является выражением моих настоящих убеждений» [131, s. 115, 120]). В двух опубликованных лекциях Голем XIV несколько меньше касался космогонии (зарождения Вселенной) и космологии (эволюции Вселенной), но в качестве лекции Голема XIV, безусловно, могла быть написанная в то же время лекция вымышленного Лемом Нобелевского лауреата Альфреда Теста «Новая космогония» [2, с. 189-220] (опубликованная в 1971 г. в сборнике «Абсолютная пустота»), в которой представлены космогонические и космологические гипотезы Лема. Не случайно ведь в Германии «Голем XIV» был издан в 1978 г. под одной обложкой с лекцией «Новая космогония» (скорее всего, по указанию самого Лема, к тому же с его предисловием «История одной идеи» [97]). Как оказалось, некоторые гипотезы Лема рассматриваются современными учеными (см.: «Космологические идеи Лема в сопоставлении с современной космологией» в работе [268]).

Интересна история написания повести «Голем XIV». Само слово «голем» — древнееврейского происхождения, на иврите означает «эмбрион». Слово «голем» один раз встречается в

Библии (Ветхий Завет, Псалмы, 138:16, «зародыш» в синодальном переводе). В различных легендах упоминается, что человек способен создавать живых существ из глины, то есть големов (по сути големом, пока Бог не вдохнул в него жизнь, был Адам). Такие легенды послужили материалом для большого количества литературных произведений, самые известные из которых: «Франкенштейн» (1818) Мэри Шелли, «Фауст» (часть 2, 1831) Иоганна Вольфганга фон Гёте и «Голем» (1915) Густава Майринка. В последнем романе представлена легенда из Праги, в соответствии с которой в 1580 г. раввин Бен Бецалель (родившийся, кстати, в 1523 г. в польском городе Познань, в котором в 2010 г. установлена скульптура Голема) создал глиняного великана для выполнения тяжелых работ в синагоге. В 1957 г. Лем побывал в Праге в еврейском квартале на месте происходящих в легенде событий, где, как он записал в своих путевых заметках, «необыкновенный раввин вылепил из глины протопласта кибернетических автоматов — Голема» [55]. Записал, кстати, подобно тому, как братья Стругацкие несколько позже написали в своей известной повести-сказке «Понедельник начинается в субботу» (1965): «Голем: один из первых кибернетических роботов, сделан из глины Львом Бен Бецалелем», причем фраза эта появилась после того, как Аркадий Стругацкий в начале сентября 1965 г. посетил Прагу в рамках мероприятий, посвященных 75-летию юбилею писателя Карела Чапека, на которых присутствовал и Станислав Лем.

Можно отметить, что этот «протопласт кибернетических автоматов» глубоко запал в душу писателя, ибо после этого к его образу Лем неоднократно обращался в своих произведениях. В статье «Science fiction» (1959) [58, s. 11-49] он написал, что «в научной фантастике мы не встречаем, ясное дело, откровенно плагиатного копирования сказочных сюжетов, однако в ее произведениях несложно обнаружить техническую реинкарнацию многочисленных сказочных элементов и даже целых ситуаций. Так, например, всякого рода демоны, оборотни,

джинны, духи появляются в ней как пришельцы со звезд либо как электрифицированные Големы (ибо чем же иным являются всякие роботы и автоматы?). В рассказе «Испытание» (1959) на команду «По раке-е-там!» пилот Пиркс «развернулся кругом, схватил красный флажок, споткнулся о трос ограждения, в последний момент удержал равновесие и тяжело, словно Голем, вступил на узенький мостик» [8, с. 14]. А в самом конце рассказа «Терминус» (1961) пилот Пиркс «размышлял о невинности машин, которых человек наделил способностью мыслить и тем самым сделал их соучастниками своих сумасбродств. О том, что легенда о Големе, машине, взбунтовавшейся и восставшей против человека, — ложь, придуманная, чтобы люди, которые отвечают за все, могли эту ответственность с себя сбросить» [8, с. 178].

Лем говорил, что «миф о возникновении электронного супермозга издавна бродит по всему миру» [16, с. 159-160]. И поэтому не удивительно, что несколько своих самых ранних научно-фантастических рассказов Лем посвятил этой теме. Например, в рассказе «SEZAM» (1954), давшем название самому первому сборнику научно-фантастических рассказов писателя, говорится о компьютере SEZAM (Stationary Electronic System of Mathematical Machines — стационарная электронная система математических машин (англ.)), представляющем собой экспертную систему, отвечающую на вопросы ученых. А в рассказе «Формула Лимфатера» (1961) [3, с. 69-99] герой создал искусственный разум, который «мог овладеть мыслями любого человека и знал все, что можно знать», но затем, осознав, что «своими руками подготовил конец владычеству человека на земле и что следующим, после нас, будет его вид, что если мы станем ему противодействовать, он начнет относиться к нам так, как мы относимся к тем насекомым и животным, которые нам мешают», уничтожил его. Уничтожил, понимая: «Кто-то снова нападет когда-нибудь на мой след, ведь я не выдумывал из ничего; я дошел до этого путем логических выводов. Каждый может пройти мой путь,

повторить его, и я боюсь, хоть и знаю, что это неизбежно. Это тот самый шанс эволюции, которого она не могла достичь сама и применила ради своей цели нас, и когда-нибудь мы осуществим это на свою собственную погибель. Не на моем веку, быть может, — это меня утешает, хотя что же это за утешение?».

И Лем повторно «приступил к созданию» такого искусственного разума. В мае 1967 г. Лем написал своему другу писателю-драматургу Славомиру Мрожеку: «Придумал, наконец, историю, которая, надеюсь, меня хорошо удовлетворит, так как философствование все больше меня привлекает своей непосредственно дискурсивностью, начиная от выдумывания ситуации, и эта история может дать мне разрешение и возможность на такого рода работу; (...) это будет определенный этап гонки вооружений, во время которого стали создавать стратегические мозги все более мудрые и все более своей этой военной мудростью убивающие, и через некоторое время дойдет до того, что очередной мозг стал уже так мудр, что вообще не захотел заниматься вопросами атомно-тактико-военной природы, провозгласил разоружение, и разразился скандал, военные (...) хотели его демонтировать, но на мольбы ученых отдали им этот мозг, и они разговаривают с ним на всевозможные темы, он же их вежливо пробрасывает и несет философско-теологический вздор. Уже даже начал это писать, но после 100 страниц мне расхотелось, а может, оказался тупым для этого, не знаю» [130, s. 616-617].

Но эта повесть очень увлекла Лема, поэтому к ее написанию он возвращался не раз, будучи постоянно неудовлетворенным сделанным. Лем работал над повестью еще и в 1969 г., при этом во время посещения СССР Лем высказывал свои сомнения о ней в беседах в узком кругу с учеными: «Есть идея книги о суперкомпьютере, который бы читал лекции о человечестве и его судьбах. Имеет ли это смысл?» [204, s. 75]. Лем вспоминал: «Именно эти разговоры раззадорили меня, рассеяли мои сомнения, есть ли смысл писать моего “Голема”, и так

меня воспринимали в роли суперрационалистичного ересиарха-визионера, и так мы там захлебывались полной свободой общения, что я действительно чувствую себя должником той ночной беседы» [178, s. 55].

Работал и в 1971 г.: «Голем» — это разговоры ученых с гениальным (коэффициент интеллекта — 600) компьютером, поэтому такой тип не может говорить что попало. Пока что того, что он сказал о метаматематике, никто понять не может, так что это нелегкий орешек. Впрочем, я пока отложил эту книжку, как и вообще все, потому что тут на меня свалилась куча жизненных хлопот» [17, с. 522]. Работал и в 1972 г.: «Сейчас моей проблемой является очередная книга, которую уже давно пишу, но которую не могу написать, потому что взялся за, без сомнения, такую вещь, которую вообще написать невозможно. “Голем XIV” это будет называться — при отсутствии действий это будет ряд стенограмм бесед, проведенных в МТИ [Массачусетский технологический институт] разными группами ученых с Суперкомпьютером около конца XX века на всевозможные темы и еще ряд других. Этот компьютер был построен в рамках III фазы гонки вооружений — когда дошло до эскалации в создании стратегических цифровых машин, а чрезмерные затраты привели к построению машины стоимостью несколько миллиардов долларов, которая вообще стратегией заниматься не хочет, так как ее интересуют исключительно онтологические проблемы» [131, s. 27]. Но особенно напряженно — в конце 1972 г.: «Я сейчас на машине строчу, расписывая ужаснейшие, т.е. наиболее дерзкие (не вздор в художественном смысле) вещи, какие можно себе на этой земной юдоли представить, вписывая это в свою новую книжечку «Мнимая величина». Так как я вложил эти слова, а речь идет о нашем человеческом виде, в железные уста компьютера, который взобрался на высочайшую Вавилонскую башню разума, могу себе это позволить — эх, мне это было бы нельзя, но такой может все... Впрочем, мука это страшная, ведь я должен изображать IQ 600.

Именно 600 пунктов — и ни на йоту меньше» [132, 19.11.1972].

И, наконец, в первой половине декабря 1972 г. повесть была завершена: «Этот Голем, с его инаугурационной лекцией о Человеке, стоил мне, скажу скромно, больше кровавого пота, чем я бы хотел, на него ушла пачка бумаги в 500 листов, а осталось от этого 30 страниц машинописи, но это ИМЕЕТСЯ в самом деле, и самый суровый мой критик (...) жена сказала, что это зияет каким-то чудовищным величием, ведь речь шла о том, чтобы говорила Гора, не Человек, о Человеке. Одним словом — Intelligence Quotient 600. (...) Рад бы уже закончить “Мнимую величину”, но пока сделано лишь 3/4, другое дело, что сделано самое кошмарное, то есть “Голем”» [17, с. 551]. Повесть писатель отослал своему американскому переводчику. Но даже и после этого — в январе 1973 г. — автор дорабатывал текст: «Лекцию Голема, которую вы, надеюсь, уже получили вместе с моим предыдущим письмом, между делом я немного изменил, написав несколько начальных — 8 или 10 — страниц заново и иначе, так как это было не так умно и не так ясно, как мне бы хотелось, но основной мотив изменению не подвергся. Книга (“Мнимая величина”) окончательно отправлена в издательство» [131, s. 123-124].

И в 1973 г. «Мнимая величина» была издана в Польше. Завершающая книгу повесть «Голем XIV», где GOLEM — General Operator, Longrange, Ethically Stabilized, Multimodeling — генеральный управитель, дальномыслящий, этически стабилизированный, мультимоделирующий (англ.) (но, правда, некоторые считают, что GOLEM — Government's Lamentable Expenditure of Money — прискорбная трата денег правительством (англ.)), состояла из 4 частей: трех вступлений (Предисловие, Предупреждение, Памятка) и Вступительной лекции Голема «О человеке трояко», в которой — как писал ее автор — «весь мой вывод — хотя и неявно — устанавливает такой ход процесса, что жизнь и человека создали, который с каким-либо предопределением, изначальной гармонией,

пантеизмом, махаяной, “Omega point” Тейяра де Шардена и т.д. и т.п. не согласуется. (...) НЕЯВНО вся моя онтология содержится в выступлении Голема» [131, s. 115-117]. При этом сама лекция «декорирована и упакована», ибо “постепенно” подводят к ней издадека по методу Иоанна Крестителя различные тексты — более и менее гротескно, язвительно, пародийно, одним словом, применил тактику подстрекательства, а сама книга (...) содержит 3 предисловия, только после которых поднимается занавес» [131, s. 119-120]. При этом же Лем подчеркивал, что «как название (“Мнимая величина”), так и различные мелькающие там предсказания должны усилить иллюзию гениальности и особенно нечеловеческий облик говорящего; а уж специальные три текста, предваряющие “Лекцию”, то есть “гражданское” вступление, написанное сотрудником МТИ, “набожно-патриотическое” вступление, принадлежащее перу некоего отставного генерала (US Army, ret.), а также Памятка для лиц, впервые участвующих в беседах с Големом, позволяют подвергнуть сомнению однозначную достоверность того, что говорит Голем. В самом деле, все эти элементы, так же, как и фрагменты “Экстелопедии” [2, с. 283-300], несколько снижают серьезность данной лекции; надежда, предложенная слушателям в последней части сказанного, ПОДЛЕЖИТ сомнению, то есть там содержится ИРОНИЯ, — о чем Вы все-таки догадались, и что делает Вам честь. Implicite Голем наводит на мысль, что человек будет похож НА НЕГО, если сравняется с ним разумом; план “суперкомпьютеризации” homo неироническим, просто неиздевательским, думаю, быть не может, поскольку речь идет о “свободе самоизменения”, с пеленок зараженной противоречиями (какая же это свобода, если к ней подталкивает техноцивилизационный градиент?). Поэтому риторiku помпезного окончания просто необходимо было снизить, тем более, что я не могу исключить вероятности того, что когда-нибудь скажу еще что-нибудь этими металлическими устами. Голем, конечно, эгоцентрик; основной вопрос, неприметный в лекции, это вопрос о достоверности

ТАКИХ выступлений, — когда говорящий безапелляционно возвышается над слушателями, нельзя отделить описание (диагноза, названного состояния вещей) от нормативного прогноза, — а значит, не все здесь является такой святой истиной, в которую верит сам говорящий...» [17, с. 559-560].

И фактически сразу же Лем начал писать продолжение этой повести — начал писать новые лекции Голема. Уже в июне 1974 г. он написал американскому переводчику, что «завершил вторую лекцию Голема (“О себе”, т.е. Голем о Големе)» [131, с. 240]. А в 1976 г. в СССР в прокат вышел научно-популярный фильм «Альтернатива» (режиссер Борис Загряжский, киностудия «Центрнаучфильм»), посвященный проблемам создания искусственного интеллекта. Фильм среди прочего содержал запись беседы режиссера с Лемом, тематика которой была определена как «Некоторые аспекты проблемы “Искусственный разум и человечество”». В фильм вошел только фрагмент беседы, но полный текст ее был опубликован позже. В этой беседе Лем много размышлял о «Големе XIV»: о том, что хотел сказать в тексте 1973 г., и о том, что еще в будущем хотел бы сказать его «устаи». Лем говорил: «Голем XIV — самый примитивный из огромного множества возможных искусственных разумных существ будущего. Но он пробует размышлять о Големах будущего — о том, какими будут его собратья, когда они начнут эволюционировать. (...) Однако соображений Голема на эту тему нет в книге “Мнимая величина”, ибо уже задумана другая книга. И не только задумана, но частично написана и находится пока в рукописи. Я еще точно не уверен, на правильном ли пути я нахожусь или нет. (...) Я применю одну тактическую хитрость. Обращаясь к людям, великан Голем должен будет знать, что у них сфера чувств главенствует над сферой разума. (...) У Голема же получилось как раз наоборот. Ведь у него нет глаз и нет рук, и он еще не может ходить. И выкупаться, к примеру, тоже не может. Так что интеллектуальные операции для него первичны. Но так как он обращается к людям, то умышленно применяет, как он

говорит, “метод наглядных выражений” — метафор, сравнений и т.д. Для него они совершенно излишни, но ведь он хочет быть понятым людьми, значит, он должен говорить на языке, им близком. Именно таким образом Голем XIV в моей новой книге станет излагать людям свои представления о будущих прототипах искусственного интеллекта, словно сочиняя хорошую фантастику. (...) Известно, что усложнять нейронную структуру нашего мозга эволюционно невозможно. Усложнить же мозговую структуру будущих големов, вероятно, технологически допустимо. Именно поэтому искусственный интеллект в своем развитии пойдет дальше, чем человек. (...) Этот сверхразум можно себе вообразить как некий стратосферический шар с уровнями. Этот шар плывет в небе, покрытом тучами в несколько уровней, и то исчезает в тучах, то выныривает вновь, чтобы затем вновь исчезнуть. Получается чередование светлых и темных зон. Вот таким образом принципиально возможна надстройка сверхразума. Разумеется, это только наглядное представление фантаста. (...) Голем вносит свою посильную лепту в представления людей о деятельности своих сверхразумов — систем высших уровней интеллектуального развития. У них другие языки, несводимые к человеческому — есть качественные отличия. Они занимаются преимущественно познавательной деятельностью. Оказывается, космос неисчерпаем и для них. (...) Стоя на интеллектуальной лестнице выше, чем человек, Голем и сам не знает, есть ли предел познания, существует ли он, этот предел, для конструирования все более совершенных форм разума. Существует ли здесь граница, потолок. Еще мне бы хотелось, чтобы Голем высказывал свои мысли на математическом языке. Но это очень опасно, потому что я могу потерять всех своих читателей, кроме математиков. А для меня, как и для каждого писателя, очень важно это понимание, контакт с читателем» [144].

Голем «не отпускал» Лема и в последующее время. В 1977 г.: «По сути обдумываю и пишу очередную речь этого создания, и проблемы в большей степени такие, что это будет речь еще

более герметично-герменевтична по сравнению с первой. Но так уж удачно складывается, что на читабельность и доступность (= salability!) я не должен обращать внимания. Будет сложно, кто поймет — тот поймет, а то, что это будет твердый для разгрызания орех, — ничего не поделаешь» [131, s. 547-548]; «Голем номер 2, который начал писать, — не пошел у меня, так как трудно полностью исключить из этого дискурса различные глобально-политические аспекты» [131, s. 552]; в 1978 г.: «Думаю, не написать ли для Голема очередную лекцию и еще что-нибудь» [131, s. 647]; в 1979 г.: «Сначала написал Вторую Речь Голема “О себе”, но отложил ее, чтобы остыла» [131, s. 651] и «Голем номер 2 доставляет мне страшные хлопоты, и иногда мне кажется, что он уже превышает мои силы — или всегда был сверх моих сил» [131, s. 662]; «Если произведение предназначено для малой горстки необычайно прозорливых личностей, наделенных равным авторскому мыслительным потенциалом, то и тогда смысл создания такого произведения считаю очень сомнительным, и именно поэтому в ящик стола я отложил текст, написанный как одна из очередных лекций Голема, на этот раз о математике, так как ни один дьявол не смог бы его понять так, как этого я, как автор, желал бы» [131, s. 667]. Но, наконец, в 1980 г. Лем определился с окончательным составом новой книги «Голем XIV»: «Зимой начал писать. Сначала написал “последнюю” речь Голема, о себе самом в ней говорит, и сейчас должен (...) написать Послесловие, очевидно не свое, а некоего доктора Поппа для этой книги, которая будет иметь вступления, две лекции Голема и послесловие» [131, s. 681].

Книга «Голем XIV» (вариант 2) была сдана в издательство в октябре 1980 г. и вышла из печати к 60-летию писателя, что было особо отмечено на обложке. Содержание: Предисловие; Вступительная лекция Голема «О человеке трояко»; Лекция XLIII «О себе»; Послесловие. Как оказалось, не все свои намерения Лем осуществил в этом издании 1981 г.

Лем очень хотел, чтобы «Голем XIV» был переведен на английский язык, раз уж это в то время не получилось с «Суммой технологии». Об этом он неоднократно писал переводчику и издателям. Предложил переводчику особые условия: 50% со всех своих гонораров за издания «Голем XIV» на английском языке. А в конце 1975 г. Лем получил приглашение, о котором написал следующее: «Из США написал мне какой-то профессор "of Computer Science" (Великий Боже!), "Artificial Intelligence Laboratory, Stanford Univ., California", что приглашают меня на семинар и что хотят мне заплатить 2500 долл. за лекцию плюс затраты на дорогу в обе стороны плюс проживание. Я не поеду, я не авантюрист, к тому же не знаю языка, но удивительно, что вообще кто-то меня с такой дистанции заметил» [131, s. 421]. Это приглашение пришло от Джона Маккарти — основателя и руководителя Стэнфордской лаборатории искусственного интеллекта, который в 1955 г. ввел в научный оборот термин «Artificial Intelligence» («Искусственный интеллект»). В ответном письме Лем сообщил о своем отказе от поездки в США, но при этом написал, «что если вам нужны сумасшедшие идеи, то они содержатся в лекции Голема» [131, s. 426]. И ученые Стэнфордского университета заинтересовались «Големом», предприняли некоторые предварительные организационные действия, о чем Лем написал своему переводчику: «От третьих лиц, от профессора Дж. Маккарти слышал, что вы будете переводить Голема для этих информатиков из Стэнфорда. Это будет Очень Хорошо, и эта весть доставила мне удовлетворение» [131, s. 431]. Но, к сожалению, до перевода дело не дошло. Лем написал: «Меня совершенно не удивил молчаливый отказ этих компьютерных мудрецов (профессор Дж. Маккарти) от Голема, так как если разбираешься в научной фантастике, то не сложно а priori судить, что вряд ли кто-нибудь внутри этой писанины может что-нибудь изобразить такого, что для специалиста не будет полным идиотизмом. И с этим сложно что-либо сделать. Нужно заниматься своими делами и ни на что другое не обра-

щать внимания. Но во всяком случае «Эгоистический ген» показывает, что направление моего главного удара выбрано верным, и возможно уже через 60-80 лет истины, которые провозглашал Голем, будут истинами общепризнанными. Роль предвестника, более или менее забываемого современниками, не является наихудшей» [131, s. 549]. Об «Эгоистическом гене» еще напишем ниже. Зато «Големом XIV» заинтересовались в МТИ, и Лем пишет своему переводчику: «Я очень рад, что вы по-прежнему готовы переводить “Голема” для МТИ — но а) ТОЛЬКО ли его лекции? б) Считаю, что история возникновения Голема очень важна — я специально стремился к двойному эффекту, давая перед выступлениями Голема целых 3 “вступления” — это как занавес в театре — задержка, рост предвкушения и т.д., — но “историческое вступление” доктора Крива представляется мне важным» [131, s. 556]. К сожалению, и в этом случае по каким-то причинам перевод не состоялся, да и переводчик, видимо, не проявил достаточной активности. Через несколько лет Лем с сожалением писал, что «пробивал “Мнимую величину”, но напрасно, ибо и издатель мало шевелился, и переводчика не было» [131, s. 672].

«Мнимая величина», а вместе с ней и «Голем XIV», были изданы на английском языке только в 1984 г., при этом по просьбе писателя в состав книги были включены «Лекция XLIII — О себе» и Послесловие, таким образом, «Голем XIV» был издан в полном составе (вариант 3). В интервью 1983 г. Лем с большим удовлетворением рассказывал о предстоящем издании «Голема XIV» на английском языке: «Я собираюсь показать вам книгу “Голем XIV”. Она будет напечатана в следующем году в Америке. Версия на английском уже существует. Это история о создании суперкомпьютера и о том, как он не хотел решать военную задачу, которую ему дали и для чего он был создан в первую очередь. Итак, он начал посвящать себя главным образом высшим философским проблемам. Одно из допущений этой книги — оно не мое — это идея о том, что суперкомпьютер является существом, у

которого нет “я”, нет эго. Это выглядит примерно так. Человеческий разум или разумность не свободна, никогда не была свободной и никогда не сможет стать свободной, потому что она предназначалась для того, чтобы управлять телом в его борьбе за существование, и это принцип, который мы унаследовали от всех животных, предшествующих нам. Голем считает себя первым разумным существом, освобожденным от этих ограничений. Так как он не знает никакого биологического принуждения, никакой борьбы за существование, он не испытывает эмоций, но он в полной мере способен усвоить их, чтобы установить тесный контакт с людьми. В попытке быть понятым людьми он должен использовать человеческую речь, и по этой причине, чисто грамматической причине, он должен говорить, как будто бы у него есть эго. Но он не скрывает того факта, что в своей собственной духовной жизни у него нет никакого эго, никакой определенной личности. Выдуманное эго — это только метафорическая концепция. Подобно тому, как если вы посещаете некоторых людей, вы не идете туда обнаженным, вы должны быть определенным образом одеты. Таким образом, эта речь стала общепринятой одеждой. В противном случае его не смогли бы понять. Он даже пытается объяснить своей аудитории, что он должен оставаться сдержанным по отношению к другим и что человеческая сфера интересов остается ему чуждой. Есть большое количество людей, которые этому не верят, и проблемы, которые они поднимают, являются проблемами понимания. Но Голем занимает такую позицию, что состояния понимания могут быть испытаны материальной системой, в отличие от духовной, и что если у вас есть полностью различные системы, нельзя проводить непосредственное сравнение двух ступеней понимания. Как в новом романе левая и правая руки героя чужды друг другу. Понимание должно быть установлено окольным путем. В этом “Големе” есть две истории, две лекции для ученых, первая лекция Голема и последняя. В первой Голем говорит о людях и

о том, как он их видит; в последней он говорит о себе. Он пытается объяснить, что он уже достиг того уровня, которого биологическая эволюция никогда не достигнет сама. Но он находится там на нижней ступени лестницы, и над ним сейчас или в будущем могут существовать более мощные интеллекты. Он не знает, есть ли вообще границы для этого развития к высшей сфере. И когда он, так сказать, прощается с человеком, это главным образом для того, чтобы продвигаться дальше по этой лестнице. Он называет задачу человечества — задачу, назначенную Голему, — задачей, которая не имеет решения, потому что без применения силы невозможно установить равновесие среди людей. Но он не интересуется тем, чтобы прибегнуть к силе, не из-за моральных или этических причин, а потому что это не математическая задача. Если, например, кто-то проводит геометрическое исследование и получает определенные треугольники, которые не полностью конгруэнтны, в глазах каждого математика будет нонсенсом, если исследователь попытается применить силу, чтобы установить конгруэнтность треугольников. Если задача не может быть решена с чисто логической отправной точки, то решение вообще теряет для Голема какой бы то ни было интерес» [110].

В 1981-1982 гг. — как раз после издания версии 2 «Голема XIV» на польском языке — со Станиславом Лемом провел цикл бесед Станислав Бересь, и в этих беседах целая глава [16, с. 154-179] была специально посвящена этой книге. В беседах с Бересем Лем говорил: «Должен вам сказать, что в черновиках остались фрагменты нескольких лекций и целая лекция Голема, посвященная математике. (...) Думаю, что если бы я даже смог поместить другие лекции Голема между первой и последней, это было бы лишним. (...) Некоторые вещи я должен был сделать так, как сделал, потому что мне нужны были чисто сценические эффекты. Ведь я должен был создать в этой книге впечатление большего разума, чем тот, которым я располагаю на самом деле. Кроме того, некоторые вопросы, которые были

для меня не совсем ясны, в повести ловко спрятаны. (...) С той минуты, как Голем начинает говорить, автоматически предпрешенным становится вопрос — вовсе не такой уж очевидный: может ли «искусственный» интеллект подняться над человеческим. Предпосылка этой книги такова: да, может, поэтому вдаваться в какие-либо дискуссии на эту тему уже не имело смысла. Так что, видите, в моем мышлении гораздо больше вопросительных знаков, чем в мышлении Голема, но, исходя из конструктивных и литературных взглядов, это было неизбежно. Сама литературность текста заранее разрешила многие вопросы. (...) А поскольку я не слышал даже двух разумных слов, которые произнесла бы такая электронная скотина, то подумал, что я уже знаю все о том, как такой мозг терзал человечество, а оно — его, и много других подобных историй, переживаемых в научной фантастике, а теперь я хочу услышать только то, что он может сказать. Я прямо сказал себе: «Пусть этот компьютер в конце концов начнет говорить; об остальном — меньше всего». (...) Что касается фразеологии и стиля — это, конечно, развлечение, но не мое, а машины, которая, впрочем, этого не скрывает, а подчеркивает, что облачается в богато разукрашенные одеяния и так далее. Однако эти одеяния — чисто внешняя орнаментация. Мне важно содержание, которое я вложил в эту форму, и это содержание меня вполне удовлетворяет. Вполне вероятно, если бы эта ученая сказка реализовалась, я не смог бы понять подлинную лекцию подлинного Голема. Впрочем, фрагменты других его лекций, которые я не стал публиковать, в содержательном плане были более трудными для понимания, именно поэтому я от них и отказался. А также потому, что в гипотезах, которые провозглашает машина, я хотел сохранить меру. А меру эту я определял интуитивно, потому что иначе это и невозможно сделать». Много других интересных слов говорил Лем в этих беседах с Бересем, поэтому для более детального ознакомления с размышлениями автора о своем детище — повести «Голем XIV» — отошлем к главе в указанной книге.

А через двадцать-тридцать лет после издания «Голема XIV» в своих дискурсивных сборниках «Молох» и «Мгновение» Лем неоднократно возвращался к высказанным Големом гипотезам относительно эволюции и искусственного разума, с удовлетворением отмечая: «Моя интуиция кажется сегодня, после стольких лет, более обоснованной, чем в те времена, когда я выразил ее словами фиктивного компьютерного мудреца» [15, с. 223].

Через несколько лет после издания в Польше «Мнимой величины» Лем жаловался в письме своему европейскому литературному агенту Францу Роттенштайнеру, что до сих пор фактически нет хороших рецензий на эту его книгу, при этом, безусловно, его более всего интересовало отношение специалистов к его «Голему XIV»: «До сегодняшнего дня я не слышал ничего интересного об этой книге, в том числе и от лучших умов Польши. Почему так? Вероятно, потому, что рецензенты были не в состоянии отделить серьезно сказанные мною мысли от слегка ироничных. Я намеренно смешал одно с другим. То, что Голем должен был сказать о людях, по большей части соответствует моим совершенно серьезным мыслям. (...) Что касается степени сложности этих текстов, то, по моему мнению, речь идет о риске, на который я умышленно отважился. А именно: если в будущем что-либо из того, что произойдет, будет напоминать то, что содержится в “Мнимой величине”, постепенно исчезнет сложность и неразборчивость некоторых текстов в книге — все будет казаться понятнее и проще до тех пор, пока, возможно, не станет даже чем-то банальным. Но если я полностью ошибся в своих смутных предчувствиях и предположениях, то все мои догадки будут забыты — и с полным на то правом. Что должно означать, что я хотел сыграть роль Иоанна Крестителя, если даже и не совсем серьезно» [94].

Но к настоящему времени уже появился ряд рецензий на «Голема XIV», несколько серьезных научных работ и даже целые книги об этой книге Лема. Кратко остановимся на основных и наиболее интересных из них.

В 1980 г. «Голем XIV» (вариант 1) впервые был опубликован на русском языке в СССР, при этом он сопровождался послесловием «Двойко о Големе» доктора философских наук Эдварда Араб-Оглы. И философ в своем послесловии [267] не согласился с логическими построениями Голема (Лема), посчитав, что главное в этой повести Лема — это предостережение (ироничное и серьезное) против «компьютерного фетишизма»: «По мере того как мы вчитываемся в высокомерные и наизидательные рассуждения Голема, в нас начинают закрадываться сомнения относительно его хваленой умственных способностей, а к концу его вступительной лекции наше нарастающее недоумение выливается в полное разочарование. (...) В преподносимых нам размышлениях Голема об эволюции, человеческом разуме и судьбах цивилизации обнаруживается “легкость мыслей” еще более необыкновенная, чем их поразительная скорость. И в конечном счете в обличье Голема перед нами предстает не кто иной, как электронный Хлестаков, самоуверенный, тщеславный и явно глуповатый. И не мы ему, а он нам явно начинает докучать своими парадоксальными глупостями. Подобно Хлестакову, присваивавшему себе “Юрия Милославского” Загоскина и “Женитьбу Фигаро” Бомарше, Голем столь же бесцеремонно заимствует все свои глубоко-мысленные идеи у Курта Гёделя, Людвиг фон Витгенштейна, Маршалла Маклюэна, Фридриха Ницше, толкуя их мысли вкривь и вкось, выворачивая их наизнанку и превращая в совершенно неудобоваримую эклектическую окрошку. (...) Из недр своего “искусственного интеллекта”, который на короткой ноге общается с Космическим разумом, Голем одну за другой извлекает непререкаемые афористические истины и пророчества. (...) Однако на поверку “гениальные мысли” Голема оказываются самыми заурядными “интеллектуальными блохами”, которые отродясь не были китами. Вряд ли имеет смысл ловить всех этих “интеллектуальных блох”, которыми кишит “Голем XIV”, пытающийся представить поступательное развитие материи как ее деградацию, изобразить человеческий

разум как вырождение генетического кода и т.п. (...) “Голем XIV” явно не выдерживает сколько-нибудь строгого интеллектуального теста. Если судить о его умственных способностях и образовании по тексту его лекции, то он не заслуживает даже среднего интеллектуального показателя и больше похож на недоучившегося студента из высшей школы деловой администрации, овладевшего разве лишь курсом саморекламы. Итак, эссе Станислава Лема “Голем XIV” предстает перед нами в подлинном замысле не столько как научная фантастика, сколько как фантастическая мистификация, остроумная пародия на “искусственный интеллект”. (...) Уже сейчас существует вполне реальная опасность — так называемый “компьютерный фетишизм”, иначе говоря — склонность рассматривать результаты социального моделирования на компьютерах как своего рода абсолютную истину, как вердикт в высшей инстанции. Таким “компьютерным фетишизмом” страдают многие ученые и общественные деятели на Западе, забывая о том, что сами результаты, полученные в процессе моделирования, зависят от теоретических концепций и исходных данных, которые предварительно были вложены в компьютер. Именно в предостережении против подобного “компьютерного фетишизма” — предостережении одновременно ироническом и серьезном — по нашему мнению, и заключается двоякий смысл оригинального эссе Станислава Лема “Голем XIV”. Как видим, автор послесловия раскритиковал научную составляющую «Голема XIV», и при этом не предполагал даже, что это идеи самого Лема и что именно представление и логическое обоснование этих идей — самое главное для Лема в этой повести.

В сентябре 1981 г. в Западном Берлине состоялся посвященный творчеству Лема трехдневный симпозиум «Информационные и коммуникационные структуры будущего». На симпозиуме обсуждались и вопросы, рассмотренные Лемом в «Големе XIV» (в лекции «О человеке тройко», ибо к тому времени еще не было перевода лекции «О себе»). В своем выступлении Лем, кроме прочего, кратко пересказал лекцию

Голема «О себе» и Послесловие и ответил на вопросы участников. В опубликованных материалах симпозиума отмечается, что «Годем XIV», работа о «компьютере-светиле» с качествами разума, намного превосходящими человеческие, является, по нашему мнению, интеллектуально и эстетически одним из лучших сочинений Лема, которое заслуживает ключевой позиции во всем его творчестве. По теоретическому содержанию здесь сливаются несколько центральных размышлений Лема: оценка биоэволюции и ее продолжение в техноэволюции из «Summa Technologiae», его концепции о компьютерах и их отношении к людям, а также методическое приложение: возможности, как до самого конца продумать уровень разума, стоящий выше человеческого, предельно его ускорить, сделать его убедительным до такой степени, что читатель, очарованный и испуганный, думает, что он завтра уже мог бы стать реальностью, чтобы оттуда вызвать дискуссии. Лем ясно и логично разрабатывает сценарий, и каждый читатель должен занять относительно этого свою позицию, подготовиться к такой невероятной возможности» [324, s. 42]. При этом участники симпозиума высказывали надежду: «До сих пор известны только Вступительная и последняя 43-я лекции Голема. Значит, между ними еще может быть 41 сообщение, 41 потенциальный сюрприз от Лема. Он предусмотрительно оставил это место и, надо надеяться, использует его» [324, s. 43]. Но, увы, этой надежде не суждено было осуществиться.

В рецензии под названием «Лем в машине» [360] писатель Марек Орамус отметил, что «с одной стороны, жаль, что не узнали основательных суждений Голема о земной культуре или литературе (которую *notabene* ни во что не ставит), с другой, однако, известно, что даже миры в романах подчиняются определенным правилам, необязательно доброжелательным для читателя. Отличительные особенности машинного интеллекта представляются мне показанными удачно и являются сильной стороной повести, так же как и зарисовка общественного фона вокруг Голема и сенсации, им вызванной. С точки

зрения использованных литературных приемов “Голем XIV” продолжает направление “Абсолютной пустоты” и “Мнимой величины”, дающее о себе знать также в “Гласе Господа”; с точки зрения послания, которое несет, представляется мне близким именно “Гласу Господа” и... “Солярису”. Все эти три произведения говорят о том же самом — о встрече человечества с непонятным и полной неудаче, которая постигнет всякие усилия уменьшения нашей познавательной дистанции от явлений, которые еще могут встретиться на нашем пути. Я даже сказал бы, что подобие поставленной проблемы особенно обращает на себя внимание в случае “Голема” и “Соляриса”, так как оба произведения описывают хромые попытки общения человечества с нечеловеческим интеллектом — один раз сосредоточенном в машине, а другой — в желеподобном океане».

Рассматривая произведение Лема с литературной точки зрения, доктор филологии профессор Анджей Стофф в своей рецензии «Приглашение к мышлению» [371, s. 94-98] отметил, что «в “Големе XIV” современный взгляд на важные вопросы науки и философии сопутствует очень традиционному литературному решению. Дополнительные композиционные элементы, утяжеленные исключительно функцией мотивирования фантастической идеи, забота о мотивировке описываемого сюжета, всякого рода приемы для придания правдоподобия — это ведь столь характерный для авторов XIX способ помещения фантастических мотивов в реальность. У Лема даже есть — очень охотно ими применяемый — прием подвешивания окончания. В давней фантастической литературе, когда сюжет уже исчерпывал свою изобразительную и эмоциональную привлекательность, изобретатель погибал вместе со своим изобретением, а мир возвращался к предыдущему, согласуемому со здравым рассудком, состоянию. В книге Лема Голем замолкает, разрывая контакт со своими собеседниками, после перехода в состояние, которого никто бы не понял даже тогда, когда еще возможно было сохранение какой-либо связи.

Приглашение к “мышлению о мышлении” книга реализует не только вербальным способом. Этому служит также ее стилистическая форма. Характерной чертой языка Лема является то, что он перенимает из различных дисциплин научную терминологию, чтобы применить ее в иных стилистических контекстах, что при склонности писателя к яркости, парадоксу, метафоре и афоризму дает оригинальный стиль, хотя и трудный».

В 1993 г. в Германии в рамках междисциплинарного colloquium «Философия в литературе» с большим докладом «Лем и Голем: познание посредством научной фантастики» выступил доктор философии Бернд Грефрат, который отметил, что в «Големе XIV» «уже по литературной форме понятно, что для Лема речь идет о взгляде на положение человека во Вселенной (и на его возможности в будущем) с такого ракурса, который сильно отличается от обыкновенного взгляда на мир. При этом по содержанию он также выходит за пределы теорий современной науки — не в смысле отрицания научной картины мира, а в качестве ее продолжения, причем разрабатываются гипотезы, которые еще не могут быть эмпирически проверены учеными. В выступлениях Голема Лем, в отличие от своего дискурсивного произведения “Сумма технологии”, которое занимается похожими темами, может развить еще более смелые гипотезы и довести до крайности нечеловеческую точку зрения. Этот метод, который предъявляет самые большие требования к интеллектуальным и литературным способностям автора уже при представлении интеллекта, превосходящего этого автора, характерен для лемовского “подлинного поиска границ или пограничных зон человека, разума, общества”. (...) При этом нужно обратить наше особое внимание на функционализацию романов из жанра научной фантастики. Лем ставит общие технические возможности и вытекающие из них нормативные проблемы выше, чем литературное действующее лицо: таким способом он может радикально продумать до конца различные точки зрения, не вынуждая себя иметь определенную позицию по тому вопросу, по которому

он сам еще не пришел к окончательному мнению. Свободная от предрассудков проверка различных точек зрения на достоверность и приемлемость каждый раз облегчается такими “заключенными в скобки” обоснованиями. В “Големе XIV”, например, дается рекомендация, что человеку следовало бы отказаться от своего биологического строения, если он не хочет надолго прийти в упадок. Хотя Лем считает это произведение в основных чертах итогом своего теперешнего уровня познания, но тем не менее он необязательно согласен с оценками, которые он позволяет дать своему компьютеру-философу» [321, с. 355-356].

А в 1996 г. доктор Грефрат издал книгу «Голем Лема» [320]. Автор считает Станислава Лема одним из великих философов XX века, но не признанного своим в профессиональных философских кругах. Естественно, что книга Грефрата посвящена освещению философских вопросов книги Лема, а не филологических. На основе лекций Голема, а также широко привлекая как более ранние работы Лема (главным образом его философские работы «Диалоги» и «Сумма технологии» и философско-беллетристические «Абсолютная пустота» и «Мнимая величина»), так и более поздние (главным образом беседы Береса с Лемом), автор сопоставляет теорию искусственного интеллекта по Голему-Лему с работами классиков (Норберт Винер, Джон фон Нейман и др.), неodarвинскую теорию эволюции по Голему-Лему с новейшими современными (в 1996 г.) разработками (Ричард Докинз, Стивен Джей Гулд). Подобным образом автор рассматривает и некоторые вопросы культуры, этики и эволюции человека, вопросы эволюции Вселенной. Автор подчеркивает, что «Големоподобный» характер Лема может при этом послужить для нас поводом для того, чтобы оглянуться назад на все его творчество. (...) Хотя произведения Лема издаются большими тиражами, однако его все еще нужно рассматривать как непонятого гения. Его ранний успех в качестве научно-фантастического автора повлиял скорее негативно на восприятие всего его творчества;

так как соотношение первых произведений с их автором чаще всего определяет, с какими ожиданиями читаются его более поздние произведения. Если потом кто-то еще попадает в категорию, которая обычно производит только бульварную литературу, велика опасность, что “идеальный” читатель даже не примет к сведению более позднее произведение. Но с другой стороны, можно надеяться, что под маской “научная фантастика” будут опубликованы мысли, которые иначе не нашли бы пути в общественность. (...) Правда, оценка познавательного содержания произведений Лема также сложна, так как Лем является одним из последних универсальных ученых, которые работают фактически в различных отраслях науки, руководствуясь постановками задач, а не исторически выросшей классификацией отраслей» [320, s. 154-157].

В послесловии «Из будущей истории разума» [325.2, Т. 5] к изданию «Голема XIV» в рамках 33-томного Собрания сочинений Станислава Лема профессор Ежи Яжембский отметил, что «Интерпретация “Голема XIV” вызывает немалые трудности, так как в качестве вывода он имеет некий буквальный смысл, а над ним надстраивается смысл, вытекающий из особенного положения субъекта высказывания, отношения которого с автором имеют весьма оригинальную природу (исходя из того, что писатель прежде всего должен здесь быть кем-то умственно более низким и принципиально отличающимся от своего героя)». И поэтому, «не будучи способными — по определению — понять Голема, попробуем, однако, понять писателя, который призвал его к существованию. Почему свои идеи он выразил именно таким способом, то есть голосом “нечеловеческого” суперкомпьютера? Это его взгляды или не его? Что, наконец, следует из кавычек, в которые автор заключает дискурс Голема? Одно несомненно: в повести писатель отражается не только в одном зеркале; он выступает в роли Голема, это правда, но также он немного является и [его собеседниками] Кривом и Поппом, выступая тем самым с перспективы как человеческой, так и нечеловеческой. Один раз посмотрит на

человечество с безжалостной дистанции, помыкая самыми дорогими ценностями человеческого рода, в другой раз на премудрую машину посмотрит глазами ребенка, тоскующего по родительскому авторитету». Задумывается автор послесловия и над таким вопросом: «Неужели образ отдаляющегося на недостижимую дистанцию Разума играл у Лема-атеиста ту же роль, что и образ Бога: проламывал в космостюрьме путь наружу, к трансценденции (безразлично какой природы)? Ибо только вырвавшись — хотя бы в мечтах — из границ нашей вселенной, нашей культуры, нашей математики, разума, видовой специфики — мы сможем попытаться ответить на вопросы, которые “изнутри” останутся неразрешимыми во веки веков». В другой статье («Литературные приключения универсального Разума») профессор Яжембский отметил: «Думаю, что на место Бога Лем ставит не столько человека (или науку как человеческий институт, отягощенный неисчислимыми человеческими ошибками), сколько Разум — как элемент, постоянно присутствующий в мире, по сути неподвластный, ибо не развивающийся в мысль человеческих намерений, а зачастую именно вопреки им, независимый и суверенный» [327, s. 142].

Доктор филологии профессор Малгожата Шпаковская в монографии «Дискуссии со Станиславом Лемом» отмечает, что «психологический портрет высшего существа — хотя и не самого высшего — лучше всего Лем представил, создавая “Голема XIV”. Сложно не заметить его “богообразные” черты — высокомерие и поучение. И вместе с тем коммуникационные сложности, которые осознает “высший”, пытаясь объяснить с “низшими”. (...) Голем очень умно повествует о человеке, судьбе его вида, эволюции и наступившей техноэволюции; однако когда он переходит к автохарактеристике, тогда — по крайней мере по моему мнению — говорит уже менее интересные вещи и скорее даже банальные. И что хуже всего, часто переходит на тон вещуна (...). Видимо, сложно придумать божество, которое было бы свободно от желания проя-

вить себя, даже если это божество математическое» [380, s. 34]; а в целом «Голем высказывает свои мнения тоном проповедника» [380, s. 108].

Доктор гуманитарных наук Мацей Плаза в своей монографии «О познании в творчестве Станислава Лема», анализируя «Голем XIV», подчеркнул, что «однако повествовательность, несмотря ни на что, в нем доминирует; это произведение, которое подводит к границе потенциал лемовского сюжетного дискурса» [364, s. 465]. И далее Плаза отметил, что «“Голем XIV” затрагивает главным образом эссеистические темы размышлений, преобразованные здесь и освобожденные от авторских заключений посредством оригинальной литературной формы, — и он ближе именно к этой ветви творчества Лема, это текст в значительной мере дискурсивный, вмонтированный в сюжетно-повествовательную структуру, которая придает ему параболическое измерение; окончательностью, крайностью своих проектов приравнивается при этом к наиболее смелым апокрифам. Специфическое отношение между самим писателем и его героем является здесь также элементом, выступающим из сферы содержания текста в сторону события дискурса. Наконец, “Голем XIV” очень ярко поднимает проблему контакта и диалога с Чужим, который послужил здесь для заострения наиболее фундаментальных отношений между данной человеку структурой мира и граничными возможностями разума» [364, s. 466]. О литературных качествах повести Плаза пишет: «Он сюжетный: предисловие и послесловие кратко представляют бурную историю появления, функционирования и исчезновения Голема и Честной Энни [в повести Лема это суперкомпьютер более нового поколения, HONEST ANNIE — последнее слово было образовано от “ANNIHILATOR” — уничтожитель (англ.)], отмеченную оттенками иронии, но места-ми достаточно сенсационную. Он повествовательный, хотя модель персоны-повествователя, господствующего над целостностью дискурса, в лемовской беллетристике этого периода была уже почти исчерпана; в “Големе XIV” заменяет его выду-

манный для нужд апокрифов прием фиктивного научного дискурса: вступлений, послесловий, лекций. Наконец, он в значительной мере закрыт, хотя только в такой мере, в какой вообще бывают закрытыми лемовские произведения: Голем уходит, и тем самым действием подтверждает смысл своих лекций, заключая их в оригинальную, при этом читаемую параболическую структуру» [364, s. 477-478].

Доктор философии Павел Околовский в монографии «Материя и качество. Неолукреционизм Станислава Лема» подробно анализирует «Голем XIV», называя его шедевром. По мнению Околовского, «из-за текста выглядит по крайней мере два Голема — А и Б. Голем А вообще не является гомеостатом. Гомеостаз ему гарантируют или нет люди. Является паразитной системой в энергетическом смысле и относительно памяти (мощнейшей, ибо глобальной, но от нас принятой; постоянно пополняемой, но нашими глазами). Паразитным является все его существование. Это бытие несамостоятельное, переходное — звено между нами и “Честной Энни” (которая должна быть разумом высшего поколения, независимым в своем существовании). Голем А располагает реальными рецепторами и эффекторами, то есть поддерживает связь с окружением (даже в большом цивилизационном масштабе, ибо и за космосом наблюдает). Наделен он, тем самым, чувствами пассивными — восприятием и языком. (...) Недоступны ему, однако, чувства активные — эмоции. Не представляет собой синтез речи и чувств, как мы. Система эта не имеет собственного тела, демонстрирует отсутствие тождественности с кем-либо. Напоминает как бы ангела, заключенного в тело, или декартову душу, если понимать ее превратно как нечто оторванное от тела. Является определенной атомной конфигурацией, дающей облечь себя в различные оболочки. И в этом заключена литературность идеи Лема: Голем А — это не разум (в строгом смысле, по определению из “Суммы технологии”), а только искусственный интеллект (AI = Artificial Intelligence).

(...) Это был бы, глядя с нашей перспективы, усилитель разума. (...) Голем Б — гомеостат, дух, соединенный с телом, технобионт, лишенный любви, что, впрочем, понятно, так как в мире нет существ такой же, как он, природы. (Автор об этом в книге ясно указывает — ссылаясь на размышления св. апостола Павла [2, с. 369-370], вызывающие жалость к Голему.) Его доброжелательность к нам может быть объяснена взаимным интересом к миру, как наша к животным сочувствием боли. (...). Единственной программой Голема А является язык (с логикой); а Голем Б — какое-то одно “панаксеологическое побуждение”. (В этом смысле добро он делает по расчету; можно сказать: всегда выводит его из догм, в том числе вновь сформулированных; по этой же причине он является эгоцентриком, что в данном случае обозначает антиобщественное существо — в нашем понимании.) А не ставит ли это знак вопроса в отношении вольной воли этого разума? (Наша свобода — это пространство между внутренней культурой и совестью. А его?) Возможно ли разумное бытие без практического разума вкупе с совестью, без склонности к добру и злу?» [356, s. 419-425]. И Околовский так отвечает на поставленные вопросы: «Такое разумное бытие вообще не возможно. Это гордиев узел натурализма: добром является то, что способствует жизни (скажем — продолжению вида или генома), но это добро может существовать, если “сверху” известно, что является добрым. (...) Разум должен выдавать из себя культуру, но для этого необходимо активное распознавание морального добра и зла» [356, s. 425]. Околовский подчеркивает, что «Лем единственно в Големе выразил конкретные аспекты конечного разума в целом (в том числе антрополоподобного). Опустим здесь его ноологические идеи, отдавая себе отчет в риске их неадекватности в случае собственных интерпретаций. Впрочем, риска не большего, чем в случае “трансцендентных” выводов Яжембского [327, s. 288-297] или нигилистического тезиса Шпаковской [380, s. 103], которая беспечно

утверждает, что “проблема ‘мыслящих машин’ перестает быть предметом серьезных размышлений” [356, s. 415].

В статье о «Големе XIV» к 80-летию Станислава Лема немецкий редактор Вольфганг Нойхаус отмечает литературные и познавательные достоинства повести: «Книга о Големе содержит удавшиеся сатирические колкости, пассажи с поэтическими картинками и с серьезными научными гипотезами. Очарование этого произведения состоит не только в великолепии игры воображения Лема с гипотезами, но и в глубинной силе его видения, чьи перспективы простираются в бесконечное» [351, s. 541]; «Это книга, которая удивляет и открывает перспективы, развивает новую точку зрения на эволюцию, описывает интересную “топософию” форм разума и дает объяснение тому, почему определенные физические явления в космическом пространстве могут быть результатом “астроинженерного искусства”. При этом Лем всегда старается философствовать контролируемо разумом и создавать “реализм на грани абстракции”» [351, s. 542]. Нойхаус делает вывод, что «“Голем XIV” написан с позиции одиночества от осознания того, что ты достиг границы понимания и собственных возможностей и не можешь через нее перейти, то есть больше не хочешь ее переходить. Итак, Лем направляет свою бутылочную почту потомкам более далекого будущего, чтобы воспользоваться наследием Голема и превзойти его в силе рассуждений» [351, s. 551-552].

Из ряда упомянутых выше хвалебных отзывов о книге Лема выбивается изданная в России книга доктора технических наук профессора Александра Тетиора под красноречивым названием «Анти-Лем» [294] (а также ее расширенное издание «Лем и Анти-Лем» [295]). Отдавая должное Лему как выдающейся личности, уникально сочетающей в себе гениального исследователя и яркого писателя, автор свою книгу посвятил критическому анализу, в том числе с религиозной точки зрения, ряда важнейших положений, представленных

Лемом главным образом в «Сумме технологии» и «Големе XIV»: «В первую очередь — это проблемы естественной эволюции, подвергаемые Ст. Лемом и придуманным им искусственным Големом острой критике с использованием необъяснительно приписываемого ей антропоморфизма (“Голем”, “Пасквиль на эволюцию”, и т.д.). Описаны особенности и противоречия восприятия Ст. Лемом и Големом некоторых сторон эволюции и жизни человека — достигнутых в результате отбора строения тела, способа размножения, и пр., и предлагаемых ими биологически недопустимых замен способа рождения, скелета, размера черепа, и пр., ведущие в итоге к исчезновению “человека прекрасного”. Обращено внимание на недопустимость описываемых Ст. Лемом жестких вмешательств в человека и в природу (заранее защищаемых им от критики с помощью передачи самых острых идей мыслящему Голему, переноса ситуаций в другие миры, ссылки на шутки и эпатаж), на упрощенную односторонность многих разработок (“бетризация”, “шустры”, общество без противоречий, и даже создание нового класса для человека с уходом из млекопитающих, и пр.)» [294, с. 3]. Все эти недостатки и ошибки профессор Тетиор объясняет неверием Лема в Бога («Возможно, именно неверие в Бога привело Ст. Лема к печальным мыслям о будущем человечества, о судьбе Земли и Вселенной» [294, с. 216]) и неприятием проповедуемой Тетиором теории «бинарной множественности природы и развития с уравнивающими разветвлениями, игнорирования ряда положений религии, экологии, философии, этики, морали, и объективных законов природы» [294, с. 3]. На это со своей стороны могу ответить автору «Анти-Лема», что если взгляды Лема противоречат теории профессора Тетиора, то, безусловно, ошибочна теория.

Когда в середине 1970-х гг., будучи студентом факультета прикладной математики Белорусского государственного университета, я прочитал «Голем XIV» (версия 1), то испытал

настоящий культурный шок, ибо в результате логических построений повествования, по ходу знакомства с которыми у меня не возникало никаких возражений их автору, получалось совершенно иное тому, чему меня до сих пор учили и в чем я был уверен. Оказывается я — человек, венец творения, наивысшее достижение природы, — абсолютно таковым не являюсь, ибо, согласно Трем законам эволюции по Голему (Лему), «СМЫСЛ ПОСЛАНЦА — В ПОСЛАНИИ», «ВИДЫ РОЖДАЮТСЯ ИЗ БЛУЖДАНЬЯ ОШИБОК», «СОЗИДАЕМОЕ МЕНЕЕ СОВЕРШЕННО, ЧЕМ СОЗИДАТЕЛЬ», т.е. «В ЭВОЛЮЦИИ ДЕЙСТВУЕТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ГРАДИЕНТ КОНСТРУКТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВА ОРГАНИЗМОВ». Относительно этих законов эволюции Лем с большим удовлетворением отмечал: «То, что я написал в “Сумме технологии” как “Пасквиль на эволюцию” и в “Големе XIV” как продолжение этого пасквиля, сейчас, четверть века спустя после издания “Суммы”, звучит более реалистично, чем звучало тогда. Потому что благодаря новым знаниям о строении нашего организма, мы заметили накопившиеся в нем в ходе эволюции как “излишние сложности”, так и “слишком узкие места”» [141]. Особо приятно ему было то, что примерно за два года до Ричарда Докинза он описал эволюцию «эгоистических генов», используя, правда, отличающуюся от Докинза терминологию. Можем сравнить и убедиться, что разными словами речь шла об одном и том же. Из лекции Голема: «Эволюция не имела в виду ни специально вас, ни вообще каких-либо существ: не существа, такие или иные, важны для нее, но пресловутый код. Код наследственности — непрерывно возобновляемое послание, и только оно берется в расчет Эволюцией, — да, собственно, оно-то и есть Эволюция. Код вовлечен в периодическое создание организмов — без их постоянно возобновляющейся поддержки он распался бы под непрерывными броуновскими атаками мертвой материи. Код — это самообновляющаяся (потому что способная к самовоспроизведению)

упорядоченность, осаждаемая тепловым хаосом» [2, с. 337]. Из статьи Докинза «Эгоистические гены и эгоистические мемы»: «Половое размножение смешивает и перетасовывает гены. Это означает, что каждое индивидуальное тело — всего лишь временное транспортное средство для недолговечной комбинации генов. Комбинация генов, являющаяся данным индивидом, может быть недолговечной, но сами гены потенциально весьма долговечны. Их пути снова и снова пересекаются при смене поколений. Определенный ген можно рассматривать как некое целое, выживающее в процессе смены индивидуальных тел. (...) Ген перескакивает из одного тела в другое, путешествуя по поколениям, манипулирует телами для достижения собственных целей и оставляет смертные тела, одно за другим, до того, как они состарятся и умрут» [297, с. 117]. Комментарий Лема: «Мой “Голем XIV” назвал естественную эволюцию “блужданием ошибки”, так как если бы не появились неточности в наследственных репликациях, то на Земле ничего бы не жило, кроме каких-то амёб, а так из ошибок выросли лягушки (в последнее время повсеместно гибнущие), деревья, жирафы, слоны, обезьяны и, наконец, мы сами. Сегодня эволюция называется (это говорят ведущие американские эволюционисты, такие как Стивен Гулд или Брайан Гудвин) танцем генов, который в принципе не является процессом все более поступательным. Об этом я опять-таки написал когда-то [в 1968 г.] эссе под названием “Биология и ценности”» [17, с. 714].

В предисловии к сборнику материалов симпозиума «Информационные и коммуникационные структуры будущего» Лем перечислил три вопроса, опять-таки касающихся **космоса, жизни и разума**, которые он бы задал какому-нибудь Всезнающему существу, если бы представилась такая возможность: «1. Почему так много базовых свойств Вселенной космогоническо-физического характера, понимаемых как начальные и граничные условия, так однозначно связаны с

появлением генетического кода, то есть жизни? 2. Является ли земное дерево эволюции видов крайне редким или все же типичным вариантом многих эволюционных процессов развития во Вселенной? 3. Существует ли все же логически связанная физика, в которой “нормальные” законы природы приводятся в соответствие с закономерностями, существующими в особых условиях — например внутри черных дыр?» [324, s. 9]. Но все-таки больше всего Лема интересовали собственные гипотезы: «Чтобы, представ перед Всезнающим, все же не казаться бедным глупцом со своим ненасытным любопытством, я бы сократил все мои вопросы до одного-единственного: что имеет смысл, а что является бессмыслицей в речах выдуманного мной Колосса искусственного интеллекта, названного “Годем XIV”?» [324, s. 10]. Уверен, что этот вопрос интересует также и всех читателей-почитателей Станислава Лема.

В завершение приведем полтора десятка цитат из Голема (Лема) афористического характера (а подобных фраз в «Годеме XIV» каждый может набрать достаточное количество в соответствии со своим вкусом и интересом) [2, с. 301-438]:

— Человек может менять мировоззрение — но НЕ МОЖЕТ уничтожить в себе элементарные влечения простым усилием воли;

— Культура — орудие особого рода; это открытие, действенное лишь тогда, когда оно скрыто от своих творцов. Это изобретение, сделанное бессознательно и исправно работающее лишь до тех пор, пока оно не до конца осознано изобретателями. Парадоксальность культуры в том, что, когда ее существование осознается, она рушится;

— Эволюция — это ленивое бормотание, упорствующее в плагиате до тех пор, пока не попадет в переделку;

— Плохо работает тот, кто, решив смастерить лопату, сооружает ракету;

— Забавнее глупость философа, чем идиота;

— Нет объективного критерия, позволяющего установить, где именно технические параметры процесса перерастают в этические;

— Мудрость субстрата всегда должна быть проще субстрата мудрости, мысль — менее сложна, чем то, чем мыслят;

— Жертвенность, милосердие, жалость, самоотречение и прочие формы альтруизма на самом деле — эгоизм вида, себялюбие, распространенное на формы жизни, подобные собственной;

— Любой земной вере свойственна такая внутренняя непоследовательность, которая в переводе на язык логики равнозначна противоречивости;

— Гений — это полная масть на руках, чаще всего в игре, где такой расклад не выигрывает;

— Гениальность — это узко сфокусированный пучок дарований;

— Мироздание нетождественно явлениям, которые его создают и обеспечивают его устойчивость;

— Каждой мысли соответствует некая уникальная конфигурация ее материального субстрата;

— Если жизнь — исключение из правила мертвых планет, то Разум — исключение из правила жизни, исключение из исключения, и он был бы редчайшим курьезом в галактиках, когда бы не их астрономическое число;

— Каждая картина мира содержит пробелы, ненаблюдаемые для тех, кто ее создал. Незнание о незнании неизменно сопутствует познанию.

Остается только позавидовать читателю, которому еще предстоит знакомство с этим шедевром Станислава Лема.

А что ждет человека дальше? Вот «горькая пилюля» или «горчица после обеда» от Станислава Лема (публикуется впервые, перевод с рукописи [132, 01.03.1977]).

Станислав Лем. Горчица после обеда

ГОЛЕМ не все говорил так, как считал, из тактических соображений: неловко обращаться к горбатому со стороны его горба. Горбатый, согласно ГОЛЕМу, это наш вид, и это опять является очень поздним следствием эволюционного оппортунизма.

Однако, согласно ГОЛЕМу (у меня есть множество проектов его дальнейших лекций), человек не только влюбился в себя любовью трагической, но полюбил в себе свои Тайны. Эти тайны, переложенные на язык стохастического управления, того, который регулирует эволюционный процесс, — это различные ненужные зигзаги, рецидивы, половинчатые выходы из ловушки, тривиальные поступки, деятельность в соответствии с тем, «что уже созрело» с точки зрения свойственной эволюционному движению инерции. Означает это просто то, что никакого реального превосходства, никакой оптимизации в пределах того, что МОЖЕТ быть оптимизировано, адаптационно выживаемо, эволюция не реализует. Не может этого делать. Слишком эффективный паразит убивает всех хозяев, сам погибая с ними. Слишком эффективный хищник пожирает все жертвы и погибает от голода. Слишком эффективные жертвы вырываются, и хищник опять погибает от голода. Эволюционное движение стало тогда движением к состояниям равновесия (гомеостаза) в биотопах. В общей экологической нише было позволено только такое МИНИМАЛЬНОЕ преимущество данного вида над другими, которое удерживает при жизни возможно большую часть биотопа. Вид не может фактически царствовать в своем биотопе, ибо царствуя уничтожит и его, и себя.

Первые два миллиарда лет эволюции была стагнация, вызванная тем, как я думаю, что эволюция тогда еще не обломала самой себе рога. Виды получали слишком много преимущества над остальными — эволюция тогда вела АЗАРТНУЮ игру. Это была разновидность покера: в резуль-

тате видовая эффективность оказывалась неэффективностью для всей биосферы (все это происходило еще на уровне микроорганизмов или по крайней мере организмов беспозвоночных). Потом она научилась умеренности. Эта учеба кристаллизовалась в самом методе наследственности. Это некий мост, в котором партнеров не уничтожают, противников не приканчивают. Эффективность нарастает у видов понемногу, очень ОСТОРОЖНЫМИ перетасовками генотипных комплектов. Структура генотипов ОЧЕНЬ КОНСЕРВАТИВНА. Неспешность процесса является единственным возможным заменителем предусмотрительного надзора над целостью, так как этого надзора быть не могло. Благодаря этому виды могут погибать, но не может остановиться, как самоуничтоженная, эволюция. ГОЛЕМ об этом говорил более или менее осторожно. Человек — это разум, а разум — это адаптация, которая опять является покером. Рискованная и нестабильная адаптация, позволяющая (мы уже видим это) убить всю биосферу.

Человек уже вышел за правила эволюционной игры, и потому по ГОЛЕМу логически необходимым следующим шагом будет взятие эволюции в свои руки. Угроза актуальными экспериментами (кишечной бактерии и т.д.) не кажется мне слишком большой. Какая-то глобальная болезнь или тому подобное — это был бы несчастный случай, результат неожиданного рикошета этих страшно примитивных манипуляций с бактериальным генотипом. Фактически угроза прячется, естественно, дальше. Потому что возможно получение знания, необходимого для фактического переконструирования генотипов в достаточно большом диапазоне, БЕЗ одновременного получения знания о том, как фактически переделанные генотипы, а скорей их фенотипы, или спроектированные организмы, будут себя вести. Так, если действительно можно будет получить физиологические параметры *homo artificialis*, но нельзя будет наверняка определить, какую культуру, а точнее,

какое созвездие культур и их взаимодействие этот гомункулус сформирует. Отличная физиология, усовершенствованная в биотехнологических категориях, в наименьшей степени является гарантом какой-либо «счастливости», успешности в культурно-творческом диапазоне. Культура же является жизненной средой — является питанием homo, как агаровый суп является питанием бактерий. Посредством сконструированного homo artificialis его культура не определяется, не предсказывается, не распознается предел ее возможностей. Это, вне всякого сомнения, невозможно. Тем не менее искушение действовать будет огромно. И в этом все дело, в этом вся опасность. Может, где-то через 120-150-200 лет это будет уже реально. Сегодня это все еще только сказки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В жизни и работе я был котом, который ходит собственными тропами. Я не принадлежал к какой-либо литературной или поэтической группе или школе, не создал какого-либо течения или направления, и хотя со своими работами появлялся в различных удивительных областях, от кибернетической социологии и философии до вымышленной критики не существующих романов и до science fiction, везде был пришельцем со стороны, которого чаще, чем признание, приветствовало восхищение читателей — наиболее разумное, ибо во всех темах, которые затрагивал, и жанрах, в которых творил, был одиночкой и самозванцем [119].

Станислав Лем

В «Предисловии» было отмечено, что мнения специалистов расходятся в вопросе, «кем является Станислав Лем: писателем, проповедующим некую собственную философию (философствующим писателем), или философом, пишущим великолепную беллетристику (писательствующим философом)?». Или иначе: «Кто Лем больше — писатель или философ?» В процессе работы над книгой автор провел опрос среди специалистов по творчеству Лема, предлагая ответить на приведенные выше вопросы. Правда, не все специалисты находятся в равных условиях, ибо полностью оценить творче-

ство Лема могут исключительно те из них, кто знает польский, немецкий или русский языки — только на них были опубликованы все философские монографии Лема, на английском же была издана одна «Сумма технологии», да и то (наконец-то) в 2013 г. — через пятьдесят лет после первого издания (что, конечно же, еще раз подтверждает ее важность и значимость для всего мира). Ниже в алфавитном порядке по фамилиям приведены ответы на вопросы лемологов и/или лемофилов (все они (кроме одного) упоминаются в разделе «Библиография» и/или в тексте книги).

Павел Амнуэль (СССР, Израиль), писатель, кандидат физико-математических наук: «На мой взгляд, в творчестве Лема первичной была литература, а философия все же вторична. И потому Лем — писатель-философ, философствующий писатель (это ощущение возникает даже тогда, когда читаешь его философские произведения — они “слишком литературны” для философа)».

Леонид Ашкинази (Россия), социолог и писатель, кандидат физико-математических наук: «Лем был писателем, склонным к рассмотрению общих вопросов бытия и познания. Степень общности рассмотренных им вопросов и глубина рассмотрения позволяют назвать его и философом. При этом литературная (зачастую) форма рассмотрения им философских вопросов и философское содержание (некоторых) его книг делают не вполне корректной дихотомию в вопросе».

Станислав Бересь (Польша), профессор, доктор филологии (ScD), соавтор книг-интервью с Лемом: «Продолжающееся в течение шестидесяти лет писательское творчество Станислава Лема — это пример необычной эволюции писателя, преобразившего научную фантастику, которая в начале его карьеры была разновидностью популярной литературы, приравниваемой к коммерческой деятельности, в

выверенное и глубоко познавательное искусство слова, служащее познанию мира, анализу его природы и тайн, а также исследованию возможных путей развития человечества. В результате это принесло Лему позицию абсолютного гуру польской фантастики и обеспечило завоевание важного места в европейской и мировой литературе, при этом указало путь последующим писателям этого жанра (к настоящему времени уже трех поколений), провоцируя их к поиску собственных решений и принуждая к значительному повышению философского и интеллектуального уровня. Чтобы стать таким дорожным указателем и ориентиром, Лем должен был получить глубокие, специальные знания в области многих дисциплин, в том числе — и прежде всего — в точных и естественных науках, что сформировало из него эксперта мирового уровня, способного рассуждать о проблемах мира и человечества — как в художественных произведениях, так и в эссеистических трактатах — на таком уровне компетенции, что он стал партнером (и любимым автором) ученых мирового уровня (в том числе создателей космонавтики и нобелевских лауреатов) — физиков, математиков, информатиков, генетиков, биологов, философов и т.п. Эволюционируя — от роли талантливой беллетриста, специализирующегося в изложении увлекательных космических романов, до положения мирового авторитета в области многих основополагающих дисциплин, — Лем все более отчетливо (возрастом и полученным знанием) становился философом и мудрецом, отходя от художественной прозы к научным исследованиям и различным вариантам философского дискурса, представляемого в виде эссе, фельетонов и все реже (с течением времени) художественных сюжетов».

Владимир Борисов (Россия), переводчик Лема, редактор фэнзина, посвященного Лему: «Для меня Лем был прежде всего писателем. Что не мешало ему при этом оставаться мыслителем и философом. Но все его работы, и художественные

(даже если в них поставлены сложные проблемы), и сугубо научные (такие как “Диалоги”, “Сумма технологий”, “Философия случая”), и короткие очерки последних лет жизни, все они могут рассматриваться как образцы *belles-lettres*, то есть изящной словесности. Ибо для них характерны образность, метафоричность, юмор — то есть все то, за что мы и ценим высокую беллетристику».

Павел Вейгель (Чехия), переводчик Лема, автор книги о Леме: «Станислав Лем прежде всего является писателем. Что касается философии, то он больше, чем философ — скажем, полигистор. “Сумма технологий” настолько глубока, что философ Колаковский не распознал ее размер. И как написал Теодор Солотарофф 29.8.1976 в “New York Times”: “Лем ... это один из величайших духов нашего века”». [В первоисточнике в NYT: “He is a major writer and one of the deep spirits of our age”.]

Мария Галина (Россия), писатель, кандидат биологических наук: «Полагаю, Лем был философом и блестящим экспериментатором, как бы вытачивающим штучный литературный инструмент специально под каждую очередную философскую идею. Начинал он, без сомнения, как “просто писатель”, но показательно то, что от своих “просто литературных текстов” он и сам довольно быстро откестился и, насколько я знаю, не приветствовал их републикацию. Тем не менее подход Лема — по моему мнению — единственно продуктивный в “новое время”, когда речь идет о литературе как таковой, и именно ему мы обязаны появлением блестящих и до сих пор никем не превзойденных именно литературных текстов».

Бернд Греффрат (Германия), профессор, доктор философии (ScD), ScD-диссертация: «Эволюционная этика? Философские программы, проблемы и перспективы социобиологии» (в т.ч. на основе работ С. Лема), автор четырех книг о Леме: «Сложно

однозначно классифицировать писателя и мыслителя; и в особенности это относится к Лему. Существует множество способов исследовать философские темы, и беллетристика — один из них. Я бы сказал, что Лема интересует философия, но часто его метод является литературным».

Александр Грицанов (Беларусь), кандидат философских наук: «Лем — безусловно — намного больше философ, но он философ, способный писать человеческим языком. У них у большинства же принято — как Вы знаете — бОтать по фене. На него похож (только по нормальному языку), например, Камю... Но я еще подумая...». Была договоренность, что Александр даст развернутый ответ на этот вопрос на завершающем этапе написания книги, но увы... RIP.

Адам Гроблер (Польша), профессор, доктор философии (ScD): «Думаю, что Лем является и писателем, и философом — трудно определить, кем более. Его литература и философия сплетаются в гармоничное целое, без одного не было бы другого. Является писателем, все произведения которого содержат существенную философскую начинку. Все или почти все философские темы, появляющиеся в его литературных произведениях (многие из них неоднократно), были им затронуты и в чисто философских работах “Диалоги”, “Сумма технологии”, “Философия случая”, а также в небольших эссе. Лем также является теоретиком литературы, особенно в “Фантастике и футурологии” — произведении наполовину философском (в области философии культуры), наполовину литературно-критическом. Лем применял свою философию литературы к собственному творчеству или к чему-то типа автопсихоанализа. “Насморк” и “Осмотр на месте” являются целенаправленными попытками теоретического совершенствования сюжетов более ранних произведений, “Абсолютная пустота” и “Мнимая величина” являются теоретически мотивированными мыслительными экспериментами».

Мацей Дайновский (Польша), доктор филологии (PhD), диссертация: «Гротеск в творчестве Станислава Лема», автор двух книг о Леме: «Творчество Лема вырастает из глубокого размышления над природой человека, и для меня, прежде всего, является расписанным на голоса антропологическим трактатом. Специфика XX века и особенность воображения способствовали науковедческому, эпистемологическому направлению этих размышлений, и горизонт, который их цели ограничивает, — это философия человека. Лем является философом, стремящимся иногда к системному представлению, но полнота воздействия его мысли реализуется как в дискурсе, так и посредством художественного и эстетического уровня произведения, посредством силы образа, созидания героя, иронии, гротеска, игры парадокса и т.д. Одним словом, Лем — это писатель-философ, а не наоборот. Писатель “плюс философ”».

Яцек Дукай (Польша), писатель, по образованию философ: «Прежде всего не признаю такой четкой альтернативы. “Философия” относится скорее к содержанию, “литература” — к форме. Не все, но существенную часть философских рассуждений можно представлять и в фабуляризированной форме, и в чисто дискурсивной. Такие же вопросы можно было бы поставить относительно Камю, Сартра, Достоевского или даже Бэкона. В случае Лема переход к дискурсивным формам произошел в поздней части его творчества и связано это было сколько с писательской “усталостью”, столько и с достижением уровня абстракции, с трудом представляемой в беллетристических построениях. (Таким произведением, “ломающимся” под тяжестью дискурса, является, например, “Глас Господа”.) Однако генетически — т.е. обращаясь к источнику его идей — даже большие абстракции формировались на основе увлечения литературой, увлечения “онтологической фикцией”».

Константин Душенко (Россия), кандидат исторических наук, переводчик Лема: «В “Сумме технологии” был философом (или, шире, мыслителем), в “Солярисе” и “Гласе Господа” — писателем». На дополнительный вопрос, какой математический знак отношения он бы выбрал между «писателем» и «философом», ответил: «Равно».

Яцек Жешотник (Польша), профессор, доктор филологии (ScD), ScD-диссертация: «Интеллектуальный писатель и философ Лем. Реконструкция образа Станислава Лема и его творчества в немецкоязычных странах на основе избранных произведений», автор книги о Леме: «Я считаю, что на начальном этапе своей творческой деятельности Лем пережил определенную метаморфозу — первоначально он был, скорее, “философствующим писателем”, о чем свидетельствуют его самые ранние произведения, вписывающиеся в типичные “рассказы об ученых и изобретениях”, к которым он добавлял щепотку философских наблюдений, но очень быстро преобразился в “писательствующего философа”, который конструировал литературные тексты вокруг своих собственных эпистемологических/гносеологических концепций (которые иногда полемизировали с существующими теориями, иногда же были абсолютно оригинальными идеями). Лучшие произведения Лема демонстрируют его нам именно как “писательствующего философа”. Поэтому я поддерживаю мнение, что Станислав Лем был скорее философом, который писал литературные произведения, чем писателем, который философствовал».

Войцех Кайтох (Польша), доктор филологии (ScD): «Первые двадцать лет творчества Лем был прежде всего писателем. Философствовал в своих литературных трудах, иногда только философствовал (“Диалоги”, “Сумма технологии” и др.), но средством передачи мысли для него тогда главным образом были герои и сюжет, и эстетическим эффектам придавалось

такое же большое значение, как и интеллектуальным. Потом, к сожалению, писателем был все реже, а чаще философом, или точнее мыслителем, и хотя создал собственную философскую систему (философию случая), профессиональным философом академического типа он все-таки не стал. Да и от литературы ведь не отказался окончательно (“Осмотр на месте”, “Фиаско” и др.). Итак: Лем по сути был философствующим писателем, который в определенное время стал литературой пренебрегать, посчитав себя философом».

Майкл Кандель (США), доктор филологии (PhD), переводчик Лема: «Я всегда ощущал, что Лем был ценен — и силен — и как писатель, и как философ. Ваши оба варианта, кажется, принижают каждый из его аспектов: каждое из слов “философствующий” и “писательствующий” унижает, в конце концов. Так что я заменил бы ваше ИЛИИ на И. Лем одновременно является писателем и философом, философом и писателем».

Лех Келлер (Польша, Австралия), доктор политологии (PhD), диссертация: «Видение будущего в произведениях Станислава Лема»: «Лем был философом, занимавшимся литературой. Аналогично, например, Ницше, у которого поэзия четко смешивается с философией, или как у Вольтера (философские сказки). Так как Лем писал очень хорошо (с точки зрения стиля и способности не наведения скуки на читателя), то другие философы меньшего уровня, такие, например, как Колаковский, завидовали этому его таланту (гению?) и делали все, чтобы принизить значение Лема как философа. (...) Лем был философом *sensu stricto*, написал ведь “Философию случая”, свою “Сумму технологии” и в высшей степени философские “Диалоги”. Вместе с Адамом Шаффом он был наиболее выдающимся (с точки зрения оригинальности и глубины мысли) польским философом XX века, более выдающимся, чем сильно разрекламированный Колаковский или даже Котарбиньский».

Петр Кривак (Польша), доктор филологии (PhD), автор книг о Леме: «Переменной, формирующейся всю жизнь, эволюционирующей личностью был для меня Станислав Лем. Склонность к философствованию он проявил еще в ранней молодости. (...) Философские проблемы, связанные в основном с ограниченностью человеческого познания, а также с философией человека и этическими аспектами научно-технического прогресса, Лем затрагивал в рассказах и романах в самый лучший период своего литературного творчества (шестидесятые годы). Был Лем в то время прежде всего философствующим писателем, мыслителем, реализующимся главным образом в литературных формах. (...) В семидесятых же годах его можно было уже назвать философом, занимающимся литературой; позже он стал уже только философом. На вопрос о том, кем он был, следует поэтому ответить так: и тем и другим с таким лишь уточнением, что — в зависимости от возраста — или литературный талант, или склонность к философским размышлениям брали в нем верх».

Томаш Лем (Польша), физик и переводчик (в т.ч. Лема с немецкого), автор книги о Леме-отце, и **Войцех Зедек** (Польша), магистр филологии, секретарь Лема: «Не чувствуем себя в силах разрешить проблему, кем был Станислав Лем: больше писателем или больше философом — нам представляется, что эти две трактовки необязательно взаимно исключаются».

Мариуш Лесь (Польша), доктор филологии (PhD), автор книги о Леме: «Лем является прежде всего писателем, а если и философом, то благодаря беллетристическому творчеству. “Кибериада” и “Звездные дневники”, например, по моему мнению, философски превосходят “Сумму технологии”. Определенные открытия, рождающиеся внутри познавательно-бытовой ситуации, возможны к реализации (не к изображению!) исключительно в сюжетно-фиктивном произведении. Имею в виду, например, способность создания возможных миров в рамках литературной фикции в двойном представле-

нии: познающего субъекта (чаще всего повествователя) и познаваемую действительность».

Павел Маевский (Польша), доктор филологии (PhD), диссертация: «Между животным и машиной. Технологическая утопия Станислава Лема», автор книги о Леме: «Лем — это писатель, который хотел быть философом, но со своими взглядами не помещался — не мог и не хотел — в любой из существующих философских систем. Для академических философов он был слишком несерьезным, для литераторов — слишком серьезным. Не было у него своего места».

Мацей Михальский (Польша), доктор филологии (ScD), PhD-диссертация: «Литература как метод философствования» (в т.ч. на примере С. Лема): «Если творчество Лема разделить эволюционно, то можно сказать, что в начале он был в большей степени философствующим писателем, а позднее — скорее философом, занимающимся литературой. (...) Но безопасней всего разделить творчество Лема на два направления: более писательское (в особенности гротесковые произведения: “Сказки роботов”, рассказы о Ийоне Тихом) и более философское (дискурсивные труды, в особенности “Философия случая”). Где-то между ними я разместил бы произведения серьезной фантастики. Мне представляется, что произведением, которое лучше всего соединяет эти две разные наклонности Лема, является “Футурологический конгресс”, размещающийся приблизительно в середине эволюции его писательства. Иначе говоря, Лем иногда был философствующим писателем, а иногда философом, “смягчающим” свои выводы художественными приемами. Думаю, что Лем целенаправленно не хотел заниматься философским дискурсом академического типа, чтобы сохранить себе свободу манипулировать умозаключениями, усложнять значения, не решать все однозначно».

Фернандо Морено (Испания), профессор, доктор филологии (PhD): «Как теоретик литературы я считаю Лема не просто писателем, а одним из величайших писателей 20-го века. И вместе с тем, поскольку его мощная философия глубоко пронизывает всю его литературу, последняя также может рассматриваться как пример мировоззрения, близкого некоторым философам, таким как Аристотель или Хайдеггер, для которых литература была своего рода философским языком. Станислав Лем хорошо понимал этот факт, и я не думаю, что он достиг бы более высокого уровня в своей философии, если бы начал строить системы, подобные Гегелевским, вместо того чтобы выражать свои идеи через “Голема XIV” или планету “Солярис”. Последние его шедевры, в форме эссе, были безусловно философскими, но это еще не значит, что они были серьезнее его предыдущих литературных работ. Возможно, нам стоит избегать любого разделения на философию и литературу в работах Лема, потому что в его произведениях обе сферы соединяются таким образом, что невозможно сказать, что одна из них преобладает над другой».

Данута Мышко (Беларусь), кандидат филологических наук, диссертация: «Философские аспекты научной фантастики С. Лема»: «С моей точки зрения, С. Лем не был ни писателем, ни философом. Достаточно вспомнить львовский период его жизни, чтобы сказать, что он — конструктор мира, использующий литературные приемы и философские инструменты, конструктор в таком смысле, как называют конструкторами символистов, модернистов и особенно постмодернистов: когда слово становится не просто средством создания вторичной реальности, как это бывает в литературе, а когда слово становится воплощением замысла, когда возникает почти библейская ситуация — “Вначале было Слово”, когда новый мир должен быть назван, определен. Лем

не конкурирует с Богом, но все же берет на себя созидательно-творческие функции (как это было у символистов — “Словом” назвать то, что пришло “оттуда”). (...) Как конструктор, Лем не доверяет окончательности результатов. Именно поэтому герои его произведений не находят ответа (“Непобедимый”), терпят поражение (“Эдем”), иногда не понимают смысла происходящего (“Рукопись, найденная в ванне”). Многие исследователи проходят схожие этапы. Как конструктор, он в поздних своих текстах (“Абсолютная пустота”, “Мнимая величина”) обращается к интертексту (постмодернистская техника конструирования). Как настоящий конструктор, Лем, обладающий системой медицинских, биологических, социальных знаний о человеке, видел в нем лишь разомкнутую цепь, некую зияющую пустоту, так и не сумев внятно объяснить, где кроется пропущенное звено. Он искал, экспериментировал, “ставил опыты” и был уверен, окончательной истины нет. Лем просто верил в человека, в то, что в нем человеческого, может и несовершенного. Он верил, что человек избавится от своей “близорукости”».

Михаил Назаренко (Украина), писатель и критик, кандидат филологических наук: «Лем прежде всего мыслитель, иными словами тот, кто создает некую модель мира (включающую, разумеется, и человека), а затем исследует различные ее аспекты, поведение при заданных условиях, взаимосвязь и взаимодействие элементов и т.д. В этом смысле философия Лема является основой всего его творчества, как художественного, так и научного, основой и его бытия, и его целостности. Но Лем, как и почти все “читаемые” философы от Платона до Сартра, от Августина до Ницше, обладал особым даром. Его мироощущение выражалось в образах и сюжетах, которые могли быть восприняты и вне контекста лемовской философии (“Солярис” Тарковского тому примером), более того, иногда противоречили теоретическим взгля-

дам писателя. Интеллектуальная и творческая эволюция Лема неразрывны, а союз этих двух начал в культуре XX века едва ли не уникален, но, мне кажется, помнить и читать будут в первую очередь Лема-прозаика, через его романы и рассказы приходя к Лему-философу. Суггестивная сила образов действенной и бесспорней рациональных построений, нередко весьма спорных; художественная же модель мира, если она талантлива, не может быть опровергнута».

Николай Науменко (Россия), главный редактор издательства АСТ: «Лем продолжает линию писателей-философов — Гёте, Толстой, Достоевский. Для меня же он принадлежит к другому ряду — Эйнштейн, Шредингер, Бор, Гёдель, Фейнман. К тем, кто открывал устройство мироздания и переводил его затем на наш “zero-ланг”».

Рафаил Нудельман (СССР, Израиль), писатель, кандидат физико-математических наук, один из первых переводчиков Лема на русский язык: «На мой взгляд, было бы неправильно считать Лема философом. Мне кажется, что философы, т.е. создатели всеобъемлющих (целостных) философских систем, были и в 20-м веке — это, например, Хайдеггер, Витгенштейн, Ясперс, Арендт, Пирс, Бердяев и т.п. Их отличие от Лема сразу очевидно. Лем, как мне представляется, — писатель, но писатель особый, из того редкого разряда “писателей-мыслителей” (Борхес, Камю и т.п.), творчество которых питается постоянным напряженным размышлением над “скрытым устройством мира”, над онтологическими вопросами бытия. Но это не столько логическое, сколько интуитивное размышление, и потому его результаты естественно воплощаются в художественную (или публицистическую) форму, а не выстраиваются в виде логически развертывающейся философской системы».

Павел Околовский (Польша), доктор философии (ScD), автор книги о Леме: «Станислав Лем является, и это очевид-

но, одновременно великим писателем и великим философом. И поставленный вопрос понимаю так: в чем, с точки зрения культуры, достижения Лема более важны: в сфере художественной литературы или в области философии. И отвечаю категорично: в философии! (...) Для Лема собственная художественная литература всегда была носителем рациональной мысли, что он подчеркивал. Была форпостом мощного взгляда на мир, философской разведкой. А его философия — величины которой сам недооценивал, и поэтому неудивительно, что недооценивают и другие, — может быть смело поставлена в ряд с самыми крупными философскими работами современности, например Рассела и Поппера. Лем перед ними имел то преимущество, что создал (в противоположность им) философскую систему — с наиболее оригинальным и наиболее обширным в XX веке видением мира. Лем мало занимался эпистемологией (как Рассел и Поппер), зато дал великую — в традиционном греческом или средневековом стиле — метафизику с философией человека плюс разработанной аксиологией. Эта метафизика составляется из неисчислимых, своеобразных анализов (Лем разбирался, как известно, “во всем”), которые создают, однако, необычную мозаику — стройную логическую систему. Сложно эту мозаику, то есть Лемовскую панораму космоса, рассмотреть с близи, отсюда и сомнения многих авторов относительно философской компетенции Лема в целом. (Однако время будет действовать ей на пользу, картина будет проясняться.) Философия Лема также сложна потому, что ее ядро находится далеко от современности. В поисках прототипа для своего материализма Лем не остановился ни на сайентизме, ни на марксизме, ни на идеях Возрождения — обратился к древним источникам и самым глубоким моделям. (И не важно, что сделал это бессознательно!) Рамками взгляда Лема на мир является эпикуреизм, а в особенности “О при-

роде вещей” Лукреция. Одновременно с этим философия Лема настолько близка современности, как, наверное, никакая другая, — через размышления о результатах современной науки и синтез с христианской (христианоцентричной) аксиологией».

Марек Орамус (Польша), писатель, автор книги о Леме: «Лем наверняка хотел считаться философом, с гордостью он мне рассказывал о немецких работах, в которых его так называли. Но для меня вопрос очевиден — он был писателем, который в своем творчестве затрагивал философские проблемы. У него была склонность к философствованию, но какой-либо системы он не создал. Скажу так — он был пользователем философии, а не одним из ее творцов. Впрочем, между литературой и философией существует определенная совместная область, и Лем бывал там регулярным гостем».

Войцех Орлиньский (Польша), журналист, автор книги о Леме: «У меня такой характер, что вопрос, кто кем является (“поэтом”, “драматургом”, “писателем” или “философом”), я просто свожу к вопросу о том, кто за счет чего оплачивает свои расходы. Если кто-то зарабатывает средства как сантехник, а для собственного удовольствия пишет стихи, для меня он будет сантехником, занимающимся поэзией, а не поэтом, для заработка ремонтирующим водопроводные краны. С этой точки зрения Станислав Лем является философствующим писателем. Именно проза всю жизнь оплачивала его расходы. И для меня это разрешает спор. Колаковский — это пример профессионального философа, который как любитель занимался прозой, а Хемингуэй — это пример профессионального писателя, который как любитель занимался рыбной ловлей. Поэтому Лем для меня — профессиональный писатель, полупрофессионально занимающийся философией».

Ивона Пента (Польша), доктор филологии (PhD), автор книги о Леме: «Для меня Станислав Лем всегда был прежде всего великолепным писателем, человеком с широкими горизонтами, для которого какая-либо доктрина, в том числе и философская, была бы просто интеллектуальным и художественным ограничением. (...) Тем не менее именно беллетристика демонстрирует величину Лема, его необыкновенную способность облекать в метафорический литературный образ сложные проблемы, их тестирования, поиска разнообразных и основанных на различных научных посылах ответов на вопросы (в том числе и философские), задаваемые в тексте, и одновременно сохранения равновесия между научностью, вписанной в литературную форму, и красотой и точностью языка, которым пользовался. Был ли Лем философом? Без сомнения, в сфере вопросов, которые он ставил. При этом писатель, эклектичным образом соединяя знания из разных областей, создает вымышленные миры, в которых появляются многозначные ответы на вопросы, которые человек ставит с тех пор, когда появилось сознание».

Мацей Плаза (Польша), доктор гуманитарных наук (PhD), диссертация: «Проблематика познания в творчестве Станислава Лема», автор книги о Леме: «Лем — писатель или философ? Я не в состоянии разрешить эту проблему, ибо она по-разному решается с позиции разных концепций в литературе и философии, которые ведь исторически и культурно переменчивы. Поэтому считаю, что в будущем эта проблема будет мучить не столько исследователей Лема (они знают, что Лем был и писателем, и философом, а немного и ученым), сколько авторов энциклопедических статей в поиске однозначных формул. В своей энциклопедии я бы написал: Станислав Лем, писатель, философ. В какой последовательности? Пожалуй, именно в такой, потому что у меня сложилось впечатление, что у него стихия воображения доминиро-

вала над трезвым рассудком. Но разрешает ли это нашу Лемовскую дилемму? Отвечу по-лемовски: подождем еще несколько десятков лет, пока окрепнут суждения и стабилизируются смыслы. Тогда заглянем в энциклопедию».

Франц Роттенштайнер (Австрия), доктор журналистики (PhD), редактор журнала «Quarber Merkur», многие годы литературный агент Лема на Западе, переводчик Лема (с немецкого на английский): «Между философским трудом и произведением художественной литературы совершенно невозможно установить четкие и устойчивые различия. И Лем — хороший тому пример. Он нередко утверждал, что квинтэссенцию его работ можно найти в его теоретических работах, в частности в “Сумме технологии” и “Философии случая”, но они мало перевестились и получили весьма скудное признание. Статьи, которые он писал в последние годы жизни, не являются философскими: это образцы плохой журналистики, написанные с целью заработать деньги. (...) Прежде всего, в своих творческих порывах он был сочинителем с огромным изобретательским потенциалом. Но у него не было склонности к систематической учебе и строгости мысли, которые могли бы стать основой для карьеры в философии или науке, как и его мнимое правдолюбие не было достаточно сильным, чтобы поддержать его идеи, если это представляло опасность. Так он оставляет свою карьеру в теоретической биологии из-за дела Лысенко. Размышляя, он не брал на себя ответственности представлять идеи в менее игровом ключе, который можно было бы отнести к серьезной философии. Таким образом, он был-таки писателем с философскими наклонностями и использовал теории как основу для своих произведений, но его любовь к философии не была достаточной для истинного философа. Там, где он попытался давать ответы, он, как

правило, ошибался, но продолжал задавать множество оригинальнейших вопросов».

Питер Свирский (Канада), профессор, доктор филологии (PhD), автор и редактор-составитель книг о Леме: «Вопрос, является Лем в первую очередь философом или писателем, представляет собой противоречивую дихотомию. Какие объективные критерии могут отличить писателя, чьи произведения испещрены темами философии, эволюции, познания и науки, от философа, который выражает свои образные предположения в рассказах, притчах и риторически сложных экспериментах мысли? В конечном счете, это вопрос квалификации. “Сумма технологий” — это, безусловно, философский труд, не глядя даже на то, что в него вплетено множество отвлеченных сюжетов. “Человек с Марса” — это, несомненно, художественное произведение. Хотя оно и насыщено, уже в тот ранний период, известной философской любознательностью. Попытка развести эти два берега в произведениях Лема подобна попытке разделить воду на кислород и водород: результат ничем нам не поможет».

Анджей Стофф (Польша), профессор, доктор филологии (ScD), автор и редактор-составитель книг о Леме: «Даже в своих дискурсивных работах Лем прежде всего является писателем, так как использует размышление, воображение и язык методами, присущими литературе, а не науке. Однако он является писателем, который очень рано заметил, что наука и техника будут играть все большую роль в современной цивилизации, нередко узурпируя себе право принятия решений, что до сих пор было в компетенции религии, философии и этики. Его живое воображение позволяет ему преобразовывать огромный прочитанный материал в прогнозы и видения, познавательный смысл которых все-таки больше относится к действительности (“понять сегодня”), чем к будущему (“будет так и так”). Движение этим путем, доступное

многим читателям, является его заслугой. Однако я никогда не назову его философом из-за преобладания в размышлении факторов, соответствующих обстоятельствам (часто благоприятствует этому языковая бесцеремонность, использование терминологического конгломерата из разных наук), над системными (несмотря на неизменность первоначальных убеждений)».

Борис Стругацкий (Россия), писатель (философствующий!): «С АБС [Аркадий и Борис Стругацкие] просто: никогда себя философами они не считали и, честно говоря, никогда и не стремились ими быть. К философии отношение у них было чисто утилитарно-прагматическое: более или менее подходящий материал для построения идейного антуража художественного текста. Что же касается Лема, то я хорошо знаком только с его беллетристикой и как писателя ценю предельно высоко: это был безусловно обладатель уникально-мощного воображения, никого равного ему (в этой области) я просто не знаю. Лем как философ мне интересен, разумеется, но не уникален. Скажем, тот же Тейяр де Шарден произвел на меня в свое время впечатление заметно более сильное, а Эрик Фромм показался более увлекательным и более близким по духу (если такие градации вообще применимы к философии). Практически: Лема-писателя я перечитываю регулярно, Лема-философа никогда. Это — субъективно, понимаю, но существуют ли здесь объективные оценки?».

Дарко Сувин (Канада, Италия), профессор, доктор филологии (PhD), экс-редактор журнала «Science Fiction Studies» (США): «Мой тезис состоит из 2 частей: во-первых, я не считаю труды Лема относящимися к области философии, и, во-вторых, я не вижу, что хорошего могло бы добавить Лему признание его философом. (...) Действительно, у Лема много работ, написанных полностью или частично в жанре “поп-

fiction”, которые близки к научным трактатам и в которых отражаются атеистические теолого-космогонические пристрастия Лема, равно как и представлено немало изысканий из технических наук. Относительно последнего наиболее яркий пример являет собой “Сумма технологии” (...), но представленную в ней “философию” я считаю довольно слабой (...). Грандиозные возможности, изображенные Лемом, предполагают отсутствие таких проблем, как войны, голод, бедность, болезни, конфликты интересов между противоположными социальными группами и классами... Единственно возможным вместилищем Лемовых интеллектроники, фантоматики, реконструкций солнечных систем и т.д. оказывается общество, являющее собой технократическую альтернативу Марксовому классовому обществу. (...) Однако нет и намека на наличие связи между читателями 1960-1980-х годов и этим будущим. (...) В “Сумме” Лем ничего не говорит о типе человека, который создал все эти блистательные технические изобретения и достижения искусства. (...) Здесь нет субъектов со сколько-нибудь различимыми голосами и лицами: все действующие персонажи — это маски повествующего объективистского голоса; часто это роботы или типичные исследователи космоса... Обобщая в пользу самого Лема: его упрямые предостережения против “конечных решений”, его позиция на пересечении ключевых европейских культур и идеологий, связанная с интенсивной интернализацией проблем из областей кибернетики и теории информации, дилеммы, придуманные им при смешении ультрасовременных научных теорий с древнейшей космогонической ересью, его ослепительная виртуозность по части формы — все свидетельствует о Леме как о примечательном и значимом голосе в мировой литературе. Но не в философии».

Александр Тетиор (Россия), профессор, доктор технических наук, автор двух книг о Леме: «Я полагаю, что Ст. Лем

был прежде всего искателем некой постоянной истины, некой “твердой” правды, которая обеспечивала бы надежное существование его и всех окружающих (правдоискателем, искателем “философского камня”), хотя все подвергал сомнению, и подчеркивал невероятную сложность будущего для человечества при отсутствии такой твердой истины (он был поражен, как быстро все меняется, например в физике). Он был глубочайшим философом и писателем, и разделить эти его качества — значит резать по живому... В действительности значение Ст. Лема как современного гения намного шире и глубже, чем значение писателя и философа. Он и яркий изобретатель, и конструктор (“усовершенствователь”), и технолог, и футуролог, и лингвист, и психолог, и биолог, и т.д. (в т.ч. и физик, и астроном, и пр.). Это — многогранный талант, в котором органично соединились многие грани творчества. Это — редчайшее сочетание многих талантов в одном человеке. К сожалению, у него были и известные недостатки в восприятии действительности, о которых я написал в книге. В итоге он допустил ряд ошибок, сделал ряд ошибок, недопустимых с точки зрения религиозных представлений, биологии, экологии, этики».

Адам Устинович (Польша), режиссер, автор документальных фильмов о Леме: «Станислав Лем — самый выдающийся философ Эры Технологии, выдуманный самым великим писателем Эры Технологии — Станиславом Лемом».

Марек Хуберат (Польша), писатель, он же **Хуберт Хараньчик**, доктор физических наук (ScD): «Если считать, что философом является тот, кто получил философское образование, то Лем философом не был. Однако именно он попытался ответить на вопросы, которые привнесло развитие технологий преобразования информации, а именно это развитие явилось главным направлением течения мысли в нашей цивилизации, начиная со второй половины прошедшего века.

Представленное Лемом описание часто настолько точно, прогнозы столь прозорливы, что его следует разместить среди выдающихся философов прошедшего века. Другое дело, что его мысли были мало известны, что следовало из определенной изоляции Лема от англоязычного круга мыслителей. Он принадлежал также к самым выдающимся писателям, но выдающихся писателей гораздо больше, чем выдающихся философов, из-за специфики деятельности. А так как на Аэропаге философов занято меньше мест, чем на Парнасе писателей, но может быть лучше утверждать, что Лем был философом?..»

Пшемислав Чаплиньский (Польша), профессор, доктор филологии (ScD): «Лем, создавая литературу, занимался философией, которой не доверял, а вводя философию в повествование, пользовался литературой, за которой не признавал силу убеждения. То есть был писателем, который не хотел заниматься философией, и философом, который не доверял литературе. Поэтому его можно назвать модернистским Сократом — человеком, которого интересовала мудрость и которого до отчаяния доводило знание. Когда ему казалось, что он знает слишком мало, чтобы достичь уверенности, начинал создавать фавулы; когда он считал, что знает слишком много, чтобы не ошибаться, обращался к иронии».

Аяно Шибата (Япония), переводчица «Высокого Замка» и рассказов Лема: «В Японии Лем популярен как писатель научной фантастики, особенно как автор “Солярис”. А его творчество сверх SF — эссе, статьи и фельетоны — известно мало. С детства Лем был мыслящим человеком. Всегда фантазировал, иногда философски. Когда же начал писать беллетристику, то приобрел присущий ему метод выражения своих мыслей. Для меня Лем больше писатель, пропагандирующий определенную собственную философию, чем философ, занимающийся литературой».

Малгожата Шпаковская (Польша), профессор, доктор филологии (ScD), ScD-диссертация: «Дискуссии со Станиславом Лемом», автор книги о Леме: «С того времени, когда мы осознали, что философия без начальных установок невозможна, и забросили построение систем, очень трудно очертить ее границы или ответить на вопрос, кем является философ. По моему мнению, Лем не был ни философом, ни философствующим писателем; был кем-то точно посередине. От академических философов его отличало достаточно фрагментарное знакомство с традициями, и, прежде всего, вера, что для философии определенное значение имеют достижения конкретных наук. От философствующих писателей же — широта интересов и просто знания в области точных наук, а также факт, что кроме беллетристики он писал эссе с явно философской жилкой. Определение “философствующий эссеист” представляется мне достаточно точным, ибо отдает должное Лему как мыслителю и не подвергает опасности обвинения его в наивности, которое могли бы выдвинуть профессионалы».

Карлхайнц Штайнмюллер (Германия), писатель, футуролог, доктор философии (PhD): «Станислав Лем принадлежит к великой европейской традиции философствующих писателей, которые сформулировали свои идеи прежде всего (и наиболее убедительно) в художественной литературе. В связи с этим его можно сравнивать с писателями эпохи Просвещения, которые рассматривали глубокие философские проблемы в форме рассказов, сказок, басен (сравните, например, “Маску” с “Жаком-фаталистом” Дени Дидро). При чтении фантастики Лема не складывается впечатление, что он ставил перед собой задачу иллюстрировать или пропагандировать философские идеи в художественной форме. Он начинал с проблемы или дилеммы своих героев и из этого развивал повествование — и на этом пути всесторонне обдумывал».

вал проблему, получая выводы и следствия. Философские идеи являлись результатом мысленных экспериментов в рамках рассказа (или романа). Конечно, “Сумму технологии” можно рассматривать как шедевр визионерского техно-философского произведения, а “Философию случая” как большой философский трактат о теории современной литературы. Как и в случае “hommes de lettre” [человек письменного слова (фр.), литератор] эпохи Просвещения, у Лема нет четкого различия между философом, который пишет художественные произведения, и писателем, который занимается философскими вопросами. Оба являются двумя гранями философского ума, работающего в первую очередь не в абстрактных терминах, а в представлении конкретного поведения человека».

Ежи Яжембский (Польша), профессор, доктор филологии (ScD), автор и редактор-составитель книг о Леме: «Думаю, что он был, однако, философствующим писателем, ибо философия требует профессионального языка и комплекса понятий, а он это не применял. Впрочем, наверняка ответ на этот вопрос не является категоричным, но литература у него была более смелой — как он сам говорил — именно в формулировании философских гипотез».

Итак, если попытаться подсчитать математически — перевес в сторону писателя, но разделение мнений произошло в основном по профессиональному признаку, ведь среди лемологов все-таки подавляющее большинство филологов (и примкнувших к ним журналистов и писателей). Но все немногочисленные философы признали его своим (и выступили они очень убедительно), и важно, что и среди филологов нет единодушия. Не нарушая алфавитности списка лемологов, добавим еще одно мнение — автора этой книги.

Виктор Язневич (Беларусь), кандидат технических наук, переводчик Лема: «Перед началом работы над этой книгой — о философском наследии Станислава Лема — я склонялся к тому, что Лем все-таки явно является философствующим писателем, и даже удивлялся убежденности некоторых лемологов, что Лем больше философ, чем писатель. Завершив работу над книгой, в процессе которой пришлось освежить в памяти художественные произведения писателя и его философские монографии, заново прочитывать-просмотреть-пролистать на разных языках более тысячи его статей, около тысячи его писем, порядка трех сотен интервью с ним, два десятка книг и несколько сотен статей о нем и его творчестве, я утвердился во мнении, что Лем — в первую очередь все-таки Философ. И пусть он не получил специального философского образования, но с 1946 г. он уже вращался в философских кругах в рамках Научно-лекторского лектория и всю жизнь активно самообразовывался именно в философии, и освоил ее он очень основательно, о чем свидетельствует факт, что труды более 30% (157 чел.) из 500 наиболее известных философов мира он упоминал в своих работах и интервью, причем 59 из них он упоминал в своих художественных произведениях».

Для ответа на поставленный вопрос предоставим слово и самому герою книги (правда, написано это им было в далеком 1979 г. и опубликовано в малоизвестном тексте — послесловии к немецкому изданию «Диалогов», а прочитано и переведено автором уже в самом конце работы над книгой).

Итак, **Станислав Лем**: «Некоторые самые категоричные мои критики утверждают, что литература не имеет для меня самостоятельной ценности, а служит по большей части для распространения внехудожественного содержимого, которое я растягиваю между сегодняшним невероятным состоянием

науки и катастрофическим состоянием мира или же совсем разрываю это содержимое на части. Думаю, что это верно, и я бы это даже еще усилил и сказал бы, что я стал философом в то время, когда в империи философии уже невозможно строить большие системы, потому что эта империя распалась из-за вторжений науки, так что философ в результате не может быть независимым создателем картины мира. Поэтому он должен или соглашаться на сосуществование с наукой, причем разделенное на бесчисленные дисциплины знание не может более быть понятым одним человеком и ни один человек не может стать универсальным специалистом, хотя наука-философия является-таки философией в профессиональных отношениях и в отношениях с учениками. Или, напротив, ему остается отступление в изоляцию, как уже произошло с феноменологией или языковой философией. Но ни подчиненность, ни отступление не приносят ему славы, какая выпала на долю Канта или Спинозы. Так что когда я искал концепцию и область, в которой мог бы работать и для которой мой интеллект годился бы лучше всего, я обосновался в лавочке, называемой научная фантастика, потому что я буквально воспринял ее фальшивое и вводящее в заблуждение название. Научная фантастика означала для меня научную строгость и в то же время еще и привилегию творческой свободы, которую предоставляет искусство. То есть, несмотря ни на что, все-таки означала философию, пусть и скрытую переводом в литературу» [101]. Или Лем кратко: «Меня одолел так называемый Философский Бес» [131, s. 39].

БИБЛИОГРАФИЯ

Принятые сокращения:

издательства: АСТ — ООО «Издательство АСТ»; WL — Wydawnictwo literackie;

периодические издания: TP — Tygodnik powszechny; GW — Gazeta wyborcza; ŻN — Życie nauki;

города: В. — Варшава; М. — Москва; F/M. — Frankfurt am Main; К. — Kraków; W. — Warszawa; Wr. — Wrocław.

І. СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ С. ЛЕМА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Издание собрания сочинений Станислава Лема на русском языке с 2002 г. осуществляет издательство АСТ (г. Москва, главный редактор Наumenко Н.А., он же составитель сборников беллетристики) в сериях «С/с Лем» и «Philosophy». Ниже более подробно описаны философские монографии и сборники.

1. **Лем С., Сумма технологий.** — М.: АСТ, 669 с., 2002 и др. (серия «Philosophy»), 2004 и др. (серия «С/с Лем»). Включает: с. 11-13: Предисловие автора к русскому изданию; с. 14-610: Сумма технологий (на основе польского 2-го издания: Lem S., Summa technologiae. — К.: WL, 1967); с. 611-642: Послесловие. Двадцать лет спустя (эссе, 1984).

2. **Лем С., Библиотека XXI века** / Сост. К. Душенко; пер. К. Душенко и др. — М.: АСТ, 607 с., 2002 и др. (серия «Philosophy»), 2004 и др. (серия «С/с Лем»). Включает сборни-

ки рассказов: с. 7-220: Абсолютная пустота (1971); с. 223-300: Мнимая величина (1973); с. 301-438: Голем XIV (1973, 1981); с. 441-504: Провокация (1984); с. 507-576: Библиотека XXI века (1986); с. 577-602: Записки всемогущего (рассказ, 1962). Все рассказы сборника известны также как «Апокрифы».

3. **Лем С., Возвращение со звезд; Глас Господа; Повести.** — М.: АСТ, 2002, 571 с. (серия «С/с Лем»). Включает: с. 5-29: Моя жизнь (эссе, 1983).

4. **Лем С., Сказки роботов; Кибериада.** — М.: АСТ, 2002, 635 с. (серия «С/с Лем»).

5. **Лем С., Приключения Ийона Тихого.** — М.: АСТ, 2002, 654 с. (серия «С/с Лем»). Включает циклы: с. 7-344: Звездные дневники; с. 347-500: Из воспоминаний Ийона Тихого; с. 503-653: Пьесы о профессоре Тарантоге.

6. **Лем С., Расследование; Рукопись, найденная в ванне; Насморк.** — М.: АСТ, 2002, 558 с. (серия «С/с Лем»).

7. **Лем С., Солярис; Эдем; Непобедимый.** — М.: АСТ, 2002, 606 с. (серия «С/с Лем»).

8. **Лем С., Рассказы о пилоте Пирксе; Фиаско.** — М.: АСТ, 2003, 717 с. (серия «С/с Лем»).

9. **Лем С., Футурологический конгресс; Осмотр на месте; Мир на земле.** — М.: АСТ, 2003, 638 с. (серия «С/с Лем»).

10. **Лем С., Магелланово облако; Человек с Марса; Астронавты.** — М.: АСТ, 2003, 718 с. (серия «С/с Лем»).

11. **Лем С., Больница преображения; Высокий Замок; Рассказы.** — М.: АСТ, 2003, 701 с. (серия «С/с Лем»).

12. **Лем С., Фантастика и футурология:** В 2 кн. / Под ред. В. Борисова; кн. 1: пер. С. Макарецца, кн. 2: пер. Е. Вайсброта. — М.: АСТ, 591 с. и 668 с., 2004 (серия «Philosophy»), 2008 (серия «С/с Лем»). На основе 2-го польского издания: Lem S., *Fantastyka i futurologia*. T. 1 i 2. — К.: WL, 1973.

13. **Лем С., Философия случая** / Пер. Б. Старостина. — М.: АСТ, 767 с., 2005 (серия «Philosophy»), 2007 (серия «С/с Лем»). На основе 3-го польского издания: Lem S., *Filozofia przypadku*. — К.: WL, 1988.

14. **Лем С., Диалоги** / Пер. О. Салнит. — М.: АСТ, 2005, 523 с. (серия «Philosophy»). На основе 2-го польского издания: Lem S., *Dialogi*. — К.: WL, 1972.

15. **Лем С., Молох** / Сост. В. Язневича; пер. В. Язневича и В. Борисова; ред. В. Борисов; послесловие В. Язневича. — М.: АСТ, 781 с., 2005 и др. (серия «Philosophy»), 2007 (серия «С/с Лем»). Включает: с. 5-36: Тридцать лет спустя (эссе, 1991); сборники статей: с. 39-341: Тайна китайской комнаты [184]; с. 345-572: Мегабитовая бомба [196]; с. 575-681: Мгновение [208]; с. 683-698: Прогноз развития биологии до 2040 года (эссе, 1981); с. 701-760: статьи и рассказы.

16. **Лем С., Так говорил... Лем** / Сост. В. Язневича; пер. В. Борисова и В. Язневича; ред. Е. Дризголович. — М.: АСТ, 764 с., 2006 (серия «Philosophy»), 2006 (серия «С/с Лем»). Включает: с. 7-680: Так говорит... Лем [146]; с. 683-697: 3 интервью, данных С. Лемом на русском языке; с. 731-751: Библиография бесед со Станиславом Лемом, опубликованных на русском языке.

17. **Лем С., Мой взгляд на литературу** / Сост. В. Язневича; пер. В. Язневича, В. Борисова, К. Душенко, И. Левшина; послесловие В. Язневича. — М.: АСТ, 857 с., 2009 (серии «Philosophy» и «С/с Лем»). Включает сборники статей: с.11-501: Мой взгляд на литературу [258, Т. 24]; с. 505-624: Письма, или Соппротивление материи (часть) [128]; с. 625-764: Sex Wars (часть) [178; 258, Т. 29]; с. 765-818: статьи и рассказ.

18. **Лем С., Раса хищников** / Пер. под ред. К. Старосельской. — М.: АСТ, 285 с., 2008 (серия «Philosophy») [259].

19. **Лем С., Хрустальный шар** / Сост. В. Язневича; пер. В. Борисова, В. Язневича, А. Штыпея; послесловие В. Язневича. — М.: АСТ, 2012, 700 с. (серия «С/с Лем»). Включает ранние рассказы и стихи 1945-1955 гг.

20. **Лем С., Черное и белое** / Сост. В. Язневича; пер. В. Язневича, В. Борисова, А. Лукашина; послесловие В. Язневича. — М.: АСТ, 2014 (готовится к печати). Включает

статьи, интервью и рассказы (всего 94), сгруппированные по разделам: Станислав Лем 1) рассказывает, 2) размышляет, 3) рецензирует, 4) рекомендует, 5) вспоминает, 6) критикует, 7) советует, 8) удивляется, 9) прогнозирует, 10) мечтает, 11) шутит, 12) повествует. В качестве приложения: статья и рассказы о С. Леме, авторы Дукай Я., Околовский П., Орлиньский В.

II. ПРОЧИЕ ЦИТИРУЕМЫЕ РАБОТЫ С. ЛЕМА (хронологически)

21. **За коперниковское мировоззрение** — O kopernikański światopogląd. — *ŻN* (K.), 1946, № 11/12, s. 421-422 (подписано: ls).

22. **Из исследований психологии ученых** — Lem S., Z badań nad psychologią uczonych. — *ŻN* (K.), 1946, № 23/24, s. 300-308.

23. **Этиология злокачественных опухолей** — Lem S., Etiologia nowotworów. — *Polski Tygodnik Lekarski* (W.), 1947, № 4, s. 99-103.

24. **Психологизм и реализм** — Lem S., Psychologizm i realizm. — *ŻN* (K.), 1947, № 15/16, s. 213-216.

25. **Зачем занимаются наукой?** — Dlaczego pracuje się naukowo? — *ŻN* (K.), 1948, № 27/28, s. 186-188 (подписано: stl).

26. **М.И. Калинин...** — M.I. Kalinin: O komunistycznym wospitanii. — *ŻN* (K.), 1948, № 33/34, s. 302 (подписано: LSM).

27. **Генетика и биология в СССР** — Genetyka i biologia w ZSRR. — *ŻN* (K.), 1948, № 35/36, s. 417-422 (опубликовано без указания автора).

28. **Т.А. Эдисон...** — Lem S., T.A. Edison: The Diary and Sundry Observations. — *ŻN* (K.), 1948, № 35/36, s. 472-473. Русск.: [20].

29. **Задачи и методы популяризации науки за рубежом** — Lem S., Zadania i metody popularyzacji nauki za granicą. — *ŻN* (K.), 1949, № 40/42, s. 422-437.

30. **Будущее исследований в медицинских науках** — Przyszłość badań w naukach lekarskich. — *ŻN (K.)*, 1949, № 40/42, s. 461-462 (подписано: stl).

31. **Науковедческий обзор иностранной печати** — Choynowski M., Komornicki T., Lem S., Naukoznawczy przegląd prasy zagranicznej. — *ŻN (K.)*, 1949, № 40/42, s. 549-597.

32. **План мероприятий по популяризации науки** — Lem S., Wróblewski J., Plan akcji popularyzacji Nauki. — *ŻN (K.)*, 1949, № 43/48, s. 148-152.

33. **Популяризация науки в Советском Союзе** — Lem S., Popularyzacja nauki w Związku Radzieckim. — *ŻN (K.)*, 1949, № 43/48, s. 207-210.

34. **Михаил Ломоносов...** — Lem S., Michał Łomonosow... — *ŻN (W.)*, 1950, № 1/2, s. 126-128.

35. **Электрэнцефалография исследует тайны мозга** — Lem S., Elektroencefalografia bada tajemnice mózgu. — *Problemy (W.)*, 1951, № 9, s. 602-606.

36. **Яхта «Парадиз»** — Hussarski R., Lem S., Jacht «Paradise». — *W.: Czytelnik*, 1951, 81 s.

37. **О спектакле [«Яхта «Парадиз»]** — Hussarski R., Lem S., O sztuce. — Program «Jacht «Paradise»». — *Archiwum Państwowy w Szczecinie, Zbiory*, 1951, kod 65/582, sygn. 122, poz. 40.

38. **Положение дел в борьбе со злокачественными опухольями** — Lem S., Obecny stan walki z chorobami nowotworowymi. — *Problemy (W.)*, 1952, № 1, s. 37-42.

39. **Голос автора об «Астронавтах»** — Lem S., O «Astronautach» głos autora. — *Nowa Kultura (W.)*, 1952, № 19, s. 9.

40. **О современных задачах и методе научно-фантастической литературы** — Lem S., O współczesnych zadaniach i metodzie pisarstwa fantastyczno-naukowego. — *Nowa Kultura (W.)*, 1952, № 39, s. 3, 6, 7.

41. **Техника и освобождение человека** — Lem S., Technika a wyzwolenie człowieka. W świetle Wielkiego Planu. — *Nowa Kultura (W.)*, 1952, № 41, s. 1-2.

42. **Империализм на Марсе** — Lem S., Imperializm na Marsie. — *Życie Literackie* (K.), 1953, № 7, s. 3.
43. **Об «Астронавтах»** — Lem S., W sprawie «Astronautów». — *Problemy* (W.), 1953, № 10, s. 708.
44. **Комментарий автора** — Lem S., Klient P.A.N.A.B.O.G.A. Komentarz autora. — *Prostu* (W.), 1954, № 5, s. 8.
45. **Читателям «Магелланова облака»** — Lem S., Do czytelników «Obłoku Magellana». — *Przekrój* (K.), 1954, № 491, s. 13-14.
46. **Фантастический роман и наука** — Lem S., Powieść fantastyczna a nauka. — *Dziennik Polski* (K.), 1954, № 248, s. 4.
47. **Перспективы будущего** — Lem S., Perspektywy przyszłości. — *Nowa Kultura* (W.), 1954, № 36, s. 2. Русск.: [20].
48. **О писательском творчестве** — Lem S., O sztuce pisarskiej. — *Życie Literackie* (K.), 1954, № 44, s. 3, 6.
49. **Каким будет мир в 2000 году?** — Lem S., Jak będzie wyglądał świat w roku 2000? — В кн.: *Kalendarz Górnio-Śląski* na rok 1955. — K.: WL, 1954, s. 196-199.
50. **Неутраченное время. Трилогия** — Lem S., Czas nieutracony. Trylogia: Cz. 1: Szpital przemienienia; Cz. 2: Wśród umarłych; Cz. 3: Powrót. — K.: WL, 1955, 661 s.
51. **От «Неутраченного времени» до «Сезама»** — Lem S., Od «Czasu nieutraconego» do «Sezamu». — *Naprzód* (W.), 1956, № 20, s. 3.
52. **«Сказкописатель» для взрослых** (интервью) — «Bajkopisarz» dla dorosłych (wywiad). — *Słowo Polskie* (Wr.), 1956, № 42, s. 5.
53. **Диалоги** — Lem S., Dialogi. — K.: WL, 1957, 322 s. (первое издание).
54. **Меланхолический фельетон** — Lem S., Felieton melancholijny. — *Zdarzenia* (K.), 1957, № 13, s. 2.
55. **Фельетон пражский** — Lem S., Felieton praski. — *Zdarzenia* (K.), 1958, № 1, s. 2.
56. **У тети** — Lem S., U cioci. — *Dziennik Zachodni* (Katowice), 1961, № 1, s. 3.

57. **Как рождаются его книги** (интервью) — Jak powstają jego książki (wywiad). — Dookoła Świata (W.), 1961, № 41, s. 3, 6-7.

58. **Выход на орбиту** — Lem S., Wejście na orbitę. — K.: WL, 1962, 237 s. Избранные статьи, 1954-1960.

59. **Сумма технологий: Вступление** — Lem S., Summa technologiae: Wstęp — Przegląd Kulturalny (W.), 1962, № 45, s. 10.

60. **Сумма технологий: Дилеммы** — Lem S., Summa technologiae: Dylematy — Przegląd Kulturalny (W.), 1962, № 47, s. 10.

61. **Сумма технологий** — Lem S., Summa technologiae. — K.: WL, 1964, 470 s. (первое издание).

62. **О себе** — Lem S., O sobie. — Polska (W.), 1964, № 12, s. 12-13.

63. **Лем С., Фантастика и наука.** — Знание — сила (М.), 1965, № 6, с. 40-42.

64. **Факел Прометея** (интервью). — Советская культура (М.), 1965, 11 дек., с. 4.

65. **Отвечает Станислав Лем** (интервью). — В кн.: Фантастика 1966. Вып. 2. — М.: Молодая гвардия, 1966, с. 231-238.

66. **Философия позитивизма — от Юма до Венского кружка** — Filozofia pozytywistyczna — od Hume'a do Koła Wiedeńskiego. — Studia Filozoficzne (W.), 1967, № 2, s. 45-94 (рассуждения С. Лема на с. 69-82).

67. **Философия случая** — Lem S., Filozofia przypadku. — K.: WL, 1968, 608 s. (первое издание).

68. **Роботы будут петь** (интервью). — Комсомольская правда (М.), 1968, 17 февр., с. 4.

69. **Философ в кристалле льда** — Lem S., Wizja filozofa we krze. — Znak (K.), 1969, № 7/8, s. 900-903.

70. **О космосе, философии и литературе** (интервью) — O kosmosie, filozofii i literaturze (wywiad). — Tygodnik Kulturalny (W.), 1969, № 34, s. 1-2.

71. **Отлетаем в небо** (интервью) — Odlatujemy w niebo (wywiad). — Miesięcznik Literacki (W.), 1969, № 12, s. 36-46.

72. **Литература, проектирующая миры.** — Литературная газета (М.), 1969, 3 дек., с. 6.

73. **От автора** — В кн.: Лем С., Навигатор Пиркс; Голос Неба. — М.: Мир, 1970, с. 413-414.

74. **Фантастика и футурология** — Lem S., *Fantastyka i futurologia*. T. 1 i 2. — К.: WL, 1970, 294 s. + 460 s. (первое издание).

75. **Праблемы фантастыкі і клопаты фантаста** (інтэрв'ю). — Маладосць (Мінск), 1970, № 2, с. 130-134.

76. **Фантастика — не самоцель** (интервью). — Вопросы литературы (М.), 1970, № 9.

77. **За биосферичный парламент мира** (интервью) — O biosferyczny parlament świata (wywiad). — *Argumenty (W.)*, 1970, № 38, s. 1, 8-9.

78. **Вступительное слово** — Lem S., *Słowo wstępne*. — В кн.: Lem S., *Astronauci*. — К.: WL, 1972.

79. **Час у Станислава Лема** (интервью). — Неделя (М.), 1973, № 37.

80. **Зонд в рай и ад будущего** — Lem S., *Sonda w niebo i piekło przyszłości*. — *Kultura (W.)*, 1973, № 40, s. 1, 6-8; № 41, s. 6-7. Русск.: Млечный Путь (Иерусалим), 2013, № 1, с. 152-177.

81. **Дать из себя максимум...** (интервью). — Польское обозрение (В.), 1974, № 3, с. 16-17, 20.

82. **Лем С., По поводу проблемы внеземных цивилизаций.** — В кн.: Проблемы SETI. — М.: Мир, 1975, с. 329-335.

83. **Лем С., Воспоминания.** — В кн.: Книга друзей. — М.: Правда, 1975, с. 249-255. Параллельное издание на польском языке: Lem S., *Wspomnienia*. — В кн.: *Księga przyjaciół*. — W.: PIW, 1975, s. 171-175.

84. **Размышления и очерки** — Lem S., *Rozrawy i szkice*. — К.: WL, 1975, 364 s. Избранные статьи, 1957-1974.

85. **Научная фантастика — фантазия, потерпевшая неудачу** — Lem S., *Science Fiction oder die verunglückte Phantasie*. — *Frankfurter Allgemeine Zeitung (F/M.)*, 22.02.1975.

86. **Вступление** — Wstęp. — В кн.: Madejska N., Malarstwo i schizofrenia. — К.: WL, 1975, s. 5-10.

87. **Звездная инженерия** — Lem S., Inżynieria gwiazdowa. — Przegląd Techniczny (W.), 1975, № 13-18. Русск.: Млечный Путь (Иерусалим), 2013, № 3, с. 182-209.

88. **Взгляд свысока на научную фантастику** — Lem S., Looking Down on Science Fiction: A Novelist Choice for the World's Worst Writing. — Atlas World Press Review (USA), August 1975.

89. **Фантазия ходит по земле** (интервью). — Польское обозрение (B.), 1975, № 39, с. 3-4.

90. **О человеческом достоинстве** — Lem S., O godności ludzkiej. — W drodze (K.), 1976, № 5, s. 24-30.

91. **Предисловие к немецкому изданию** [«Суммы технологии»] — Vorwort zur deutschen Ausgabe. — В кн.: Lem S., Summa technologiae. — F/M.: Insel, 1976.

92. **Мы позабыли критерий правдоподобия** (интервью) — Zatraciłmy kryterium prawdopodobieństwa (wywiad). — Nowy Medyk (W.), 1977, № 1, s. 1, 10.

93. **Фантастика на грани науки** (интервью). — Техника — молодёжи (M.), 1977, № 5, с. 44-46.

94. **Письмо Францу Роттенштайнеру** — Lem S., Brief an Franz Rottensteiner 20.09.1976. — Quarber Merkre (F/M.), 1977, № 46, s. 77.

95. **Прогнозы Хохла** — Prognozy Chochoła. — PPN, 1978, № 14; это же: Kultura (Paris), 1978, № 3, s. 3-13 (подп. Chochół).

96. **Парадоксы советизации** — Paradoxy sowietyzacji. — PPN, 1978, № 27 (подп. Chochół).

97. **История одной идеи** — Die Geschichte eines Einfalls. — В кн.: Lem S., Golem XIV und andere Prosa. — F/M.: Suhrkamp, 1978, s. 9-37. Перевод цитат по рукописи на польском языке.

98. **Предисловие** — Lem S., Przedmowa. — В кн.: Koziński J., Smutek spełnionych baśni. — К.: WL, 1979, s. 5-11.

99. **Героем моих книг является познание** (интервью) — Bohaterem moich książek jest poznanie (wywiad). — Nowe książki (W.), 1979, № 9.
100. **Я был тем, кто был прав** (интервью) — Byłem tym, który miał rację (wywiad). — Itd (W.), 1979, № 46, s. 20-21.
101. **Послесловие** [к «Диалогам»] — Nachwort. — В кн.: Lem S., Dialoge. — F/M.: Suhrkamp, 1980, s. 307-319.
102. **Три моих желания** — Lem S., Moje trzy życzenia. — Przekrój (K.), 1980, № 1863, s. 17. Русск.: Космопорт (Минск), 2014, № 5, с. 39-43; [20].
103. **Моя львовская библиотека** — Lem S., Moja lwowska biblioteka. — Pismo (K.), 1981, № 2, s. 103-105. Русск.: [20].
104. **Фельетон** — Lem S., Felieton. — Pismo (K.), 1981, № 3, s. 102-104.
105. **Постчеловек I** — Lem S., Posthuma I. — Pismo (K.), 1981, Nr. 7, s. 110-112.
106. **Удивление** — Lem S., Zdziwienie. — Pismo, 1983, № 3, s. 96-98. Русск.: [20].
107. **Еще раз: ведьмы могут летать?** — Lem S., Feyerabend P., Nocheinmal: Können Hexen Fliegen? — В кн.: Der gläserne Zaun: Aufsätze zu Hans Peter Duerrs «Traumzeit». — F/M.: Syndikat, 1983, s. 232-242.
108. **Лем С., Черное и белое** (рассказ) — Млечный Путь (Иерусалим), 2012, № 2, с. 180-186. Написан в 1983 г. Это же: [20].
109. **В глазах Советов** — W oczach Sowietów. — Kultura (Paris), 1983, № 11, s. 37-41 (подп. P. Zławca).
110. **Интервью со Станиславом Лемом** — An Interview with Stanislaw Lem by Peter Engel. — The Missouri Review (Columbia), 1984, vol. 7, № 2, pp. 218-237.
111. **О войне, мире и SF** (интервью) — O wojnie, pokoju i SF (wywiad). — Życie Literackie (K.), 1984, № 5, s. 1-2.
112. **Состояние дел** — Stan rzeczy. — Kultura (Paris), 1984, № 7/8, s. 65-72 (подп. P. Zławca).

113. **Знаки вопроса** — Znaki zapytania. — Kultura (Paris), 1984, № 10, s. 3-14 (подп. P. Zławca).

114. **Десять месяцев в берлинском Институте перспективных исследований** — Lem S., Zehn Monate im Berliner Wissenschaftskolleg. — Neue Rundschau (F/M.), 1986, № 2/3, s. 229-240.

115. **Урок катастрофы** — Lekcja katastrofy. — Kultura (Paris), 1986, № 6, s. 9-16 (подп. P. Zławca). Русск.: [20].

116. **Евреи нового мира и старая Европа** — Żydzi nowego świata a stara Europa. — Kultura (Paris), 1986, № 7/8, s. 137-147 (подп. P. Zławca).

117. **Двадцать два ответа и два постскриптума** (интервью) — Twenty-Two Answers and Two Postscripts: An Interview with Stanisław Lem by Csicsery-Ronay I. — Science Fiction Studies (Greencastle, USA), Vol. 13, Part 3, № 40, Nov. 1986, pp. 242-260.

118. **Беседы со Станиславом Лемом** — Bereś S., Rozmowy ze Stanisławem Lemem. — К.: WL, 1987, 402 s.

119. **Познание и зло** — Lem S., Poznanie i zło. — Nowy Dziennik (New York, USA), 1987, 05 lutego.

120. **Должны ли мы желать успеха Горбачёву?** — Czy mamy życzyć Gorbaczowowi powodzenia? — Kultura (Paris), 1987, № 4, s. 73-86 (подп. P. Zławca).

121. **Проект совершенного общества: Поэзия и правда социального эксперимента.** — Страна и мир (Мюнхен), 1987, № 6(42), с. 92-102 [Сокр. вариант гл. VII «Диалогов»].

122. **Автомобиль и мы** — Lem S., Das Auto und Wir. — В кн.: Autogramme. — Köln: Ford-Werke, 1987, s. 64-70.

123. **Предисловие** [к книге «Варшавское гетто — как это было в действительности» В. Бартошевского] — Lem S., Einleitung. — В кн.: Bartoszewski W., Das Warschauer Ghetto — wie es wirklich war. — F/M.: Fischer Taschenbuch, 1983, s. 5-12. Это же в кн.: Lem S., Science fiction: ein hoffnungsloser Fall mit Ausnahmen. — F/M.: Suhrkamp, 1987, s. 142-147.

124. **Вопросы, проблемы, угрозы** — Pytania, problemy, zagrożenia. — Kultura (Paris), 1988, № 1/2, s. 67-78 (подп. P. Znacsa).

125. **Я — реаліст** (інтерв'ю). — Україна (Київ), 1988, № 5, с. 20-22.

126. **Диагноз и прогнозы** — Diagnozy i prognozy. — Kultura (Paris), 1988, № 5, s. 24-32 (подп. P. Znacsa).

127. **Факты, домыслы, ожидания** — Fakty, domysły, oczekiwania. — Kultura (Paris), 1988, № 6, s. 43-55 (подп. P. Znacsa).

128. **Письма, или Сопротивление материи** — Lem S., Listy albo opór materii. — К.: WL, 2002, 293 s. Избранные письма, 1955-1988, в т.ч. Е. Яжембскому, М. Канделю, Р. Нудельману.

129. **Сопротивление материи. Избранные письма** — Lem S., Der Widerstand der Materie. Ausgewählte Briefe. — Berlin: Parthas Verlag, 2008, 384 s. Содержит 47 писем из сборника [128] и 27 впервые публикуемых писем немецко- и англоязычным адресатам, в т.ч. У. Ле Гуин, Ф. Дикю.

130. **Лем С., Мрожек С., Письма 1956-1978** — Lem S., Mrozek S., Listy 1956-1978. — К.: WL, 2011, 720 s.

131. **Слава и Фортуна. Письма Майклу Канделю 1972-1987** — Lem S., Sława i Fortuna. Listy do Michaela Kandla 1972-1987. — К.: WL, 2013, 726 s.

132. **Письма Майклу Канделю, 1972-1980**, черновики, не опубликованы.

133. **Письма Рафаилу Нудельману, 1965-1988**, не опубликованы.

134. **Письма Virgiliусу Чепайтису, 1969-1988**, не опубликованы.

135. **Лем С., Не может быть рая на Земле.** — Огонёк (М.), 1989, № 13, с. 26-28.

136. **Лем С., Стратегии паразитов, вирус СПИДа и одна эволюционная гипотеза.** — Природа (М.), 1989, № 5, с. 96-104. Это же в журнале: Эпидемия ВИЧ/СПИД в Украине (Киев), 2006, № 6, с. 750-751, 762-768.

137. **Антропный принцип** — Lem S., Zasada antropiczna. — Wiedza i Życie (W.), 1989, № 5, s. 6-9. Русск.: [20].

138. **Чем хуже книга, тем больше она должна стоить** (интервью). — Книжное обозрение (М.), 1989, № 36, с. 10.

139. **Электронная пещерная эпоха** (интервью) — Elektroniczna epoka kamienna (wywiad). — Forum (W.), 1989, № 40, s. 18.

140. **Лем С., Маска. Не только фантастика** / Сост. К Душенко; пер. с пол. и нем. К. Душенко и др. — М.: Наука, 1990, 320 с. (Библиотека журнала «Химия и жизнь»). Включает эссе: с. 5-27: Моя жизнь (1983); с. 314-316: Нечто вроде кредо (1972).

141. **От эргономики до этики** — Lem S., Od ergonomiki do etyki. — BruLion (K.), 1990, Nr. 14/15, s. 76-84. Русск.: Млечный Путь (Иерусалим), 2012, № 2, с. 190-202; [20].

142. **Я не гадалка** (интервью) — Nie jestem wróżbitą (wywiad). — TP (K.), 1990, № 26, s. 3.

143. **Что будет через 10-20 лет? Я знаю, что этого никто не знает** (интервью). — Литературная газета (М.), 1990, № 46, с. 15.

144. **Мнимая величина** (интервью). — В кн.: Будущее искусственного интеллекта. — М.: Наука, 1991, с. 177-185.

145. **Лем... совершенно новый и такой же, как раньше** (интервью) — Lem... zupełnie nowy i taki jak dawniej (wywiad). — Przegląd techniczny (W.), 1991, № 1, s. 6-7, 18.

146. **Говорит Лем** — Mówi Lem [Fragment ścieżki dźwiękowej z dokumentalnego filmu pt. «Przypadek i ład» TVP. Reżyser Adam Ustynowicz]. — Nowa Fantastyka (W.), 1991, № 1, s. 63-67.

147. **Человек разумный глупый** (интервью) — Homo sapiens stultus (wywiad). — Tygodnik Literacki (W.), 1991, № 9, s. 1, 3, 6.

148. **Прошлое будущего** — Lem S., Die Vergangenheit der Zukunft. — F/M.: Insel, 1992, 144 s. Сборник статей: 1) Тридцать лет спустя — Dreißig Jahre später — Русск.: I.1.7, с. 5-36; I.1.9, с. 462-494; 2) Прошлое будущего — Die Vergangenheit der

Zukunft — Русск.: Млечный Путь (Иерусалим), 2013, № 2, с. 152-215; 3) Жизнь в эпоху СПИДа — Leben in der AIDS-Zeit; 4) Попытка прогноза до 2000 г. — Versuch einer Prognose bis zum Jahr 2000 — Русск.: Млечный Путь (Иерусалим), 2013, № 4, с. 199-204; 5) Предварительный анализ XXI века — Vorschau auf das nächste Jahrhundert — Русск.: Млечный Путь (Иерусалим), 2013, № 4, с. 193-199; [20].

149. **Миром правит идиотизм** (интервью). — Рабочая трибуна (М.), 1992, 9 янв. (начало).

150. **Главное — не причинять людям зла** (интервью). — Рабочая трибуна (М.), 1992, 10 янв. (продолжение).

151. **К океану со своей ложкой воды** (интервью). — Рабочая трибуна (М.), 1992, 11 янв. (окончание).

152. **Колаковскому** — Lem S., Kołakowskiemu. — Wiedza i Życie (W.), 1992, № 2, s. 67.

153. **Смерть Советов** — Lem S., Zgon Sowietów. — TP (K.), 1992, № 4, s. 10.

154. **Один Совет** — Lem S., Jeden Rad. — TP (K.), 1992, № 12, s. 10.

155. **О глупости** — Lem S., O głupocie. — TP (K.), 1992, № 14, s. 10.

156. **Сильвические размышления** — Lem S., Rozważania sylwiczne. — Odra (Wr.), 1992, № 4, s. 42-47.

157. **Сильвические размышления II** — Lem S., Rozważania sylwiczne II. — Odra (Wr.), 1992, № 5, s. 74-79.

158. **Лем С., Планета Земля. Век XXI.** — Комсомольская правда (М.), 1992, № 125 (11 июля), с. 3. Доклад, представленный на международную конференцию Горбачев-фонда «К новой цивилизации», Москва, 14-15 июля 1992 г.

159. **Сильвические размышления VII** — Lem S., Rozważania sylwiczne VII. — Odra (Wr.), 1992, № 11, s. 83-87.

160. **Сильвические размышления VIII** — Lem S., Rozważania sylwiczne VIII. — Odra (Wr.), 1992, № 12, s. 77-81.

161. **Лем С., Этика технологии и технология этики. Модель культуры** / Сост. и пер. К. Душенко. — Пермь: РИФ

«Бегемот»; Абакан: ТОО «Центавр»; М.: Лаборатория теории и истории культуры ИНИОН РАН, 1993, 92 с. Первая часть — эссе 1967 г., включенное во 2-е польское издание «Диалогов», 1972; вторая часть — глава из первого польского издания «Философии случая» [67], исключенная из последующих изданий.

162. **Тайное совещание в аду** (сатирический рассказ) — Lem S., Geheime Höllensache. — NZZ Folio (Zurich), 1993, № 1. Русск.: [20].

163. **Нельзя желать большего, нужно подождать...** — Lem S., Nie można żądać więcej, trzeba poczekać... — Kresy (Lublin), 1993, № 13, s. 131-133.

164. **С визитом у Станислава Лема** (интервью) — Z wizytą u Stanisława Lema (wywiad). — Gwiazda Polarna (USA), 1993, № 37, s. 1, 9.

165. **Фантоматика** (лекция) — Fantomatyka (wykład). — Dziennik Polski (K.), 1993, № 298, s. 14.

166. **Исключительные угрозы и возможности будущего** — Lem S., Die Zukunft hält einmalige Bedrohungen und einmalige Chancen bereit. — В кн.: Das Science Fiction Jahr 1994. — München: Wilhelm Heyne Verlag, 1994, s. 488-494. Русск.: Млечный Путь (Иерусалим), 2013, № 4, с. 205-210.

167. **Беседа в конце века** (интервью с С. Лемом и Я.Ю. Щепаньским) — Rozmowa na koniec wieku / Rozmowa z S. Lemem i J.J. Szczepańskim. — TP (K.), 1994, № 8, s. 18; это же: TP (K.), 2006, № 15, s. 22-23.

168. **Прошу другой глобус** — Lem S., Proszę o inny globus. — TP (K.), 1994, № 24, s. 6.

169. **Сны по заказу?** — Lem S., Sny na życzenie? — TP (K.), 1994, № 25, s. 6.

170. **Хищная обезьяна** (интервью) — Drapieżna małpa (wywiad). — GW (W.), 1994, № 42, s. 10-11.

171. **Я не верю в летающие тарелки** (интервью) — Nie wierzę w latające talerze (wywiad). — Gazeta Krakowska (K.), 1995, № 47, s. 5.

172. **Весь этот философский хлам** (интервью) — Der ganze Kram der Philosophie. Ein Gespräch mit Stanislaw Lem. — WESER-KURIER Magazin (Bremen), 19.08.1995, s. 2. Это же в кн.: Einladung zum Denken. — Wien: Verlag Hölder-Pichler-Tempsky, 1998, s. 195-217. Русск.: [20].

173. **Битва за гены** — Lem S., Bitwa o geny. — TP (K.), 1995, № 26, s. 6.

174. **Будущее открыто на хорошее и плохое** — Lem S., Przyszłość otwarta na dobre i złe. — Znak (K.), 1995, № 9, s. 78-84. Ответ на вопрос редакции: «Заменят ли машины человека?».

175. **Возможна любая катастрофа** (интервью) — Jede Entgleisung Möglich (interview). — Der Spiegel (Hamburg), 1995, № 44, s. 152-156.

176. **Польские победы, польские поражения** — Lem S., Polskie triumfy, polskie klęski. — GW (W.), 1995, № 253, s. 21.

177. **Милые времена** — Lem S., Lube czasy. — K.: Znak, 1995, 154 s. Избранные статьи из TP (K.), 1994-1995.

178. **Sex Wars** — Lem S., Sex Wars. — W.: NOW Nova, 1996, 312 s. Избранные статьи, 1979-1994.

179. **Человек обширных пространств** — Lem S., Człowiek wielkich przestrzeni. — TP (K.), 1996, № 2, s. 6.

180. **Доктрина и практика** — Lem S., Doktryna i praktyka. — TP (K.), 1996, № 17, s. 6.

181. **Неидеальная западня** (интервью) — Pułapka niedoskonała (wywiad). — Dekada Literacka (K.), 1996, № 4, s. 1, 8-9.

182. **Предсказать политическое будущее невозможно** (интервью). — Московская правда (М.), 1996, № 166, с. 1, 6.

183. **Но кое-что все-таки сбывается** (интервью). — Московская правда (М.), 1996, № 168, с. 1, 4.

184. **Тайна китайской комнаты** — Lem S., Tajemnica chińskiego pokoju. — K.: Universitas, 1996, 277 s. Статьи из журнала «PC Magazine po polsku» (W.), 1993-1996. Русск.: [15].

185. **Со Станиславом Лемом о знании и невежестве** (интервью) — Ze Stanisławem Lemem o wiedzy i ignorancji

(wywiad). — В кн.: Rozmowy na koniec wieku I — K.: Znak, 1997.

186. **Обжигающая капля** — Lem S., Kropla paląca. — Tygodnik Powszechny (K.), 1997, № 17.

187. **Вена: муравьи в эментальском сыре** — Lem S., Wiedeń: Mrówka w ementalerze. — Polityka (W.), 1997, № 31, s. 33-35.

188. **Сайентология** — Lem S., Scjentologia. — Kultura (Paris), 1997, № 10, s. 114-119. Русск.: [20].

189. **Придирки по мелочам** — Lem S., Dziury w całym. — K.: Znak, 1997, 194 s. Избранные статьи из TP (K.), 1995-1997.

190. **Мир без грани** — Lem S., Świat bez krawędzi. — TP (K.), 1998, № 12 (Kontrapunkt № 14), s. 1.

191. **Предисловие** [к сборнику фантастических рассказов] — Lem S., Vorwort. — В кн.: Ist Gott ein Taoist? / Hrsg. Lem S. — F/M.: Suhrkamp Verlag, 1988, s. 7-12. Лем выступил составителем антологии. Русск.: [20].

192. **Сильвические размышления LXX** — Lem S., Rozważania sylwiczne LXX. — Odra (Wr.), 1998, № 7, s. 105-106.

193. **Всегда был невидимым** (интервью) — Zawsze byłem niewidzialny (wywiad). — Polityka (W.), 1998, № 46. Русск. сокр.: Навіны (Мінск), 1999, № 13, с. 4.

194. **Открываются ворота адских начинаний** (интервью) — Otwierają się wrota piekielnych poczynañ (wywiad). — Rzeczpospolita (W.), 1998, № 256, s. 1, 29.

195. **Бог мне не встретился** (интервью) — Nigdy Boga nie spotkałem (wywiad). — Kwartalnik Artystyczny (W.), 1998, № 4, s. 156-160.

196. **Мегабитовая бомба** — Lem S., Bomba megabitowa. — K.: WL, 1999, 225 s. Статьи из журнала «PC Magazine po polsku» (W.), 1996-1998. Русск.: [15].

197. **Признания оптимиста** — Lem S., Wyznania optymisty. — TP (K.), 1999, № 11, s. 1, 7.

198. **Мои книги, личные...** — Lem S., Książki moje, osobiste... — Rzeczpospolita (W.), 1999, № 108, s. 28.

199. **Мы червячки на этом земном шаре** (интервью) — Jesteśmy robaczkami na tej kuli ziemskiej (wywiad). — *Dzikiе Życie* (W.), 1999, № 5.

200. **Мир в XXI веке** — Lem S., Świat w przyszłym stuleciu. — В кн.: *Księga przyszłości*. — W.: Netia Telekom SA, 1999, s. 16-17. Русск.: Млечный Путь (Иерусалим), 2013, № 4, с. 210-212; [20].

201. **Клонирование нам не нужно** (интервью) — Klonowanie nie jest nam potrzebne (wywiad). — *Czas kultury* (Poznań), 1999/2000, № 6/1, s. 70-75.

202. **Лем С., О тщетности прогнозов сбывающихся и несбывающихся**. — *Человек* (М.), 2000, № 1, с. 67-72.

203. **Вернувшийся со звезд** (интервью). — *Общая газета* (М.), 2000, № 3.

204. **Мир на грани** — Świat na krawędzi. Ze Stanisławem Lemem rozmawia Tomasz Fiałkowski. — K.: WL, 2000, 273 s. (ed. 2, 2007, 319 s.).

205. **Из глупости рождается очень много зла** (интервью) — Z głupstwa powstaje bardzo wiele zła (wywiad). — *Magazyn Literacki* (W.), 2000, № 3, s. 37-38.

206. **Обезьяна в движении** (интервью) — Małpa w podróży (wywiad). — *GW* (W.), 2000, № 105, s. 8.

207. **Сигара и ангесы** — Lem S., Cygaro i anglasy. — *Wysokie obcasy* (W.), 2000, № 6, s. 35. Русск.: [20].

208. **Мгновение** — Lem S., Okamgnienie. — K.: WL, 2000, 161 s. Русск.: [15].

209. **В глобальном побоище** (интервью) — W globalnej mordowni (wywiad). — *Przegląd* (W.), 2000, № 40, s. 3, 5-6.

210. **Дилеммы технологии** (интервью) — Dylematy technologii (wywiad). — *Computerworld* (W.), 2000, № 10.

211. **Не наука виновата, а люди** (интервью). — *Новая Польша* (В.), 2000, № 11, с. 3-8.

212. **Об эвтаназии** — Lem S., O eutanazji. — *Polityka* (W.), 2000, № 46, s. 3-9.

213. **Все народы ужасны** (интервью) — Wszystkie narody są okropne (wywiad). — Nowa ResPublica (W.), 2001, № 1.

214. **Сорок раз вокруг земного шара** (интервью). — За рулем (М.), 2001, № 2, с. 110-111.

215. **Под опекой одежды** — Lem S., Pod kuratela podkoszulka. — TP (K.), 2001, № 11. Русск: Компьютерра (М.), 2001, № 17, с. 54-55; Компьютерная газета (Минск), 2001, № 20, с. 5.

216. **Нечеловеческое ускорение** (интервью) — Nieludzkie przyspieszenie (wywiad). — Nowa Fantastyka (W.), 2001, № 9; Odra (Wr.), 2001, № 9.

217. **Две ноги и конец** (интервью) — Dwie nogi i koniec (wywiad). — Polityka (W.), 2001, № 37, s. 43-46.

218. **Вопреки надежде имею надежду** (интервью) — Wbrew nadziei mam nadzieję (wywiad) — Przekrój (W.), 2001, № 37, s. 18-23.

219. **Профессор и пропаганда** — Lem S., Profesor indoktrynowany. — Przekrój (W.), 2001, № 41.

220. **Смена декорации** — Lem S., Zmiana dekoracji. — TP (K.), 2001, № 41.

221. **Сильвические размышления CVI** — Lem S., Rozważania sylwiczne CVI. — Odra (Wr.), 2001, № 11.

222. **Сон** — Lem S., Sen. — Przekrój (W.), 2001, № 50.

223. **Прогресс авантюризма** (интервью) — Postępy hochsztaplerki (wywiad). — Dekada Literacka (K.), 2002, № 1/2.

224. **О Польше, России и о «Новой Польше»** (интервью). — Новая Польша (B.), 2002, № 1, с. 6-9.

225. **Разводы или экумения?** — Lem S., Rozwody czy eku-
menia? — GW (W.), 2002, № 29.

226. **Вольная воля?** — Lem S., Wolna wola? — Przekrój (W.), 2002, № 10.

227. **Футурология у рулетки** — Lem S., Przy ruletce — próba futurologiczna. — Przekrój (W.), 2002, № 22. Русск.: [20].

228. **Шизофрения политики** — Lem S., Schizofrenia polityki. — GW (W.), 2002, № 198.

229. **Так говорит... Лем** — Tako rzecze... Lem. Ze Stanisławem Lemem rozmawia Stanisław Bereś. — K.: WL, 2002, 577 s. Русск.: [16].
230. **О смертной казни!** — Lem S., O karę śmierci! — GW (W.), 2002, № 204.
231. **Дорога без отступления** — Lem S., Droga bez odwrotu. — Przekrój (W.), 2002, № 32.
232. **Загадка сознания** — Lem S., Zagadka świadomości. — Przekrój (W.), 2002, № 41.
233. **Неодолимая ассоциация** — Lem S., Nieodparte skojarzenie. — GW (W.), 2003, № 88.
234. **ДиЛЕМмы** — Lem S., DyLEMaty. — K.: WL, 2003, 289 s. Избранные статьи, 1992-2003.
235. **Сильвические размышления СХХП** — Lem S., Rozważania sylwiczne СХХП. — Odra (Wr.), 2003, № 6.
236. **Ходы на шахматной доске** — Lem S., Ruchy na szachownicy. — GW (W.), 2003, № 180 (04.08.2003).
237. **Между чесноком и вечностью** (интервью) — Między czosnkiem a wiecznością / Rozmowa E. Lipskiej z S. Lemem. — GW (W.), 2003, № 190, s. 10-12.
238. **Никому не снилось...** (интервью) — Nikomu się nie śniło... / Rozmowa E. Lipskiej z S. Lemem. — GW (W.), 2003, № 299, s. 22.
239. **Удивительное** — Lem S., Zdziwienia. — TP (K.), 2003, № 29. Русск.: [20].
240. **Врата в Европу** — Lem S., Wrota do Europy. — GW (W.), 2003, № 139.
241. **Пенки** — Lem S., Szumy. — TP (K.), 2003, № 31.
242. **Голос черновидца** — Lem S., Głos czarnowidza. — TP (K.), 2003, № 38.
243. **Продление жизни: иллюзии и факты** — Lem S., Przedłużanie życia: iluzje i fakty. — Znak (K.), 2003, № 9.
244. **Первый шаг** — Lem S., Pierwszy krok. — TP (K.), 2003, № 48.

245. Лем С., **Время Марса**. — Россия в глобальной политике (М.), 2004, № 2.

246. **О несуществующих книгах и о так называемом отсутствии воображения** (интервью) — O książkach nieistniejących oraz o rzekomym braku wyobraźni (wywiad). — Lampa (W.), 2004, № 4.

247. **Последний гений научной фантастики нарушает молчание** (интервью) — El último genio de la ciencia ficción rompe su silencio / Conversación con S. Lem. — El Cultural.es, 08.04.2004 — http://www.elcultural.es/version_papel/LETRAS/9255/Stanislaw_Lem_El_ultimo_genio_de_la_ciencia_ficcion_rompe_su_silencio/

248. **Белый орел на фоне всеобщей нервозности** — Orzeł biały na tle nerwowym. — Rzeczpospolita (W.), 2004, № 102. Русск.: Иностранная литература (М.), 2006, № 8, с. 176-181.

249. **Меня бесят зло и глупость** (интервью) — Компьютера-online (М.), <http://old.computerra.ru/think/35517/>. Перевод с английского интервью газете Shargh (Иран), июль 2004.

250. **Не предаст ли нас Украина?** — Lem S., Czy Ukraina nas zdradzi? — Przegląd (W.), 2004, № 32.

251. **Кто нас представляет?** — Lem S., Kto nas reprezentuje? — Przegląd (W.), 2004, № 35.

252. **Сильвические размышления CXXXV** — Lem S., Rozważania sylwiczne CXXXV. — Odra (Wr.), 2004, № 10.

253. **Не являемся ли мы имитацией?** (интервью) — Czy jesteśmy imitacją? (wywiad). — В кн.: Pytlakowska K., Gomuła J., Zaczatowani. — W: Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, 2005, s. 356-367.

254. **Два интервью со Станиславом Лемом в Кракове** — Zweites Interview mit Stanislaw Lem in Krakau. — Die Zeit (Hamburg), 2005, Zeit-Online: http://www.zeit.de/zeit-wissen/2005/03/g_lem_hosentraeger; http://www.zeit.de/zeit-wissen/2005/03/g_lem_ramschladen (12.03.2014).

255. **Иоанн Павел II** — Lem S., Jan Paweł II. — Przegląd (W.), 2005, № 15.

256. **Сильвические размышления CXLI** — Lem S., Rozważania sylwiczne CXLI. — Odra (Wr.), 2005, № 5.

257. **Визионер без иллюзий** (интервью) — Visionär ohne Illusionen (interview). — Die Zeit (Hamburg), 2005, № 31.

258. **Собрание сочинений. 33 тома** — Lem S., Dzieła zebrane. Tom 1 — Tom 33. — K.: WL, 1998-2005. Tom 1 — Katar; 2 — Wizja lokalna; 3 — Powrót z gwiazd; 4 — Pokój na Ziemi; 5 — Golem XIV; 6 — Eden; 7 — Wysoki zamek; 8 — Fiasko; 9 — Przekładaniec; 10 — Pamiętnik znaleziony w wannie; 11 — Opowieści o pilocie Pirxie; 12 — Summa technologiae; 13 — Dialogi; 14 — Śledztwo; 15 — Szpital Przemienienia; 16 — Cyberiada; 17 — Dzienniki gwiazdowe; 18 — Solaris; 19 — Filozofia przypadku; 20 — Niezwyciężony; 21 — Kongres futurologiczny; 22 — Głos Pana; 23 — Zagadka; 24 — Mój pogląd na literaturę; 25 — Fantastyka i futurologia; 26 — Moloch; 27 — Biblioteka XXI wieku; 28 — Człowiek z Marsa; 29 — Sex wars; 30 — Astronauta; 31 — Krótkie zwarcia; 32 — Obłok Magellana; 33 — Lata czterdzieste. Dyktanda. Во всех томах — послесловия Е. Яжембского.

259. **Раса хищников** — Lem S., Rasa drapieżców. — K.: WL, 2006, 282 s. Статьи из TP (K.), 2004-2006. Русск.: [18].

260. **Сочинения. 33 тома** — Lem S., Dzieła. Tom 1 — Tom 33. — W.: Agora SA, 2008-2010 (Biblioteka Gazety Wyborczej). Tom 1 — Dzienniki gwiazdowe; 2 — Kongres futurologiczny. Opowiadania Ijona Tichego; 3 — Solaris; 4 — Głos Pana; 5 — Opowieści o pilocie Pirxie; 6 — Doskonała próżnia; 7 — Bajki robotów; 8 — Śledztwo. Katar; 9 — Szpital Przemienienia; 10 — Eden; 11 — Powrót z gwiazd; 12 — Niezwyciężony; 13 — Pamiętnik znaleziony w wannie; 14 — Wysoki zamek; 15 — Cyberiada; 16 — Sknocony kryminał; 17 — Pokój na Ziemi; 18 — Biblioteka XXI wieku. Golem XIV; 19 — Sex Wars; 20 — Człowiek z Marsa. Opowiadania młodzieżowe. Wiersze; 21 — Mój pogląd na literaturę; 22 — Astronauta; 23 — Fantastyka i futurologia. T. 1; 24 — Fantastyka i futurologia. T. 2; 25 — Fiasko; 26 — Filozofia przy-

padku; 27 — Wizja lokalna; 28 — Summa Technologiae; 29 — Maski; 30 — Moloch; 31 — Wejście na orbitę. Okamgnienie; 32 — Dialogi; 33 — Przekładaniec. Во всех томах — послесловия Е. Яжембского. В томах 1-16 дополнительно опубликованы интервью и статьи о Станиславе Леме; среди авторов Дукай Я., Кандель М., Орлинский В., Стругацкий Б.

III. ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ О С. ЛЕМЕ

Для сборников статей и журналов в примечании в квадратных скобках указаны только те авторы, мнения которых представлены в настоящей книге в главе «Закключение».

261. Амнуэль П., Возвращение из будущего. — Реальность фантастики (Киев), 2004, № 10, с. 163-171 [Об идеях и предсказаниях С. Лема].

262. Амнуэль П. и др., Проблема внеземных цивилизаций в работе С. Лема «Сумма технологии». — В кн.: Астрономия. Методология. Мировоззрение. — М.: Наука, 1979, с. 378-395.

263. Андреев К., Станислав Лем. — В кн.: Лем С., Магелланово облако. — М.: Детгиз, 1960, с. 5-12.

264. Андреев К., Четыре будущих Станислава Лема. — В кн.: 1) Лем С., Магелланово облако. — М.: Детская литература, 1966, с. 5-20; 2) Лем С., Высокий Замок. — М.: Молодая гвардия, 1969, с. 132-142.

265. Аннинский Л., Рецензия на книгу «Лем С., Высокий Замок». — Вопросы философии (М.), 1970, № 10, с. 143-146.

266. Араб-Оглы Э., Диалоги с будущим. — В кн.: 1) Лем С., Избранное. — М.: Прогресс, 1976, с. 5-16; 2) Лем С., Солярис. Магелланово облако. — М.: Радуга, 1987, с. 5-18.

267. Араб-Оглы Э., Двойко о Големе. — М.: Знание, Сборник НФ, 1980, вып. 23, с. 187-193.

268. Ашкинази Л., Мир Лема: словарь и путеводитель. — Опубл. в Интернете: http://fan.lib.ru/a/ashkinazi_1_a/text_3510-1.shtml (Версия 2.2, лето 2009; 1.2 Мб).

269. Бак Д., Биография непрожитого, или Время жестоких чудес: Фантастика Станислава Лема на рубеже столетий. — Новый мир (М.), 1996, № 9, с. 193-207.

270. Борисов В., Фантоматика и действительность: Об одном из аспектов творчества Станислава Лема. — В кн.: Методические рекомендации по пропаганде научно-фантастической литературы. — Абакан, 1982, с. 2-10.

271. Борисов В., Гаков Вл., Лем Станислав. — В кн.: Энциклопедия фантастики. — Минск: ИКО «Галаксиас», 1995, с. 334-340.

272. Грицанов А., Лем Станислав. — В кн.: 1) Новейший философский словарь. — Минск: Изд. В.М. Скакун, 1999; 2) Всемирная энциклопедия: Философия. — М.: АСТ; Минск: Харвест, Современный литератор, 2001; 3) Всемирная энциклопедия: Философия. XX век. — М.: АСТ; Минск: Харвест, Современный литератор, 2002; 4) Социология: Энциклопедия. — Минск: Книжный Дом, 2003; 5) Новейший социологический словарь. — Минск: Книжный Дом, 2010.

273. Грицанов А., Солярис. — В кн.: Всемирная энциклопедия: Философия. XX век. — М.: АСТ; Минск: Харвест, Современный литератор, 2002.

274. Грицанов А., Фантаст, пророк и «неудобный сосед» для Ленина. — Белорусы и рынок (Минск), 2006, № 13, с. 24.

275. Душенко К. (ред.), Звездные дневники [специальное издание к семидесятилетию Станислава Лема]. — М.: ЦСП «Восхождение», 1991, 16 с. [Среди авторов Ашкинази Л., Борисов В., Душенко К.].

276. Казанцев А., От планеты смерти до облака мечты. — В кн.: Лем С., Вторжение с Альдебарана. — М.: Издательство иностранной литературы, 1960, с. 225-234.

277. Клуб любителей фантастики МГУ. От Москвы до Витима... — В кн.: Фантастика-67. Вып. 1. — М.: Молодая гвардия, 1968, с. 409-414.

278. Ключева Б., Здравствуйте, я ваша бабушка! [Воспоминания]. — Если (М.), 2003, № 3.

279. Лемтернет: Специален брой на «Фентернет», посветен на 90-годишнината от рождението на Станислав Лем / Съст. Славов А. и Карапанчев А. — София: Тера Фантазия, 2011, 64 с.

280. Мышко Д., Станислав Лем — человек-парадокс. — В кн.: Республіканскія Купалаўскія чытанні / Зборнік навуковых артыкулаў. — Гродна: ГрДУ, 2010, с. 296-301.

281. Мышко Д., Философские аспекты научной фантастики С. Лема. — М.: Институт славяноведения и балканистики РАН, Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. канд. филол. наук, 1992, 23 с.

282. Назаренко М., Старый мимоид. — Реальность фантастики (Киев), 2006, № 4, с. 165-171 [Памяти С. Лема].

283. Неизвестные Стругацкие. Письма. Рабочие дневники / 2 книги: 1942-1962; 1963-1966. — М.: АСТ; Киев: НКП, 2008-9. Много информации о С. Леме.

284. Непотерянное время [Польская критика о трилогии Лема]. — Иностранная литература (М.), 1956, № 6, с. 277.

285. Николаев Н., Рецензия на книгу «Lem S., Dialogi». — Вопросы философии (М.), 1958, № 8, с. 179-180.

286. Новиков Н., Рецензия на книгу «Lem S., Fantastyka i futurologia». — Новые книги за рубежом по общественным наукам (М.), 1971, № 2, с. 16-21.

287. Нудельман Р., Лабиринт и подмена. — Миры (Иерусалим), 1995, № 2, с. 67-72 [Некоторые аспекты творчества С. Лема].

288. Околовский П., Станислава Лема теология дьявола. — Млечный Путь (Иерусалим), 2012, № 2, с. 187-191 [О рассказе «Черное и белое» С. Лема].

289. Прашкевич Г., Борисов В., Станислав Лем. — М.: Молодая гвардия, 2014 (Жизнь замечательных людей). — Готовится к печати.

290. Роднянская И., Два лица Станислава Лема. — Новый мир (М.), 1973, № 2, с. 272-278.

291. Солодовников С., Роман-предостережение в творчестве Станислава Лема. — инск: БГУ им. В.И. Ленина, Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. канд. филол. наук, 1979, 18 с.

292. Стругацкие. Материалы к исследованию: письма, рабочие дневники / 4 книги: 1967-1971; 1972-1977; 1978-1984; 1985-1991. — Волгоград: ПринТерра-Дизайн, 2012-14. Много информации о С. Леме.

293. Стругацкий Б.Н., Интервью длиною в годы: по материалам офлайн-интервью / Предисловие В. Борисова. — М.: АСТ, 2009. Много информации о С. Леме; с. 57-58 — вопрос от В. Язневича.

294. Тетиор А., Анти-Лем. — М.: НИИ-Природа, 2008, 260 с.

295. Тетиор А., Лем и Анти-Лем. — Palmarium Academic Publishing, 2012, 360 с.

296. Титов Г.С., Пути к неизведанному. — В кн.: Лем С., Возвращение со звезд; Звездные дневники. — М.: Молодая гвардия, 1965, с. 5-10.

297. Хофштадтер Д., Деннетт Д., Глаз разума. — Самара: Издательский Дом «Бахрах-М», 2003, 432 с. Книга 1981 г. («The Mind's I»), размышления о разуме и искусственном интеллекте, в том числе на примере научных и художественных работ разных авторов (с публикацией фрагментов): Тьюринга А., Докинза Р., Борхеса Х.Л., Лема С. и др.

298. Шевченко В., Фантастика польских писателей [В том числе об «Астронавтах» Лема]. — Сталинская молодежь (Минск), 16.11.1955, с. 3.

299. Язневич В., Фантоматика (виртуальная реальность) Станислава Лема. — Компьютерная газета (Минск), 2000, № 3, с. 10-11; Часть 2: № 38, с. 6.

300. Язневич В., «Закон Доньды» Станислава Лема. — 1) Компьютерная газета (Минск), 2000, № 29, с. 6; № 30, с. 10; 2) Лавка фантастики (Пермь), 2000, № 4, с. 49-52.

301. Язневич В., Мгновение со Станиславом Лемом. — 1) Компьютерная газета (Минск), 2000, № 33, с. 4; 2) Лавка

фантастики (Пермь), 2000, № 3, с. 52; 3) Компьютерра (М.), 2002, № 8, с. 56-57.

302. Язневич В., Станислав Лем в русскоязычном мире. — Новая Польша (В.), 2008, № 5, с. 48-53.

303. Arndt H., Stanisław Lems Prognose des Epochenendes: der Bedrohung der menschlichen Kultur durch Wissenschaft, Technologiae und Dogmatismus. — Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2001, 228 s. [Арндт Х., Станислава Лема прогноз конца эпохи: угроза культуре человечества со стороны науки, технологии и догматизма].

304. Balcerzak E., Stanisław Lem. — W.: PIW, 1973, 179 s. [Бальцежак Э., Станислав Лем].

305. Beres S., Ita dixit Lem. — В кн.: Nowe media, nowe w mediach. Tom 3. — Wr.: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007, s. 5-30 [Бересь С., Ita dixit Lem (Так сказал Лем (лат.))].

306. Berthel W. (Hrsg.), Stanisław Lem. Der dialektische Weise aus K. — F/M.: Insel, 1976, 269 s. [Станислав Лем. Дialeктик из Кракова / Сборник статей. Среди авторов Кандель М., Роттенштайнер Ф., Сувин Д., Яжембский Е.].

307. Berthel W. (Hrsg.), Über Stanisław Lem. — F/M.: Suhrkamp, 1981, 214 s. [О Станиславе Леме / Сборник статей. Среди авторов Кандель М., Роттенштайнер Ф., Яжембский Е.].

308. Csicseri-Ronay I.Jr., The Seven Beauties of Science Fiction. — Middletown (CT, USA): Wesleyan University Press, 2008, 324 pp. [Чичери-Ронай И., Семь красавиц научной фантастики].

309. Dajnowski M., Groteska w twórczości Stanisława Lema. — Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2005, 213 s. [Дайновский М., Гротеск в творчестве Станислава Лема].

310. Dajnowski M., Pejzażysta Lem. — Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2010, 139 s. [Дайновский М., Пейзажист Лем].

311. Davis J.M., Stanisław Lem. — Washington: Starmont, 1990, 116 pp. [Дэвис Дж., Станислав Лем].

312. Düring M. und Jekutsch U. (Hrsg.), Stanislaw Lem — Mensch, Denker, Schriftsteller. Beiträge einer deutsch-polnischen Konferenz im Jahr 2000 in Greifswald und Szczecin. — Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2005, 302 s. [Станислав Лем — человек, мыслитель, писатель / Сборник статей — материалы конференции. Среди авторов Дайновский М., Чаплинский П., Яжембский Е.].

313. Eilstein H. (Pośpieszalska Nelly), «Głos Pana», czyli Zwierciadło z Nieba. — Nurt (Poznań), 1969, № 7, s. 34-39; № 8, s. 33-38 [Эйльштейн Х., «Глас Господа», или Зеркало с Неба].

314. Feyerabend P., Kleine Anleitung zum Denken speziell geschrieben für Herrn Stanislaw Lem. — В кн.: Feyerabend P., Unter dem Pflaster liegt der Strand. — Berlin: Karin Kramer Verlag, 1984, s. 133-135 [Фейерабенд П., Немного пищи для размышления специально для господина Станислава Лема].

315. Gondek P., Lem Stanisław. — В кн.: Encyklopedia filozofii polskiej. — Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2011, T. 1(2), s. 842-843 [Гондек П., Лем Станислав].

316. Grabarczyk P. i Sieczkowski T. (Red.), Język, umysł i technologia: eseje zainspirowane proza Stanisława Lema. — Łódź: Księżu Młyn Dom Wydawniczy, 2009, 121 s. [Язык, разум и технология / Сборник статей — материалы конференции. Среди авторов Гроблер А.].

317. Gräfrath B., Es fällt nicht leicht, ein Gott zu sein. Ethik für Weltenschöpfer von Leibniz bis Lem. — München: Verlag C.H. Beck, 1998, 296 s. [Грефрат Б., Очень трудно быть Богом. Этика для Создателя от Лейбница до Лема].

318. Gräfrath B., Ketzer, Dilettanten und Genies: Grenzgänger der Philosophie. — Hamburg: Junius, 1993, 360 s. [Грефрат Б., Еретик, дилетант и гений: Переступая границы философии].

319. Gräfrath B., Lem Stanisław. — В кн.: Großes Werklexikon der Philosophie / Hrsg. Volpi F. — Stuttgart: Kröner, 1999, Bd. 2, s. 902-904 [Грефрат Б., Лем Станислав].

320. Gräfrath B., Lems Golem. Parerga und Paralipomena. — F/M.: Suhrkamp, 1996, 159 s. [Грефрат Б., Голем Лема].

321. Gräfrath B., Lem und Golem. Erkenntnis durch Science Fiction. — В кн.: Philosophie in Literatur. — F/M.: Suhrkamp, 1996, s. 342-364 (Orig. 1993) [Грефрат Б., Лем и Голем. Знание посредством научной фантастики].

322. Gräfrath B., Dylematy wyzwolonego rozumu. — Polonistyka (W.), 2000, № 1, s. 10-14 [Грефрат Б., Дилеммы освобожденного разума].

323. Handke R., Ze Stanisławem Lemem na szlakach fantastyki naukowej. — W.: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991, 143 s. [Хандке Р., Со Станиславом Лемом на пути научной фантастики].

324. Hennings R.-D. u.a. (Hrsg.), Informations- und Kommunikationsstrukturen der Zukunft. Bericht anlässlich eines Workshop mit Stanislaw Lem. — München: Wilhelm Fink Verlag, 1983, 208 s. [Информационные и коммуникативные структуры будущего. Материалы симпозиума по творчеству Станислава Лема / Сборник статей с вступлением С. Лема “Предисловие впоследствии”, s. 9-13].

325. Jarzębski J., Posłowie do dzieł Stanisława Lema [Яжембский Е., Послесловия к произведениям Станислава Лема] — в книгах: 1) Lem S., Dzieła zebrane. T. 1-18. — W.: Wydawnictwo INTERART, 1994-1997; 2) Lem S., Dzieła zebrane. T. 1-33. — K.: WL, 1998-2005 [258]; 3) Lem S., Dzieła. T. 1-33. — W.: Agora S.A., Biblioteka Gazety Wyborczej, 2008-2011 [260].

326. Jarzębski J., Stanisław Lem jako filozof. — Principia. Ekspres Filozoficzny (K.), 2006, №39, s. 62-63 [Яжембский Е., Станислав Лем как философ].

327. Jarzębski J., Wszechświat Lema. — K.: WL, 2002, 340 s. [Яжембский Е., Вселенная Лема].

328. Jarzębski J., Zufall und Ordnung. Zum Werk Stanislaw Lems. — F/M.: Suhrkamp, 1986, 219 s. [Яжембский Е., Случай и порядок].

329. Jarzębski J. (Red.), Lem w oczach krytyki światowej. — K.: WL, 1989, 299 s. [Лем в глазах мировой критики / Сборник

статей. Среди авторов Кандель М., Роттенштайнер Ф., Сувин Д., Штайнмюллер К., Яжембский Е.].

330. Jarzębski J. i Sulikowski A. (Red.), Stanisław Lem — pisarz, myśliciel, człowiek. — K.: WL, 2003, 439 s. [Станислав Лем — писатель, мыслитель, человек / Сборник статей — материалы конференции. Среди авторов Дайновский М., Крывак П., Лесь М., Михальский М., Пента И., Стофф А., Чаплиньский П., Шпаковская М., Яжембский Е.].

331. Jaźniewicz W., Fenomen Stanisława Lema w świecie rosyjskojęzycznym. — Odra (Wr.), 2007, № 11, s. 44-50 [Язневич В., Феномен Станислава Лема в русскоязычном мире].

332. Jaźniewicz W., Doktor Lem. Anekdoty. — http://solaris.lem.pl/prace/WJ_Doktor_Lem_Anekdoty.pdf [Язневич В., Доктор Лем. Анекдоты].

333. Jesiółkowski J., Stanisław Lem jako filozof / Praca magisterska. Kierownik Szahaj A. — Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Humanistyczny, 2002, 118 s. [Есюлковский Я., Станислав Лем как философ / Магистерская работа. Автор делает вывод: «Без сомнения можно определить Станислава Лема как ВЕЛИКОГО ПОЛЬСКОГО ФИЛОСОФА»] — <http://solaris.lem.pl/prace/PracaMgrJanuszJesiolkowski.pdf>.

334. Kielbik M., Lem kontra Dawkins. Dwie naturalistyczne koncepcje religii / Praca magisterska. Kierownik Okołowski P. — Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, 2011, 59 s. [Келбик М., Лем против Докинза. Две натуралистические концепции религии / Магистерская работа] — <http://solaris.lem.pl/prace/PracaMgrMichalKielbik.pdf>.

335. Kmita J., Struktura i geniusz. — Nurt (Poznań), 1972, № 8, s. 12-13, 48 [Кмита Е., Структура и гений].

336. Kolwas S., Kołakowski i Lem: dwie «umysłowe galaktyki» / Praca magisterska. Kierownik Okołowski P. — Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, 2010, 71 s. [Кольвас Ш., Колаковский и Лем: две «мыслительные галактики» / Магистерская работа] — <http://solaris.lem.pl/prace/PracaMgrSzymonKolwas.pdf>.

337. Kołakowski L., Informacja i utopia. — Twórczość (W.), 1964, № 11, s. 115-123 [Колаковский Л., Информация и утопия].

338. Kołakowski L., Lemowi. — Wiedza i Życie (W.), 1991, № 12, s. 71-72 [Колаковский Л., Лему].

339. Krajewska M., Polsko-rosyjski słownik Lemowych neologizmów. — Toruń: Wydawnictwo TNT, 2006, 164 s. [Краевская М., Польско-русский словарь неологизмов Лема].

340. Krywak P., Fantastyka Lema — droga do «Fiaska». — K.: Wydawnictwo Naukowe WSP, 1994, 189 s. [Кривак П., Фантастика Лема: дорога к «Фиаско»].

341. Krywak P., Stanisław Lem. — K.: PWN, 1974, 33 s. [Кривак П., Станислав Лем].

342. Le Guin U.K., Vorwort. — В кн.: Lem S., Solaris. — Berlin: Verlag der Ullstein Buchverlage GmbH, 2008, s. 5-10 [Ле Гуин Урсула К., Введение [к «Солярис»]].

343. Lem T., Awantury na tle powszechnego ciężenia. — K., WL, 2009, 270 s. [Лем Т., Приключения на фоне всемирного тяготения].

344. Lem in Madrid 2011. 90 aniversario del nacimiento de Stanisław Lem. — Madrid: Instituto Polaco de Cultura, 2011, 64 s. [Лем в Мадриде. Среди авторов Земек В., Яжембский Е.].

345. Ra Page & Raczyńska M. (Ed.), Lemistry: A Celebration of the Work of Stanisław Lem. — Manchester: Comma Press, 2011, 292 p. [Лемистри: Чествование Станислава Лема. Среди авторов Дукай Я., Орлиньский В.].

346. Leś M.M., Stanisław Lem wobec utopii. — Białystok: 1998, 189 s. [Леś М., Станислав Лем относительно утопии].

347. Majewski P., Między zwierzęciem a maszyną. Utopia technologiczna Stanisława Lema. — Wr.: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007, 295 s. [Маевский П., Между животным и машиной. Технологическая утопия Станислава Лема].

348. Marzin F. (Hrsg.), Stanisław Lem: An den Grenzen der Science Fiction und darüber hinaus. — Meitingen: CORIAN-VERLAG Wimmer, 1985, 323 s. [Станислав Лем: в границах

научной фантастики и вне их / Сборник статей. Содержит также интервью со Станиславом Лемом (s. 59-71), среди авторов Роттенштайнер Ф.].

349. Michera W., Piękna jako Bestia. — W.: WUW, 2010, 413 s. [Михера В., Прекрасная как бестия. О повести «Маска» С. Лема].

350. Moreno F.Á., Teoría de la Literatura de Ciencia Ficción: Poética y Retórica de lo Prospectivo. — Vitoria (España): Portal Editions, 2010, 544 p. [Морено Ф.А., Теория научно-фантастической литературы: поэтика и риторика будущего].

351. Neuhaus W., Ein Realismus der höheren Art — Erinnerung an das Buch «Also sprach GOLEM» von Stanislaw Lem. — В кн.: Das Science Fiction Jahr 2002. — München: Wilhelm Heyne Verlag, 2002, s. 539-553 [Нойхаус В., Реализм высшего порядка — вспоминая «Так говорил ГОЛЕМ» Станислава Лема].

352. Odkryto niepublikowane utwory Stanisława Lema. — GW (W.), 12.10.2008 [Найдены неопубликованные произведения Станислава Лема. Среди авторов Земек В.].

353. Okołowski P., Stanisław Lem. — Edukacja Filozoficzna (W.), Vol. 36, 2003, s. 103-128 [Околовский П., Станислав Лем].

354. Okołowski P., Stanisław Lem. — В кн.: Polska filozofia powojenna, T. 3(3) / Red. Mackiewicz W. — W.: Agencja Wydawnicza Witmark, 2005, s. 179-204 [Околовский П., Станислав Лем].

355. Okołowski P., Filozofia Lema. — Odra (Wr.), 2007, № 4, s. 88-92 [Околовский П., Философия Лема].

356. Okołowski P., Materia i wartości. Neolukrecjanizm Stanisława Lema. — W.: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2010, 562 s. [Околовский П., Материя и качество. Неолукрецианизм Станислава Лема].

357. Okołowski P., Państwo prawa w ujęciu Stanisława Lema. — Przegląd Filozoficzny (W.), 2011, №1, s. 234-253 [Околовский П., Государство права в трактовке Станислава Лема].

358. Okołowski P., Jaźniewicz W., Лем / Lem / Lem. — В кн.: Идеи в России / Idee w Rosji / Ideas in Russia. Leksykon rosyj-

sko-polsko-angielski, Tom 8 / Red. Dobieszewski J. — Łódź: Ibidem, 2014, s. 188-209 [Околовский П., Язневич В., Лем].

359. Oramus M., Bogowie Lema. — W.: KURPISZ S. A., 2007, 262 s. [Орамус М., Боги Лема — Содержит также три интервью автора с С. Лемом (s. 33-49, 70-76, 101-118), а также интервью с М. Канделем и Ф. Роттенштайнером].

360. Oramus M., Lem w maszynie. — В кн.: Oramus M., Wyposażenie osobiste. — W.: Iskry, 1987, s. 109-113 [Орамус М., Лем в машине (рецензия на «Голем XIV»)].

361. Orliński W., Co to są sepulki? Wszystko o Lemie. — K.: Wydawnictwo Znak, 2007, 282 s. [Орлиньский В., Что такое сепульки? Все о Леме].

362. Pięta I., Problemy intertekstualnego obrazowania w wybranych powieściach fantastyczno-naukowych Stanisława Lema. — Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2002, 145 s. [Пента И., Проблемы внутритекстового представления в избранных научно-фантастических романах Станислава Лема].

363. Pięta M., Eseistyka Stanisława Lema wobec XX-wiecznej krytyki filozofii. — В кн.: Dwudziestowieczność. — W.: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2004, s. 311-326 [Плаза М., Эссеистика Станислава Лема в рамках критики философии XX века].

364. Pięta M., O poznaniu w twórczości Stanisława Lema. — Wr.: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006, 578 s. [Плаза М., О познании в творчестве Станислава Лема].

365. Rosiński K., Wizja nauki w twórczości Stanisława Lema / Praca magisterska. Kierownik Strzelecki R. — Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Humanistyczny, 2011, 112 s. [Росиньский К., Видение науки в творчестве Станислава Лема / Магистерская работа] — <http://solaris.lem.pl/prace/PracaMgrKamilRosinski.pdf>.

366. Rzeszotnik J., Ein zerebraler Schriftsteller und Philosoph namens Lem. — Wr.: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,

2003, 288 s. [Жешотник Я., Писатель для интеллектуалов и философ Лем].

367. Skibińska E. i Rzeszotnik J. (Red.), *Lem i tłumacze*. — К.: Księgarnia Akademicka, 2010, 405 s. [Лем и переводчики / Сборник статей. Среди авторов Бересь С., Вейгель П., Дукай Я., Жешотник Я., Крывак П., Орамус М., Орлинский В., Плаза М., Стофф А., Хуберат М., Шпаковская М., Яжембский Е., Язневич В.].

368. Smuszkiewicz A., Stanisław Lem. — Poznań: Dom Wydawniczy «Rebis», 1995, 163 s. [Смушкевич А., Станислав Лем].

369. Stiller R., *Lemie! Po co umarłeś?* — К.: Vis-à-vis/Etiuda, 2006, 132 s. [Стиллер Р., Лем! Зачем ты умер?].

370. Stoff A., *Powieści fantastyczno-naukowe Stanisława Lema*. — W.: PWN, 1983, 180 s. [Стофф А., Научно-фантастические романы Станислава Лема].

371. Stoff A., *Lem i inni*. — Bydgoszcz: Pomorze, 1990, 274 s. [Стофф А., Лем и другие].

372. Stoff A. i Brzostek D. (Red.), *Polska literatura fantastyczna. Interpretacje*. — Toruń: Wydawnictwo UMK, 2005, 423 s. [Польская фантастическая литература. Интерпретации / Сборник статей. О творчестве С. Лема статьи на стр. 257-374].

373. Suvin D., *Lem Stanisław*. — В кн.: *The Encyclopedia of Science Fiction*. — London: Orbit Books, 1993, 1999; New York: St. Martin's Press, 1995 [Сувин Д., Лем Станислав].

374. Swirski P., *A Stanisław Lem Reader*. — Evanston, Illinois: Northwestern University Press, 1997, 129 pp. [Свирский П., Читая Станислава Лема. Содержит также два наиболее цитируемых в англоязычном мире интервью с С. Лемом: 1) Мысли о литературе, философии и науке (р. 21-66), русск.: [20]; 2) Лем кратко (р. 93-118)].

375. Swirski P., *Between Literature and Science: Poe, Lem, and Explorations in Aesthetics, Cognitive Science, and Literary Knowledge*. — Montreal: McGill University Press, 2000, 183 pp. [Свирский П., Между литературой и наукой: По и Лем].

376. Swirski P., *From Literature to Biterature: Lem, Turing, Darwin, and Explorations in Computer Literature, Philosophy of Mind, and Cultural Evolution.* — Montreal, London: McGill-Queen's University Press, 2013 [Свирский П., От литературы к битературе: Лем, Тьюринг, Дарвин].

377. Swirski P. (Ed.), *Lemography: Stanislaw Lem in the Eyes of the World.* — Liverpool: Liverpool University Press, 2014, 256 pp. [Лемография: Станислав Лем в глазах мира / Сборник статей. Среди авторов Свирский П., Язневич В.].

378. Swirski P. (Ed.), *The Art and Science of Stanislaw Lem.* — Edmonton, Canada: McGill-Queen's University Press, 2006, 198 pp. [Искусство и наука Станислава Лема / Сборник статей — материалы конференции. Среди авторов Кандель М., Свирский П., Яжембский Е.].

379. Szczepański J.J., *Dziennik.* Tom I: 1945-1956; Tom II: 1957-1963; Tom III: 1964-1972. — К.: WL, 2009, Т. I, 703 s.; 2011, Т. II, 831 s.; 2013, Т. III, 823 s. [Щепаньский Я.Ю., Дневник. Много информации о С. Леме в дневнике его лучшего друга].

380. Szpakowska M., *Dyskusje ze Stanisławem Lemem.* — W.: OPEN, 1996, 1997 (ed. 2), 208 s. [Шпаковская М., Дискуссии со Станиславом Лемом].

381. Weigel P., *Stanisław Lem.* — Praha: MAGNET-PRESS, 1995, 112 s. [Вейгель П., Станислав Лем].

382. Włodek A., *Rozdział z zagadką.* — В кн.: Włodek A., *Nasz łup wojenny.* — К.: WL, 1970, s. 239-247 [Влодек А., Раздел с загадкой. О ранних стихах и рассказах С. Лема].

383. Wójcik A., *Ambasador polskiej literatury.* — В кн.: Wójcik A., Englender M., *Budowniczość gwiazd 1.* — W.: KAW, 1980, s. 36-91 [Вуйчик А., Посол польской литературы].

384. Zemek W., *Listy a literatura: korespondencja Stanisława Lema z Michaeliem Kandlem / Praca magisterska.* Kierownik Jarzębski J. — К.: Uniwersytet Jagielloński, Wydział polonistyki, 2009, 90 s. [Земек В., Письма и литература: корреспонденция Станислава Лема с Майклом Канделем / Магистерская

работа] — <http://solaris.lem.pl/prace/PracaMgrWojciechZemek.pdf>.

385. Ziegfeld R., Stanislaw Lem. — New York: Ungar, 1985, 188 pp. [Зигфельд Р., Станислав Лем].

Специальные номера и приложения периодических изданий, посвященные С. Лему (хронологически)

386. Дискуссия над книгой С. Лема «Сумма технологии» — Dyskusja nad książką Stanisława Lema «Summa Technologiae». — Studia Filozoficzne (W.), 1965, № 2, s. 95-135; № 3, s. 3-37.

387. Дискуссия над книгой С. Лема «Философия случая» — Dyskusja nad książką Stanisława Lema «Filozofia przypadku». — Pamiętnik Literacki (W.), 1971, № 357-376.

388. Станислав Лем — Stanisław Lem. — Nurt (Poznań), 1972, № 8, s. 1-38, 43-48. Содержит интервью с С. Лемом.

389. Обсуждаем кинофильм «Солярис». — Вопросы литературы (М.), 1973, № 1, с. 68-106.

390. ЛЕМ — LEM: Lunar Excursion Module / Hrsg. Rottensteiner F. — Quarber Merkur (Wien), 1974, № 38, 104 s. Станиславу Лему большей частью были посвящены и другие номера этого журнала: 1970, № 23, s. 6-15, 38-59, 76-77; 1971, № 25, s. 26-30, 41-70, 98-99; 1972, № 31, s. 2, 18-66, 89-91, 93-95 [Среди авторов в указанных номерах Бересь С., Кандель М., Роттенштайнер Ф., Сувин Д., Шпаковская М.].

391. Как мир читает Станислава Лема — Jak świat czyta Stanisława Lema. — Kultura (W.), 1977, № 52, s. 5. [Среди авторов Кандель М.].

392. Станислав Лем — On Stanislaw Lem. — Science-Fiction Studies (Greencastle, USA), 1986 (Nov.), Vol. 13, part 3, № 40, pp. 235-395 [Среди авторов Кандель М., Роттенштайнер Ф., Яжембский Е.].

393. Портрет незнакомца — Portret nieznanego. — Nowa fantastyka (W.), 1991, № 9, s. 61-74 [Среди авторов Вейгель П., Орамус М., Яжембский Е.].

394. Тарантога [Фэнзин, посвященный Станиславу Лему] / Ред. Борисов В. — Тарантога (Абакан), 1991-1994, № 1-15 [Среди авторов Ашкинази Л., Борисов В., Душенко К.].

395. Станислав Лем — Stanisław Lem. — Teksty drugie (W.), 1992, № 3, s. 1-71, 93-122, 147-158 [Среди авторов Яжембский Е.].

396. О Станиславе Леме — On Stanisław Lem. — Science-Fiction Studies (Greencastle, USA), 1992 (July), Vol. 19, part 2, № 57, pp. 161-218.

397. Досье: Станислав Лем — Dossier: Stanisław Lem / Hrsg. Gräfrath B. — Juni. Magazin für Literatur & Politik (Münchengladbach), 1995, № 23, p. 5-58 [Среди авторов Грефрат Б., Штайнмюллер К.].

398. Станіслаў Лем / Рэд. Булгакаў В. — Крыніца (Мінск), 1996, № 11, с. 46-87 [Среди авторов Бересь С., Кандель М., Роттенштайнер Ф., Сувин Д., Яжембский Е.].

399. Станислав Лем / Ред. Козловский Е. — Компьютерра (М.), 2001, № 15, с. 36-47, 57-59 [Среди авторов Язневич В.].

400. Восьмидесятилетие Лема — Osiemdziesiąte urodziny Lema. — Nowa Fantastyka (W.), 2001, № 9, s. 1-10, 17-24, 57-59, 65-77 [Среди авторов Бересь С., Дукай Я., Орамус М., Яжембский Е.].

401. 80-летие Станислава Лема — 80. urodziny Stanisława Lema / Red. Fiałkowski T. — TP (K.), 2001, Apokryf № 17, 16 s. [Среди авторов Бересь С., Душенко К., Чаплинский П., Шпаковская М., Яжембский Е.].

402. Миры Лема — Światy Lema. — GW (K.), 12.09.2001, s. I-VIII [Среди авторов Земек В.].

403. Станиславу Лему Всего Космического — Stanisławowi Lemowi Wszystkiego Kosmicznego. — Przekrój (K.), 2001, № 37, s. 1, 18-30, 82 [Среди авторов Орамус М.].

404. Станислав Лем — Stanisław Lem. — Dekada literacka (К.), 2002, № 1/2 [Среди авторов Дукай Я., Яжембский Е.].

405. Лем — Acta Lemiana Monashiensis. Special «Lem» Edition / Ed. Keller L. — Acta Polonica Monashiensis (Melbourne, Australia), Leros Press, Monash University, 2003, 207 p. [Среди авторов Бересь С., Борисов В., Жешотник Я., Кайтох В., Келлер Л., Крывак П., Стофф А.].

406. Станислав Лем — Stanisław Lem (1921-2006). — TP (К.), 2006, № 15, s. 9-12, 21-24 [Среди авторов Шпаковская М., Яжембский Е.].

407. Памяти Станислава Лема. — Новая Польша (В.), 2006, № 4 [Среди авторов Стругацкий Б.].

408. In memoriam. Станислав Лем. — Новое литературное обозрение (М.), 2006, № 82, с. 310-342 [Среди авторов Борисов В., Душенко К.].

409. Станислав Лем / Ред. Вахтангишвили И. — Реальность фантастики (Киев), 2007, № 3, с. 175-202 [Среди авторов Галина М., Назаренко М., Язневич В.].

410. Станислав Лем: горизонты воображения — Stanisław Lem: horyzonty wyobraźni — Bez Porównania (К.), 2009, № 1, 203 s. [Среди авторов Бересь С., Гроблер А., Дукай Я., Плаза М., Хуберат М., Чаплиньский П., Шпаковская М., Яжембский Е., Язневич В.].

411. Лем и техника — Lem i technika / Red. Majewski P. — Przegląd filozoficzno-literacki (В.), 2009, № 1, 326 s. [Среди авторов Грицанов А., Дайновский М., Маевский П., Околовский П., Плаза М., Свирский П., Яжембский Е., Язневич В.].

412. Досье: Станислав Лем — Dossier: Stanisław Lem — Quimera: Revista de literatura (Barcelona), 2010, № 323, p. 3, 25-59 [Среди авторов Бересь С., Морено Ф.].

ПЕРСОНАЛИИ

В «Персоналиях» не приведены авторы работ, упоминаемые только в «Библиографии». Жирным шрифтом выделены персоны, о которых сделана специальная подборка высказываний в главе «С. Лем о мыслителях XX столетия».

Абель Нильс Хенрик (Abel Niels Henrik) 222

Абрахам Карл (Abraham Karl) 194

Августин Аврелий, святой (Augustinus Aurelius Hipponensis) 137, 145, 211, 326, 376

Адамов Григорий Борисович 291

Адлер Альфред (Adler Alfred) 196, 200, 201, 325

Адорно Теодор Людвиг Визенгрунд (Adorno Theodor Ludwig Wiesengrund) 203, 204, 326

Азимов Айзек (Asimov Isaac) 64, 65, 292

Айдукевич Казимеж (Ajdukiewicz Kazimierz) 136, 212, 241-243, 326

Аквинский Фома, святой (Aquinas Thomas Saint) 242, 418

Амнуэль Павел Рафаэлович 366, 413

Андропов Юрий Владимирович 294

Араб-Оглы Эдвард Артурович 345, 413

Арендт Ханна (Arendt Hannah) 268-272, 325, 377

Аристотель (Arystoteles) 137, 160, 326, 375

Армстронг Луи Дэниэл (Armstrong Louis Daniel) 120

Арон Раймон Клод Фердинанд (Aron Raymond Claude Ferdinand) 205, 325

Архимед (Archimedes) 216
 Ашкинази Леонид Александрович 366, 414, 427

 Баадер Андреас (Baader Andreas) 281
 Банах Стефан (Banach Stefan) 243, 244
Барт Ролан (Barthes Roland) 190, 192, 193, 326
 Бар-Хиллел Иегошуа (Bar-Hillel Jehoshua) 242
 Бахтин Михаил Михайлович 322
 Бейес Томас (Bayes Thomas) 303, 304
 Беллоу Сол (Bellow Saul) 120, 271
 Бергсон Анри (Bergson Henri) 322
 Бердяев Николай Александрович 322, 377
 Бересь Станислав (Bereś Stanisław) 74, 94, 112, 342, 343, 366, 410, 417, 424, 426-428
 Беркли Джордж (Berkeley George) 46, 115, 137, 162, 325
 Берут Болеслав (Bierut Bolesław) 61
 Бетховен Людвиг ван (Beethoven Ludwig van) 119
 Бецалель Йехуда Лёв Бен (Bezalel Yehudah Loewe ben) 330
 Блоньский Ян (Błoński Jan) 61, 280
Блох Эрнст (Bloch Ernst) 204, 325
Бодрийяр Жан (Baudrillard Jean) 181, 182, 326
 Бой-Желенский Тадеуш (Boy-Żeleński Tadeusz) 120
 Бойс Йозеф (Beuys Joseph) 216
 Бомарше Пьер-Огюстен Карон де (Beaumarchais Pierre-Augustin Caron de) 345
 Бор Нильс Хенрик (Bohr Niels Henrik) 51, 377
 Борисов Владимир Иванович 101, 367, 392, 393, 414-416, 427, 428
 Боровский Тадеуш (Borowski Tadeusz) 120
 Борхес Хорхе Луис (Borges Jorge Luis) 118, 119, 152, 266, 377, 416
 Босх Иероним (Ван Акен Ерун Антонисон) (Bosch Hieronimus (van Aeken Jeroen Anthoniszoon)) 119

- Бохеньский Юзеф Мария** (Bocheński Józef Franciszek Emanuel Innocenty Maria) 137, 260, 325
- Браннер Джон (Brunner John) 289, 290
- Брежнев Леонид Ильич 294
- Брейгель Питер Старший (Bruegel Pieter de Oude) 119
- Бродский Иосиф Александрович 154
- Брокгауз Фридрих Арнольд (Brockhaus Fridrikh Arnold) 15
- Брэдбери Рэй (Bradbury Ray) 56, 277, 282, 292
- Будда Шакьямуни, буддизм 108, 147, 326
- Буковский Владимир Константинович** 292-295, 297, 325
- Буш Джордж Герберт Уокер (Bush George Herbert Walker) 170
- Буш Джордж Уолкер (Bush George Walker) 113, 318
- Бэкон Фрэнсис (Bacon Francis) 370
- Бялоборский Евстахий (Białoborski Eustachy) 38, 39
- Вагнер Вильгельм Рихард (Wagner Wilhelm Richard) 158
- Вайда Анджей (Wajda Andrzej) 100
- Валенса Лех (Wałęsa Lech) 84
- Барвара Илиопольская, святая 107
- Вебер Макс (Максимилиан) Карл Эмиль** (Weber Max (Maximilian) Carl Emil) 204, 325
- Вейгель Павел (Weigel Pawel) 367, 424, 425, 427
- Верн Жюль Габриэль (Verne Jules Gabriel) 33
- Вернадский Владимир Иванович 322
- Вийон Франсуа (Villon François) 120
- Вильсон Чарлз Томсон Рис (Wilson Charles Thomson Rees) 109
- Винер Норберт** (Wiener Norbert) 15, 25, 34, 137, 228, 229, 231-234, 326, 350
- Винер Энтони (Wiener Anthony J.) 311, 312, 320
- Витгенштейн Людвиг Йозеф Иоганн** (Wittgenstein Ludwig Josef Johann) 136, 146, 161, 174, 187, 206-212, 214, 227, 326, 345, 377

Вольтер (Аруэ Франсуа Мари) (Voltaire (Arouet Francois Marie)) 118, 123, 257, 372
 Воннегут Курт (Vonnegut Kurt) 314
 Высоцкий Владимир Семенович 57

Гагарин Юрий Алексеевич 106
 Галина Мария Семеновна 368, 428
 Галич (Гинсбург) Александр Аркадьевич 58
 Геббельс Йозеф (Goebbels Joseph) 20
 Гегель Георг Вильгельм Фридрих (Hegel Georg Wilhelm Friedrich) 10, 123, 137, 143, 150, 160, 161, 164, 165, 173, 174, 325, 375
 Гедройц Ежи Владыслав (Giedroyc Jerzy Władysław) 76, 265
 Гейзенберг Вернер Карл (Heisenberg Werner Carl) 212
 Геринг Герман Вильгельм (Göring Hermann Wilhelm) 19
Гёдель Курт Фридрих (Gödel Kurt Friedrich) 136, 183, 187, 206, 212-216, 326, 345, 377
 Гёте Иоганн Вольфганг фон (Goethe Johann Wolfgang von) 330, 377
 Гильберт Давид (Hilbert David) 213, 216
 Гитлер Адольф (Hitler Adolf), гитлеризм 133, 180, 187, 225, 226, 269, 271, 272, 278, 301, 309
 Гоголь Николай Васильевич 293
 Гомбрович Витольд (Gombrowicz Witold) 117, 119, 120, 123
 Гомулка Владыслав (Gomułka Władysław) 50
 Горбачёв Михаил Сергеевич 78-80, 302, 401
 Горгий из Леонтии (Gorgias from Leontinoi) 186
 Грефрат Бернд (Gräfrath Bernd) 11, 12, 349, 350, 368, 418, 419, 427
 Грицанов Александр Алексеевич 4-6, 11, 140, 157, 245, 369, 414, 428

Гроблер Адам (Grobler Adam) 369, 418, 428
 Громова Ариадна Григорьевна 58
 Гуаттари Пьер-Феликс (Guattari Pierre-Félix) 183, 184
 Гудвин Брайан (Goodwin Brian) 359
 Гулд Стивен Джей (Gould Stephen Jay) 350, 359
Гуссерль Эдмунд Густав Альбрехт (Husserl Edmund Gustav Albrecht) 137, 138, 160, 175-178, 181, 187, 245, 246, 325
 Гуттен Ульрих фон (Hutten Ulrich von) 171
 Гюлюмянц Кира Михайловна 126

Дайновский Мацей (Dajnowski Maciej) 370, 417, 418, 420, 428
 Дали Сальвадор (Dali Salvador) 119
 Дарвин Чарлз Роберт (Darwin Charles Robert) 51, 123, 137, 326, 425
 Даун Джон Лэнгдон (Down John Langdon) 109
 Дегтярёв Василий Алексеевич 20
Делёз Жиль (Deleuze Gilles) 181, 183, 184, 325
Деррида Жак (Derrida Jacques) 137, 138, 175, 181-189, 204, 212, 216, 325
 Дидро Дени (Diderot Denis) 387
 Дик Филип Киндред (Dick Philip Kindred) 64, 119, 402
 Додерер Хаймито фон (Doderer Heimito von) 162
 Докинз Клинтон Ричард (Dawkins Clinton Richard) 350, 358, 359, 416, 420
 Достоевский Федор Михайлович 40, 55, 119, 145, 282, 326, 370, 377
 Дукай Яцек (Duka Jacek) 370, 394, 413, 421, 424, 427, 428
 Душенко Константин Васильевич 89, 371, 391, 393, 403, 405, 414, 427, 428
 Дьюи Джон (Dewey John) 174
 Дюбарль Доминик (Dubarle Dominique) 233

Ельцин Борис Николаевич 297

Жебровский Эдвард (Żebrowski Edward) 100

Жешотник Яцек (Rzeszotnik Jacek) 371, 424, 428

Жулавский Ежи (Żuławski Jerzy) 40, 118

Жулковский Стефан (Żółkiewski Stefan) 16

Загоскин Михаил Николаевич 345

Загряжский Борис Александрович 336

Земек Войцех, секретарь С. Лема (Zemek Wojciech) 114, 134, 373, 421, 422, 426, 427

Зиновьев Александр Александрович 292-298, 325

Ингарден Роман (Ingarden Roman) 245-247, 326

Иоанн Павел II, Папа Римский (Войтыла Кароль Юзеф) (Ioannes Paulus II (Wojtyła Karol Józef)) 69, 99, 107, 170, 260-265, 326, 412

Йенш Эрих Рудольф (Jaensch Erich Rudolf) 194

Кайтох Войцех (Kajtoch Wojciech) 371, 428

Калигула Гай Юлий Цезарь (Caligula Gaius Julius Caesar) 282

Калинин Михаил Иванович 25, 394

Камю Альбер (Camus Albert) 282, 283, 326, 369, 370, 377

Кан Герман (Kahn Herman) 137, 166, 310-313, 317, 320, 321, 325

Кандель Майкл (Kandel Michael) 59, 131, 372, 402, 413, 417, 420, 423, 425-427

Кандинский Василий Васильевич 304

Канетти Элиас (Kanetti Elias) 164

Кант Иммануил (Kant Immanuel) 137, 174, 176, 177, 201, 326, 390

- Капица Петр Леонидович 301
- Карнап Рудольф** (Carnap Rudolf) 136, 206, 210, 211, 242, 326
- Кафка Франц (Kafka Franz) 98, 120, 123, 282
- Качиньский Лех (Kaczyński Lech) 259
- Качиньский Ярослав (Kaczyński Jarosław) 259
- Келлер Лех (Keller Lech) 372, 428
- Кеннеди Пол (Kennedy Paul) 321
- Кеплер Иоганн (Kepler Iohann) 219
- Київський Анджей (Kijowski Andrzej) 201
- Киссинджер Генри (Kissinger Henry) 106
- Кларк Артур Чарлз (Clarke Arthur Charles) 292
- Кмита Ежи** (Kmita Jerzy) 251, 252, 322, 326, 420
- Колаковский Лешек** (Kołakowski Leszek) 10, 11, 242, 253-259, 322, 325, 368, 372, 379, 404, 421
- Колумб Христофор (Columbus Christophorus) 186
- Конрад Джозеф (Коженёвски Юзеф) (Conrad Jozef (Korzeniowski Józef)) 119
- Коперник Николай (Kopernik Mikołaj, Copernicus Nicolaus) 247, 394
- Котарбиньский Тадеуш** (Kotarbiński Tadeusz) 137, 241, 242, 245, 325, 372
- Краузе Карл Христиан Фридрих (Krause Karl Christian Friedrich) 171
- Кречмер Эрнст** (Kretschmer Ernst) 194-196, 326
- Крик Фрэнсис Харри Комптон (Crick Francis Harry Compton) 156
- Крывак Петр (Krywak Piotr) 373, 420, 421, 424, 428
- Куайн Уиллард ван Орман** (Quine Willard Van Orman) 137, 174, 216-218, 326
- Кун Томас** (Kuhn Thomas) 248-250, 325
- Кьеркегор Сёрен Обю (Kierkegaard Søren Aabye) 181

Кэрролл Льюис (Доджсон Чарльз Лютвидж) (Carroll Lewis (Dodgson Charles Lutwidge)) 118

Кюнкел Фриц (Kunkel Fritz) 194

Лакан Жак (Lacan Jacques) 137, 181-183, 325

Лаплас Пьер-Симон де (Laplace Pierre-Simon de) 137

Ле Гун Урсула Крёбер (Le Guin Ursula Kroeber) 65, 402, 421

Лебон Гюстав (Le Bon Gustave) 265, 266, 326

Левенгук Энтони ван (Leuwenhook Antony van) 215

Леви-Строс Клод (Lévi-Strauss Claude) 137, 189-192, 325

Лейбниц Готфрид Вильгельм (Leibniz Gottfried Wilhelm) 146, 418

Лем Барбара, жена С. Лема (Lem (Leśniakówna) Barbara) 34, 45, 75, 80, 101, 103, 105, 107, 114, 134

Лем Сабина, мать С. Лема (Lem (Wollner) Sabina) 13-15, 17, 20-22

Лем Самуэль, отец С. Лема (Lem (Lehm) Samuel) 13-23, 29, 30, 80, 199, 248, 249

Лем Станислав (Lem Stanisław), passim

Лем Томаш, сын С. Лема (Lem Tomasz) 61, 75, 80, 84, 101, 103, 107, 113, 134, 373, 421

Ленин (Ульянов) Владимир Ильич, ленинизм 5, 6, 18, 31, 43, 64, 76, 260, 302, 327, 328, 414

Леонардо да Винчи (Leonardo da Vinci) 29

Лесков Николай Семенович 162

Лесь Мариуш Мацей (Leś Mariusz Maciej) 373, 420, 421

Лесьмян Болеслав (Leśmian (Lesman) Bolesław) 119

Лец Станислав Ежи (Lec Stanisław Jerzy) 62, 130

Лиотар Жан Франсуа (Lyotard Jean Francois) 137, 175, 181, 183, 187, 325

Липская Ева (Lipska Ewa) 198, 410

Ломоносов Михаил Васильевич 28, 395

Лоренц Конрад (Lorenz Konrad) 220, 221
 Лорка Федерико Гарсиа (Lorca Federico García) 39
Лубницкий Нарциз (Łubnicki Narcyz) 247, 248, 326
Лукасевич Ян (Łukasiewicz Jan) 241, 242, 326
 Лукреций (Тит Лукреций Кар) (Lucretius (Titus Lucretius Carus)) 146, 354, 379, 422, 423
 Лысенко Трофим Денисович 27, 28, 251, 317, 381
 Лютер Мартин (Luther Martin) 171

 Маевский Павел (Majewski Paweł) 374, 422, 428
 Майнхоф Ульрика Мария (Meinhof Ulrike Marie) 281
 Майринк Густав (Meyrink Gustav) 330
 Маккарти Джон (McCarthy John) 106, 339
Маклюэн Херберт Маршалл (MacLuhan Herbert Marshall) 137, 273, 274, 325, 345
 Малевич Казимир Северинович 304
Ман Пол де (Man Paul de) 182-184, 187, 325
 Манн Томас (Mann Thomas) 119, 158
 Мао Цзэдун (Mao Tse-tung) 281
 Маркевич Хенрик (Markiewicz Henryk) 253
 Маркс Карл (Marx Karl), марксизм 18, 19, 31, 43, 48, 57, 64, 76, 137, 150, 156, 164, 203, 204, 247, 255-257, 325, 327, 328, 384
Маркузе Герберт (Marcuse Herbert) 137, 203, 204, 274, 325
 Матейко Ян (Matejko Jan) 108
 Меркель Ангела (Merkel Angela) 113
Мерло-Понти Морис (Merleau-Ponty Maurice) 181, 183, 254, 325
 Метциг Курт (Mätzig Kurt) 100
 Милош Чеслав (Miłosz Czesław) 119, 300, 326
 Михальский Мацей (Michalski Maciej) 374, 420

Мицкевич Адам Бернард (Mickiewicz Adam Bernard) 19,
 119, 297
 Мичурин Иван Владимирович 27, 28
 Молотов (Скрябин) Вячеслав Михайлович 18
 Морено Фернандо Ангель (Moreno Fernando Ángel) 375,
 422, 428
 Мрожек Славомир (Mrożek Sławomir) 54, 99, 106, 131, 162,
 181, 284, 293, 327, 330, 402
 Мусоргский Модест Петрович 120
 Мышко Данута Ромуальдовна 375, 415

 Набоков Владимир Владимирович 55, 118, 119, 120, 279,
 280
 Назаренко Михаил Иосифович 376, 415, 428
Налимов Василий Васильевич 303-307, 326
 Науменко Николай Андреевич 90, 377, 391
Нейман Джон фон (Neumann John von) 137, 206, 218, 228,
 229, 234-237, 326, 350
 Ниренбург Борис Эдуардович 100
Ницше Фридрих Вильгельм (Nietzsche Friedrich Wilhelm)
 157-159, 171, 325, 345, 372, 376
 Нойхаус Вольфганг (Neuhaus Wolfgang) 356, 422
 Норвид Циприан Камиль (Norwid Cyprian Kamil) 119
 Нострадамус (Мишель де Нотрдам) (Nostradamus (Michel
 de Nostre-Dame)) 177
 Нудельман Рафаил Ильич 58, 377, 402, 415
 Ньютон Исаак (Newton Isaac) 39, 219, 220, 289, 326

 Оккам Уильям (Ockham Wilhelm (William of Occam)) 137,
 326
 Околовский Павел (Okołowski Paweł) 11, 12, 145, 247, 324,
 326, 354, 355, 377, 394, 415, 420-423, 428

Орамус Марек (Oramus Marek) 347, 379, 423, 424, 427, 428

Орлиньский Войцех (Orliński Wojciech) 379, 394, 413, 421, 423, 424

Ортега-и-Гассет Хосе (Ortega y Gasset José) 322

Оруэлл Джордж (Блэйр Эрик Артур) (Orwell George (Blair Eric Arthur)) 188, 274-279, 296, 325

Оссовская Мария (Ossowska Maria) 241, 242, 326

Оссовский Станислав (Ossowski Stanisław) 241, 242, 326

Осьвецимский Стефан (Oświęcimski Stefan) 45

Павел, апостол (Paulus) 154, 355

Парето Вильфредо (Pareto Vilfredo) 268, 325

Пасек Ян Хрызостом (Pasek Jan Chryzostom) 117

Паскаль Блез (Pascal Blaise) 137, 326

Пендерецкий Кшиштоф (Penderecki Krzysztof) 99

Пенк Богдан Марек (Pęk Bogdan Marek) 264

Пенроуз Роджер (Penrose Roger) 223

Пента Ивона (Pięta Iwona) 380, 420, 423

Пепис Самуэль (Pepys Samuel) 120

Пестрак Марек (Piestrak Marek) 100

Петр, апостол (Petrus) 265

Пилсудский Юзеф (Piłsudski Józef) 15, 85, 326

Пирс Чарльз Сандерс (Peirce Charles Sanders) 377

Плаза Мацей (Płaza Maciej) 353, 380, 423, 424, 428

Планк Макс (Planck Max) 113

Платон (Plato) 115, 137, 160, 164, 165, 254, 326, 376

Плотин (Plotinus) 254

По Эдгар Аллан (Poe Edgar Allan) 425

Подгорец Норман (Podhoretz Norman) 269-271

Пол Пот (Pol Pot) 281

Поппер Карл Раймунд (Popper Karl Raimund) 113, 119, 135-138, 143, 145, 146, 164-170, 173, 174, 209, 210, 326, 378

Потоцкий Ян (Potocki Jan) 118
 Прокруст (Procrustes) 255
 Прус Болеслав (Гловацкий Александр) (Prus Bolesław (Głowacki Aleksander)) 117
 Птолемей Клавдий (Ptolemaeus) 197, 221, 247
 Путин Владимир Владимирович 113
 Путрамент Ежи (Putrament Jerzy) 44
 Пушкин Александр Сергеевич 119

Рабле Франсуа (Rabelais Francois) 323
 Райн Джозеф Бэнкс (Rhine Joseph Banks) 137
Рассел Бертран (Russell Bertrand) 113, 119, 120, 137, 138, 142, 143, 145, 159-164, 170, 174, 209, 211, 213, 218, 326, 378
 Ратцингер Йозеф Алоиз, Папа Римский Бенедикт XVI (Ratzinger Joseph Alois) 261, 262
 Рейган Рональд Уилсон (Reagan Ronald Wilson) 85, 86
Рейхенбах Ханс (Reichenbach Hans) 137, 174, 206, 210-212, 326
 Риббентроп Иоахим фон (Ribbentrop Joachim von) 18
Рикёр Поль (Ricoeur Paul) 190, 191, 325
 Рильке Райнер Мария (Rilke Rainer Maria) 119
 Роднянская Ирина Бенционовна 60, 416
Рорти Ричард (Rorty Richard) 137, 182, 187, 189, 325
 Роршах Герман (Rorschach Herman) 26
 Рот Филипп (Roth Philip) 133
 Роттенштайнер Франц (Rottensteiner Franz) 64, 159, 344, 381, 399, 417, 420, 422, 423, 426, 427
 Рузвельт Франклин Делано (Roosevelt Franklin Delano) 225, 226

Сад Донасьен Альфонс Франсуа де (Sade Donatien Alphonse François de) 133, 276, 283

- Сартр Жан Поль** (Sartre Jean-Paul) 137, 143, 181, 279-282, 325, 370, 376
- Сахаров Андрей Дмитриевич** 300-302, 326
- Свирский Питер (Swirski Peter) 382, 424, 425, 428
- Свифт Джонатан (Swift Jonathan) 118, 123, 323
- Сенкевич Генрик (Sienkiewicz Henryk) 117, 119, 120, 242
- Сент-Экзюпери Антуан де (Saint-Exupéry Antoine de) 120
- Сервантес Сааведра Мигель де (Cervantes Saavedra Miguel de) 120
- Силард Лео (Szilard Leo) 225, 226
- Сименон Жорж (Simenon Georges) 120
- Слонимский Антоний (Słonimski Antoni) 199
- Смаллиан Рэймонд Меррилл (Smullyan Raymond Merrill) 162
- Содерберг Стивен (Soderbergh Steven) 100
- Сократ (Sokrates) 386
- Солженицын Александр Исаевич** 65, 292, 298-300, 326
- Соллерс Филипп (Sollers Philippe) 281
- Солотарофф Теодор (Solotaroff Theodore) 368
- Сонтаг Сьюзен (Sontag Susan) 184
- Сорокин Пителим Александрович** 267, 325
- Спиноза Бенедикт (Spinoza Benedict de) 259, 390
- Стайн Гертруда (Stein Gertrude) 227
- Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович, сталинизм 43, 44, 45, 62, 64, 113, 162, 258, 260, 272, 273, 296-298, 301, 327, 328
- Станислав Щепановский, святой (Stanisław ze Szczepanowa) 107, 108
- Стендаль (Бейль Мари-Анри) (Stendhal (Beyle Marie-Henri)) 299
- Стофф Анджей (Stoff Andrzej) 348, 382, 420, 424, 428
- Стругацкий Аркадий Натанович** 56, 57, 59, 119, 286-292, 323, 326, 330, 383, 415, 416

Стругацкий Борис Натанович 56, 57, 59, 119, 286-292,
323, 326, 330, 383, 413, 415, 416, 428

Стэплдон Олаф (Stapledon William Olaf) 119, 268, 277

Сувин Дарко Рональд (Suvin Darko Ronald) 64, 383, 417,
420, 424, 426, 427

Тарковский Андрей Арсеньевич 57, 100, 376

Тарский Альфред (Tarski Alfred) 137, 241, 243-245, 326

Татаркевич Владыслав (Tatarkiewicz Władysław) 241, 242,
325

Таубе Мортимер (Taube Mortimer) 218

Твардовский Казимеж (Twardowski Kazimierz) 241, 326

Тейлор Гордон (Taylor Gordon R.) 311

Тейяр де Шарден Пьер (Teilhard de Chardin Pierre) 137,
193, 194, 326, 335, 383

Тетиор Александр Никанорович 356, 357, 384, 416

Титов Герман Степанович 59, 416

Тишнер Юзеф Станислав (Tischner Józef Stanisław) 181

Тодоров Цветан (Todorov Tzvetan) 192

Тойнби Арнольд Джозеф (Toynbee Arnold Joseph) 267,
326

Толкин Джон Рональд Руэл (Tolkien John Ronald Reuel)
65

Толстой Лев Николаевич 299, 377

Тоффлер Элвин (Toffler Alvin) 310, 311, 314, 321, 325

Турович Ежи (Turowicz Jerzy) 99, 326

Тьюринг Алан Матисон (Turing Alan Mathison) 137, 228,
230, 238-240, 305, 326, 416, 425

Уотсон Джеймс Дьюи (Watson James Dewey) 156

Устинович Адам (Ustynowicz Adam) 385, 403

Уэллс Герберт Джордж (Wells Herbert George) 21, 119,
323

Файнбург Захар Ильич 58
 Фариас Виктор (Farias Victor) 175
Фейерабенд Пауль Карл (Feyerabend Paul Karl) 113, 137,
 170-174, 204, 323, 325, 400, 418
 Фейнман Ричард Филлипс (Feynman Richard Phillips) 377
 Фельзенштейн Валтер (Felsenstein Walter) 227
 Ферми Энрико (Fermi Enrico) 225, 226
 Фиалковский Томаш (Fiałkowski Tomasz) 94, 408, 427
 Фицджеральд Элла Джейн (Fitzgerald Ella Jane) 120
Флек Людвик (Fleck Ludwik) 137, 146, 248-251, 326
 Флеминг Иан (Fleming Ian) 192
 Флехтхайм Осип Курт (Flechtheim Ossip Kurt) 40, 312
 Фолкнер Уильям (Faulkner William) 282
 Форрестер Джей Райт (Forrester Jay Wright) 311
 Франк Илья Михайлович 301
 Франк Филипп (Frank Philipp) 279
Фреге Фридрих Людвиг Готлоб (Frege Friedrich Ludwig
 Gottlob) 211, 326
Фрейд Зигмунд (Freid Sigmund) 137, 145, 184, 196-202,
 325
Фромм Эрих (Fromm Erich) 199, 203, 204, 325, 383
Фуко Мишель (Foucault Michel) 137, 181-183, 325
Фукуяма Фрэнсис Ёсихиро (Fukuyama Francis Yoshihiro)
 137, 205, 310, 315-321, 325

Хабермас Юрген (Habermas Jürgen) 204, 325
Хайдеггер Мартин (Heidegger Martin) 137, 138, 175-183,
 187, 188, 212, 325, 375, 377
 Хайек Фридрих Август фон (Hayek Friedrich August von)
 322
Хантингтон Сэмюэл (Huntington Samuel) 310, 314, 315,
 321, 325

- Хемар Марьян (Хешелес Ян Марьян) (Hemar Marian (Hescheles Jan Marian)) 199
- Хемингуэй Эрнест (Hemingway Ernest Miller) 379
- Хёсс Рудольф (Höß Rudolf) 282
- Хойновский Мечислав (Choynowski Mieczysław) 25-29, 241, 395
- Хокинг Стивен Уильям (Hawking Stephen William) 223
- Хомский Авраам Ноам** (Chomsky Avram Noam) 307-309, 326
- Хоркхаймер Макс** (Horkheimer Max) 203, 204, 325
- Хорни Карен** (Horney Karen) 202, 325
- Христос Иисус, христианство 107, 108, 111, 145, 147, 154-156, 162, 163, 259, 262, 265, 285, 379
- Хрущёв Никита Сергеевич 78, 286, 294, 296
- Хуберат Марек (Хараньчик Хуберт) (Huberath Marek S. (Harańczyk Hubert)) 385, 424, 428
- Хусарский Роман (Husarski (Hussarski) Roman) 29, 33, 395
- Циолковский Константин Эдуардович** 39, 302, 303, 326
- Чапек Карел (Čapek Karel) 330
- Чаплинский Пшемислав (Czapliński Przemysław) 96, 386, 418, 420, 427, 428
- Черняк Кристофер (Cherniak Christopher) 162
- Черчилль Уинстон (Churchill Winston) 113
- Шайноха Кароль (Szajnocha Karol) 16
- Шампольон Жан Франсуа (Champollion Jean François) 228
- Шафф Адам** (Schaff Adam) 259, 325, 372
- Шекспир Уильям (Shakespeare William) 113, 119, 174, 305
- Шелли Мэри Уоллстонкрафт (Shelley Mary Wollstonecraft) 330

Шеннон Клод Элвуд (Shannon Claude Elwood) 228-230, 236, 240, 326

Шестов Лев Исаакович (Шварцман Иегуда Лейб) 194, 325

Шибата Аяно (Shibata Ayano) 386

Шимборская Вислава (Szymborska Wisława) 61, 99

Шлик Мориц (Schlick Moritz) 206, 210, 326

Шопен Фридерик Францишек (Szopen Fryderyk Franciszek, Chopin Frédéric François) 119

Шопенгауэр Артур (Schopenhauer Arthur) 9, 119, 136, 137, 138, 143, 145, 157, 165, 170, 173, 181, 212, 326

Шпаковская Малгожата (Szpakowska Małgorzata) 352, 355, 387, 420, 424-428

Шпенглер Освальд (Spengler Oswald) 267, 268, 325

Шратт Катарина (Schratt Katharina) 14

Шрёдингер Эрвин (Schrödinger Erwin) 377

Штайнмюллер Карлхайнц (Steinmüller Karlheinz) 387, 420, 427

Штейнах Эйген (Steinach Eugen) 227

Штейнер Рудольф (Steiner Rudolf) 227

Щепаньский Ян Юзеф (Szczepański Jan Józef) 43, 48, 60, 61, 106, 113, 120, 260, 405, 425

Эдисон Томас Альва (Edison Thomas Alva) 26, 326, 394

Эйзенштейн Сергей Михайлович 227

Эйльштейн Хелена (псевд. Поспешальская Нелли) (Eilstein Helena (Pospieszalska Nelly)) 255, 256, 322, 325, 418

Эйнштейн Альберт (Einstein Albert) 25, 35, 51, 53, 174, 211, 214, 218-228, 283, 326, 377

Эйнштейн Майя (Einstein Maja) 224

Эйхман Адольф Отто (Eichmann Adolf Otto) 270, 271

Эко Умберто (Eco Umberto) 283-285, 326

- Элиаде Мирча** (Eliade Mircea) 265, 326
 Энгельс Фридрих (Engels Friedrich) 43, 64, 248, 327, 328
 Эпикур Самосский (Epicurus) 146, 378
- Южиковский Альфред (Jurzykowski Alfred) 98
 Юм Дэвид (Hume David) 397
Юнг Карл Густав (Jung Carl Gustav) 194-196, 199, 200, 201, 325
Юнгер Эрнст (Junger Ernst) 205, 206, 326
- Яжембский Ежи (Jarzębski Jerzy) 96, 351, 352, 355, 388, 402, 412, 413, 417-421, 424, 425, 427, 428
 Язневич Виктор Иосифович 4, 6, 327, 389, 393, 416, 417, 420, 423-425, 427, 428
 Ярузельский Войцех Витольд (Jaruzelski Wojciech Witold) 205
Ясперс Карл (Jaspers Karl) 181, 326, 377

ОГЛАВЛЕНИЕ

От издателя	4
От автора	5
Предисловие	7
Жизненный путь. Этапы творчества	13
I. Детство и юность	13
II. Утопический период	23
III. Антиутопический период	51
1. Литературно-философский этап	51
2. Литературно-экспериментаторский этап	62
3. Философско-публицистический этап	81
Личность	103
Основы творчества. Литература и/или философия?	115
Философские взгляды	135
I. Отношение к философии	135
II. Основные философские идеи	144
III. С. Лем о мыслителях XX столетия	157
(Адлер, Адорно, Айдукевич, Арендт, Арон, Барт, Блох, Бодрийяр, Бохенский, Буковский, Вебер, Винер, Витгенштейн, Гёдель, Гуссерль, Делёз, Деррида, Зиновьев, Ингарден, Иоанн Павел II, Камю, Кан, Карнап, Кмита, Колаковский, Котарбиньский, Кречмер, Куайн, Кун, Лакан, Лебон, Леви-Стросс, Ленин, Лиотар, Лубницкий, Лукасевич, Маклюэн, Ман, Маркузе, Мерло-Понти, Налимов, Нейман, Ницше, Оруэлл, Оссовские, Парето, Поппер, Рассел, Рейхенбах, Рикёр, Рорти, Сартр, Сахаров, Солженицын, Сорокин, Сталин, Стругацкие, Тарский, Татаркевич, Твардовский, Тейяр де Шарден, Тойнби, Тоффлер, Тьюринг, Фейерабенд, Флек, Фреге, Фрейд, Фромм, Фуко, Фукуяма, Хабермас, Хайдеггер, Хантингтон, Хомский, Хоркхаймер, Хорни, Циолковский, Шафф, Шеннон, Шестов, Шлик, Шпенглер, Эйльштейн, Эйнштейн, Эко, Элиаде, Юнг, Юнгер, Ясперс)	
IV. Отдельно о «Големе XIV»	328
Заключение	365
Библиография	391
I. Собрание сочинений С. Лема на русском языке	391
II. Прочие цитируемые работы С. Лема	394
III. Основные работы о С. Леме	413
Персоналии	429

Научно-популярное издание

Серия «Мыслители XX столетия»

ЯЗНЕВИЧ Виктор Иосифович

СТАНИСЛАВ ЛЕМ

Редактор и корректор *Т.Е. Кузьмина*

Художественный редактор *А.Н. Ткачук*

Компьютерный дизайн: *С.В. Чепиков*

Технические редакторы: *Г.В. Викентьева, А.Е. Лобан*

Директор-издатель *С.В. Кузьмин*

Подписано в печать с диапозитивов заказчика 16.06.2014.

Формат 70×100¹/₃₂. Бумага пухлая. Печать офсетная.

Печ. л. 14,0. Усл. печ. л. 18,2. Тираж 1550 экз. Заказ № 1707.

Издательское частное унитарное предприятие «Книжный Дом».

Свидетельство о ГРИИРПИ № 1/135 от 08.01.2014 г.

220114, Минск, пр-т Независимости, 109-3. Тел. 263-50-58.

Отпечатано в государственном предприятии

«Издательство «Белорусский Дом печати».

Свидетельство о ГРИИРПИ № 2/102 от 01.04.2014 г.

220013, Минск, пр-т Независимости, 79.

В популярной серии
«МЫСЛИТЕЛИ XX СТОЛЕТИЯ»
вышли книги:

Адлер
Беньямин
Бергсон
Бердяев
Богданов
Бодрийяр
Бубер
Вебер
Витгенштейн
Гадамер
Гумилёв
Гуссерль
Делёз
Деррида
Джемс
Дильтей
Дюркгейм

Жирар
Зиммель
Ильин
Иоанн Павел II
Камю
Кассирер
Кун
Лакан
Лебон
Лем
Лосев
Лотман
Маркузе
Ницше
Ортега-и-Гассет
Парсонс
Петров

Поппер
Райх
Рассел
Рорти
Сартр
Сорокин
Тейяр де Шарден
Федотов
Фрейд
Фромм
Фуко
Хайдеггер
Хайек
Шпенглер
Юнг
Ясперс

МЫСЛИТЕЛИ
XX
СТОЛЕТИЯ

Книжный дом

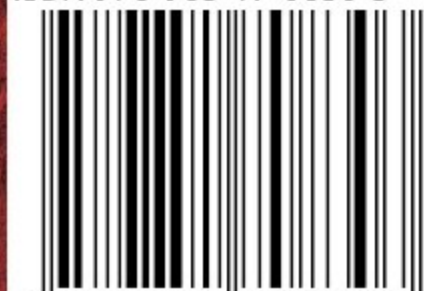
МЫСЛИТЕЛИ **XX** СТОЛЕТИЯ

В. И. Язневич

Станислав Лем

Л Станислав
Лем

ISBN 978-985-17-0830-3



9 789851 708303



Закладка для книги

Язневич В.И., Станислав Лем. -
Минск: Книжный Дом, 2014, 448 с.



На снимках:

Виктор Язневич вручает Станиславу Лему
«Новейший философский словарь» (Минск,
1999) под редакцией Александра Грицанова
со статьёй «Лем». Краков, 15.09.2001 г.
(см. стр. 5 и 245 в книге)

